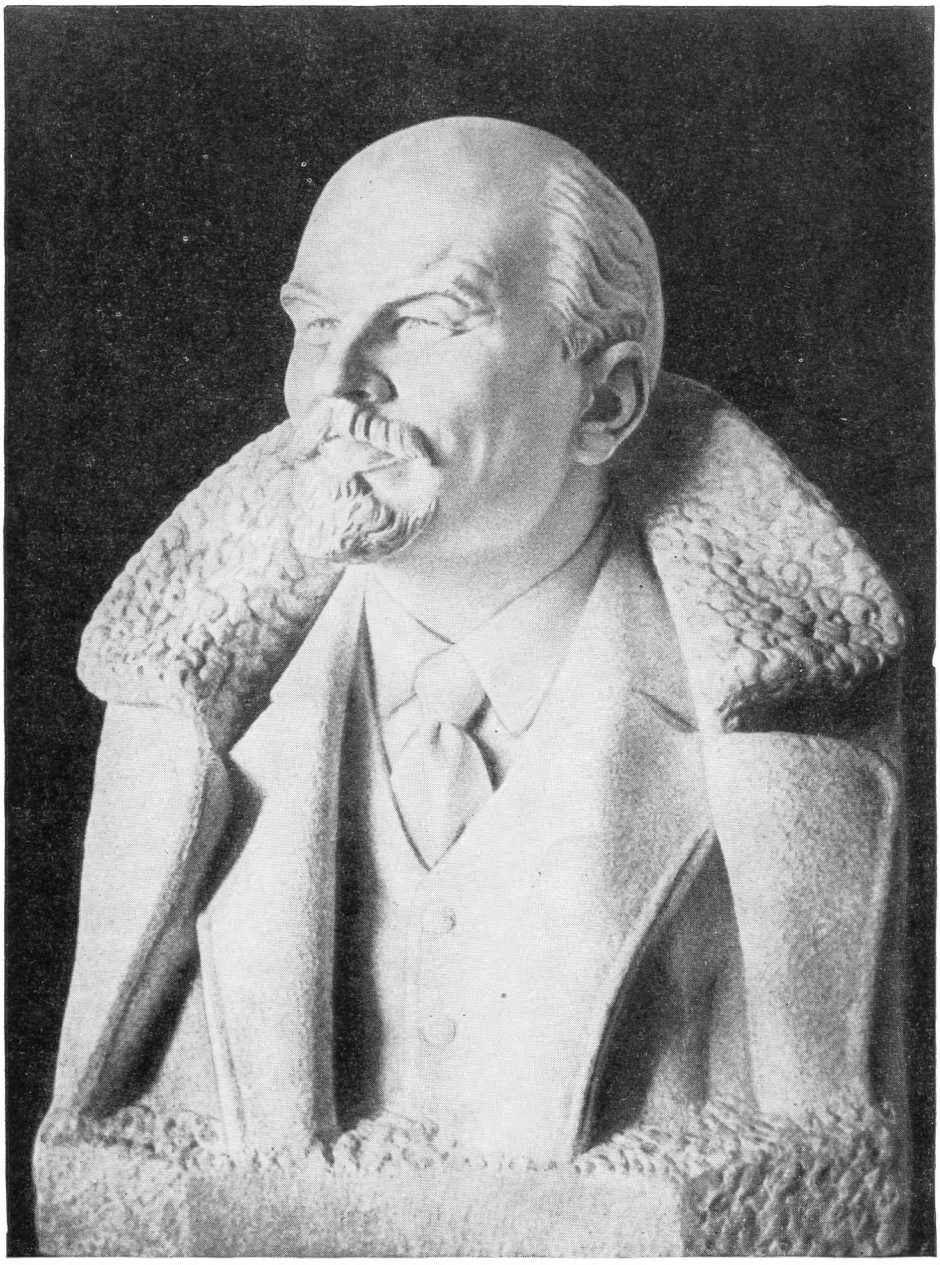
ИНОСТРАННАЯ *литература*

4
1957



В. И. ЛЕНИН

Работа румынского скульптора
Михая Вагнера

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Содержание

ЛЕНИН
И ЗАРУБЕЖНЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ РУКОПИСЕЙ В. И. ЛЕНИНА

В. И. ЛЕНИН — Заметка о книгах парижских коммунаров 7

В. И. ЛЕНИН — Конспект первой части книги Г. Лефрансе «Очерк движения парижских коммунаров в 1871 году» 9

В. И. ЛЕНИН — Два письма директору Британского Музея 21

И. МИТЧЕЛЛ — Письмо директору Британского Музея 22

В. И. ЛЕНИН — Список книг, журналов и газет 22

БЕРНАРД ШОУ — Дарственная надпись на книге «Назад к Мафусаилу» 27

В. И. ЛЕНИН — Пометки на предисловии Б. Шоу к драматической пенталогии «Назад к Мафусаилу» 28

В. И. ЛЕНИН — Записка в редакцию журнала «Красная Новь» 34

Дж. А. ГОБСОН — Проблемы нового мира (отрывки) 34

СТИХИ О ЛЕНИНЕ

МЕЧИСЛАВ ЯСТРУН — Ленин в Поронино . . 37

СУКАНТА БХАТТАЧАРИЯ — Ленин 38

ИОСЕФ ГОРА — На Красной площади . . . 41

ЛИ ЦЗИ — Ленин 42

ХАН ЮН ХО — Три встречи 42

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ — Ковровщики Куян-Булака чтят Ленина 44

4

1957

АПРЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ИЗВЕСТИЯ"
МОСКВА

ДЕКСТЕР МАСТЕРС — Несчастный случай. (Роман) 47
ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ — Рассказ из страны папуасов 103
КЛОД СЕРНЭ — Сила одного слова. (Стихотворение) 119
АРТУР МИЛЛЕР — Вид с моста. (Пьеса) . . . 121
ПЕТРУ ДУМИТРИУ — Буревестник. (Роман. Окончание) 163
ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — Мальчик с лесного берега. Победа мальчика с лесного берега. (Рассказы) 190

КРИТИКА

Н. ВИЛЬМОНТ — Трагедия композитора Адриана Леверкюна 219
С. БЕРКИН — Ханс Шерфиг 234

ОБЗОРЫ

Б. РОЗЕНЦВЕЙГ — Цветы поддельного оптимизма 238

ПО ЛЕНИНСКИМ МЕСТАМ ЗА РУБЕЖОМ

СЭМ РАССЕЛ — В Лондоне 242
КЛАУС БОЙХНЕР — В Женеве 245
ДОМИНИКА ДЕЗАНТИ — В Париже 248
МИЛАН ЯРИШ — В Праге 254

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

РОБЕР МЕРЛЬ — Несколько слов о современном французском театре 256

СРЕДИ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

И. Левидова.— О позах и позициях. ◇ Э. Олонова — На берегу прозрачной реки. ◇ Г. Шнеерсон — Письма Мориса Равеля. ◇ М. Ваксмахер — Остров железных птиц. ◇ Л. Назарова — Сборник малоизвестных работ Лиона Фейхтвангера. ◇ С. Львов. — Вокруг романов Гюнтера Вайзенборна 265

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 273

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ . . . 288

На обложке фрагмент гравюры известного мексиканского художника Леопольдо Мендеса «На рынок».

Из неопубликованных рукописей В. И. Ленина

В связи с 87-летием со дня рождения В. И. Ленина журнал «Иностранная литература» публикует семь неизданных ленинских рукописей, хранящихся в Центральном Партийном Архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Документы эти относятся к большому историческому периоду — с 1895 по 1922 год. Они дополняют известные высказывания Ленина о Парижской Коммуне, о писателях и публицистах Запада, уточняют некоторые факты биографии Владимира Ильича, расширяют наши представления о круге его литературных интересов.

Публикация открывается двумя рукописями 1895 года, посвященными Парижской Коммуне: библиографической заметкой о книгах ряда коммунаров и конспектом первой части «Очерка движения парижских коммунаров в 1871 году» Г. Лефрансе — одной из первых работ по истории Коммуны. Осуждая прудонистские политические заблуждения автора, который подчас «предается розовым мечтам» о «единении» пролетариата с буржуазией, Ленин одновременно по «Очерку» Лефрансе восстанавливает ход революционных событий, предшествовавших провозглашению Коммуны. Он отмечает наиболее знаменательные факты и документы, характеризующие представителей реакции, будущих палачей Коммуны — Тьера, Фавра, Трошю и прочих. С презрением отзывается Владимир Ильич о беспринципных буржуазных политиканах, действовавших по заклейменному еще Щедриным принципу «чего изволите». Живо интересует Ленина политическая позиция писателей и публицистов Франции тех лет: В. Гюго, Ф. Ламенне, Ж. Валлеса, А. Рошфора, Э. Вальяна, Ш. Лонге, Ф. Пиа, Ж. Мильера, П. Везинье, Э. Разуа и многих других. Конспект содержит первые ленинские замечания о таких политических деятелях, как Наполеон III, Гамбетта, Ледрю-Роллен, Луи Блан, Огюст Бланки.

Один из малоизвестных эпизодов жизни Владимира Ильича в эмиграции восстанавливают его письма директору Британского Музея. Как видно из публикуемых документов, Ленин начал работать в читальном зале Музея в апреле 1902 года, спустя почти два десятилетия после кончины другого его постоянного посетителя и такого же великого труженика науки — Карла Маркса. Составленный в тот же период «Список книг, журналов и газет» — новое свидетельство широты ленинских литературных и политических интересов, связанных с самыми разнообразными течениями и формами зарубежной общественной жизни.

Относящиеся к 1921 году замечания о предисловии Бернарда Шоу к его драматической пенталогии «Назад к Мафусаилу» перекликаются с другими высказываниями Владимира Ильича о публицистической и общественной деятельности английского сатирика, которые учат бережно поддерживать все прогрессивное в мировоззрении и творчестве художников Запада, критикуя в то же время их идейную ограниченность, политические и философские ошибки.

Публикация завершается документом 1922 года — запиской В. И. Ленина редакции первого советского «толстого» литературно-художественного и общественно-политического журнала «Красная Новь». Рекомендуя перепечатать отрывки из книги Гобсона «Проблемы нового мира», Ленин отметил те страницы, на которых автор высоко оцени-

вал деятельность тогда еще совсем молодого Советского государства. Этот английский публицист, вслед за Шоу, одним из первых на Западе выступил в защиту советской революции, советского строя, советского общества.

Книга Гобсона в отличие от ряда других его трудов не переведена полностью на русский язык. Наиболее характерные отрывки перевода, напечатанного тридцать пять лет назад по совету Ленина в журнале «Красная Новь», воспроизводятся ниже.

В данной публикации иноязычные тексты переведены на русский язык и заключены в угловые скобки: ⩽ ⩾. При этом учтены переводы, выполненные самим Лениным, и избранная им транскрипция собственных имен, в ряде случаев расходящаяся с ныне принятой.

Подчеркивания одной чертой в публикуемых рукописях передаются *обычным курсивом*, двумя — ***полужирным,*** волнистой линией — ***полужирным в разрядку.*** Все характерные для ленинских конспектов сокращения слов расшифрованы. Общеупотребительные латинские выражения («sic» — «так», «etc» — «и т. д.», «NB» («Nota bene») — «заметьте») оставлены без перевода. Пояснительные примечания помещены вслед за текстом каждого документа. Все заглавия публикуемых рукописей даны редакцией.

Ленин и Парижская Коммуна

Можно сказать без всякого преувеличения, что не было другого события в истории зарубежных народов, которое В. И. Ленин изучал бы столь всесторонне, в таких порой мельчайших деталях, как Парижская Коммуна. Он постоянно обращался к опыту Коммуны, ее завоеваниям и достижениям, ошибкам и недостаткам.

Высоко оценивал Ленин исторические заслуги коммунаров. «На плечах Коммуны стоим мы все в теперешнем движении», — писал Владимир Ильич в 1905 году, а через тринадцать лет повторил эту мысль в докладе о пересмотре программы Коммунистической партии.

Ленин рассматривал Коммуну как величайший образец величайшего пролетарского движения XIX века. Он считал ее, наряду с декабрьским восстанием московских рабочих в 1905 году, образцом тактики для революционного пролетариата, образцом его диктатуры. В деятелях Коммуны, этих бесстрашных и бескорыстных рыцарях пролетарской революции, Ленин видел прообраз современных ему борцов за победу коммунизма. «...дело Коммуны не умерло; оно до сих пор живет в каждом из нас», — писал Ленин в 1911 году, разъясняя рабочим, что бессмертное дело Коммуны — это дело полного политического и экономического освобождения трудящихся, дело всесветного пролетариата.

Ленин охарактеризовал Коммуну как «великий образчик сочетания почина, самостоятельности, свободы движения, энергии размаха снизу — и добровольного, чуждого шаблонов, централизма» — тех качеств которые отличают советский государственный строй. Гению Ленина, руководству Коммунистической партии рабочий класс нашей страны обязан тем, что он не совершил роковых ошибок коммунаров, сумел защитить свои завоевания.

К историческому опыту Коммуны Ленин возвращался на всем протяжении своего революционного пути.

В 1894 году он впервые писал о Коммуне в книге «Что такое „друзья народа"...». В 1895 году, как свидетельствуют публикуемые ниже документы, изучал книгу Г. Лефрансе и намеревался обратиться к работам других участников и сторонников движения Коммуны — П. Ланжалле и П. Коррьеза, А. Лео, Б. Малона, А. Клеманса, Ж. Геда, П. Лиссагарэ.

Высказывания Энгельса об историческом значении Парижской Коммуны для рабочего движения Ленин приводит в книге «Что делать?». 18 марта 1903 года он выступает с речью о Коммуне на митинге лондонских рабочих — выходцев из России. О Коммуне Ленин пишет на страницах «Искры», говорит на II съезде партии, а в марте 1904 года на собрании женевских социал-демократов. Сохранились лишь конспекты этой речи, но о ней ярко рассказали старые большевики П. Н. Лепешинский и М. М. Эссен.

«Ленин говорил о Коммуне, — вспоминает М. М. Эссен, — и мы ощутили ее могучее дыхание, ее пафос, ее трагедию, ее мировое значение. Мы мысленно видели осажденный Париж, трусость и предательство господствующих классов, продажное правительство, сбежавшее в Версаль и предавшее родину... Из всей речи Ленина, такой вдохновенной и огненной, стало ясно, что Парижская Коммуна — не только героический эпизод истории, показывающий силу и мощь рабочего класса, но и вдохновляющий пример для нас».

Еще через год Ленин сделал обширный доклад о Коммуне на собрании русской колонии политических эмигрантов в Женеве. Сохранился подробный конспект этого доклада — «План чтения о Коммуне». В мае того же 1905 года Ленин с группой делегатов III съезда партии посещает место расстрела героев Коммуны — «Стену Коммунаров» на кладбище Пер Лашез. Два месяца спустя на страницах «Пролетария» Ленин снова напоминает русскому рабочему классу, что «извлекая уроки для себя из Парижской Коммуны, мы должны подражать не ее ошибкам.., а ее практически успешным шагам, намечающим верный путь». Те же мысли развивает Ленин и в книге «Две тактики...». В 1907 году он глубоко анализирует высказывания Маркса и Энгельса о героизме коммунаров. 18 марта 1908 года Ленин, представляя РСДРП на интернациональном митинге в Женеве, снова разъясняет великое историческое значение Коммуны. Текст речи опубликовала под заглавием «Уроки Коммуны» «Заграничная Газета». Год спустя Ленин произносит речь о Коммуне на собрании русских эмигрантов в самом Париже. 28 апреля 1911 года на страницах большевистской «Рабочей Газеты» появилась ленинская статья «Памяти Коммуны». С оценками Коммуны снова и снова встречаемся мы и в 1913 году — в статье «Исторические судьбы учения Карла Маркса», и в 1914—1916 годах — в манифесте ЦК РСДРП «Война и Российская социал-демократия», в книге «Социализм и война», в статьях «Положение и задачи социалистического Интернационала», «Карл Маркс», «Крах II Интернационала» и многих других. 22 января 1917 года Ленин говорит о Коммуне в докладе о революции 1905 года, сделанном в Цюрихском Народном доме. Реферат о

Парижской Коммуне и русской революции он читает 18 марта того же года в швейцарском городке Шо-де-Фон. Об уроках Коммуны Ленин напоминает и в «Письмах из далека», и в «Апрельских тезисах», и в «Письмах о тактике», и в брошюре «Задачи пролетариата в нашей революции». Опыт Коммуны Ленин всесторонне исследует в книге «Государство и революция». Новые и новые высказывания Ленина о Коммуне содержат и его основополагающие послеоктябрьские труды: статьи «Как организовать соревнование?» и «Очередные задачи Советской власти», книга «Пролетарская революция и ренегат Каутский», «Письмо к рабочим Европы и Америки», «Проект программы РКП(б)».

Публикуемые документы показывают, как глубоко изучал Владимир Ильич литературу о Коммуне уже в 1895 году на заре создания в России Коммунистической партии. В дни своего пребывания за границей — летом 1895 года — Ленин конспектирует первую часть книги Г. Лефрансе «Etude sur le mouvement communaliste à Paris en 1871». Принятый рядом исследователей (П. М. Керженцевым, И. Д. Белкиным и др.) весьма неточный перевод этого заглавия («Очерк коммунистического движения...») не соответствует ни содержанию книги, ни политической — прудонистской — позиции автора. В данной публикации слова «le mouvement communaliste» в соответствии с историческим содержанием этого своеобразного термина переведены как «движение коммунаров».

Гюстав Лефрансе (1826—1901) был первым председателем президиума Коммуны. Поэт-коммунар Эжен Потье посвятил ему свой «Интернационал». Под председательством Лефрансе приняты исторические декреты об отделении церкви от государства и упразднении бюджета культов, о предании суду членов версальского правительства и аннулировании их приказов. При обсуждении программы Коммуны Лефрансе заявил, что она «государство высшее... со всех точек зрения» по сравнению с буржуазно-демократическим строем. Заочно приговоренный к смерти версальцами Лефрансе эмигрировал в Швейцарию, где через два месяца после падения Коммуны закончил свой «Очерк» — одну из первых книг о ее истории. Другая книга Лефрансе — «Воспоминания коммунара» — переведена на русский язык.

При публикации ленинского конспекта книги Лефрансе сохранено своеобразное написание ряда слов, характерное для русской публицистики конца XIX века («Интернациональ» вместо «Интернационал», «дебат» вместо «дебаты» и другие). В тех случаях, когда Ленин вводил в русский текст различные термины, собственные имена, названия, заглавия или даты по-французски, они воспроизводятся с пояснительным переводом в угловых скобках. При повторениях уже переведенных слов перевод не дублируется.

Ленинская пометка на полях точно фиксирует время и место работы над конспектом—июнь 1895 года, Париж. В начале июля Владимир Ильич выехал на лечение в Швейцарию, а потом в Берлин. Можно предположить, что Ленин прервал конспектирование книги Лефрансе на последних страницах первой части в связи с отъездом из Парижа.

Вторая часть «Очерка» озаглавлена «Центральный Комитет и Коммуна» и содержит главы: «Центральный Комитет в городской ратуше», «Первое заседание Коммуны», «Характер Коммуны, ее организация и первые действия», «Общее положение Парижа. Деятельность Коммуны до 2 апреля», «Военные операции Коммуны», «Деятельность Коммуны до создания Комитета общественного спасения», «Комитет общественного спасения», «Падение Коммуны», «Месть и репрессии».

В конспекте упоминаются имена более ста политических деятелей той эпохи. Многих из них Ленин так или иначе охарактеризовал в других трудах. В примечаниях публикуемая рукопись сопоставляется с последовавшими за ней ленинскими высказываниями.

В. И. Ленин

Заметка о книгах парижских коммунаров

Июнь 1895. Париж.

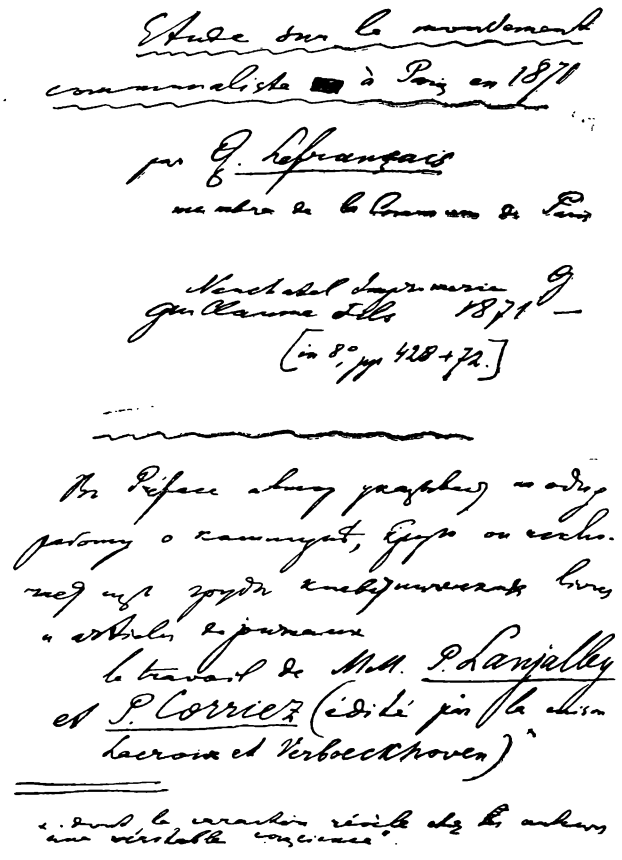
<Очерк движения парижских коммунаров в 1871 году.
Г. Лефрансе
член Парижской Коммуны.

Невшатель. Книгоиздательство
Дж. Гильом-сын[1] 1871 —
[in 8°, стр. 428 + 72.]>

В Préface <Предисловии> автор указывает на одну работу о Коммуне, которую он исключает из груды клеветнических <книг и газетных статей:

работу гг. *П. Ланжалле* и *П. Коррьеза*[2] (выпущенную издательской фирмой Лакруа[3] и Вербекховен*)>.

* <«характер которой свидетельствует о неоспоримой добросовестности авторов».>



Факсимиле первой страницы рукописи В. И. Ленина «Заметка о книгах парижских коммунаров».

Уменьшено.

[На обложке книги:

<Продается крупнейшими книжными магазинами:

Социальная война. — Андре Лео[4].

Третье поражение французского пролетариата. — Б. Малон[5].

Социальный антагонизм. — А. Клеманс[6].

Красная книга об юстиции «деревенщины». — г. Ж. Гед[7], Женева, ул, Верден, 7.

Восемь майских дней на баррикадах. — Лиссагарэ[8], Брюссель, бюро *„Пти Журналь"*, ул. де Лекюйе]

Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.— Фонд 2, опись 1, единица хранения 63, листы 1—2. Подлинник.

ПРИМЕЧАНИЯ

1) Джемс Гильом (Гийом) (1844—1917) — издатель книги Лефрансе; швейцарский анархист, один из лидеров бакунистского «Альянса социалистической демократии», автор анархистской клеветнической «Истории» I Интернационала. В 1872 году Гильом был исключен из его состава, а в 1914—1917 годах стал социал-шовинистом. В 1915 году Ленин отметил, что «писания анархистов Гильома и К° искажают взгляды Маркса и Энгельса для оправдания анархизма».

2) Поль Ланжалле и Поль Коррьез — авторы «Истории революции 18 марта», изданной в 1871 году.

3) Сигизмунд Жюльен Адольф Лакруа (Кржижановский) (1845—1909) — натурализовавшийся во Франции польский эмигрант, журналист и литератор.

4) Андре Лео — псевдоним французской писательницы Леодиль Малон-Шансе (1829—1900), сотрудницы газеты «Коммуна», жены Б. Малона. Несколько романов Андре Лео («Идеал в деревне», «Алина Али», «Возмутительный брак», «Развод» и другие) в 1860—1870 годах были переведены на русский язык. Д. И. Писарев в статье «Романы Андре Лео» признал их «очень замечательными и в высокой степени полезными» и отметил «блестящий, прочный и вполне заслуженный успех» писательницы.

5) Бенуа Малон (1841—1893) — писатель и журналист, левый прудонист, в юности — пастух, грузчик, чернорабочий, красильщик. Один из основателей французских секций Интернационала. Член Коммуны. Заочно приговорен к ссылке в Новую Каледонию. После амнистии коммунаров в 1880 году выступал против марксистского крыла французского рабочего движения.

6) Адольф Клеманс — рабочий-переплетчик, автор труда по истории переплетного искусства. Член Интернационала и Коммуны, заочно приговорен к пожизненному заключению.

7) Жюль Гед (1845—1922) — руководитель марксистского крыла французского рабочего движения, один из основателей Французской Рабочей Партии. В годы первой мировой войны вместе с Плехановым, Каутским и другими лидерами социал-демократии стал социал-шовинистом. До измены Геда социализму Ленин ценил его наравне с Бебелем и Лафаргом как одного из крупнейших агитаторов и популяризаторов марксизма. Основные труды Геда («Четыре года классовой борьбы», «На страже!», «Вопросы вчерашнего и сегодняшнего дня») Ленин относил к лучшим достижениям «французской марксистской литературы», считая Геда до 1914 года — «крупнейшим вождем международного социализма».

Полное заглавие книги Геда, упомянутой в ленинской заметке: «Красная книга об юстиции «деревенщины». Документы к истории республики без республиканцев». «Деревенщина», «Дикие помещики» — ироническая кличка членов версальского «Национального собрания», состоявшего в основном из реакционного дворянства. Книга Геда стала обвинительным актом против версальских палачей и быстро завоевала популярность. П. А. Кропоткин признавался в одном из писем, что он «никогда не испытывал такого нравственного страдания», как при чтении этой книги. Ее подзаголовок, клеймивший политический цинизм Тьера, перекликается со знаменитым отзывом М. Е. Салтыкова-Щедрина о Франции семидесятых годов, как о «республике без республиканцев, с сытым буржуа во главе, в тылу и во флангах». В. И. Ленин не раз приводил эту меткую характеристику французской буржуазной демократии, отмечая, что Щедрин «классически высмеял... Францию, расстрелявшую коммунаров, Францию пресмыкающихся перед русскими тиранами банкиров, как республику без республиканцев» (см. Сочинения, тт.: 10, стр. 164; 11, стр. 334; 24, стр. 150).

8) Проспер-Оливье Лиссагарэ (1838—1901) — литератор и журналист, автор «Истории Парижской Коммуны 1871 года». По отзыву Маркса, книга Лиссагарэ — это «первая добросовестная история Коммуны». Она, как указал Маркс, «приближается по характеру к мемуарам» и построена на записках «главных действующих лиц драмы». Маркс отредактировал перевод книги на немецкий язык. Ленин ссылался на труд Лиссагарэ в конспекте речи «В память Парижской Коммуны» и в своих «Тетрадях по империализму».

В. И. Ленин

Конспект первой части книги Г. Лефрансе „Очерк движения парижских коммунаров в 1871 году".

Июнь 1895. Париж.

<ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

От разрешения народных собраний (июнь 1868) до революции 18 марта 1871.

Глава 1. *С июня 1868 до 4 сентября 1870.*>

Разрешение народных собраний Наполеоном[1] опять выдвигает социализм, увлекающий рабочих.

Успех Интернационали очень велик [Лефрансе указывает, что ей предшествовала во Франции Fédération des associations ouvrières <Федерация рабочих ассоциаций>, 1850, члены коей были осуждены <на долгие месяцы тюрьмы судом департамента Сены>].

Общие нападки всей прессы (и правительственной и республиканской до красной включительно) на народные собрания. Обвинения в побоищах, проповеди убийств и кражи etc. (Лефрансе справедливо указывает, что в таком поведении прессы была своя логика: до сих пор пресса одна всецело управляла общественным мнением. Теперь начинали управлять народные собрания. А пресса была в руках буржуазии. <«Пусть бедняки молчат!» — справедливо воскликнул г-н Ламенне в 1848, после восстановления гербовых сборов и денежных залогов>. (47)

Социалисты отвечают на эти нападки вызовом республиканцам. Appel <Обращение> социалистов приглашает депутатов Сены на публичное собрание для дебата. — Те даже не отвечают.

Выборы 1869 года так усиливают республиканцев (благодаря в значительной мере Интернационали), что правительство ужасается. Процесс против Интернационали. Осуждения на 2 месяца — 2 года тюрьмы.

Становится очевидным, что Империи необходима война с Германией!

<Манифест парижских членов Интернационали>* протестует против войны и заявляет о своей солидарности с немецкими рабочими.

Республиканцы держат себя уклончиво, поддаваясь шовинизму, подогреваемому Наполеоном.

Интернациональ организует контр-манифестации в пользу мира. Все журналы, даже республиканские кричат, что социалисты «продались пруссакам».

Быстрые победы пруссаков возбуждают Париж против Империи.

<Париж, 1895. В июне месяце.>

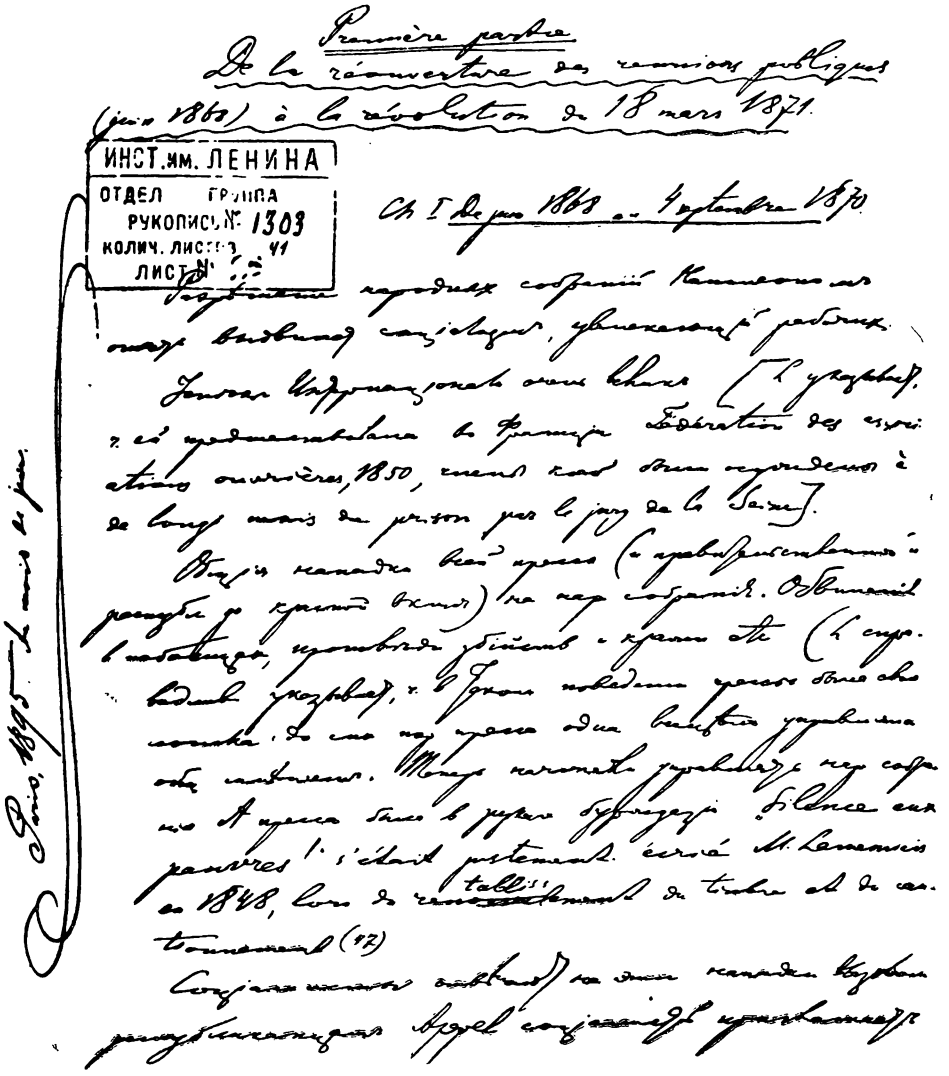
---

* Лефрансе цитует <*«Интернациональ»* г-на Оскара Тестю, стр. 279.>

11 августа Собрание chez M. Crémieux <у г-на Кремьё>, на котором присутствуют, с одной стороны, ММ. E. Pelletan, Em. Arago <гг. Э. Пелетан, Эм. Араго> и другие республиканцы, а с другой, — <около 60 делегатов синдикальных палат и Интернационали.> Последние требуют определенного ответа насчет провозглашения республики. Первые уклончиво советуют подождать.

14 августа à la Villette <в Ля Виллет> группа республиканцев пытается поднять население. <Эта попытка потерпела полную неудачу, сбитое с толку население встретило ее участников возгласами «смерть пруссакам»> *Гамбетта*[2] требует (27 августа) суммарного суда*, и военный *суд* приговаривает их к смерти. Революция 4/IX освободила их.

* Причем <генерал граф Паликао, глава последнего кабинета в период Империи> напоминает ему <о необходимости уважать формы судопроизводства.
«Бедный Гамбетта! Получать такие уроки, и от какого-то Паликао!»> (55)



Факсимиле первой страницы рукописи В. И. Ленина «Конспект первой части книги Г. Лефрансе «Очерк движения парижских коммунаров в 1871 году».

Уменьшено

16 августа Наполеон назначает губернатором Парижа Трошю[3], известного как легитимиста и орлеаниста, bréton et catholique <бретонца и католика.>

<Глава II. *С 4 сентября по 31 октября.*>

3 сентября вечером приходит в Париж весть о trahison de Sedan <измене под Седаном.> Страшное возбуждение. <Улицы Парижа и особенно старые бульвары переполнены народом.>

В 10 часов вечера <колонна в 3000 граждан главным образом студентов и торговых служащих направляется к Лувру, где в то время помещался губернатор Парижа.> Трошю в ответ на требование провозгласить республику отвечает, что не может этого сделать, ибо дал присягу императору, но *народ* может, де, освободить его от присяги. <Колонна удалилась, удовлетворенная.>

4 сентября народ (поддерживаемый <буржуазной национальной гвардией>) собирается на <мосту Согласия, набережных и улицах, прилегающих к дворцу Законодательного корпуса. Толпа ворвалась во дворец, собрание было объявлено распущенным, и это лишение полномочий было провозглашено под крики: «Да здравствует республика!».>

Депутаты левой трусят. С *Гамбеттой* во главе они приглашают народ <*почтительно* ожидать решения бессильного и презренного большинства.> Их тащат <(буквально тащат)> в Hôtel-de-Ville <городскую ратушу>, где провозглашают *временное правительство,* под именем *Défense nationale* <*правительства национальной обороны.*>

Состав правительства крайне <разнороден: *Трошю,* министр-председатель и военный руководитель *Правительства национальной обороны,* — монархист; *Жюль Фавр*[4], вице-председатель>, министр иностранных дел, и *Gambetta,* министр внутренних дел, — представляют la République autoritaire <авторитарную республику.> *J. Simon* <*Ж. Симон*> и *Crémieux* — орлеанисты, *Picard* <*Пикар*> и *J. Ferry*[5] <*Ж. Феррн*> — чего изволите[6]. — *Pelletan, Garniez-Pagès, Em. Arago, Glais-Bizoin et Rochefort* <*Пелетан, Гарнье-Пажес, Эм. Араго, Глэ-Бизуэн* и *Рошфор*> — меньшинство, приглашенное par politesse <из вежливости> и бессильное.

Члены Интернационали и делегаты <синдикальных палат> собираются <в своем обычном помещении—на площади Кордери дю Тампль> и решают: ограничиться контролем над правительством, не протестуя против него <(никакое, де, обвинение, не будет выдвинуто против членов временного правительства)>. — Вотируют адрес к немецкому народу, приглашая остановить войну, которую le roi de Prusse <король Пруссии> хотел вести лишь для отражения нападения. — Выбирают делегацию, которая отправляется в Hôtel-de-Ville и заявляет готовность поддерживать правительство Défense Nationale на следующих условиях: 1) немедленные выборы <в муниципальные советы Парижа.> — 2) уничтожение полиции. — 3) выборная администрация. — 4) отмена всех законов против печати и собраний. — 5) отмена бюджета культов. — 6) уничтожение политических осуждений.

Делегацию принимает *Гамбетта,* (говоря по пунктам 1, 2, 3, 5),: <«это были серьезные вопросы, которые правительство не имело права решить сразу. Тем не менее об этом *подумают,* и, без сомнения, *пресекут* злоупотребления> etc, etc. Делегаты уходят assez soucieux <изрядно озабоченные>, видя, что от такой революции рабочим лучше не будет. (65 р.)

Мэром Парижа был — *Etienne Arago,* которому Emmanuel Arago (племянник) 4 сентября бросил <красный шарф, крикнув ему: «Держи, Этьен, ты — мэр Парижа!»>. Таким образом случайно совершенно оказался мэром человек заведомо «неспособный и нерешительный». Правительство Défense Nationale 5-го сентября поручает ему назначить <мэров

и их помощников 20 округов Парижа>. Почти все его друзья, все из буржуазии**.

Такое правительство выказывает полную неспособность понять свою задачу: запастись припасами для осады, установить распределение их и т. д.

Социалисты, 5-го же сентября, решают создать организацию, которая бы контролировала правительство. Они организуют 20 <комитетов по округам под именем *Республиканских комитетов бдительности*>, чтобы принимать все заявления граждан и контролировать администраторов. Делегаты этих комитетов (по 4 от каждого) образовали <*Центральный Комитет* с местопребыванием на площади Кордери дю Тампль, в помещении, принадлежавшем рабочим синдикальным палатам и Интернационали>.

Это была — <неофициальная организация Парижской Коммуны>. Недостаток ее организации по Lefrançais — тот, что выборы были не по кварталам (то есть, чтобы выбирали каждого члена *только* жители данного квартала, хорошо его знающие), что́ одно могло обеспечить хороший состав.

План защиты был у всех такой: подольше отстоять Париж и тем временем поднять население департаментов.

По этому плану С. С. (comité central) <Центральный комитет> выработал программу, которую представил в Hôtel-de-Ville и афишами распространил по всему городу: <*Центральный республиканский комитет двадцати округов — гражданам Парижа*>. Призыв к <«совместным усилиям личной инициативы и народной солидарности»>. Предлагаются следующие меры: 1°. <*Меры общественной безопасности*>: уничтожение полиции, выборная и ответственная администрация; полная свобода печати, слова, собраний. — 2°. <*Продовольствие и жилища*>: экспроприировать все съестные припасы у торговцев, гарантируя им уплату за них после войны; выбор комиссий (в каждом квартале) для инвентаря всех припасов и для охраны их; распределять припасы между жителями Парижа <посредством бон, которые будут им периодически выдаваться в каждом округе>. — 3° <*Оборона Парижа*>: Выбор начальников, распределение всем гражданам ружей и зарядов; утилизировать для travaux de défense <оборонительных работ> жителей, не могущих войти в garde nationale <национальную гвардию>; установить контроль публичный за <всеми принимаемыми для обороны мерами>. — 4°. <*Оборона департаментов*. Объявить поголовное ополчение всех без исключения французов, способных носить оружие, назначить генеральных уполномоченных по делам национальной обороны, дабы поддерживать патриотическое рвение народа>. (Подпись): <От имени Центрального Комитета и по уполномочию Комитетов округов, *члены присутствующие на собрании 13—14 сентября:*

Г. Касс, Ш-Л. Шассен, Ф. Шате, Шосс, Кузен, Г. Клюзэрэ*[7], Деме*, Ш. Дюмон, Н. Гайяр, Г. Жантон, А. Эрню, Ж. Жоаннар*, Керн, Ланжалле, Г. Лефрансе*, Леверде, Лонге*[8], П.-А. Лютц, А. Леко, Э. Леже, Г. Малле, Менье, Маршан, Мильер, Маршал, Малон*, Ф. Мангольд, Мийяр, Г. Моллен, Э. Уде*, М. Порталье, Ж. Перрен, Паньер, Филип, Пийон, Пенди*, Ранвье*, Э. Руа, Э. Руйе, Телидон, Тоннелье, Туссен, Э. Вальян[9], Ж. Валлес, Вертю, М. Woog.

<** «Один из них, мэр 19-го округа, г-н Ришар, повторял всякому, кто только хотел его слушать, что мало, де, еще убивали в июне 1848 года. — Теперь он, должно быть, на седьмом небе от радости».

* Сноской отмечены фамилии подписавших, которые 26 марта 1871 года были избраны членами Парижской Коммуны.>

Меры Комитета особенно поддерживал *Blanqui* <*Бланки*>[10], редактор газеты *«La Patrie en Danger»* <*«Отечество в опасности»*>. Он сравнивал положение Парижа <с положением судна, которому угрожает кораблекрушение>.

Защищая этот взгляд, Lefrançais предается розовым мечтам, как бы хорошо было, ежели бы... <работники и буржуа, таким образом, примиренные, объединенные общей идеей спасения отечества... ощутили бы, что, приняв участие в совместной обороне... все получили бы право на равное пользование благами, которые доставляют образование и труд... пролетарии и буржуа, живя одинаковой жизнью, научились бы правильнее оценивать друг друга. Буржуа поняли бы всю несправедливость их преимущественного положения, закрепленного законом (стр. 75—76).

Германия была бы отброшена на свою территорию, Франция победоносно отразила бы вторжение с помощью одних лишь народных сил, и тем самым было бы покончено с регулярной армией и милитаризмом, чье бессилие было бы вполне доказано не только у нас, но и, без сомнения, во всей Западной Европе. Работники, отныне свободные от всякого гнета, увидели бы, как исчезают все узаконенные препятствия к их освобождению, и экономическая революция, без которой не может установиться ни истинный порядок, ни прочный мир, осуществилась бы без потрясений.>

Правительство отвечало презрительным молчанием. Его газеты объявляли, что программа Comité Central — призыв к сполиации[11] и даже грабежу, что вожаки подкуплены императорской полицией.

Члены Комитета требовали от правительства опубликования <досье, заведенных полицией на всех граждан, о которых было известно, что они деятельно занимаются политикой; это требование осталось безрезультатным: пришлось бы опубликовать досье г-на Жюля Фавра!> (77).

Что же делало правительство Défense Nationale? Оно было убеждено, что защита Парижа <— не более чем *нелепое сумасбродство* (именно так и было сказано на заседании кабинета еще 6-го сентября) — по заявлению Трошю>, — оно хотело разыграть комедию осады. Защита слаба: не укрепляются холмы qui dominent Paris <господствующие над Парижем>, не расширяют круг фортификаций, хотя безработных было более 200.000: дело было поручено подрядчикам, которые платили жалкие платы, заставляли рабочих ходить понапрасну (не было денег и орудий), и теряли всякое доверие. Перевооружение национальной гвардии (вместо fusils à percussion — fusils à tabatière <пистонных ружей — ружья, заряжающиеся с казенной части>) шло так медленно, что к концу осады роздали лишь <каких-нибудь несколько тысяч таких ружей>, хотя бы можно утилизировать массу мастерских <механических и литейных>, закрытых благодаря войне. <Но вооруженного народа боялись больше чем пруссаков. В этом — подлинное объяснение столь непостижимой бездеятельности. *Тамизье,* главнокомандующий национальной гвардией> проводил время <в создании военных трибуналов, военно-полевых судов и т. д. Его преемник, генерал *Клеман Тома*[12], всячески старался унизить эту же самую национальную гвардию оскорбительными приказами, вошедшими в историю.>

Правительство пресмыкалось перед иностранными дворами, умоляя о помощи (<унизительные и слезливые мольбы на коленях, обращенные к Бисмарку[13] в Феррьере>) — Администрация *только 14 septembre* (!) отменила *droits à l'octroi* <*городские пошлины*>. Припасы огородников пропадали, потому что их не хотели взять реквизицией. Не умели хранить припасы, так, что сотни телег (charretées) картофеля и овощей бросили в Сену, как испорченные.

К концу месяца становилось очевидным, что правительство не сможет защитить Париж, и в народе, <на народных собраниях стала креп-

нуть идея о замене правительства, состоящего если не из изменников, то уж во всяком случае из людей неспособных, организацией Коммуны>.

Первая попытка была ***8 octobre,*** но она échoua complétement <потерпела полную неудачу> по отсутствию соглашения <командиров батальонов национальной гвардии> с <Центральным Комитетом>.

[[В чем состояла эта tentative <попытка> Лефрансе не говорит]]

К ***26 octobre*** в Париже стали ходить слухи о капитуляции Меца. Все заговорили об измене.

F. Pyat в своем *Combat* <*«Комба»*> (27 octobre) сообщил, как слух из верных источников, что Bazaine <Базен> сдал <Мец от имени его величества Наполеона III>.

Правительство (*L'Officiel* <*«Офисьель»*>) заявило, что это ложь и клевета людей, которые хотят служить пруссакам, сея раздоры и клевеща на правительство борьбы [*Combat* опубликовал, что слышал это от *Flourens'a,* которому говорил *Rochefort,* член временного правительства.] Толпа, подуськиваемая полицейскими газетками, бросилась в редакцию *Combat* и <если бы не осторожность, присущая главному редактору газеты, последний, без всякого сомнения, был бы растерзан на части.

А между тем депеша была уже в руках правительства!>

31 octobre официальные афиши объявили о сдаче Меца и о прибытии в Париж Тьера[14], <с предложением о перемирии, предусматривающим созыв Национального Собрания.>

Негодование парижан <сменилось ужасом и оцепенением>.

<Глава III. *31 октября*>.

Республиканцы-социалисты не допускали и мысли о сдаче Парижа, к чему очевидно шло правительство. Перемирие должно было кончиться какой-нибудь монархической реставрацией (Тьер — <преданный советчик Орлеанского дома>).

Прежде чем описывать события 31 octobre Лефрансе хочет восстановить истину и показать, что *Интернациональ и <синдикальные рабочие палаты стояли в стороне от этого движения.>*

С самого образования <комитетов бдительности и Центрального Комитета> *Интернациональ* и <рабочая Федерация объявили о своем намерении остаться вне всякой деятельности, исходящей от этих комитетов.

Позднее, после 8 октября, когда секциям было предложено реорганизоваться, Комиссия *ad hoc* собралась для обсуждения>. Автор был на этом заседании как делегат от <Центрального Комитета. «И от имени наиболее известных членов этого комитета мы предложили объединенной Комиссии Интернационали и Федерации взять отныне в свои руки руководство политическим движением, близкое завершение которого можно было предугадать>. Нужно, де, именно общество с известной программой на место отдельных групп.

<Комиссия почти единодушно объявила, что Интернационали и синдикальным рабочим палатам не следует непосредственно вмешиваться в события, исход которых еще не совсем ясен и в результате которых самое существование этих организаций может быть поставлено под угрозу. Что они, де, имеют в виду заниматься исключительно социально-экономическими реформами и что организациям Интернационали и Федерации надлежит воздерживаться от какого бы то ни было вмешательства в чисто политические акции.>

Автор доказывал необходимость политического действия, но не имел успеха.

<Письмо, написанное позднее, гражданину Серрайе[15] Карлом Марксом, главным вдохновителем немецкой секции Интернационали, по поводу выборов 8 февраля, в котором он с известной горечью критикует участие французской секции в этих выборах, убедительно свидетельствует, что — правильно ли это было или неправильно, — но Интернациональ была в то время мало расположена вмешиваться в активную политику (стр. 92)>.

(————)

С утра ***31 octobre*** на улицах собрались des nombreux groupes <многочисленные группы>, критикуя правительство <Трошю — Ж. Фавра. Командиры батальонов национальной гвардии народных кварталов собрались для обсуждения. Комитеты бдительности> выбирали делегатов требовать объяснения от правительства.

К *11 часам* масса делегаций столпилась на площади Hôtel-de-Ville, требуя <всеобщего вооружения, поголовного ополчения и коммунальных выборов (уже трижды назначавшихся правительством и трижды откладывавшихся под тем предлогом, что обстоятельства, связанные с осадой, делали, де, выборы невозможными)>.

Депутации принимает сначала мэр *Et. Arago,* заверяющий, что ни он ни мэры arrondissements <округов> никогда не согласятся на перемирие. Затем к народу выходит <*Ж. Симон.* Он торжественно поклялся, что никогда правительство национальной обороны не помышляло о сдаче Парижа, что Париж должен обороняться до конца и что, если перемирие, о котором никто не *просит*, будет *предложено* (недостойная ложь, он это великолепно знал), то оно будет единодушно отвергнуто правительством.>

В это время делегаты 20 <округов, собравшиеся в Комитетах бдительности на площади Кордери дю Тампль>, постановили идти à Hôtel-de-Ville <к городской ратуше> и требовать немедленных выборов <чтобы приступить к оформированию Коммуны, на которую отныне возлагалось бы наблюдение за операциями по обороне Парижа, и руководство его внутренним управлением под прямым контролем граждан>.

В 2 часа комитеты подходили (rue du Temple <улицей Тампль>) к Hôtel-de-Ville, встречаемые криками: <«Да здравствует Коммуна!», «Долой Трошю!»>

К несчастью, много из gardes nationaux <национальных гвардейцев>, полагаясь на декларацию мэров и считая выборы обеспеченными, разошлись по домам.

Когда Комитеты <бдительности и их делегаты прибыли на площадь, лестницы дворца муниципалитета были буквально забиты мобилями, главным образом бретонцами, чья преданность особе Трошю и реакции была уже хорошо известна.

Делегатам Центрального Комитета пришлось таким образом разделиться, ибо они были вынуждены пробираться по-одиночке и с большими трудностями сквозь этот частокол штыков.

Вошедшие первыми в большую залу городской ратуши нашли гг. Трошю, Ж. Фавра и Ж. Ферри в обществе мэров и помощников мэров Парижа и нескольких журналистов.>

Трошю объяснял последним необходимость оставить позицию, занятую вчера с большими жертвами.

Lefrançais прерывает его, требуя <срочно приступить к выборам Коммуны, которая отныне одна только будет ведать военными и административными делами Парижа>. После обмена возражений члены правительства ушли совещаться.

<В эту минуту народ ворвался в залу и несколько мгновений спустя было выражено единодушное требование низложения правительства.

Тщетно Рошфор, чье поведение в этот момент оставляло желать лучшего и чьи недомолвки по поводу дела Пиа в связи с капитуляцией Меца основательно подорвали его влияние, пытался поднять голос в защиту правительства, в состав которого он входил, — народ ничего не хотел слушать, и один из граждан, взобравшись на стол, с которого Рошфор был вынужден сойти, провозгласил низложение правительства Трошю, Ж. Фавра и прочих.

И тогда был предложен список для образования комиссии, уполномоченной исключительно для проведения выборов Парижской Коммуны в течение 48 часов. В этом списке были имена следующих граждан: Дориан, Луи Блан[16], Бланки, Феликс Пиа, Гамбон, Делеклюз, Ледрю-Роллен[17] и Мильер.>

Но так как предварительного соглашения не было, то по рукам ходило много листов, что́ увеличивало путаницу. От правительства требовали письменного отречения (démission), Трошю соглашался уже уступить президентство Дориану, — но случай спас правительство.

Gustave Flourens ворвался в залу и объявил, что провозглашен <*Комитет Общественного Спасения: Флуранс, Бланки, Мильер, Ф. Пиа, В. Гюго, Делеклюз,* Моттю, Раннье и *Авриаль.*> Прибавили Dorian'a.

Это придало совершенно другой характер движению, поставив диктатуру на место выборной Коммуны.

Настала ночь и национальная гвардия разошлась. Члены Comité de Salut public <Комитета Общественного Спасения> остались в Hôtel-de-Ville, с членами правительства [Трошю и J. Favre удрали, хотя Flourens обещал sur sa tête <ручаясь своей головой> не пускать никого до полного вступления во власть Комитета].

<В этой ситуации гг. Бланки, Мильер, Флуранс и Делеклюз решили уступить место на следующих условиях, принятых их восторжествовавшими противниками:

1°. Нынешние члены правительства Обороны останутся на своих постах до коммунальных выборов, которые они обязуются провести в кратчайший срок.

2°. Члены *Комитета общественного спасения* свободно удалятся, и правительство Обороны не станет возбуждать никаких преследований против кого бы то ни было в связи с только что произошедшими событиями.

Это решение было вызвано тем обстоятельством, что гг. Трошю, Ж. Ферри, во главе батальонов национальной гвардии из аристократических кварталов, найдя площадь почти опустевшей и городскую ратушу плохо охраняемой, ввели своих людей равно как и батальоны бретонских мобилей: первых по лестницам ратуши под крики: «Да здравствует республика», а бретонцев по подземным ходам, сообщавшимся с их казармой, расположенной по соседству с ратушей.>

Правительство победило. Члены *Comité de Salut public* не хотели брать на себя ответственности за гражданскую войну, созывая батальоны <народных кварталов, «отвергли власть, купленную столь дорогой ценой [(«гражданская война»)] и они были правы».>. (99).

(?)

В 4 часа утра все было кончено. <Движение сторонников Коммуны потерпело поражение, и люди 4 сентября смогли сохранить свои позиции.>

<Глава IV. *С 31 октября до капитуляции Парижа*>.

Причины неудачи 31 октября: 1) <Отсутствие всякого руководства со стороны Интернационали. 2) Нелепое или своекорыстное отвращение, объектом которого явился Бланки>. Республиканцы тотчас отклонились от движения, как увидали тень <Бланки. «Дело в том, что они (республи-

канцы) увидели как посреди схватки возникает тень Бланки!»> (100). Они повторяли ignominies <низости>, которыми его осыпал в 1848 году dans la *Revue rétrospective* <в *«Ревю ретроспектив»*> лакей Бонапарта le sieur Taschereau <некий господин Ташеро>. Наконец многие социалисты считали его тоже слишком авторитарным.

Буржуазия, которой тяжела была осада, лишающая ее прелестей жизни, безмерно радовалась неудаче 31 octobre.

Правительство, чтобы легализировать себя, устроило *plébiscite (4 novembre)* <*плебисцит (4 ноября)*>, который дал ему громадное большинство: 321.373 ***oui*** et <***„да"*** и> 53.585 ***non*** <***„нет"***> [Lefrançais считает, что около 300.000 воздержались от голосования, ибо вообще в Париже около 450 тысяч избирателей, а теперь в нем было 200.000 мужчин больше, благодаря армии, морякам и подгородным жителям, искавшим убежище. Этот фарс plébiscitaire между прочим обвинял insurgés <инсургентов> 31 octobre в краже серебра из Hôtel-de-Ville, в продаже пруссакам etc.

Затем правительство арестует виновников* 31 октября: 14 человек было арестовано <(Верморель в том числе)> <Бланки, Мильеру и Флурансу удалось избежать ареста**>. Общее негодование. — Правительство обвиняет арестованных в следующем: 1) покушение вызвать гражданскую войну; 2) <самоуправное наложение секвестра; 3) ультимативные угрозы> (sic). Военный суд оправдал их.

<Нет таких позорных деяний, таких политических, административных и судебных преступлений, какими люди 4 сентября не замарали бы принцип, который они якобы представляли.> (107).

Затем произошли выборы мэров. 20-me arrondissement <20-ый округ> выбрал арестованных по делу 31 octobre и правительство назначило само членов муниципалитета, продержавшихся несмотря на протесты до 18 mars <марта>.

J. Favre в день 31 octobre писал дочери: <«Дочь моя, я погиб, я буду предан суду!».>

Вылазки (sorties) парижан оказываются неудачными: 28/XI Ducrot, объявлявший накануне, что вернется «mort ou victorieux» <«мертвым или победителем»>, был разбит: из Champigny <Шампиньи> парижане оттеснены в Vincennes <Венсенн>. — Вылазка 19 января тоже неудачна.

Трошю, объявлявший: «le gouverneur de Paris ne capitulerait pas! <«губернатор Парижа не капитулирует!»> стал невозможным. Он выходит в отставку. Его сменяет <*Винуа*[18] — один из сообщников Бонапарта в декабре 51! (стр. 112).

---

* <Бланки, Мильер, Жаклар, Верморель, Ф. Пиа, Лефрансе, Эд. Левро, Тридон, Раньье, Разуа, Тибальди, Гупиль, Пийо, Везинье, Режер, Жоли и Сириль.>

** F. Piat был арестован, но убедил правительство в своей невиновности и был выпущен. Впоследствии Vermorel упрекал за это Pyat.

Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. — Фонд 2, опись 1, единица хранения 62, листы 1—20. — Подлинник.

ПРИМЕЧАНИЯ

1) Наполеон III (Луи Бонапарт) (1808—1873). Ленин оценивал его как «проходимца», указывал, что своими «реформами» он затянул «на долгие годы петлю на шее трудящихся масс...», клеймил типично «бонапартистские приемы авантюриста», разоблачал контрреволюционный смысл демагогических фраз, которые «рассыпал Луи-Наполеон,— о равенстве, братстве, свободе, чести и достоинстве родины, о традициях великой революции, о подавлении анархии». В «Плане чтения о Коммуне» Ленин отметил как характерные черты Наполеона III: «Авантюризм... Необходимость внешнего блеска, войн».

2) Леон Гамбетта (1838—1882) — буржуазный республиканец. Ленин иронически называл французскую республику «республикой Гамбетты».

3) Луи Жюль Трошю (1815—1896) — главнокомандующий армией осажденного Парижа, председатель «правительства национальной обороны». В «Плане чтения о Коммуне» Ленин писал: «Правительство национальной обороны = правительство народной измены. Трошю: «план» защиты Парижа. Комедия защиты». Ценный фактический материал для этих выводов содержит «Очерк» Лефрансе (см. стр. 13 данной публикации, где Ленин отмечает, что правительство Трошю «хотело разыграть комедию осады»).

4) Жюль Фавр (1809—1880) — буржуазный республиканец, один из палачей Коммуны. В марте 1904 года Ленин в конспектах доклада о Коммуне писал о Фавре: «Защита Парижа. Комедия Жюля Фавра,... Захват власти жульем (Фавр, Трошю, Тьер — ticket of leave men)" Последнее английское выражение заимствовано у Маркса и означает преступников, получивших отпускной билет из тюрьмы до отбытия срока наказания.

5) Эрнест Пикар (1821—1877) и Жюль Ферри (1832—1893) — члены «правительства национальной обороны» Трошю—Фавра и версальского правительства Тьера. В конспекте речи «В память Парижской Коммуны» Ленин отметил: «Власть в руках проходимцев, полицейминистра Луи Филиппа Тьера, генерала Трошю. Жюль Фавр, Жюль Ферри. Эрнест Пикар».

6) «Чего изволите» — щедринская характеристика политической беспринципности. Это меткое выражение Щедрина В. И. Ленин — вслед за публикуемым конспектом — приводил в книгах: «Что делать?» «Аграрная программа социал-демократии...» и в статьях: «Разоблаченные ликвидаторы», «Российская свобода слова», «Карьера».

7) Густав Клюзэрэ (1823—1900). Весной 1905 года В. И. Ленин отредактировал перевод статьи Клюзэрэ «Об уличной борьбе» и сопроводил его заметкой, знакомящей читателя «вкратце с небезынтересной биографией автора» — «знаменитого деятеля Парижской Коммуны».

8) Шарль Лонге (1833—1903) — журналист, член Генерального Совета Интернационала, Коммуны и ее Комиссии труда и обмена, редактор газеты Коммуны „Journal Officiel", муж Женни Маркс. К. Маркс и В. И. Ленин отмечали прудонистские ошибки Лонге.

9) Эдуард-Мари Вальян (Вайян) (1840—1915) — инженер, доктор медицины, член Генерального Совета Интернационала, Коммуны и ее Исполнительной комиссии, делегат Комиссии по просвещению, в последние годы жизни — редактор «Юманите». В. И. Ленин считал Вальяна до его «измены социализму в августе 1914 года» «крупнейшим вождем международного социализма». В январе 1913 года Ленин так отозвался о голосовании французских рабочих за «старого коммунара» Вальяна, выдвинутого кандидатом на пост президента республики:

«Голосование за Вальяна было демонстрацией в честь Коммуны. Вальян — живая память о ней. Достаточно хоть раз видеть, как встречают парижские рабочие появление на трибуне седого, как лунь, Вальяна, чтобы понять это».

10) Луи Огюст Бланки (1805—1881). Ленин осуждал идейные взгляды Бланки, отрицавшего теорию классовой борьбы, его «ложные теории и ошибки», отмечал, что он «для своей газеты не нашел более подходящего названия, как буржуазный вопль: «Отечество в опасности!» (ср. стр. 13 данной публикации), но одновременно указывал, что Бланки — «несомненный революционер и горячий сторонник социализма».

11) Спопиация (от лат. „spoliatio" — отнятие, лишение) — отчуждение собственности.

12) Клеман Тома (1809—1871) — французский генерал-реакционер, убитый в день победы Коммуны восставшими солдатами. Ленин писал в конспекте «В память Парижской Коммуны»: «Расстрел Леконта и Клемана Тома, бонапартистских офицеров, не дело Коммуны, а возмущенных солдат».

13) Отто Бисмарк (1815—1898). Ленин охарактеризовал его как лидера прусской юнкерской реакции, ставшего «душеприказчиком половинчатой немецкой революции 1848-го года», и злейшего врага Коммуны. «Роль Бисмарка = наемный убийца», указал Ленин в «Плане чтения о Коммуне». Он отмечал, что Бисмарк «отпустил из немецкого плена 100.000 французских солдат для покорения революционного Парижа», что «в 1871-м году буржуазная Франция продавала родину Бисмарку, чтобы подавить восстание пролетариата», и объединялась с ним «для подавления Коммуны». В годы гражданской войны Ленин напоминал, что «буржуазия идет на все преступления — пример версальцев и их сделки с Бисмарком говорят кое-что для всякого человека который относится к истории не как гоголевский Петрушка...»

14) Адольф Тьер (1797—1877) — глава версальского правительства, палач Коммуны. Ленин заклеймил «салонно-приличные, парламентски-безупречные оппортунистические фразы» демагогических речей и писаний Тьера. По ленинской характеристике, опирающейся на оценки и высказывания Маркса, Тьер — это «чудовищный

карлик,.. идеальный выразитель политической продажности буржуазии».

15) Огюст Серрайе (1840 — ?) — рабочий-обувщик. Член Генерального Совета Интернационала, «ЦК 20-ти округов», Коммуны и ее Комиссии труда и обмена.

16) Луи Блан (1811—1882). В. И. Ленин, вслед за Марксом и Энгельсом, резко отрицательно отзывался о Луи Блане — типичном представителе «дурачков 1848-го года, столь беспощадно осмеянных и заклейменных Марксом». Вскоре после возвращения в 1917 году в Россию Ленин заявил в статье «Луиблановщина»: «Французский социалист Луи Блан в революцию 1848 года печально прославил себя тем, что с позиций классовой борьбы перешел на позицию мелкобуржуазных иллюзий, прикрашенных фразеологией якобы «социализма», а на деле служащих лишь укреплению влияния буржуазии на пролетариат».

«Сладенького Луи Блана», его «слабость, шаткость, доверчивость к буржуазии» Ленин высмеивал и в других работах, напоминая, что Блан «был вождем рабочих на словах, хвостом буржуазии на деле» и «фразой» «отговаривался» от классовой борьбы».

17) Александр Огюст Ледрю-Роллен (1808—1874) — буржуазный демократ. Ленин резко критиковал «Ледрю-Ролленов кадетской партии, так же близоруко переоценивавших парламентаризм, как Ледрю-Роллен...», подчеркнув, что мещанские демократы и «социалисты» вроде Ледрю-Роллена «на деле в лучшем случае игрушка в руках буржуазии, в худшем — прямые прислужники ее».

18) Жозеф Винуа (1800—1880) — генерал, командовавший версальской армией в дни Коммуны. В конспекте речи «В память Парижской Коммуны» Ленин отметил среди важных исторических фактов: «Назначение губернатором Парижа — Винуа»...

Ленин в Британском Музее

В начале апреля 1902 года В. И. Ленин переехал из Мюнхена в Лондон. Как только печатание «Искры» в типографии английской социал-демократической организации было налажено, Ленин обратился в дирекцию Британского Музея с просьбой разрешить ему заниматься в читальном зале. Необходимую в таких случаях рекомендацию Ленин получил у И. Митчелла — тогдашнего секретаря Всеобщей федерации тред-юнионов. Однако рекомендация эта не удовлетворила дирекцию, ибо улицы, на которой жил Митчелл, не оказалось в городском справочнике. Ленину пришлось вторично обратиться за рекомендательным письмом, которое публикуется ниже.

По воспоминаниям старого большевика Н. А. Алексеева, жившего тогда в Лондоне, Ленин почти ежедневно работал в читальном зале Британского Музея. По свидетельству Н. К. Крупской, в Британском Музее, куда Владимира Ильича привлекала богатейшая библиотека, «он проводил половину времени».

Письма подписаны конспиративным псевдонимом В. И. Ленина — «Якоб Рихтер». В конце февраля или начале марта 1902 года Ленин сообщил Н. А. Алексееву, что на его имя «будут приходить письма для некоего Якоба Рихтера», предназначавшиеся Владимиру Ильичу. «Мы записались Рихтерами», — вспоминает о том периоде и Н. К. Крупская.

Публикуемые ниже документы — единственные в ленинском рукописном наследии подписанные псевдонимом «Якоб Рихтер», не отмеченным среди литературных и эпистолярных псевдонимов В. И. Ленина в Справочном томе к 4 изданию Сочинений В. И. Ленина (ч. II, стр. 129—130). Документы эти в 1953 году были экспонированы на выставке в Лондоне, открытой в честь 200-летия основания Британского Музея и, наряду с аналогичными документами К. Маркса, вызвали большой интерес посетителей выставки.

К сожалению, круг литературы, изучавшейся Лениным в читальном зале Британского Музея, до сих пор еще не уточнен, что, разумеется, трудно осуществимо без помощи английских исследователей. Публикуемый ниже список различных изданий восходит к 1902—1903 годам и дает известное, хотя и далеко не полное представление о литературных интересах Ленина в этот период.

После 1902 года Ленин побывал в Лондоне в 1903, 1904 и 1907 годах — на II, III и V съездах партии. Руководя работой этих съездов, Владимир Ильич вряд ли мог уделить время для занятий в читальном зале Британского Музея. Однако в мае 1908 года Ленин приехал в Лондон специально для этих занятий, связанных с подготовкой книги «Материализм и эмпириокритицизм». Ленин ссылается в ней на книги и статьи почти двадцати английских и американских философов и естествоиспытателей — от трактатов Беркли и Юма, до новейших выступлений Артура Риккера (1901), Нормана Смита, «спиритуалистического мониста» Джемса Уорда (1906), Бельфорта Бакса, Д. Томсона (1907). Можно предположить, что именно в 1908 году в Британском Музее было подготовлено заключительное примечание к главе: «Новейшая революция в естествознании и философский идеализм», в котором приводятся высказывания «знаменитого химика Уильяма Рамсея» в его «Очерках биографических и химических», опубликованных в Лондоне в 1908 году, видимо, накануне приезда туда Владимира Ильича. Аналогично по своему характеру и подстрочное примечание, восходящее к монографии Д. Томсона «Корпускулярная теория материи», изданной там же, в 1907 году. В то же время вряд ли где-либо, кроме Британского Музея, мог Ленин разыскать и номер чикагского журнала «интернациональной социалистической мысли» — «Интернациональное обозрение» за апрель 1908 года, а равно и незадолго до этого появившуюся в Нью-Йорке книгу Вильяма Джемса — основоположника прагматизма, ставшего по ироническому ленинскому замечанию «последней модой» самоновейшей американской философии». Вероятно, именно в Британском Музее хранились изученные Лениным комплекты философских журналов на английском языке, выходивших в Англии и США: «Природа», «Естественная Наука», «Дух», «Американское Научное Приложение», «Философское Обозрение» (Нью-Йорк), «Монист» и «Открытая Трибуна» (Чикаго).

В. И. Ленин

Два письма директору Британского Музея

(Перевод с английского).

1

30 Holford Square
Pentonville W.C

Sir,

I beg to apply for a ticket of admission to the Reading Room of the British Museum. I came from Russia in order to study the land question. I enclose the reference letter of Mr Mitchell.

Believe me, Sir, to be Yours faithfully
Jacob Richter

April 21 1902

To the Director of the British Museum

21 апреля 1902. Лондон.

<30. Холфорд сквер.
Пентонвилл. W.C.

Сэр,

Обращаюсь к Вам с просьбой о выдаче мне билета на право входа в читальный зал Британского Музея. Я прибыл из России для изучения аграрного вопроса. Прилагаю рекомендательное письмо м-ра Митчелла.

С глубоким уважением к Вам, сэр,
Якоб Рихтер.

Апрель 21. 1902.

Директору Британского Музея.>

Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.— Фонд 2. опись 1, единица хранения 755, лист 1.— Фотокопия подлинника.

2

30 Holford Square
Pentonville W.C

4332

Sir,

In addition to my letter and with reference to Your information № 4332 I enclose the new recommendation of Mr Mitchell

Yours faithfully
Jacob Richter

24 April 1902

24 апреля 1902. Лондон.

<30. Холфорд сквер.
Пентонвилл. W.C.

4332

Сэр,

в дополнение к моему письму и в ответ на Ваше уведомление № 4332, представляю новую рекомендацию м-ра Митчелла.

Уважающий Вас
Якоб Рихтер.

24 апреля 1902.>

Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.— Фонд 2. опись 1, единица хранения 768, лист 1.— Фотокопия подлинника.

И. Митчелл

Письмо директору Британского Музея

(Перевод с английского)

23 апреля 1902.

ВСЕОБЩАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТРЭД-ЮНИОНОВ

4332

Директору
Британского Музея
Лондон W. C.

Адрес:
168—170, Темп Чеймберз,
Темпл авеню.
Лондон — Апреля 23-го 1902

Сэр,

Затруднения, возникшие у Вас в связи с рекомендацией, данной мною г-ну Рихтеру, просившему предоставить ему право пользоваться читальным залом, объясняются тем, что улица, на которой я проживаю (Вольтер-стрит, Клэпхем), возникла лишь недавно, и, видимо, еще не указана в справочнике. Настоящим письмом я подтверждаю мою рекомендацию. Возможно, что адрес, указанный на этом бланке, вы тоже не сможете обнаружить в справочнике, ибо до декабря 1901 года мы находились по другому адресу: 40 Бридж Хаус, 181, Куин Виктория-стрит Е. С.: именно этот адрес Вы и найдете в справочнике.

Это разъяснение, надеюсь, Вас удовлетворит.

Ваш Исаак Митчелл.

Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Фонд 2, опись 1, единица хранения 758, лист 2.— Фотокопия подлинника.

В. И. Ленин

Список книг, журналов и газет

Не ранее апреля 1902, не позднее апреля 1903. Лондон.

<*Г. Дж. Огден*

Война против голландской республики в Южной Африке.
1 шиллинг. Лондон.> 1901 год.

(Собрание статей из газет и журнальных материалов).

Интересно.

<«Братство»
ежемесячник. 1 пенс.

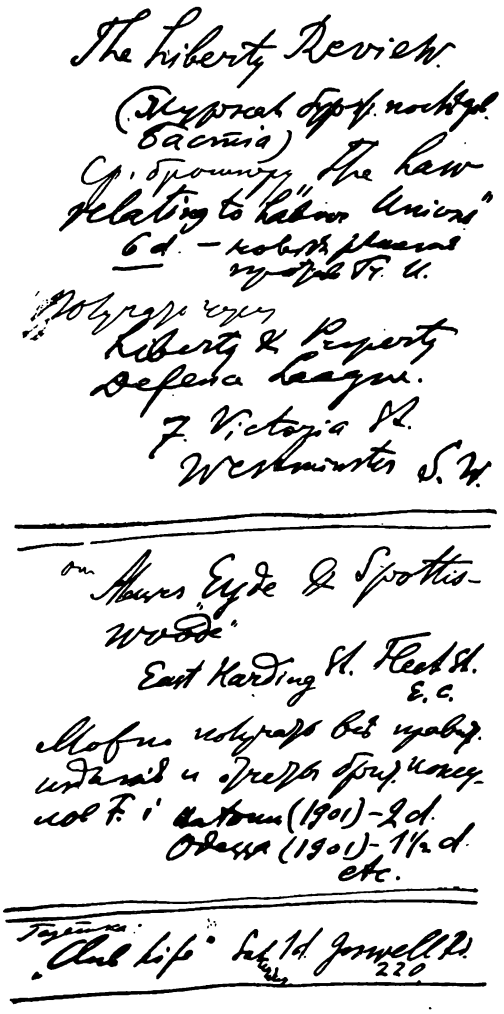
(Кажется христианский или деистический социализм)

[9. Чартерхаус
(Госуэлл-роуд)
Бильдингс. Лондон. Е. С.]
«Церковь Братства»[1] Саутгейт-роуд. N.
Воскресенье. 11 утра и 7 вечера.
Священник Уоллес.>

<«Земля и Труд». Орган «Национального Земельного Общества».
1 пенс. Ежемесячник.
432 (432). Вест Стрэнд. W.C.
или Уильям Ривз. 185. Флит-стрит. *Е. С.*>

<Р. С. Хоукин. Секретарь Клуба Восьмидесяти.
3. Хэр Корт. Тэмпл. Е. С.>
(Либеральный клуб).
От него можно получить список лекций и брошюр по 1 пенсу.

<Сельскохозяйственная библиотека Дома Земледельца. 26. Улица Жакоб. 26. Париж.> (Высылает даром каталог).



Факсимиле второго столбца рукописи В. И. Ленина «Список книг, журналов и газет. Уменьшено.

<«Либерти Ревью».>
(журнал буржуазных последователей Бастиа[2])

Сравни брошюру: <«Закон о рабочих союзах»
— *6 пенсов*>
— новые решения против <трэдюнионов.>

Получать через:

<Лигу защиты свободы и собственности.
7. Виктория стрит.
Вестминстер S.W.>

От
<господ «Айди и Споттисвуд»
Ист Хардинг-стрит. Флит-стрит
Е. С.>

Можно получать все правительственные издания и отчеты британских консулов.

<Напр. Батум (1901) — 2 пенса
Одесса (1901) — 1½ пенса>
etc.

Газетка:
<«Клубная жизнь». Субботняя. 1 пенс. Госуэлл-роуд. 220.>

Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.— Фонд 2, опись 1, единица хранения 774, лист 1.

ПРИМЕЧАНИЯ

1) О посещении В. И. Лениным аналогичной «социал-демократической церкви» рассказывает в своих «Воспоминаниях» Н. К Крупская: «По каким только собраниям мы не шатались! Раз забрели в социал-демократическую церковь... Ответственный работник социал-демократ читал в нос библию, а потом говорил проповедь на тему, что исход евреев из Египта — это прообраз исхода рабочих из царства капитализма в царство социализма. Все вставали и по социал-демократическим молитвенникам пели: «Выведи нас, господи, из царства капитализма в царство социализма». Потом мы еще раз ходили в эту церковь «Семи сестер» на собеседование с молодежью. Юноша читал доклад о муниципальном социализме, доказывая, что никакая революция не нужна, а социал-демократ, выступавший при нашем первом посещении церкви «Семи сестер» в роли попа, заявлял, что он уже 12 лет состоит в партии и 12 лет борется с оппортунизмом, а муниципальный социализм — это чистой воды оппортунизм».

2) Фредерик Бастиа (1801—1850) — буржуазный экономист, проповедовавший «гармонию труда и капитала». Ленин отмечал, что французские социалисты «изощряли в свое время свои пропагандистские и агитаторские способности на разборе софизмов Бастиа». Осенью 1922 года в интервью корреспонденту «Манчестер Гардиан» А. Рэнсому Владимир Ильич указал: «Бастиа, кажется, держался почти всерьез мнения, что «древние греки и римляне жили грабежом». Он не очень заботился о том «экономическом» вопросе, откуда же получалось то, что грабили эти живущие грабежом лица?»

Ленин и Шоу

Непримиримый враг буржуазной идеологии, убежденный сторонник социализма, несмотря на все свои социал-реформистские заблуждения, Бернард Шоу был одним из самых первых и самых верных друзей Советского Союза на Западе.

Ленин высоко ценил творчество и общественную деятельность великого английского сатирика. Он следил за публикациями его статей на русском языке, беседовал о нем с представителями английской культуры.

Еще в 1915—1916 годах, конспектируя книгу шведского публициста Густава Стеффена — «Всемирная война и империализм. Социально-психологические документы и наблюдения во время всемирной войны 1914/5», Ленин выделил «сочные цитаты Джорджа Бернарда *Шоу* об английском лицемерии», которое неизменно преследовал сатирик. Одновременно Ленин указывал, что Шоу «писал и *тьму* статей [между прочим и в «Новом политическом ежегоднике» ("New Statesman Yearbook")] о необходимости «разгромить» Германию». Эту выписку, характеризующую противоречивость общественной позиции Шоу в годы первой мировой войны, Ленин отметил на полях конспекта.

В № 28 «Книжной Летописи», вышедшем 15 июля 1917 года, Ленин подчеркнул и отчеркнул на полях библиографическую аннотацию сборника «Нужна ли война?», содержащего статью Шоу, написанную после Февральской революции в России. Статья эта, озаглавленная «Необходимость внутреннего единства», отражала типичные для того времени настроения так называемого «революционного оборончества», губительность которого неустанно разъясняли трудящимся большевики.

Шоу, несомненно, ошибался, призывая русских солдат продолжать империалистическую войну, но одновременно он резко и непримиримо выступал против контрреволюции.

«Только безумцы,— писал тогда Шоу,— только темные невежественные фанатики смеют ввергнуть Россию обратно в ту яму, из которой она только что вылезла на свет божий. Во всяком случае нельзя позволить ни безумцам, ни невеждам, ни придворным повернуть часовые стрелки назад.»

Два года спустя — в 1919 году — английский журналист Артур Рэнсом, автор книги «Шесть недель в Советской России», беседовал с Лениным о Бернарде Шоу и записал высказывания Владимира Ильича о выдающемся писателе:

Ленин рассказал Рэнсому, что на одном собрании он слышал Бернарда Шоу.

— Шоу, — сказал Ленин, — честный парень, попавший в среду фабианцев. Он гораздо левее, чем все, кто его окружает.

«Ленин,— пишет Рэнсом, — еще ничего не слыхал о книге Шоу "The perfect Wagnerite" («Совершенный вагнерианец») и был очень заинтересован, когда я ему рассказал о ее содержании, и когда кто-то прервал нас восклицанием: «Шоу — это клоун!» — Ленин резко обернулся и сказал: «В буржуазном государстве он может быть и клоун для мещанства, но в революции его не приняли бы за клоуна».

Среди ленинских документов, связанных с Бернардом Шоу, есть и письмо А. М. Горькому от 6 декабря 1921 года, в котором Ленин просил привлечь Шоу к помощи голодающим Поволжья.

«...не напишете ли Бернарду Шоу, — запрашивал тогда Ленин, — чтобы он съездил в Америку, и Уэллсу, который-де теперь в Америке, чтобы они оба взялись для нас помогать сбором в помощь голодающим?»

Ленин видел в Шоу друга советских людей. Английские биографы писателя могли бы, вероятно, установить, как откликнулся он на это ленинское обращение.

Ниже публикуются замечания Ленина о предисловии Бернарда Шоу к его драматической пенталогии «Назад к Мафусаилу». Ее составляет цикл из пяти пьес, в которых Шоу утверждает, что люди — с точки зрения их духовного развития — умирают несовершеннолетними, ибо только достигнув «библейского» — «мафусаилова»—возраста, лет в триста, человек становится вполне зрелым и мудрым.

Многие критики и литературоведы восприняли эту «теорию» всерьез и гневно обрушились на «дедуктивную биологию» Шоу. Однако идейный пафос пьес Шоу вовсе не в этих парадоксах, а в утверждении интеллектуальной и моральной неполноценности человека, духовно изуродованного капиталистическим строем.

В первой пьесе Шоу остроумно переосмысляет библейские мифы. В уста Каину, которого Адам упрекает в братоубийстве, драматург вкладывает слова, обличающие империалистскую, а несколько лет спустя нашедшую еще более полное выражение в фашизме, «философию» убийства как культа «силы» и «мужества».

— Я первый убийца, а ты только первый человек, — говорит Каин Адаму. — Каждый мог стать первым человеком; это так же легко, как быть первой капустой. Но чтобы стать первым убийцей — для этого надо быть отважным...

Каин мечтает о покорных рабах. Он горделиво называет себя «героем и сверхчеловеком». Однако Ева, в образе которой писатель символизирует идею материнства, любви, созидательной жизни, презрительно обрывает его разглагольствования:

— Сверхчеловек! Ты не сверхчеловек; ты противочеловек! Ты для других людей то же, что хорек для кроликов...

Действие второй части пенталогии происходит «в первые годы после общеевропейской войны». В ней драматург сталкивает ученого Франклина Барнэбаса с его дочерью «большевичкой» Сэвви и беспринципным политическим карьеристом Бэрджем. Прототипом этого буржуазного политикана послужил Ллойд Джордж. Барнэбас ядовито называет его главарем «шайки социалистов и антисоциалистов, ярых империалистов и сторонников островной Англии, литых из железа материалистов и исступленных квакеров, сторонников научного христианства и приверженцев принудительного оспопрививания, синдикалистов и бюрократов...»

Бэрдж в свою очередь ополчается против опасного политического конкурента Любена (в котором нетрудно узнать Асквита), но тот парирует его демагогические выкрики о народе уничтожающей репликой с явственными интонациями самого Шоу:

— Не будьте смешны, Бэрдж. Вы — провинциальный адвокат, дальше ушедший от народа, более чуждый ему, более боящийся позволить ему подняться до вашего уровня, чем любой герцог или архиепископ.

Страстный противник империалистических войн, Шоу устами Барнэбаса высказывает свои заветные антимилитаристские взгляды:

— Чего мы ждем теперь с этими чудовищными пушками, направленными на каждый город, на каждую гавань? С этими страшными аэропланами, готовыми подняться в воздух и начать раскидывать бомбы, из которых каждая может разрушить целую улицу и распространить ядовитые газы, способные разом отравить тысячи и тысячи людей?..

В четвертой части, озаглавленной «Трагедия пожилого человека», Шоу переносит действие в 3000 год и противопоставляет людей будущего своим современникам. Один из них спрашивает встретившую его женщину грядущего, не принадлежит ли она к числу местных помещиков. Его собеседница отрицательно качает головой и сообщает, что в этой части страны сохранилось лишь предание «о животных, которые так назывались», а потом были перебиты и исчезли. Она рассказывает «пожилому джентльмену» — воплощению англосаксонской буржуазной ограниченности, что тысячу лет назад — в 2000 году — произошла «война, которая называлась войною за окончание войны. Во время войны, последовавшей за ней спустя десять лет, ни один солдат не был убит, зато семь европейских столиц были сметены с лица земли. Должно быть, дело было жаркое: государственные люди, думавшие, что послали на смерть десять миллионов простых смертных, сами вместе со своими домами и семьями были в пух и прах разнесены взрывом, в то время как десять миллионов людей притаились в пещерах, которые сами вырыли. В следующий раз даже дома уцелели, но люди были отравлены газами, не пощадившими ни единой живой души...» Наконец, в заключительной — пятой — части драматург противопоставляет людей 31920 года крикливым, невежественным, бесчестным, трусливым и подлым уродам капиталистической цивилизации. Так писатель ополчается против всего ненавистного ему в буржуазном мире, обращаясь к легендарному прошлому, современному ему настоящему и фантастическому будущему.

Глубоко гуманистическая пьеса Шоу в присущей этому художнику манере обличает скверны буржуазного мира, его незаживающие язвы и болезни. И этот блестящий памфлет против капитализма, его философии, идеологии, морали, религии, политики, многие критики объявляли «евангелием защиты капитализма», хотя вся пьеса от начала до конца отрицает капитализм. Ее смысл сводили лишь к утверждению «идей реакционной буржуазной евгеники», хотя для Шоу они лишь парадоксальная форма сатирического обличения.

Публикуемые замечания Ленина прямо противоположны столь односторонним критическим суждениям, несмотря на то, что в предисловии ошибки Шоу выступают особенно наглядно и очевидно. Умение всесторонне, диалектически рассмотреть творчество писателя в его идейно-художественных достоинствах и недостатках отличало литературно-критические суждения Ленина. Так и в этом случае он отмечает полные сарказма антикапиталистические высказывания Шоу о буржуазно-феодальной морали, насаждаемой английской школой, о глубокой реакционности буржуазной культуры, при которой так называемый «образованный человек» оказывается более политически отсталым, чем «необразованный». Вполне солидаризируется Ленин с гневными инвективами Шоу, бичующего капиталистическое общество, основанное на наживе, буржуазное почтение «к праздности, роскоши, паразитизму». Вместе с Шоу клеймит он политических заправил капиталистического мира — «милитаристов и империалистов», «напыщенных кретинов, помешанных на титулах, коммерческих авантюристов», «финансовых паразитов», мастеров принуждения и порабощения.

Весьма современны и те особо отмеченные Лениным страницы, где Шоу разоблачает английских поджигателей войны, охваченных уже в двадцатые годы «слепой паникой», в которую переродилась пресловутая «английская осторожность». С негодованием отзывается Шоу о безрассудных агрессорах, требующих «не меньше, чем абсолютного военного господства над всем земным шаром, то есть вещи совершенно невозможной...»

Ленин горячо поддерживает Шоу — сатирика и непримиримого врага капитализма. Его наиболее меткие и яркие антибуржуазные высказывания, афоризмы и парадоксы сопровождаются традиционными ленинскими пометками «bien dit» («хорошо сказано»), «NB» и отчеркиваниями на полях.

Однако неугасимая ненависть к капитализму уживалась у Шоу с реформистскими заблуждениями, по-своему отражавшими специфические особенности и слабости английского рабочего движения начала XX века. Шоу был фабианцем, то есть мелкобуржуазным социалистом, и хотя он на голову выше своих соратников по «Фабианскому обществу» и прежде всего Сиднея и Беатрисы Вебб, его, разумеется, нельзя считать последовательно революционным марксистом. И Ленин отмечает те заявления Шоу, в которых отражается его фабианский «социализм». Ленин берет под сомнение принадлежащую Шоу весьма некритическую характеристику супругов Вебб. Неодобрительным ленинским восклицанием сопровождены и рассуждения Шоу о некоей новоявленной теории «Творческой эволюции», якобы представляющей собой «единственную подлинно научную религию, которой сейчас жадно взыскуют все мыслящие люди». Напомним, что менее чем за год до ознакомления с памфлетом Шоу, недвусмысленно озаглавленном «Пятьдесят лет безверия», Ленин переиздал книгу «Материализм и эмпириокритицизм», резко выступающую против всяческого «богоискательства» и «богостроительства».

Бернард Шоу

Дарственная надпись на книге „Назад к Мафусаилу“

(Перевод с английского)

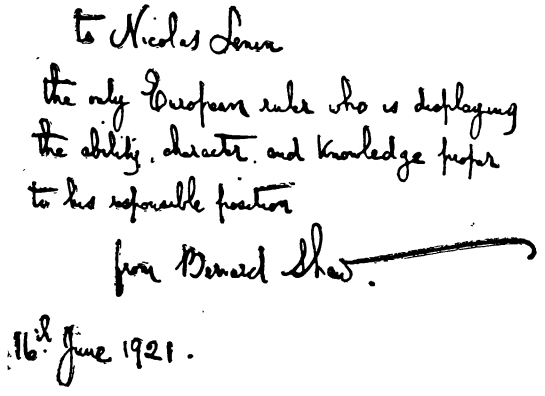
... <Николаю Ленину,

который один среди государственных деятелей Европы обладает дарованиями, характером и знаниями, необходимыми человеку на столь ответственном посту.

от Бернарда Шоу

16-го июня 1921.>

Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.— Фонд 2, опись 1, единица хранения 19379, лист 2.— Подлинник.



У этого автографа Бернарда Шоу— примечательная история. Книгу «Назад к Мафусаилу» Шоу послал в Россию летом 1921 года. Десять лет спустя — 26 июля 1931 года — москвичи собрались в Колонный зал Дома Союзов, чтобы отметить 75-летие со дня рождения великого английского сатирика, приехавшего в Советский Союз. В своей речи Шоу сказал: «...я однажды послал одну из моих книг Ленину с посвящением, полным энтузиазма, в надежде, что это посвящение будет опубликовано во всей Европе. Я не знаю, что случилось с этой книгой, но во всяком случае посвященные мною Ленину строки нигде никогда не появлялись».

Воспроизведенные выше строки Шоу дополняют уже известные высказывания писателя о Ленине, которого он считал единственным в мире «человеком, превосходящим всех остальных, человеком, которого можно поставить в один ряд лишь с немногими, но и в ряду этих немногих он на голову выше остальных».

Будущее — с Лениным, заявил писатель. Ленин — великий ум и сердце этого столетия, говорил он советским людям.

В 1921 году Шоу выступил со статьей, иронически озаглавленной «Ужасы Советской России», повторив и развив в ней ту характеристику исторических заслуг Ленина, которую он афористически сжато выразил в своем посвящении.

«В данный момент есть один только интересный в самом деле государственный деятель Европы. Имя его — Ленин», — писал Шоу. В скорбные дни января 1924 года в беседе с корреспондентом «Известий» он сказал: «Теперь, когда Ленин умер, ему расточают похвалы даже в буржуазной прессе, но мы помним, что шесть лет назад английская буржуазия открыла против Ленина поход лжи и клеветы, превосходящий даже те низости, которые она валила на Вашингтона в 1780 году; мы помним, что британское правительство истратило сотню миллионов фунтов на финансирование врагов Ленина. Но скоро наша буржуазия увидела, что так продолжать нельзя; она натолкнулась на волну негодования в английском рабочем классе. Я не сомневаюсь, что настанет время, когда здесь, в Лондоне, будет воздвигнута статуя Ленина рядом со статуей Георга Вашингтона: Ленин — величайший государственный деятель во всей Европе». Это было напечатано 29 января 1924 года. Через несколько дней «Известия» поместили более полный текст высказывания Шоу, который вспомнил о своей надписи на посланной Ленину книге. «Я счастлив,— заявил Шоу,— что я приветствовал тогда Ленина, как величайшего государственного деятеля Европы, в надписи на одной из моих книг, которую я послал Ленину. Я надеялся, что это поможет Ленину показать, что в Англии живут не только жертвы, одураченные буржуазной печатью, и класс политических слепцов. Но так как в это время почтовое сообщение с Россией было чрезвычайно затруднено и свирепствовала цензура, боюсь, эта книга, хотя она и была послана через русскую миссию, увы, не прибыла по назначению».

Опасения эти не оправдались. Книга с дарственной надписью Шоу сохранилась, и его посвящение по праву займет свое место в ряду других высказываний писателя о великом Ленине.

В. И. Ленин

Пометки на предисловии Б. Шоу к драматической пенталогии „Назад к Мафусаилу“

1921. Позднее 16 июня.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ЖИВОТНОГО, ИМЕНУЕМОГО ЧЕЛОВЕКОМ.

ха-ха! ... Нео-дарвинизм в политике — привел Европу к катастрофе столь ужасной и столь огромной по масштабам, что сейчас, в 1920 году, когда я пишу эти строки, еще далеко нельзя сказать с уверенностью, что наша цивилизация ее переживет. Обстановка, в которой разыгралась эта катастрофа, воспитанный кино ребяческий романтизм, который дал возможность изобразить ее народу как крестовый поход, а в особенности невежество, проявленное правителями победоносных западно-европейских держав, и ошибки, совершенные ими в тот период, когда острая фаза кончилась и настало время для восстановления разрушенного, все это укрепило в моем уме сомнение, постепенно нараставшее во мне за сорок лет моей общественной деятельности как социалиста, а именно, сомнение в том, что животное, именуемое человеком, способно в нынешнем своем виде разрешить социальные проблемы, порожденные скоплением людей вместе, или, как они сами это называют, их цивилизацией.

NB

ха-ха!

?

ТРУСОСТЬ НЕРЕЛИГИОЗНЫХ ЛЮДЕЙ

...Сейчас одна половина Европы, повергнув другую ниц, пытается забить ее до смерти — и возможно в этом преуспеет, — каковое поведение, по всем законам логики, представляет собой последовательный нео-дарвинизм. А добросердечное большинство смотрит на все это и беспомощно ужасается или позволяет убеждать себя через посредство содержимых эксплуататорами газет в том, что избиение противника до смерти есть не только выгодное помещение капитала, но также акт божественной справедливости, ревностными орудиями которой и являются помянутые эксплуататоры.

Но если человек действительно неспособен навести разумный порядок в обширной цивилизации

или хотя бы в небольшой деревушке или племени, то какой прок от того, что у него будет религия? Религия может возжечь в нем жажду справедливости, но даст ли она ему средства утолить эту жажду? Тут мало благих намерений, нужна политическая мудрость, а это наука весьма сложная. Из тех, кто в Англии пытался ею овладеть, самыми неутомимыми и самоотверженными, самыми способными и бескорыстными исследователями являются, насколько я знаю, мои друзья — Сидней и Беатриса Вебб[1]. Они потратили сорок лет на подготовительную работу и опубликовали несколько трактатов, равных по солидности «Богатству народов» Адама Смита[2], прежде чем им удалось выработать политическую конституцию, сколько-нибудь соответствующую современным нуждам...

ха-ха!

МОЖНО ЛИ ВОЗЛАГАТЬ НАДЕЖДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ?

Обычно ответ на это таков: мы должны воспитывать своих правителей, то есть самих себя. Нужно еще в школе насаждать гражданские чувства и преподавать политическую науку. Нужно? Очень может быть. Но суть дела не в том, что это нужно, а в том, что это *невозможно.* Пусть какой-нибудь учитель попробует это сделать, — он живо очутится на улице без гроша в кармане и без учеников, а не то и в суде на месте подсудимого, откуда и выслушает составленный в высокопарных выражениях приговор за бунт против эксплуататоров. В наших школах детям внушают феодальную мораль с тлетворной примесью торгашеского духа: военного завоевателя, барона-разбойника и спекулянта равно окружают ореолом славы и успеха и выставляют как пример для подражания. Тщетно не поддавшиеся на обман провидцы проповедуют иную, более высокую нравственность; те, кого им удалось обратить, быстро сходят со сцены, а детей в школах по-прежнему тащат назад к морали XV века, так что они, защищая идеи Генриха VII, мнят себя либералами, а восставая против этих идей во имя идей Ричарда III, почитают себя джентльменами. Вот и выходит, что у нас от образованного человека еще больше вреда, чем от необразованного. К счастью, обучение в наших школах — в которые, кстати, никто не стал бы по доброй воле отдавать детей, если бы шко́ла не играла у нас

NB

bien dit!

bien dit!

роль своего рода тюрьмы для малолетних, куда их запихивают, чтобы они не докучали взрослым — обучение в наших школах поставлено так плохо и дает так мало результатов, что мы все-таки не разбиваемся немедленно о скалы ложной доктрины, а только безвольно плывем вниз по течению в глубоком потоке всеобщего невежества. Нет, школьный учитель это не спасение от всех зол.

ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Суть дела в том, что человечество не может быть спасено извне, с помощью школьного учителя или какого-либо другого учителя или правителя: эти господа могут только калечить и порабощать людей. Говорят, что если умыть кошку, то она потом уже никогда не будет умываться сама. Не знаю, правда это или нет, но несомненно одно: если человека чему-нибудь учить, он этому никогда не выучится... Поэтому, если хотите, чтобы ваша кошка была чистой, вылейте на нее ковш грязи: она немедленно начнет так усердно вылизываться, что станет чище прежнего...

!!NB

ДЬЯВОЛЬСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Зато техническое образование — и в этом весь ужас — поставлено у нас и дельно и честно. Мальчика в привилегированной школе всячески дурачат и развращают, его обманывают относительно природы нашего, основанного на наживе общества, ему внушают почтение к праздности, роскоши и паразитизму, но когда нужно научить его стрелять, ездить верхом, развивать свою физическую силу, он получает самую квалифицированную помощь и руководство от людей, одушевленных искренним желанием, чтобы он умел делать все это хорошо, даже по возможности, превосходно. В армии его учат летать, бросать бомбы и орудовать пулеметом со всем совершенством, на какое он способен... В результате, средства разрушения, которые нельзя со спокойным сердцем доверить даже человеку исключительной мудрости и испытанной гуманности, попадают в руки романтических юнцов, начиненных школьным патриотизмом, может быть и добрых по природе, но превращенных с помощью воспитания в невежд,

NB

простофиль, снобов и спортсменов, для которых драка — это религия, а убийство — украшение мужчины. Что же касается политической власти, которая при таких условиях ни для кого не представляет интереса, кроме милитаристов и империалистов вечно терзаемых страхом перед вторжением и потерей преобладания, напыщенных кретинов, помешанных на титулах, коммерческих авантюристов, для которых переход промышленности в руки нации означал бы полное крушение, финансовых паразитов на денежном рынке и консерваторов из тупости, желающих, чтобы все оставалось как есть просто потому, что они к этому привыкли, — то политическую власть захватывают либо по праву наследования, либо путем простой покупки, либо потому, что могут содержать газеты и выдавать их за голос общественного мнения, либо интригами, через разных обольстительных дамочек, либо проституируя свои дарования на службе спекулянтам, которые, ограбив все, что можно, заставляют общество плясать под свою дудку, ибо только у них одних есть средства заплатить дудочнику. Ни те, кто правит, ни те, кем правят, не имеют понятия о государственной политике. Они даже не подозревают, что есть такая область знания как политическая наука, но принуждать и порабощать они умеют как нельзя лучше и могут соединенными усилиями добиться вполне реальных результатов, вплоть до гибели цивилизации, так как их обучение делу убийства проводилось серьезно и добросовестно. По существу, все правители психически ненормальны, а нет ничего страшнее чем правление ненормальных, когда они располагают неотразимыми средствами физического принуждения...

NB

NB

NB

Правители тоже находятся во власти страха, вызванного необыкновенным удешевлением и увеличением производства орудий убийства и разрушения. Английское правительство сейчас боится Ирландии больше, чем Германской империи перед войной, ибо сейчас подводные лодки, бомбы и ядовитые газы стали дешевле и производить их легче. Поэтому прежняя английская осторожность переродилась в слепую панику и, если раньше Англия полагала, что достаточно установить равновесие сил путем своего преобладания на море, то теперь она, во имя собственной безопасности, требует не меньше чем абсолютного военного господства над всем земным шаром, то есть вещи совершенно невозможной, которая

NB

однако представляется возможной нашим военным и штатским, одержимым приходским и островным патриотизмом и потерявшим способность за частностями видеть целое.

. . . . . .

!! ||||| Однако, у нас многие умеют читать трактаты, но не умеют читать библии. Дарвин, например, не мог читать Шекспира. А из тех, кто может читать и то и другое, многие хотели бы ознакомиться с историей своих идей. Другие же, не будучи знакомы с историей, так запутались в обычном у нас смешении Творческой эволюции со Случайным отбором, что всякая попытка разграничить эти понятия приводит их в недоумение. Ради всех этих людей, я намерен дать здесь краткий исторический обзор взглядов на эволюцию, как ее понимают дарвинисты (но не сам Дарвин!), то есть теории Естественного отбора, и ее столкновении с другой, ныне нарождающейся теорией — назовем ее теорией Творческой эволюции, представляющей собой единственную подлинно научную религию, которой сейчас жадно взыскуют все мыслящие люди...

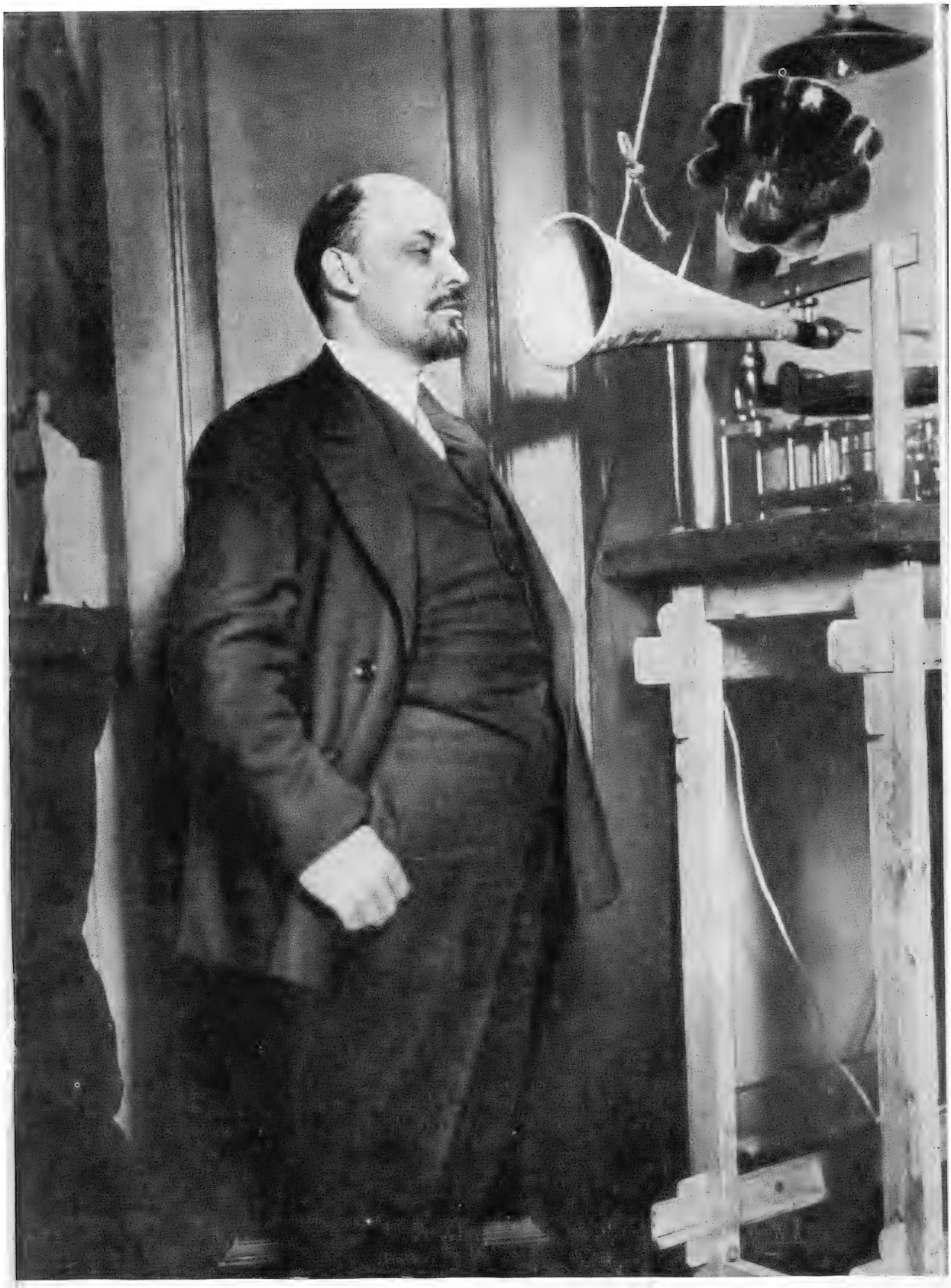
Гм! |||

Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.— Фонд 2, опись 1, единица хранения 19379. Листы 6 об., 7, 7 об., 8, 9, 10 об.— Подлинник.

ПРИМЕЧАНИЯ

1) Вебб (Уэбб), Беатриса (1858—1943) и Сидней (1859—1947) — английские публицисты и общественные деятели. В 1898 году Ленин перевел на русский язык их двухтомный труд — «Теория и практика английского трэд-юнионизма». Ленин относил супругов Вебб к числу представителей «одного из передовых течений английской общественной мысли». Одновременно он характеризовал их, как «основательных ученых (и «основательных» оппортунистов)». После Октябрьской революции Веббы, несмотря на свои социал-реформистские взгляды, стали вместе с Шоу друзьями Советского Союза. Об этом свидетельствуют их книги: «Советский коммунизм — новая цивилизация?» (1935) и «Правда о Советской России» (1942).

2) Полное заглавие труда А. Смита, который упоминает Б. Шоу, гласит: «Исследование о природе и причинах богатства народов». Ленин не раз ссылался на этот труд «великого идеолога передовой буржуазии» и посвятил ему один из разделов главы I книги «Развитие капитализма в России». Критикуя вслед за Марксом ошибочные теории английского экономиста XVIII века, Ленин высоко ценил его научные заслуги, отмечал, что А. Смит «указал наиболее характерные черты развития капиталистического земледелия», подчеркивал, что он и Давид Рикардо, «исследуя экономический строй, положили начало трудовой теории стоимости. Маркс продолжал их дело».



В. И. ЛЕНИН В КРЕМЛЕ
ПЕРЕД ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩИМ АППАРАТОМ

1919 год.

Ленин о Гобсоне

В публикуемой ниже записке Ленин рекомендовал редакции журнала «Красная Новь» перевести на русский язык и перепечатать ряд страниц из книги «Проблемы нового мира» Джона Аткинсона Гобсона (1858—1940) — известного английского буржуазного экономиста и публициста. Начиная с 1899 года, Ленин неизменно следил за трудами Гобсона и относил его «к представителям одного из передовых течений английской общественной мысли».

Исчерпывающую характеристику Гобсона Ленин дал в рецензии на его книгу «Эволюция современного капитализма», опубликованной в мае 1899 года марксистским журналом «Начало». Признавая необходимость замены капитализма высшей формой общественного хозяйства, как писал Ленин, Гобсон относится «к вопросу об этой замене с типично английской реформаторской практичностью... Стройных и цельных теоретических воззрений, которые бы служили базисом для его реформаторской программы и освещали частные вопросы реформы, у Гобсона нет. Поэтому наиболее силен Гобсон в тех случаях, когда дело идет о группировке и описании новейших статистических и экономических данных. Наоборот, когда дело касается общетеоретических вопросов политической экономии, Гобсон оказывается очень слабым».

Эта характеристика достоинств и недостатков Гобсона полностью применима и к его работе, отрывки из которой Ленин посоветовал популяризировать двадцать три года спустя, в 1922 году.

При всех симпатиях к социализму Гобсон остался до последних лет жизни типичным буржуазным реформистом, панически боявшимся пролетарской революции. Теми же особенностями отличается и «главный английский труд об империализме» — книга Гобсона «Империализм», вышедшая в 1902 году и содержащая, по ленинской оценке, «очень хорошее и обстоятельное описание основных экономических и политических особенностей империализма». В ленинских «Тетрадях по империализму» сохранилось множество замечаний об этой и других работах Гобсона. «Книга Гобсона об империализме полезна вообще, — писал Ленин, — а особенно полезна тем, что помогает вскрыть основную фальшь каутскианства в этом вопросе». Отмечал Ленин и такие книги Гобсона, как «Экспорт капитала», «Южно-Африканская война», памфлеты: «Торговля предательством: исследование о политических партиях», «Труд и богатство: человеческая оценка» и другие.

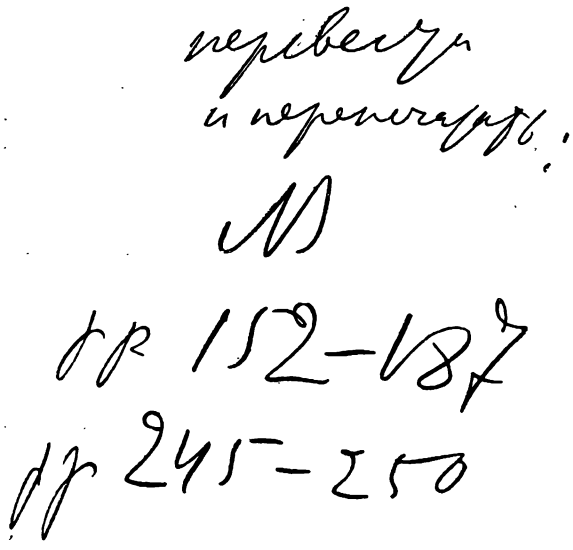
Книга «Проблемы нового мира» вышла в 1921 году. Ленин выделил те ее главы, которые содержали полные сочувствия замечания о Советской России и Советской Венгрии и были направлены против антибольшевистской пропаганды.

Сейчас небесполезно напомнить трезвые суждения английского публициста. Далеко не марксистские политические убеждения Гобсона не помешали ему отметить исторически-прогрессивные черты советского строя и отвергнуть всяческие клеветнические измышления, уже тогда на все лады распространявшиеся реакционной буржуазной печатью.

В. И. Ленин

Записка в редакцию журнала „Красная Новь“

Первая половина 1922



Перевести
и перепечатать:
NB
с. с. 152—187
с.с. 245—250

Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Фонд 2, опись 1, единица хранения, 23247, лист 2.— Подлинник.

Дж. А. Гобсон

Проблемы нового мира

(ОТРЫВКИ)

...Из дыма войны возникло чудо большевизма. Он оказывается единственным созидательным продуктом войны. Все остальное — распад и разрушение. Большевизм просто отстаивает новый политический и экономический строй в России. Он основан, по его утверждению, на принципах социальной справедливости и выгоды, направленных к упрочению действительного и плодотворного мирового товарищества работников и работниц, труд которых нужен для отвоевания у природы средств к существованию. Он признает гражданами только рабочих, включая сюда и работников умственного труда; только одни рабочие имеют право пользоваться плодами промышленности. Нет места в обществе для паразитов, для людей, которые во имя своего «владенья собственностью» претендуют на право есть, не работая Всякое снабжение пищей, одеждой, жилищем паразитов, которых паразитизм сделал неспособными к производительному труду, является чистейшей филантропией. Такого рода «собственность» не имеет никаких прав.

Можно было бы заметить, что в этих революционных идеях нет ничего нового. Они были основным ядром социализма во все времена. Но до сих пор они были одной лишь проповедью. Ныне они являются с печатью осуществимости на себе. Верно, что это осуществление может оказаться кратковременным, может быть утвердится бесстыдная тирания насильнического меньшинства с помощью союзников и русских эмигрантов. Но нельзя отрицать заявления большевизма, что он претворил в дело революционные идеи... Революционное движение может быть плохо направлено или быть предано плохими вождями, но его происхождение не может иметь источником коварные замыслы «Причины восстаний — двух родов, — говорит Ф. Бэкон, — много нищеты и много недовольства». К этим болезням — в области материальных условий и настроения — агитатор и должен применить простые и убедительные средства. Социализм легко

объясняет происхождение бедности и показывает, как недовольство может быть устранено. Но народ в существе своем нетерпелив, и как только ему указывают причину и лечение болезни, он требует немедленного удовлетворения. Это и означает революцию посредством силы. В России эта сила была налицо: солдатская масса, разбегающаяся, но еще недостаточно организованная, воспламененная фактом ниспровержения русского самодержавия, была готова содействовать уничтожению его политических и экономических сообщников, помещиков, капиталистов, чиновничества. Но, возразят, это не объясняет специальных особенностей большевизма и истинную сущность того инстинкта страха, который он вызывает в душе западноевропейских правителей. Когда наши идеальничающие государственные деятели разукрашивали войну лозунгами свободы и демократии, они умышленно орудовали выражениями и понятиями прошлого.

Им нужна была, по их же заявлению, умеренная революция в Германии и Австрии, может быть, даже и в России, так как они, хотя и признавали царизм, но вместе с тем не доверяли ему. Под умеренной революцией они разумели политические перемены, которые установили бы в этих странах демократию, господствующую в Англии, Франции, С. Штатах. Они правильно считали, что вопрос о монархии или республике есть дело местного удобства или вкуса, и не является сам по себе принципиальным. Им нужно было установление ответственного парламента, податливой демократии на широкой базе народной воли. Такая демократия, как показал опыт, прекрасно совместима даже при современных основных условиях — с сохранением капитализма в государстве и промышленности. Расширение избирательного права не представляло бы угрозы частной собственности или правящему классу, так как искусство политического управления быстро росло. Партия, пресса, церковный амвон, концертный зал, ре сторан, кинематограф и всякие центры административного механизма были в их руках. Они наблюдали, как были низведены до бессилия рабочие и социалистические партии, которые грозили подчинить своему влиянию парламентарные правительства. Волны рабочей агитации, грозные, могли бушевать вокруг экономических устоев, но прочное капиталистическое государство могло с улыбкой и без огорчения взирать на них...

Взрыв негодования против идеи советов и отстаивание государственными деятелями и органами общественного мнения, явно недемократическими по своим симпатиям, моральной и политической правомерности учредительного собрания, избранного территориально, имеет свою юмористическую сторону. Но ими руководило правильное предчувствие, что если когда-нибудь понятие промышленного юнионизма будет воспринято как избирательная идея, их участь решена. На первый взгляд могло казаться безразличным, будет ли происходить голосование по производственным группам или по территориальным, раз голосуют одни и те же лица. Интересно поэтому отметить, с какой смехотворной аккуратностью правители западноевропейских стран издали вынюхивали отрицательные стороны системы советов. Они единодушно приняли на себя роль чемпионов учредительного собрания, которое большевистский режим отверг. Ибо учредительное собрание означало правомерную политическую демократию, невинный характер которой подтвержден их собственным опытом. Не имело большого значения, что они увенчали демократическую позу активной поддержкой генерала Деникина, адмирала Колчака и других реакционных вождей, которые не претендовали даже на серьезное сочувствие народному самоуправлению. Инстинкт самозащиты не делал их склонными предоставить разрешение тяжбы между политической и промышленной демократиями самому народу. Поэтому они частично скрыли и свой страх, и недовольство советской системой, поставивши лишь в вину насилие и обман при ее проведении. Советское правительство, — утверждали они, — ни в коем случае не выражало ни воли, ни согласия людей, носящих звание рабочих; оно является железным режимом террора, проводимого в жизнь небольшой кучкой фанатиков и преступников, благодаря их монополии на оружие и хлеб. Чтобы поддержать это мнение, они завели в своей прессе постоянные отделы пропаганды о жестокости большевиков, попутно отказывались дать доступ в Россию независимым журналистам или другим посетителям и запрещали статьи и листки, направленные к опровержению возведенных на большевиков обвинений или к защите их. Более того, были сделаны все официальные шаги для того, чтобы воспрепятствовать весьма важному опубликованию противо-обвинений в жестокостях, допущенных реакционными правительствами по отношению к России и Венгрии и белой гвардией в Финляндии. Они надеялись, что таким способом им удастся удержать в известных границах общественное волнение по поводу их насильственного вмешательства в дела России, после того, как «война кончена». Они надеялись, что вместе со скорым крушением этого преступного заговора, они смогут еще позировать в роли освободителей русского народа. Для осуществления этой цели они применили два средства: вооруженная поддержка реакционеров и доведение до голода городского населения; сочетание обоих средств, по их мнению, могло бы оказаться действительным для сокрушения большевизма.

...Есть один ключ к объяснению поведения союзников. Ценой людей и достояния, жертвой принципов простой целесообразности, идея советов должна быть убита в России, Венгрии и всюду, где она найдет себе приют, чтобы они только не распространя-

лись на Запад. Представление, что можно в наши дни помешать распространению идей, верных или неправильных, невинных или преступных, при помощи «санитарного кордона», кажется достаточно смешным, когда пытаются придать этому конкретную форму. Но правительства действительно не виноваты в такой глупости. Они не полагали, что их народам можно будет в конце концов помешать чтению речей Ленина или слушанию защиты большевистского эксперимента. Они только рассчитывали держать их вне советской пропаганды до тех пор, пока она не придет с печатью явного успеха или полного поражения. Нужно было показать, что промышленная демократия, как результат пролетарской революции, невозможна, она должна была бы стать невозможной, раз потребовалась безграничная блокада с сопутствующим голодом и торжеством реакционного деспотизма при помощи союзного оружия. Такова была преобладающая политика союзных правительств до лета 1920 года, когда близость угрозы голодом не только для средней Европы, но и для Франции и Англии и полное падение кредита в торговле с другими странами, продающими хлеб и сырье, заставили западноевропейские правительства волей-неволей обсуждать вопрос о возобновлении экономических сношений с Россией, даже с риском признания Советского Правительства...

Публикация подготовлена и комментирована Б. В. Яховлевым. Переводы с английского выполнены О. П. Холмской, с французского — Я. З. Лесюком.

Редакция выражает благодарность дирекции Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, а также руководству и научным сотрудникам Центрального Партийного Архива: А. А. Стручкову, Р. А. Лаврову, М. В. Стешовой, А. Ф. Бессоновой, П. В. Мананниковой и М. В. Ляховской за большую научно-методическую помощь в подготовке публикации документов В. И. Ленина на страницах журнала «Иностранная литература».

СТИХИ О ЛЕНИНЕ

Мечислав Яструн
(Польша)

ЛЕНИН В ПОРОНИНО

Гордые Татры сквозь пряжу метели,
Черные ели сквозь белую тьму,—
Нет, не легенды сюда долетели:
Истина к сердцу пришла моему!

Снежный буран, как нашествие гнева.
В льдистой пыли зачарованный лес.
Здесь, где над тучами высится Гéвонт,
Всадники-скалы съезжают с небес.

Здесь его вижу я — не монументом,
А человеком, глядящим в толпу,—
(Вспомним пальто его, с еле приметной
Штопкой — следами эсеровских пуль).

За спину руки. В глазах вереницы
Мыслей-раздумий, подобных заре.
Так, безоружный, с финляндской границы
Он от жандармов ушел в декабре.

Нет, не сковать его царским оковам!
Мудрый, с Историей говоря,
«Прост — словно правда», он праведным словом
Петли пеньковые вил для царя!

Здесь он к грядущим сраженьям и спорам
Подготовлял себя. В горном краю,
Здесь он мечтал о свершении скором,
Каменных шахмат сдвигая семью.

Мысль его планы врагов прочитала,
Недругов опережая на век.
Памятник?
Мудрость прочнее металла!
Памятник?
Был он, как мы, человек!

Разве стремленья секунд и столетий
Выразят бронза, чугун иль гранит?
В каждой стране на просторной планете
Песня своя о свободе звучит!

В нем воплотилось живое прозренье,
Знал он — близка пробужденья пора,—
С ним говорило грядущее время,
Словно с лесничим — деревьев кора.

Факты, раздумья и сопоставленья,
Выводы — каждый настойчив и жгуч!
Он размышлял о них в горном селенье,
В нагроможденье заоблачных круч.

Мысль его шла над хребтами седыми,
Чтобы облечься в прямые слова,
Чтобы, приняв его вещее имя,
Зазеленеть, как живая трава!

Он погружался в раздумья недаром,
Зрела Теория, грозно строга,
Чтоб разрешиться нежданным ударом,
Сталью Истории — в сердце врага.

Нет, не владыкам с кровавою ратью —
Людям труда он свой труд посвятил,
Чтобы навеки исчезло понятье
«Единоборства враждующих сил».

Он, отдававший приказы эпохам,
Смерти не знает. Он рядом. Он жив.
Вот он шагает по горным отрогам,
Руки за спину заложив.

Шагает — спокойный — под глыбой лба
Столетья советские взвесить готовясь,
Все ближе, все неотвратимей борьба —
Борьба за всего человечества совесть.

1951.

Перевод с польского Александра Голембы

Суканта Бхаттачария
(Индия)

ЛЕНИН

Ленин!
Перо мое движется, странствуя,
Только бы образ
слова воскресили:
Первым
потряс он
плотину тиранства
на бесконечных просторах
России!

Море
народного гнева
вспенено
сердцем,
и волей,
и разумом Ленина.
Слово Ленина
сдвинуло горы,
путь указало
нам, молодым,

В Ленине —
воплощенье отпора,
гнева,
порвавшего
с черным былым!

Вот и сегодня
жив он в сердцах
и в рек половодье —
на бесконечных
российских просторах,
на беспредельных
земли рубежах,
Ленин жив:
светом в глазах,
пламенем в радостных взорах.

Миллионы
Лениным вдохновлены,
пылают их души
ясней огня —
приближают
в пределах любой страны
наступленье желанного дня.

Мятеж идет,
близятся сроки,
воспрянули люди
и у нас на Востоке.

Скоро взрыв!

Преграды смыв,
вулканическая
вздыбилась лава!

Слава Ленину!
Ленину слава!

Наши слова
и сердца горячи.

Перед хижиной каждой
и домом,
грозным маршем
и яростным громом
поступь ленинская
звучит!

В каждом сердце и доме,
в солнце и громе
возрождается Ленин.

Память свежа —
ураганом, порывом, стремленьем,
в голосах мятежа.
Над морем кровавым
рассвета лучи —
Ленину слава
в сердце звучи!

Славься,
борьба за свободу святая,
в сердце Италии и Китая,
в Англии
или в другой стране!
Ленина слово
идет на подмогу,
мудрость его
озаряет дорогу
нам,
и тебе,
и мне!

Прислушайся.

Тишь. Нарастает звучанье.
Прорвана завеса молчанья.
Поступи Ленина
верен ритм.

Ленин живет,
Ленин творит!

Вместе с воспрянувшим к жизни народом,
плотину тиранства
Ленин потряс!

Это спасенья
и счастья опора,
это бессмертное солнце отпора,
это маяк
исстрадавшихся масс!

Корабль,
океанами смерти плыви:
пламенный вихрь
в паруса твои дует!

Видим
зеленую землю любви,
светлой свободы
страну молодую!

Сердце
сломило безжалостный гнет —
Ленина образ
в сердце растет!

Нет,
не для нас
малодушье и страх,
речи бесплодные
трусов унылых.

Колокол Ленина
в наших сердцах,
бунта набат
в наших яростных жилах!

Бей, барабан!
Бей, барабан!
Стройся в ряды,
громовая симфония!

Непобедим
наш бесчисленный стан:
в каждом из нас
дышит Ленин
сегодня!

1944.

Перевод с английского Александра Голембы

Иосеф Гора

(Чехословакия)

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Огнями каменных громад
Вокруг меня
Блестит Москва.
Где Ленин чутким сном объят,
Играет снег,
Порхает снег...
А в чистом воздухе звучат
Его слова,
Его слова,
И с вечным сердцем Ильича
Свои шаги
равняет
век!

1928.

Перевод с чешского С. Северцева.

Ли Цзи
(Китай)

ЛЕНИН

Так говорят крестьяне в районе Саньбянь...

Товарищ, конечно, и ты с ним знаком
по мудрым заветам,
рассказам,
портретам:
С бойцами шагал он скалистым путем,
был с нами
в походах
зимою и летом.

Мы школу построили в память о нем,
о нем на рассвете
поют
наши дети,
Он зорко с портрета глядит над столом,
приветливый,
светлый,
как бог долголетья.

К любому крестьянину в дом он зайдет,
простыми словами
беседует с нами,
И алым крылом, как весенний восход,
широко над нами
горит
его знамя.

Под знаменем этим, летящим вперед,
мы строим
и пашем,
на праздниках пляшем.
Зовет его Мао, зовет весь народ
наставником,
другом,
учителем нашим!

1949.

Перевод с китайского С. Северцева

Хан Юн Хо
(Корея)

ТРИ ВСТРЕЧИ

Бо Танган... Бо Танган-река...
Домик маленький на берегу...
Здесь я Ленина увидал,
И в памяти берегу,
И забыть не смогу
Никогда.
Бо-Танган... Бо Танган-река.

Словно ветер злой, жандармы в дом
Ворвались... Перерыли дом.
Они били отца, молодого отца
У меня на глазах.
Мать стояла в слезах
И я в слезах...
Я ребенком был...
Я отца любил.

Вдруг жандарм из подполья извлек
Тонких книг небольшой пакет
— Коммунист?! — и ударил в висок...

Я заметил на книжке — портрет
Человека с прищуром глаз,
Будто все известно ему.

Отца увели в тюрьму.
Не вернулся отец назад,
Я не понял тогда, почему.

Двадцать раз с древних гор
Сходили снега.
Двадцать раз Бо Танган
Заливала свои берега.
Двадцать раз Новый год
Встречала страна.
Тихий домик снесла война.
Из мальчика стал
Юношей я,
Но свежа, словно утро,
Память моя.

И когда занялась над Кореей заря,
Та заря, чьи лучи
Ярче солнца горят,
Я увидел, узнал человека того
На каждом зданье,
У каждых ворот,
Щурясь слегка,
Улыбался он,
Нам казалось — кореец он
Из Пхенан или Пхенбук,
Вождь,
учитель,
отец
и друг.
И я понял тогда, почему
Отца увели в тюрьму.
Он был коммунистом,
Ленинцем был...
И Ленина я полюбил.

Расцветает родная земля,
Сады и поля.
Посланцем родимой земли
Я стою у Кремля...

Я иду в Мавзолей...
Я не верю глазам —
Мне казалось, что Ленин жив.
Но слышу я голос полей,
Гул заводов, детский смех —
Радостный смех
И песен свободный мотив
Над корейским рисом,
Над индийским рисом
И в русской ржи —
Это голос его,
Это сердце его,
Это...
Ленин
жив.

1956.

Перевод с корейского Анатолия Леднева.

Бертольт Брехт
(ГДР)

КОВРОВЩИКИ КУЯН-БУЛАКА ЧТЯТ ЛЕНИНА

1.

Память товарища Ленина чествуют всюду.
Созданы бюсты его и портреты.
Имя его дают городам и детям.
На всех языках звучат о Ленине речи.
Чтобы почтить его память,
На демонстрации и на собранья
Люди идут от Шанхая и до Чикаго.
Но я расскажу вам о том,
Как Ленина чтят в Куян-Булаке,
В небольшом селенье Южного Туркестана,
Простые ткачи ковров.

Собираются вечером двадцать ткачей
Возле убогого станка, дрожа в ознобе.
Бродит кругом лихорадка; станция железной дороги
Забита гудящей злой мошкарой,
Которая плотной тучей
Поднимается над болотом
За старым верблюжьим кладбищем.
Но на этот раз железная дорога,
Которая обычно дважды в месяц
Приносит в селенье дым и воду,
Принесла такое известье:
Приближается
День памяти товарища Ленина.
И решили люди Куян-Булака —
Бедные люди, ткачи простые,

Что товарищу Ленину нужно поставить
В их селенье гипсовый бюст.
И вот теперь, когда собраны деньги,
Ткачи стоят, трясутся в ознобе
И отдают дрожащими от лихорадки руками
Свои трудовые копейки.
А красноармеец Степа Гамалев,
Человек с заботливым сердцем и точным глазом,
Видит, с какой готовностью люди
Ленина чтят, и рад Гамалев.
Но видит он также,
Как бьет лихорадка людей,
И вдруг предложение вносит:
На деньги, что собраны на покупку бюста,
Купить керосин и вылить в болото,
Там, за верблюжьим кладбищем;
Ведь оттуда летит мошкара,
Порождая болезнь.
Победа над лихорадкой в Куян-Булаке —
Лучшая наша почесть
Умершему,
Но незабвенному
Товарищу Ленину.

Так и решили. В день памяти Ленина
Керосином наполнили старые ведра,
Пошли всем селеньем к болоту —
И болото залили.
Так, Ленина чествуя, о своем позаботились благе,
А заботясь о благе своем, Ленину почесть воздали
И Ленина поняли.

2.

А вот что было дальше. В тот самый вечер,
Когда в болото
Был вылит керосин,
Собрание в селенье состоялось.
Поднялся человек и предложил,
Чтоб учредили памятную доску
На станции Куян-Булак и чтобы записали
На той доске подробно,
Как план был изменен и как решили
Купить не бюст, а тонну керосина,
Убившего болезнь.
И всё — в честь Ленина.

И в Куян-Булаке
Установили доску.

1927.

Перевод с немецкого М. Ваксмахера.

«НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»

Рис. П. Пинкисевича

Декстер Мастерс

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

РОМАН

Перевод с английского Н. Галь и Н. Треневой

Важную и волнующую человечество проблему поднимает в своем романе американский писатель Декстер Мастерс, известный до сих пор в качестве публициста, занимающегося научными вопросами. В этой книге описана полная трагизма судьба физика Луиса Сакслa, ставшего жертвой воздействия на организм человека энергии, освобождающейся при превращениях атомного ядра. Читатель романа знакомится с лабораторией, где Сакслa, опытный работник в области атомной физики, осуществляет эксперимент, цель которого заключается в установлении необходимых количественных взаимоотношений реагирующих веществ для конструирования атомной бомбы. Опыт, выполняемый Сакслом, знаменует один из этапов изготовления смертоносного оружия массового уничтожения людей.

В процессе научных работ происходит несчастный случай. В примитивном реакторе на лабораторном столе Сакслa возникает надкритическое состояние, влекущее за собой неудержимую реакцию ядерного деления. Поток нейтронов и гамма-лучей обрушивается на самого Сакслa. В результате — тяжелое заболевание, острая лучевая болезнь, завершившаяся трагическим исходом.

Читателя, хоть сколько-нибудь знакомого с современным положением в науке о ядерной энергии, поражает примитивность тех условий, в которых Луис Сакслрешает поставленную перед ним задачу. Впрочем, можно ли было ждать заботы об отдельных людях, в том числе даже и крупных ученых, со стороны тех, кто лихорадочно готовит гибель целым народам? В лаборатории, где идет опыт, отсутствует защитное оборудование, способное преградить путь потоку нейтронов и гамма-лучей. Экспериментатор не применяет никаких средств, позволяющих управлять смертоносной установкой на расстоянии, ибо таких средств вообще нет в лаборатории. Таким образом, налицо оказались все предпосылки к тому, чтобы в лаборатории произошло несчастье. Другими словами, изображенный в романе несчастный случай явился закономерным происшествием.

Описанные Декстером Мастерсом трагические события имели место уже после окончания второй мировой войны, то есть после того, как в результате блистательных побед советских вооруженных сил была полностью разгромлена немецко-фашистская армия, а также оказались разбитыми основные военные силы Японии. Над городами Хиросима и Нагасаки уже взорвались американские ядерные бомбы, неся смерть десяткам тысяч мирных жителей и превращая кварталы городов в груды развалин.

Усиленную гонку атомного вооружения руководители армии США в свое время объясняли необходимостью ускорить сроки победоносного окончания войны.

Но трагическая история Сакслa произошла уже после окончания войны. Почему же и тогда по-прежнему продолжали существовать подобного рода недопустимо прими-

тивные, явно бесчеловечные условия работы? Что вызывало продолжение, а еще точнее — даже усиление лихорадочной спешки в такой области, как изготовление атомных бомб? Против кого и для какой цели уже после окончания войны накапливался запас ядерного оружия?

Из содержания романа Декстера Мастерса явствует, что непосредственной причиной несчастья была ошибка Луиса Саксла, стоившая ему жизни. Но совершение этой ошибки явилось неизбежным для Саксла.

Ученые, работавшие в лос-аламосской лаборатории, неоднократно заявляли своим руководителям, представлявшим американскую армию, о невозможности продолжать работу в столь ненормальных условиях; но, как видно из романа, их заявления совершенно не принимались во внимание. И это, естественно, очень сильно отражалось на состоянии научных сотрудников этой лаборатории. Однако намного более важное значение имело то обстоятельство, что Луис Саксл, прогрессивно мыслящий ученый, антифашист по убеждениям, не мог оправдать свое участие в изготовлении смертоносного оружия уже после окончания войны. Угнетенное моральное состояние могло привести к ослаблению внимания ученого; а полное пренебрежение к технике безопасности превратило вызванную этим состоянием аварию в катастрофу.

Интерес к роману усиливается еще и тем, что случай, описанный Декстером Мастерсом, действительно произошел в жизни. В атомной лаборатории Лос-Аламоса действительно имели место две аварии котла, вызвавшие человеческие жертвы. Девять сотрудников этой лаборатории оказались пораженными острой формой лучевой болезни, что было описано в монографии, выпущенной американскими врачами, которые лечили пострадавших*. Двое из заболевших погибли. В романе Декстера Мастерса как раз и описана вторая авария котла, при которой пострадало семь человек, а один из них погиб от острой лучевой болезни.

Вопросы, связанные с воздействием излучения на организм животных и человека, достаточно сложны. Автор романа хорошо изучил современные данные об острой лучевой болезни. Он правильно описывает последствия поражения кровотворных органов, нарушения процессов свертывания крови, повышения проходимости и понижения прочности стенок сосудов. Все это приводит к кровоточивости, являющейся одним из характерных проявлений острой лучевой болезни. Существенную роль в проявлениях болезни играет вспыхивающая инфекция, развивающаяся на фоне резкого падения защитных сил организма.

Но достоинства романа не ограничиваются только тем, что автор в художественной форме передает действительные события. Писатель правильно намечает на страницах своего произведения большую социально-политическую проблему.

На примере трагической судьбы Саксла автор раскрывает перед нами тот тупик, в каком оказываются честные ученые капиталистической страны, связавшие свою судьбу исследователя с работой в области ядерной физики.

Овладение процессом искусственного распада ядер легло в основу развития атомной энергетики, в частности создания атомных электростанций, первая из которых построена, как известно, в СССР. Возможность искусственного распада ядер открыла перспективы для конструирования атомных двигателей, для новых крупных достижений и открытий в области промышленности, науки, сельского хозяйства и медицинской практики. Бесконечно разнообразны эффективнейшие пути мирного использования атомной энергии. Однако никто не вправе ни на минуту забывать о том, что расщепление ядра как физическое явление может быть использовано и против человечества, реализуясь в механизме ядерного и термоядерного оружия. Таковы два прямо противоположных пути развития ядерной физики.

Путь мирного использования вдохновляет исследователя, умножает и совершенствует его творческие силы, служит улучшению и облегчению жизни человека. Он ведет ученого к сияющим высотам науки!

---

* Гемпельман, Лиско и Гофман — «Острый лучевой синдром».

Иная судьба у Саксла и всех тех честных исследователей, которые вынуждены затрачивать свои силы на создание ядерного оружия, используемого для устрашения и политического шантажа, оружия, угрожающего миру неисчислимыми бедствиями, смертью и разрушением. Может быть, моральные страдания многих из них не менее тяжелы, чем даже предсмертные муки героя романа.

Однако эта действительно тяжелая для честного ученого нравственная ситуация не является безысходной. Есть путь прямой и честный, который дает исследователю возможность счастливого творческого труда. Со всей определенностью и четкостью он указан великой атомной державой — СССР.

Проводя неуклонную политику борьбы за мир, за обеспечение мирного сосуществования государств, Советский Союз настаивает на разоружении и, прежде всего, на запрещении атомного и водородного оружия. Советский Союз предлагает уничтожить уже накопленные запасы атомных и водородных бомб, а также создать условия, позволяющие полностью запретить их производство в будущем. Советский Союз предлагает также безотлагательно прекратить испытания атомного и водородного оружия.

Это подлинно гуманное предложение, имеющее своей единственной целью рассеять угрозу атомного разрушения и лучевой смерти, наталкивается на неизменные и упорные возражения в первую очередь со стороны определенных кругов в США. Но позиция Советского Союза отвечает насущным требованиям и наиболее неотложным нуждам человечества, и потому она находит самую широкую поддержку у народов, населяющих земной шар. Мы с радостью слышим в этом могучем хоре голосов также и голоса зарубежных ученых, все чаще и чаще выступающих против угрозы атомной войны. Об этом свидетельствует и роман Декстера Мастерса. Если его главный герой, Саксл, не мог не думать об этой проблеме, то другой персонаж книги, Дэвид, уже не только думает, но и говорит о ней во всеуслышание. Мы верим, что Дэвид не одинок; больше того мы знаем, что его точку зрения разделяют многие ученые Англии, Франции и США. Так и должно быть: именно ученые обязаны, пока еще не поздно, честно и откровенно рассказать человечеству о той опасности, которую таит в себе угроза атомной войны, именно ученые обязаны призвать народы к бдительности!

Священный долг ученых всего мира — не жалеть никаких усилий для того, чтобы содействовать уничтожению этой угрозы.

Член-корреспондент АМН СССР
профессор А. Лебединский.

ОТ АВТОРА

«Если я не за себя, то кто же за меня?
Но если я только за себя, тогда зачем я?»
Гиллель

21 августа 1945 года, почти через две недели после того как на Хиросиму и Нагасаки были сброшены атомные бомбы, в Лос-Аламосе, где делались эти бомбы, произошел несчастный случай. Девять месяцев спустя, 21 мая 1946 года, там произошел второй такой же случай. И в первый и во второй раз причиной была цепная реакция. По крайней мере, так утверждалось в статьях, которые появились в газетах и журналах, а также в медицинских отчетах о несчастных случаях в Лос-Аламосе.

Май 1946 года уже далеко позади, много воды утекло с тех пор, и Лос-Аламос сейчас уже совсем не тот, каким был тогда. Многие из

прежних обитателей давно уехали оттуда или работают над другими проблемами; кое-кого уже нет в живых, а на смену им явилось множество новых людей.

В романе, построенном на материале из прошлого, я изобразил обстановку, царившую в те времена,— такую, какой она мне представлялась.

Я использовал некоторые действительные факты, но только те, которые уже стали общеизвестными, и без всяких колебаний приспособил их к обстановке моего романа, который есть не что иное как вымысел и — я хочу подчеркнуть это — не претендует на историческую или биографическую точность. Я не пользовался никакими специальными документами, не собирал специальных сведений. Я бывал в Лос-Аламосе, но только в жилой части города.

Поскольку описываемые мною события основаны на подлинных фактах и поскольку в этих событиях участвовало сравнительно небольшое количество людей, а некоторые из них достаточно известны или приобрели известность впоследствии, то у читателей может возникнуть стремление найти живые прообразы лиц, выведенных мною в романе. Тут я должен сказать, что, создавая образы романа, я использовал свое знание человеческих характеров вообще и, конечно, отдельных лиц в частности. Нет никакой возможности отделить процесс творческого воображения от жизненных наблюдений, которые дают ему пищу; но действующие лица моего романа не списаны с каких-либо определенных людей, живых или мертвых, и не являются ни портретами, ни карикатурами.

Должности и звания некоторых персонажей подлинны, но я хочу уточнить, что только эти звания и взяты из жизни. В моем романе начальником Военного объекта является полковник, в Лос-Аламосе в 1946 году было именно так. Но мой полковник — лицо вымышленное, так же, как и конгрессмен, как и все врачи и другие действующие лица.

Разумеется, в романе встречаются и подлинные имена — главным образом в тех случаях, когда приводятся общеизвестные высказывания или факты (например, знаменитое письмо Эйнштейна к президенту Рузвельту или деятельность Оппенгеймера, энергично руководившего атомной лабораторией в годы войны). В таких случаях заменять настоящие имена вымышленными было бы явной нелепостью.

Декстер Мастерс
Нью-Йорк, ноябрь 1954 г.

Памяти Луиса Слотина
и более сотни тысяч других.

ЧАСТЬ I

ВТОРНИК.— ВСПЫШКА В КАНЬОНЕ.

1.

Когда выезжаешь из Санта-Фе к северу, шоссе на протяжении двух-трех миль круто подымается в гору вдоль гребня холмов, петляет по карнизам, высеченным в каменистых склонах, потом выбегает на ровное плато, и тут, несмотря на проделанный подъем и высоту в семь тысяч футов, кажется, будто едешь по глубокой долине.

По обе стороны шоссе, миль на пятнадцать, а то и больше, до подножия горных хребтов простирается равнина. Вся она испещрена

кучками низкорослых деревьев, вернее, кустарника, летом выжженного солнцем и голого зимой; кустарник бурый — здесь все бурого цвета вплоть до самых гор, где лежат серые, серебристые и желтоватые, как свежераспиленный лес, тени. Впрочем, и кустарник, и земля покрыты зеленоватым налетом, но таким бледным, будто из десятка деревьев выжали живую зелень и распылили на сотню квадратных миль. На закате в долине вспыхивают брызги, пятна, полосы ярких красок, но закаты здесь коротки, а дни бесконечно длинны, здесь время и земля как будто чего-то ждут, и где-нибудь поодаль от шоссе индеец может просидеть неподвижно с полудня до самой ночи. Проезжая по шоссе, редко увидишь индейцев или их поселки, выжженные и бурые на бурой выжженной земле. В этих маленьких, залитых солнцем индейских поселках вряд ли попадется на глаза хоть одно живое существо; долина кажется безлюдной, и, кроме бегущих вдоль шоссе птичек-подорожников, здесь будто и вовсе нет ни одного живого существа. А между тем, люди есть и вблизи, и повсюду, и домов тут гораздо больше, чем кажется с первого взгляда, хотя есть и такие дома, что давно перестали служить жильем — они сохранились с древнейших времен.

Так, миля за милей, шоссе уходит на север.

Цепи гор обступают шоссе с обеих сторон, теснят его, и кажется, будто едешь по узкому желобу или глубокому высохшему руслу. Немного погодя, повернувшись к западу, можно увидеть наивысшую точку горной цепи Хемез, а на востоке, где темнеют горы Сангре де-Кристо, уже показался пик Тручас, самая высокая вершина Новой Мексики; как раз в этом месте от русла отходит на запад узкая дорога. Она пересекает Рио-Гранде — здесь это такая мелкая речушка, что ее едва замечаешь,— а затем начинается медленный подъем из долины в горы.

Как ни слабы и ничтожны, как ни смутно различимы признаки жизни в здешнем пейзаже, однако земля эта обитаема с давних времен. В сущности, Санта-Фе — один из самых старых городов Северной Америки; он гораздо старше Соединенных Штатов и был столицей еще до того, как английские пуритане высадились у Плимут-Рока в тот самый год, когда Генри Гудзон впервые двинулся вверх по реке, носящей с тех пор его имя, и еще в те времена, когда Галилей начал свои наблюдения, предопределившие пути современной науки. И все-таки Санта-Фе намного моложе крохотных «пуэбло», разбросанных вдоль берегов Рио-Гранде; некоторые из них на мгновение открываются с поворотов шоссе, упорно ползущего вверх из долины. Потом дорогу перерезывают и заставляют вихлять то вправо, то влево устья древних каньонов, берущих начало где-то высоко в горах; пустынные пространства, тянувшиеся на двадцать миль вдоль шоссе, внезапно заполняются вулканическими холмами, постепенно переходящими в длинные столовые горы. И вдруг на каньоны и холмы будто кто-то набросил пушистое одеяло из зеленых высоких сосен. Пейзаж становится мягче, воздух прохладнее, запахи острее; с открытых мест, с извилин дороги, пробитой в стенах каньона, над верхушками сосен порой еще видны бурые пятна оставшегося позади плоскогорья, но они мелькают все реже и наконец исчезают совсем. Дорога подымается вверх, вьется, петляет, круто поворачивает назад, выпрямляется, бежит все вперед, все вверх, и наконец совсем рядом вырисовываются столовые горы. Дорога взбирается на плоскую вершину одной из них, и отсюда видно, что таких гор пять; все они отходят от основного массива и похожи на пять чуть раздвинутых пальцев, просеивающих песок времени, или на простертую руку гигантского идола, требующего очередной жертвы. Дорога бежит вдоль плато, и было время, когда вы могли либо продолжать путь в горы, либо остановиться здесь и в мерцающей тишине поразмыслить о незыблемости мироздания.

Но теперь, примерно через милю, дорогу преграждают ворота, а за воротами раскинулся город; дальше проезда нет, и если вы не имеете прямого отношения к делу, которым занят город, то вам придется повернуть обратно и поискать для прогулки другое место.

2.

Одно десятилетие мало что может изменить в жизни обыкновенного города, но город на столовой горе среди развалин древних пуэбло, о существовании которого люди с таким трепетом услышали лет десять назад, стал за это время совершенно неузнаваемым. Десять лет назад в этом городе бывали немногие — и это были не случайные туристы, а люди, которые негласно съезжались сюда с разных концов света и оставались в городе на более или менее долгий срок. Большинство приезжих, выполнив какие-то особые задания, тут же уезжало и уже не возвращалось назад. Но были и такие, что возвращались; после долгого путешествия через океан на самолетах или пароходах они выезжали из Санта-Фе по шоссе, ведущему на север, меж горных хребтов, через Рио-Гранде, и подымались на плато столовой горы. И говорят, будто все до одного они поражались происшедшим тут переменам — даже те, кто только вечерами появлялись в центре города, с безмолвным удивлением глядели на длинные улицы, которых еще недавно здесь не было и в помине, на жилые дома и другие здания, выросшие как из-под земли.

Почти все, что было здесь в 1945 году, в том году, когда кончилась вторая мировая война и стало известно о существовании Лос-Аламоса, сохранилось до сих пор: и жилые бараки, и большие деревянные здания, где помещаются лаборатории. Больница находится все там же, в длинном, двухэтажном барачного типа здании, выкрашенном белой краской, и по-прежнему стоит в самом центре городской жизни. Перемена заключается в том, что город невероятно разросся и в нем теперь трудно узнать небольшой, скученный, как индейские пуэбло, поселок, существовавший на этом месте еще несколько лет назад.

Сейчас Лос-Аламос насчитывает почти четырнадцать тысяч жителей и вряд ли может расти еще, так как уже занял собою все пять пальцев простертой руки. В городе есть бензоколонки, рынки, красивые школы и спортивные площадки, административные здания, тротуары и самые настоящие зеленые газоны, лужайки для игры в гольф, магазины, торгующие плетеной мебелью и патефонными пластинками, кинотеатры, редакции газет, отделение банка и стоивший миллион долларов мост, который соединяет засекреченные лаборатории на одном плато с засекреченными лабораториями на другом плато. Теперь обитатели Лос-Аламоса, идя по улицам или тропкам, порою встречают совсем незнакомых людей — несколько лет назад это было возможно, но все же довольно трудно. Отсюда часто ездят в Санта-Фе и даже в маленький городишко Эспаньолу, до которого пятнадцать миль; жителей Лос-Аламоса достаточно хорошо знают в обоих городах и без труда распознают среди приезжих.

Все это произошло за очень короткий срок; но тогда, в 1945 году, только два года отделяло Лос-Аламос от первых звуков, возвещавших о начале строительства, и первого притока жителей, хлынувших сюда по единственной дороге из крупных исследовательских центров на Западе и Востоке, где совершались обряды, предшествовавшие рождению этого города.

В индейских обрядах, которые много веков совершались в окрестностях Лос-Аламоса и до сих пор совершаются в пуэбло у подножия гор, есть некое решающее мгновение — оно обычно проходит незамеченным

для тех, кто о нем не знает. Это то мгновение, когда жрец произносит магическое слово. Какие бы церемонии ни предшествовали произнесению этого слова и как бы колоритны они ни были сами по себе, все это лишь подготовка, пролог. Но вот жрец произносит слово — и тотчас же заклинания вступают в силу, они исполнены глубокого смысла и внушают благоговейный трепет.

Очень схожим путем, если верить философу Конту, развиваются основные человеческие понятия: они проходят сначала стадию теологического или фиктивного состояния, потом метафизического или отвлеченного (в котором обычно формируется магическое слово), и наконец научного или позитивного состояния (в котором это слово произносится вслух). Почти то же самое происходило с замыслом, для осуществления которого был построен Лос-Аламос. Годами свершались обряды в мозгу ученых всего мира. Магическое слово постепенно складывалось в абстрактных понятиях датчан и немцев, англичан, поляков, австрийцев, венгров, шведов, итальянцев, голландцев, французов, американцев и русских. Ученые исступленно плясали в своих лабораториях, как пляшут жрецы и знахари на священных празднествах, ночи напролет наблюдали вспышки на экранах своих осциллоскопов, и наконец было произнесено магическое слово «расщепление». Волшебство свершилось, и с этой минуты заклинания вступили в силу.

Пять длинных столовых гор образуют между собой проемы или каньоны, или, как их здесь называют, арройос; некоторые из них глубиною в сотни футов, и в каждом каньоне дно покрыто гравием и остатками когда-то протекавшей здесь лавы, в каждом каньоне под сенью густых деревьев стоит полумрак и тишина. Еще при зарождении нового города планировщики поняли, что в каньонах нельзя поселить людей, зато лучшего места для особо секретной работы, пожалуй, и не найти. Центральную гору избрали для постройки этого города из-за ее уединенности, но и эта уединенность оказалась недостаточной для некоторого рода работ, которые предстояло выполнить местным обитателям; такие работы было необходимо вынести за пределы даже этого города.

Дорога налево от шоссе существует давно, еще с тех пор, когда эта пустынная местность привлекала только туристов и влюбленных да всякого рода чудаков, склонных к созерцанию; она спускается с плато центральной горы и ведет сквозь чащу деревьев на дно одного из каньонов, где почва не слишком бугристая и не загромождена скалами. Пока на плато развертывалось большое строительство, здесь расчистили от деревьев поляну, а на поляне выстроили здание. С виду оно ничем не выделялось, не наводило на мысль о каком-то особом назначении и могло привлечь внимание лишь потому, что от самого сотворения мира это, по всей вероятности, была первая постройка в каньоне. Если здесь что и было, то даже от развалин не осталось и следа. Только одно это здание и стояло в каньоне. Выстроенное из бетонных блоков и дерева, оно было сорока футов в ширину и пятидесяти в длину; одна его сторона вплотную примыкала к стене каньона, а на противоположной стороне, перед единственной дверью было небольшое крыльцо со ступеньками. Местоположение участка, связанного с городом только проселочной дорогой в несколько миль длиной, представляло значительные трудности для строителей, но строители преодолели эти трудности. Они исправили дорогу и сделали ее вполне проходимой для грузовых машин, подвозивших строительные материалы. Вскоре грузовики стали привозить письменные столы, пишущие машинки и конторские шкафы, длинные лабораторные столы и разное техническое оборудование, в том числе множество измерительных

приборов и ящиков с различными шкалами. А немного погодя джипы и военные машины, снующие по дороге взад и вперед, стали совсем привычным зрелищем, хотя видели его только те, кто сидел в этих машинах.

Каждое утро в каньон с промежутками в пятнадцать минут прибывали машины — по одиночке, по две, а то и по три или по четыре. Водители и пассажиры выходили из машин, подымались по ступенькам и исчезали за дверью. Часто они привозили с собой еду и не выходили из здания до конца дня. Нередко они приезжали к вечеру, и тогда окна бетонного здания ярко светились до десяти или одиннадцати часов, иной раз — до часу-двух ночи, а бывало, что и до самого утра. Иногда дверь открывалась и кто-нибудь выходил постоять на крыльце или спускался на поляну, курил, глядел вверх на сосны и осины или лениво перебрасывался двумя-тремя фразами с одним из солдат, днем и ночью дежурящих возле двери.

На дне каньона стояла такая же тишь, как и в прежние времена, когда здесь не было этого здания. Работа, происходившая внутри, не сопровождалась никаким особым шумом. Только иногда, зимою, когда деревья мерзли под мелко сеявшимся снегом, в стенах каньона отдавалось слабое эхо от скрежета металла по металлу да время от времени какой-то неясный прерывистый звук подымался до истерического визга, падал до глухого бормотания, потом снова становился громче, потом опять тише и внезапно обрывался. Но в другие времена года густая листва деревьев и щебетанье птиц заглушали даже самые обычные звуки — голоса, стук пишущей машинки, скрип открываемой двери.

Весною, с середины мая, над серыми стволами осин колышутся и трепещут блестящие зеленые листья, а по краям поляны, там, куда ветер или птицы занесли семена, расцветает голубой водосбор и другие горные цветы.

С той поры, как в этом здании началась тайная бесшумная работа, она не прекращалась ни на минуту; работа, без сомненья, продолжается и по сей час и, быть может, в этом же самом здании. Впрочем, поручиться трудно. Когда существование города перестало быть тайной, сюда время от времени стали приезжать по специальным пропускам гости — друзья и родственники местных жителей, любознательные журналисты, представители фирмы «Элкс и Киванис», конгрессмены и так далее. Но здания, где идет работа, охраняют двойные ограды, прожекторы по ночам и вооруженные часовые, дежурящие круглые сутки; эти здания не включены в список городских достопримечательностей, которые показывают приезжим, и приезжие никогда не допускаются в каньоны. Одно только можно сказать с уверенностью: если работа в этом каньоне продолжается до сих пор, то сейчас ее ведут совсем иными способами, чем до случая, происшедшего однажды во вторник, в мае месяце, вскоре после окончания второй мировой войны.

3.

В этот день, в пятом часу, доктор Чарлз Педерсон стоял в ординаторской больницы Лос-Аламоса.

Ординаторская находилась в восточном крыле длинного стандартного дома. Из ее двух окон был виден пирамидальный пик Тручас, высившийся в сорока милях отсюда, за долиной Рио-Гранде, и снеговая линия, заметно отступившая вверх после весеннего таяния, и седловина между Тручасом и соседним пиком чуть поменьше, с южной его стороны. Доктор Педерсон вспомнил, как он взбирался по склону горы со стороны седловины и представил себе одинокую мужественную человеческую фигурку на фоне первобытной природы. С той минуты, как девять дней назад доктор Педерсон взошел на пик Тручас и постоял на самой вершине, его

волновали чувства и даже мысли, настолько сокровенные, что ими ни с кем нельзя было поделиться, и настолько чуждые небольшому кругу его убеждений (которых, впрочем, до сих пор ему вполне хватало), что они не укладывались ни в какие привычные рамки.

Прежде ему не стоило труда справляться с подобными ощущениями — вернее, они, к счастью, не всегда доходили до его сознания. Послушный сын состоятельных родителей, живших в тесном предместье одного из городов на Востоке, он был, как стрела, нацелен на единственную мишень — профессию врача; мать натягивала тетиву, отец смазывал лук, Чарли послушно трудился, и вот в двадцать восемь лет он врач в чине капитана, убежденный, что еще год или два близости к делу исторической важности будут чрезвычайно полезны для его дальнейшей карьеры. А сейчас он охвачен полным смятением, которое вызвано чем-то таким, что раньше он всегда умел определить, подвести под какую-нибудь рубрику и предать забвению, как обыкновенную студенческую блажь, как действие хмеля после вчерашней пирушки, как неизбежное влияние нью-йоркских евреев, журналистов, художников — словом, как нечто, к чему не стоит относиться всерьез. О, смятенный дух! Девять дней назад, собираясь на прогулку (в рюкзак были уложены сэндвичи, термос с кофе, аптечка первой помощи и прочие полезные предметы), доктор Педерсон изучил две напечатанные в газете Санта-Фе памятки для туристов, совершающих восхождение на горы, и постарался запомнить щедрые наставления двух-трех друзей, которые уже совершали такие экскурсии. Все они оказались очень полезными — эти советы, но жуткое ощущение на вершине пика Тручас, когда стоишь над всем миром, один среди беспредельного неба, и ветер бьется где-то у твоих ног, — никто не подготовил его к этому; впрочем, если б кто-нибудь и попытался, Педерсон пропустил бы такие слова мимо ушей, не имея оснований бояться того, с чем никогда в жизни еще не сталкивался.

Он не слышал, как в комнату вошла медицинская сестра.

— Значит, снова за работу, mon capitaine *. Вас там ждет Герцог.

— О, господи!

— Вот именно,— сказала девушка.— Но он хочет вас видеть.

— А я вовсе не хочу его видеть. Зачем он сюда ходит? Где он, на улице или тут?

— Он стоит на ящике под окном и разговаривает с больным, хотя это, как известно, запрещено.

— Ладно, пусть себе. По крайней мере, это меня избавит от разговора с ним. Можно подумать, что он здесь самый главный. И чего только он поднял такую суматоху? Война ведь уже кончилась.

— Милый доктор Педерсон,— девушка склонила голову набок и всплеснула руками. — Я это от вас уже не в первый раз слышу... Вы... как это говорится, un innocent **. Это же военный объект. Здесь делают бомбы. Поэтому многим тут как-то не по себе. Кроме врачей, конечно. Врачи всегда такие спокойные и собранные.

До чего же приятно бывает смотреть на такую молоденькую сестру, свежую и изящную, в отлично накрахмаленном белом халате, которая, как подсолнечник под лучами солнца, нежится в обществе окружающих ее врачей! А между тем, заурядная сестра, которая может быть какой-угодно, только не изящной, считает, что врачи, как правило, страшные гордецы, любят порисоваться и что с ними умрешь со скуки; в комнатах сестер, где обычно перемывают косточки всему медицинскому персоналу, отпускаются тысячи шпилек по поводу чванливости врачей. Врачи же,

---

* Капитан *(фр.)*.

** Здесь — наивны *(фр.)*.

в свою очередь, держатся мнения, что сестры, как правило, невежды и безнадежные тупицы, что они либо бесполы, либо слишком льнут к мужчинам и вообще представляют собою главную угрозу здоровью пациентов. Правда, бывает, что врачи женятся на медицинских сестрах; тут, конечно, берет свое привычка к каждодневному общению, и природа, которая не терпит пустоты, нередко порождаемой разбитыми иллюзиями и непрерывным бегом времени, стремится заполнить ее чем попало. Но ни мисс Бетси Пилчер, ни доктор Педерсон, стоявшие в ординаторской и глядевшие друг на друга, не подозревали об этом.

Доктор Педерсон зашагал взад и вперед по комнате, точно так же, как когда-то шагал его учитель доктор Септимус Стил. Мисс Пилчер думала о Герцоге — он не такой надутый, как этот выступающий журавлиным шагом доктор, но слишком занят собой и ничем другим не интересуется. Она подошла к окну, слегка покачивая бедрами, — ей нравилась такая походка.

— Все-таки, придется его принять,— сказал доктор Педерсон.

Бетси промолчала, теребя шнурок от шторы. (Еще бы ты его не принял!). Она смотрела на пик Тручас — никогда она на него не взбиралась, никогда не взберется, и ее туда вовсе не тянет. Но сегодня Тручас словно заколдовал ее или, быть может, Чарли Педерсон оставил у окна демонов тревоги, и они сейчас витают вокруг Бетси. Во всяком случае, на нее вдруг нашло мрачное настроение; сегодня она не пойдет ни в кино, ни в военный клуб, будет сидеть одна в своей комнате и, возможно, проревет весь вечер.

— Уж на этот раз я сумею его одернуть,— сказал Чарли, продолжая шагать на манер доктора Септимуса Стила.

«Горные овцы нежнее, степные же овцы жирнее, стало быть, мясо последних будет гораздо вкуснее», — произнесла про себя Бетси. Пусть ниточка ее мыслей началась с пика Тручас, но все равно привела она к штабному писарю сержанту Роберту Чавезу, который научил ее, помимо всего прочего, этим старинным, немножко напыщенным прибауткам и повел бы сегодня в кино или в военный клуб, если б его не отправили в Бикини на испытание атомной бомбы. («Хочет, чтоб я позвала Герцога, пусть так и скажет, я не обязана угадывать чужие мысли».) Если б на том ящике под окном сейчас стоял Роберт, она бы ему высказала все начистоту.

«Слишком уж все это затянулось»,— сказала бы она. («Что затянулось, детка?»)

«Ну, армия, атомные бомбы, испытание новых бомб и все прочее... Это не жизнь». («Ну-ну, девочка, спокойно!»)

«Все тут какие-то взвинченные. Это не жизнь». («Ты сама взвинчена, детка, неужели ты не рада, что я вернулся?»)

Вертя шнурок от шторы и легонько постукивая им о стекло, Бетси представила себе, как она высовывается в окно, целует Роберта, поправляет ему галстук и затем они идут в военный клуб.

— Будьте добры, позовите его сюда,— сказал доктор Педерсон.

— Пожалуйста,— ответила Бетси и пошла к двери. Педерсон раздраженно покосился на ее виляющие бедра, но раздражение исчезло вместе с Бетси, и он снова принялся шагать по комнате.

— Я сумею его одернуть,— вслух повторил Чарли и усмехнулся, но тотчас же провел рукой по лицу. Собственно говоря, ничего смешного тут нет, и он, скорее, взволнован, или, вернее, смущен, так как волноваться совершенно не из-за чего. Во всяком случае, дело не в Герцоге — Герцог в конце концов просто человек, и порядочный балбес к тому же. Вот вершина горы — это уже не так просто; иными словами (так говорил себе Чарли), и человек это не так-то просто, если этот человек — ты сам.Чарли

порадовался своему глубокомыслию и мельком, с презрением подумал о Бетси Пилчер, круглой невежде и потаскушке, хотя, впрочем, одно ее выражение поразило его своей точностью: здесь многим не по себе, сказала она, почти у всех немножко взвинчены нервы.

И все же овладевшая им сейчас нервозность была связана именно с Герцогом, вернее, с тем, что он решил высказать Герцогу. Если говорить честно, вся беда в том, что он не привык иметь дело с метеорами, вроде Герцога. А если уж быть честным до конца, то беда в том, что доктор Педерсон не играл заметной роли в жизни города за оградой: он почти ничего не знал о том, что делается в засекреченных зданиях, и даже не имел права входить туда; вздумай он уехать, его отсутствие вряд ли было бы ощутимым, и замену ему нашли бы мгновенно; кроме того, он живет здесь меньше года, а это значит, что для него никогда не будет доступа в обособленный мирок тех, кто создавал этот город, кто с самого начала участвовал в его грандиозной работе. В то время, как Герцог... Конечно же, этим и объясняется его взвинченность. Должно быть, так.

— Мне крайне неприятно беспокоить вас, доктор,— сказал Герцог, входя в комнату,— но ваш пациент жалуется на боли. Не думаете ли вы, что...

Голос у Герцога был мягкий и приветливый, а манеры чрезвычайно деликатные. Это был человек небольшого роста, его костюм обвис от тяжести рассованных по карманам карандашей, ручек, бумаг и документов разного формата и в разных обложках. Он спокойно стоял у двери, чуть склонив голову набок и опустив руки; в одной руке он держал какую-то банку, очевидно, с вареньем.

— О, мистер Герцог! — приветствовал его доктор Педерсон (он уже знал, что здешние европейцы — а все они были докторами каких-нибудь наук — предпочитают, чтобы их называли просто «мистер такой-то», что касается до этого «О», то у Чарли оно вырвалось нечаянно, он хотел протянуть «А-а», но это не всегда у него получалось).

— Лучше бы отправить его в эту больницу, как ее... больницу Брунса, кажется? Словом, в Санта-Фе. По крайней мере, мне так кажется. Здесь он что-то не поправляется.

— Позвольте, мистер Герцог, мы с вами это уже обсуждали — и не раз. Он на пути к полному выздоровлению. Предоставьте уж нам довести дело до конца.

— Очень важно, чтобы он поскорее вернулся к работе. Я все-таки считаю, что лучше было бы... Не могли бы вы договориться с больницей Санта-Фе?

— Нет, не могу, мистер Герцог. У него самый обыкновенный перелом ноги, кость срастается, процесс заживления идет хорошо и было бы нелепо...

— Он не должен задерживаться ни на один лишний день, его ждет работа. Это чрезвычайно важно.

Если судить по тону Герцога, то это действительно было важно. Он произносил слова, нарочито отчеканивая каждый слог, и от этого каждая фраза в целом казалась более веской, чем все слова в отдельности. Герцог уперся взглядом в Педерсона. Он переложил банку варенья из одной руки в другую, и Педерсон проследил глазами за этим движением. Бетси Пилчер, вошедшая следом за Герцогом и стоявшая на пороге, вдруг спросила:

— Но почему это так важно? Ведь война-то кончилась.

Герцог искоса взглянул на Бетси через плечо и, усмехнувшись, снова повернулся к Педерсону.

— У нас всегда срочная работа. Что плохого, если его осмотрят в больнице Санта-Фе?

— Мистер Герцог,— начал было Педерсон, но его голос сорвался на последнем слоге. «Да он нервничает»,— подумала Бетси, глядя на Педерсона с внезапно пробудившимся интересом.

— Мистер Герцог! — Педерсон снова зашагал по комнате.— По сравнению с вами и многими другими я здесь новичок. Я почти ничего не знаю о вашей работе. Но иногда мне приходит в голову, что именно благодаря этому... свежий, неискушенный взгляд со стороны, понимаете... именно благодаря этому я мог бы дать вам дельный совет насчет того, как распределить вашу работу. Мне хотелось бы как-нибудь потолковать с вами и, так сказать, попытаться...

Он остановился перед Герцогом, слегка развел руками и вопросительно поднял брови. «Да что ты в этом понимаешь!» — говорил устремленный на него взгляд Бетси. Герцог мельком взглянул на Педерсона и отвернулся к окну.

— По-видимому, здесь у всех немножко шалят нервы,— сказал он наконец.— Должно быть, причиной тому — испытания бомбы. Мне уже известно несколько точек зрения на эти испытания, хотя, вероятно, поскольку дело совершенно новое, не следует торопиться с выводами. На мой взгляд, испытания не представляют собой никакой опасности... во всяком случае, для персонала. Пожалуй, из политических соображений сейчас не стоило бы устраивать такие демонстрации. Однако это не моя забота. Тут и там ведутся кое-какие исследования, есть надежда, что энергию будут использовать и в других целях — в мирных. Не войну и не испытания бомбы задерживает мистер Матусек. В его ведении, можно сказать, небольшой мирный сектор. Вот так. Все мы немножко взвинчены и все по разным причинам — у каждого своя. Хорошо, я оставляю его на ваше попечение. Вы совершенно правы. Но по-моему, вы не совсем отдаете себе отчет, какого рода у меня работа, доктор Педерсон. Бетси, будьте добры, передайте вот это мистеру Матусеку. Я совсем забыл.

Он вручил Бетси банку с вареньем и ушел. Бросив на Педерсона быстрый взгляд, Бетси тоже вышла. Педерсон опять подошел к окну и стал смотреть вдаль.

Не так уж много людей побывало на горных вершинах, если не считать таких вершин, куда ведут удобные дороги и где на каждом шагу попадаются киоски с прохладительным; еще меньше любителей совершать восхождение в одиночку: обычно все предпочитают иметь спутников, ибо надо же с кем-то делиться впечатлениями. Одинокий человек на вершине горы — это, вероятнее всего, пророк; недаром Моисей, Заратустра и другие пророки уединялись либо в горы, либо, что примерно то же самое, в пустыню. И если человек, поднимающийся на вершину горы в одиночестве, еще не пророк, то вполне может стать им, хотя бы на время,— именно так и случилось с доктором Педерсоном.

— Ну, Герцог, слава богу, больше надоедать не будет,— сказал он себе, но одна упорная мысль засела у него в мозгу, не растворялась в других мыслях, не оставляла его и только как бы отодвинулась в сторону, а в памяти и перед глазами стояла его собственная одинокая фигура на вершине пика Тручас: ветер бьется у его ног, ступни утопают в снегу, а вокруг простирается чудесная страна столовых гор, скалистых вершин и каньонов, яркого, словно отполированного неба, безмолвных пуэбло и всепроникающего далекого прошлого.

Минут десять он смотрел с вершины пика в другую сторону, на восток. Там широко расстилались бескрайние просторы равнины. Горная цепь вздымалась сразу, отвесной стеной. Потом Чарли обернулся назад и вдруг представил себя мальчишкой, который вскарабкался на высокий забор и увидел то неведомое, что скрывается по другую сто-

рону; право же, надо бы громко окликнуть обитателей тех равнин и поведать о том, что происходит на плато и в каньонах. Чарли довольно долго тешился этой фантазией и даже придумал, что бы он сказал. «Там, на той стороне, люди держат пальцы на кнопках управления вечностью»,— крикнул бы он. А на равнинах толпы людей, и все с нетерпением ждут, что он им скажет, и, услышав эти слова, они станут растерянно переглядываться, потом так же растерянно уставятся на него, словно ожидая, что за этим последует нечто более вразумительное.

И вот сейчас, девять дней спустя, фантастическое, чтобы не сказать нелепое, видение (а также эта патетическая фраза) не выходило у него из головы, и он чувствовал себя не то мальчишкой, не то поэтом, не то еще кем-то, но, во всяком случае, не тем здравомыслящим человеком, каким он был на самом деле. В тот день, на пике Тручас, он долго глядел вокруг, потом съел сэндвич, швырнул вниз несколько камешков, покричал, удивляясь, каким неправдоподобно слабеньким и жалким кажется его голос, и вдруг вспомнил фразу, приписываемую одному ученому (он будто бы произнес ее незадолго до взрыва опытной бомбы в Аламогордо). Педерсону рассказали об этом уже после взрыва — собственно говоря, даже после взрывов в Хиросиме и Нагасаки; с тех пор каждый раз, когда он вспоминал эти слова, на него находило беспокойство; но что за нелепость думать об этом на вершине горы!

«По моим расчетам,— так будто бы сказал ученый,— один шанс из десяти, что бомба вообще не взорвется, и один шанс из ста, что она воспламенит атмосферу». Этот ученый был Бэйли, выдающийся исследователь, и, между прочим, лауреат Нобелевской премии.

Педерсон приехал в Лос-Аламос в тот трехнедельный промежуток, который отделял Аламогордо от Хиросимы. В городе он не знал ни души и в то напряженное время, кроме прохожих на улице, видел только «понедельничных пациентов». В понедельник к нему обычно являлись со всевозможными пустяковыми ранениями после воскресных прогулок, рыбной ловли, лазанья по скалам, осмотра старинных пуэбло, восхождений на горы и прочих развлечений, которыми жители Лос-Аламоса, в большинстве своем прибывшие из цивилизованных частей страны, пытались скрасить гнет неблагоустроенного быта, нехватку воды, безысходную засекреченность, тяжкую необходимость как-то оправдывать производство бомб и другие мало приятные особенности жизни на плато. Педерсон лечил ссадины, делал перевязки, выслушивал рассказы о падениях, ушибах, незамеченных гвоздях — и только. Летом 1945 года продукцию Лос-Аламоса не полагалось обсуждать вслух, хотя все жители города знали, что тут происходят грандиозные события, а большинство знало даже, какие именно. Но никто не рассказывал об этом новому доктору, а он и понятия не имел, как приступить к таким расспросам. У него не было никого, с кем он мог бы поделиться своими случайными догадками и предположениями, которые заводили его бог весть в какие дебри, когда он слушал недоступные его пониманию разговоры о новом виде энергии. Примерно через неделю после окончания войны к нему зашел молодой физик Луис Сакс. Он собирался лететь в разрушенные японские города с заданием от военного ведомства определить нанесенный атомной бомбой ущерб. «По крайней мере, внешний», — криво усмехнувшись, сказал он Педерсону. Педерсон сделал ему укол, вскрыл нарыв на пальце и рискнул задать несколько осторожных вопросов. Через некоторое время Сакс пригласил доктора к себе распить бутылочку. В тот вечер Педерсон и услышал от Сакса фразу Бэйли.

— Но ведь это же он не всерьез? — встревожился Педерсон, и его рука со стаканом застыла в воздухе. — То-есть, он, конечно, сам в этом не уверен?

— Думаю, что уверен, — ответил Саксл. — Бэйли не такой человек, чтобы бросать слова на ветер.

— А, дьявол вас побери! — выругался Педерсон, что с ним бывало довольно редко.— Значит, вы делаете бомбу, которая может разнести на куски весь мир?

Педерсон слышал, что Саксл отвозил в Аламогордо опытную атомную бомбу; он спросил его об этом, и Саксл в ответ рассказал довольно забавную историю: он отвез разобранную на части бомбу к месту испытания не то в качестве нежной матери, не то банковского курьера; кстати, он даже получил от какого-то полковника расписку, словно это была не атомная бомба, а самая обыкновенная посылка. Педерсон спросил, нельзя ли взглянуть на расписку, и Саксл показал ее; Саксл ни словом не обмолвился о своей работе над атомной бомбой, зато очень точно и ясно описал взрыв. Постепенно Луис Саксл стал все больше и больше нравиться доктору Педерсону. Но в тот вечер напряжение, с каким Педерсон ждал каждого его слова, могло вылиться в совсем противоположное чувство.

— Можно было рассчитывать на одну из трех возможностей,— сказал в тот вечер Саксл,— и, кажется, единственная приемлемая из них заключалась в том, что бомба вообще не взорвется. Многие считали, что так и будет, но Бэйли, по-видимому, думал иначе. Один шанс из десяти — теперь, когда нам стало известно гораздо больше, чем тогда, мы понимаем, что в устах Бэйли это не предвещало ничего хорошего. А один шанс из ста — это уже чудо, или даже больше того. Бэйли не считал, что атомная бомба взорвет весь земной шар, но, пожалуй, не исключал такой возможности. Я тоже.

Педерсону стало жутко.

— Но допустим, ваши знания были недостаточны? Или, скажем, разве вы не могли упустить какую-нибудь мелочь? Ошибиться в расчетах? Разве это не могло случиться?

— Конечно, могло,— тут тоже один шанс из ста. По-моему, Бэйли, да и не он один, сказал бы так: один шанс из ста за то, что произойдет любая непредвиденная случайность.

— Послушайте,— сказал Саксл немного погодя.— Я... мы с вами неправильно подходим к этому вопросу. Мы не понимаем друг друга, и, кажется, это безнадежно...

Разумеется, они не понимали друг друга, они толковали — вернее, Саксл толковал — о квантовой теории и о принципе неопределенности со ссылками на статистическую природу современной физики; а Педерсон заговорил о... о чем? Трудно сказать, о чем именно, но последние его слова были о «безответственности интеллектуального деспотизма». Он даже не произнес этих слов, он пробормотал их, отчасти потому, что не привык к таким сложным выражениям, а также потому, что окончательно запутался и перестал понимать, о чем идет речь.

— Слушайте, Чарли, — продолжал Саксл, — представьте себе, что вы стоите неподвижно и в вас выстрелили тринадцатидюймовым снарядом. Он летит прямо на вас со скоростью нескольких тысяч футов в секунду. Если вы не сдвинетесь с места, то результат нетрудно предугадать. Но может быть и так, что снаряд пролетит мимо и даже не заденет вас. Есть шанс, что это может случиться,— пусть очень небольшой, но все же он существует. Поэтому исключать его нельзя. Но если мы об этом все-таки говорим, это вовсе не значит, что... ну, короче говоря, мы просто отдаем дань вероятности.

Педерсон задумался; эти слова его чуточку успокоили. Но тут же, в приступе раздражения, он потребовал у Саксла ответа, почему Бэйли сказал «один шанс из ста».

— Уж сказал бы — один из миллиона.

— Он обращался к физикам. Если б он имел в виду других, то, может быть,— и даже не может быть, а наверное — объяснил бы, что́ он подразумевает под одним шансом из ста...

— Да ведь мир состоит не из одних физиков; значит, все прочие так ничего и не поймут?

— А он говорил это не для всех прочих — только для физиков.

В конце концов Педерсон начал кое-что понимать — новый приятель сумел растолковать ему, в чем тут дело. Он говорил серьезно, ничуть не свысока и время от времени отхлебывал из стакана. Если в результате научных исследований исчезли абсолюты, — а, видимо, это так и есть, — то единственный разумный путь, при котором возможен интеллектуальный прогресс,— это путь вероятностей.

— Но наука кончилась в Чикаго, в 1942 году,— вспомнил Педерсон слова Саксла, сказанные им в тот же вечер, на прощанье.— То, что здесь происходит, имеет мало общего с наукой. Здесь производство, вырабатывающее определенную продукцию. Как оно повлияет на интеллектуальный прогресс, я не знаю. Во всяком случае, не берусь сказать. Вернее, не хочу. А к чему ведут вероятности, это уже другой вопрос — это дело социологов, политиков, философов, сознательных граждан, но не физиков, если только они не являются одновременно социологами, политиками и так далее. Раньше была наука, Чарли, а теперь — атомная бомба. Раньше был мир, теперь — война. Были ученые, а теперь огромная государственная атомная станция, махина вроде армии. Ну что, теперь вам не кажется, что мы с вами говорим о разных вещах?

Но на вершине горы, быть может благодаря особой атмосфере, слова Бэйли звучали в ушах Педерсона громче всех разъяснений Саксла; и Педерсон пришел к убеждению, что один шанс — будь он на сотню или миллиард — это все же реальная возможность. Вопрос, который Чарли Педерсон не решался задать никому, все время мешал ему, как туман, как непрошенная дремота, как песчинка в глазу. Неужели жизнь на земле так мало значит, что можно говорить об ее уничтожении как об одном шансе из стольких-то? Затем вопрос этот сложился иначе: неужели эти люди не понимают, что нельзя заходить так далеко, что они несут ответственность не только перед своими близкими, но и перед самой жизнью? Но Педерсону в те минуты было не так-то легко сосредоточить мысли на значении жизни. Он прошелся взад и вперед, съел еще один сэндвич, швырнул вниз еще несколько камешков. Ну хорошо, а разве это не является злом по своей природе? Или, хуже того, не сводит ли это значение добра и зла к нулю? Но это был тот же, или почти тот же вопрос, с которого он начал, и, окончательно зайдя в тупик, Педерсон не знал, что делать,— разве только спуститься с горы в надежде, что это странное настроение развеется по дороге.

Прежде чем начать спуск, Педерсон долго смотрел на плато Лос-Аламос, лежащее внизу в сорока милях отсюда; его смутно тревожила мысль о том, что от совершающейся на этом плато громадной работы нет даже точечного следа в дымке пространства, ее не увидишь, не почувствуешь, даже не заподозришь о ее существовании, она — ничто. С того места, где стоял Педерсон, все плато, кишащее людьми — людьми, которых он знал,— застроенное домами, наполненное гулом сверл и генераторов, гудками машин и голосами детей, отсюда казалось маленьким и пустынным, и только стекла, полыхавшие отблесками заходящего солнца, свидетельствовали о том, что люди там держат пальцы на кнопках управления вечностью,— пусть эта фраза настолько патетична, что он, конечно, постесняется произнести ее при ком-нибудь вслух, зато она довольно точно выражала его ощущения.

Глядя вниз, Педерсон вспомнил молодого человека, который в маленьком домике на дне каньона всего через день-два после памятного разговора с Сакслом слишком сильно нажал на одну из таких кнопок и от этого через двадцать дней умер. Педерсону никак не удавалось сделать еле уловимое движение глазами, чтобы перенести фокус зрения с плато на тот каньон, скажем, где стоял домик, в котором раньше работал молодой физик, а сейчас работает его друг Саксл. От плато до каньона четыре или пять миль — четверть часа езды на машине по петляющей дороге, но для горы и для человека, глядящего с вершины горы, это было ничто; там проходила граница безопасности, но для горы этой границы не существовало и для человека, глядящего с горы, тоже.

Педерсон спустился с пика Тручас, но странное настроение не развеялось дорогой. Вопрос, который самому Педерсону был неясен, не говоря уже о том, что он останется без ответа, да и вряд ли будет кому-нибудь задан, не выходил у него из головы. Педерсон был так рассеян, что это бросилось в глаза кое-кому из друзей, двум-трем пациентам и уж конечно Бетси Пилчер, которая приставала к нему со всякой чепухой.

— Что у вас — нервозность, раздражительность, переутомление? — спросила она Педерсона.

— Я себя чувствую прекрасно,— буркнул он.

— А похоже, будто у вас и то, и другое, и третье,— сказала Бетси.— Я и сама места себе не нахожу. Хоть бы скорей прошел вторник двадцать первого числа.

— Почему? Это еще что такое?

— Ну как же, помните Нолана? То, от чего он умер, случилось во вторник двадцать первого августа. А сейчас первый такой месяц.

— Какой месяц? И почему первый? Что вы городите?

— После вторника двадцать первого августа первый раз вторник приходится на двадцать первое число.

— Ну и что? — резко спросил Педерсон; он начинал понимать, в чем дело, но не желал поддаваться подобным мыслям и сердито поглядел на Бетси.

— Ну и ничего. Скорей бы прошел этот день, вот и все.

— Ей-богу, вы просто с ума сошли. Неужели вы так суеверны? Вот уж не думал.

— Скорей бы прошел этот день,— повторила Бетси.— А насчет того, что я с ума сошла, вы бросьте. Не мне одной это не дает покоя.

Сознание, что сегодня вторник двадцать первого мая, не покидало Педерсона все время, пока он думал о том, что Герцог больше не станет ему надоедать, что сломанную ногу Матусека он будет лечить, как обычно лечат такие переломы, а пока он размышлял о словах Бэйли, о значении жизни, о добре и зле. Словно во сне, он молча бродил возле окна, иногда принимался теребить шнурок от шторы, а мысли его то и дело возвращались к пику Тручас и к своим тогдашним ощущениям. В больнице стояла тишина. С тротуара за окном Педерсону помахала рукой молодая женщина, мать ребенка, у которого он вчера вытащил из ноги четыре колючки. И Педерсон кивнул ей, думая о том, что с пика Тручас кажется, будто здесь совершенно ничего не происходит. Календарь, висевший на стене, вдруг смутил его и он поспешно отвел глаза. Стенные часы показывали без двадцати пять, и Педерсон поймал себя на том, что чего-то ждет: он ждет, чтобы часы пробили пять,— тогда он сможет уйти домой; ждет, чтобы вздор, который наговорила Бетси, улетучился из памяти; ждет, чтобы что-то случилось. Он вспомнил воображаемые толпы людей, которые будто бы стояли в ожидании внизу, по ту сторону отвесной стены гор; над равниной нависла недоуменная тишина, а он все всматривался вдаль, ища каких-то многозначительных признаков на

отдаленном плато, ничего не находя, ничего не видя, не умея даже отличить плато от каньона в пяти милях отсюда, где ровно девять месяцев назад кто-то чуть сильнее, чем нужно, нажал кнопку управления. О, смятенный дух!

4.

На крыльце дома в каньоне у самой двери сидит солдат; покачиваясь на задних ножках стула, он читает приключенческий роман и по временам следит глазами за птицей-кардиналом, порхающей среди деревьев, которые обступают поляну перед домом. Птица проносится мимо, делает крутой вираж, взвивается кверху и исчезает.

«Веда, не гляди туда! — читает солдат.— Теперь им конец! Ты хочешь знать, что произошло? Мы своим астральным лучом разрушили их гравитационный регулятор! Жизнь твоего отца спасена, Веда, и люди садов с метеороида снова станут свободными. О, только бы не нагрянули космические мародеры! Но как от них скрыться?»

Солдат роняет книжку на колени. Он оглядывает поляну, но птица уже улетела, и теперь он шарит глазами по цветам, мельком оглядывая кустик за кустиком. Солдат знает, чего ищет, но, как всегда, нерешительно водит взглядом вокруг да около. Кто его знает, как называется этот странный оранжевый цветок на краю поляны, недалеко от крыльца; солдат уже давно приметил его и, найдя глазами, устраивается на стуле поудобнее и, почти сам того не сознавая, настораживается, чтобы кто-нибудь, выйдя из дома, не застал его врасплох. Солдат прислушивается и замечает, что глухой прерывистый звук с каждой секундой становится громче и громче. Этот звук всегда вызывает в нем смутное беспокойство: ему кое-что известно о том, что происходит там, внутри, и он понимает, что звук этот означает скрытую опасность, страшную опасность, которая кажется еще страшнее оттого, что он толком не знает, в чем она состоит. Но, быть может, так даже лучше: пока слышен звук, никто не выйдет из дома, и солдат спокойно предается созерцанию цветка. Из чашечки торчит большой, окруженный лепестками пестик, похожий на мужской орган. Вот уже сколько дней солдат тайком глазеет на эту странную штуку — с тех самых пор, как кто-то, выйдя из дома, указал ему на цветок и спросил, не вызывает ли это у него желания съездить в Санта-Фе. Солдат не сразу понял — он еще не видел таких цветов, они растут только на Западе и только в горах,— а разобрав, в чем дело, вдвойне смутился и оттого, что проявил такую тупость, и от того, что увидел. Даже и сейчас, когда солдат разглядывает цветок украдкой, он смущает и вместе с тем волнует его. Солдат задумал сорвать цветок, когда в следующий раз поедет в Санта-Фе, и для смеху преподнести одной тамошней девчонке — все равно она не из тех, на которых женятся.

Что за опасность, о которой напоминает тревожный звук, солдату никто не говорил, но он сам кое о чем догадался, услышав о случае, происшедшем еще до его приезда; и все-таки он знает меньше, чем ему хотелось бы знать при других обстоятельствах, и больше, чем ему следовало бы знать в такой обстановке, как сейчас. Он, например, точно знает — ему сказал один знакомый покойного Нолана,— что если б Нолан выжил, он никогда не имел бы детей, да что там дети — он вообще в этом смысле никуда бы не годился. Значит, если там что-то случится, то прежде всего страдает самое чувствительное место, а это, наверное, такой ужас, что даже не хочется расспрашивать подробнее... А все цветок — это он навел его на мысли об этом: и о бедном Нолане, и о том, какие тут бывают страсти, а заодно и о Санта-Фе и той девчонке. Говорят, один начальник, очень строгий насчет военной дисциплины, заявил, что Нолан, мол, получил по заслугам, потому что нарушил очень стро-

гий приказ — остался в этом здании, когда все ушли, и самовольно затеял какой-то опыт, который ему вовсе не полагалось делать. Но солдат, глядя на цветок, жалеет беднягу Нолана и дорого бы дал, чтоб узнать, что происходит там внутри, где прерывистый звук вдруг переходит в скрежещущий, визгливый, непрерывный вой, такой громкий (солдат вдруг осознает это и, забыв о цветке, выпрямляется на стуле), какого он не слышал за все три месяца, что сидит тут возле двери.

Ему делается страшно от этого звука — мало ли что может случиться, хоть стены и толстые. Он встает со стула и отходит от двери, к самому краю узенького крылечка. Стоит, прислушиваясь, чего-то выжидая, и вдруг изнутри доносится вопль, перекрывающий громкий скрежет: «Лу-и-и-с!» И вслед за пронзительным, протяжным криком вдруг — треск, резкий, короткий, мгновенно потонувший в тишине, хлынувшей из дома, как волна. У солдата по всему телу пробегают мурашки, он пригнулся, втянул голову в плечи, крепко зажал руки между колен, как бы прикрывая себя; а в доме опять все тихо, стены стоят, как стояли, на крыльце пусто, цветы по краям поляны чуть колышет самый обыкновенный ветерок. И все-таки случилось что-то страшное, солдат знает это; только опасность пришла совсем не с той стороны, где стоит охрана, нелепая охрана.

Через какую-то долю секунды солдат бросается вперед — сказывается военная выучка — и настежь распахивает дверь. Здесь, в большой, заставленной приборами комнате, должны находиться семь человек, и все семеро налицо; взгляд солдата охватывает всех сразу, мозг регистрирует их присутствие, и солдат мгновенно чувствует облегчение, словно фея из детской книжки коснулась его своей палочкой. Но никто не шевелится, никто не обернулся к нему, все стоят неподвижно, будто играют в «оживающие статуи». Шесть человек, застывшие в разных местах комнаты, глядят на седьмого—это Луис Сакслл, он у них за старшего. Сакслл стоит дальше всех от двери, в нескольких шагах от большого стола; стол заставлен всякими научными приборами, а над ним — шкалы и циферблаты. Сакслл стоит, опустив голову и вытянув перед собой руки, одна покрыта ладонью другой; он напоминает учителя, который вел урок и вдруг остановился, обдумывая, как лучше объяснить ученикам сложный вопрос. Никто не шевелится, и у солдата еще сильнее прежнего бегут по телу мурашки; ему кажется, будто вся комната дрожит, а в воздухе проносятся медленные вздохи,— слух подсказывает, что это тяжело дышат стоящие вокруг люди и он сам, но ему кажется, будто вздыхает воздух.

Наконец оцепенение нарушено. Сакслл оборачивается. Он смотрит на всех по очереди и на солдата тоже, в глазах его задумчивость и больше, пожалуй, ничего. Он отворачивается от стола, делает шаг вперед и останавливается. Он говорит: «Я позвоню Чарли Педерсону», — и снова обводит всех взглядом.

Кто-то делает движение к телефону, но Сакслл говорит, что позвонит сам. Он идет через всю комнату, он все еще держит руки перед собой, слегка отставив их от тела, и по пути к телефону говорит, глядя то на одного, то на другого:

— Попрошу его прислать за нами санитарную машину. Он не будет возражать. Самим добираться не стоит, это рискованно. Рвота может начаться немедленно. По-моему, почти все стояли достаточно далеко, кроме одного-двух. Мне помнится... Может, кого-нибудь сильно затошнит — иногда тошнота появляется очень скоро. Возможно, все мы будем чувствовать себя отлично, но лучше пусть нас подвезут, правда?

— Доктора Педерсона из больницы,— говорит он в трубку.

И обернувшись продолжает:

— Мы все отскочили назад, когда появилась вспышка. Хорошо бы уточнить, где кто в это время стоял. Постарайтесь припомнить, пожалуйста. Отметьте, какие предметы находились между вами и котлом. Вы, кажется, стояли позади меня, Уолтер?

Один из присутствующих кивает головой. Солдат переводит глаза с Саксла на него, потом опять на Саксла. Два-три дня тому назад солдат узнал, что Саксл — еврей, и поразился, до чего тот непохож на евреев, которых он встречал в своей жизни. Последние дни солдат при каждом удобном случае исподтишка разглядывал Саксла, как разглядывал цветок, и все больше удивлялся, потому что в лице Саксла не было ничего еврейского, кроме, пожалуй, блестящих глаз. Солдат и сейчас замечает, как блестят у Саксла глаза.

— Чарли? — говорит Саксл в трубку. — Хелло, Чарли! Говорит Луис Саксл. Чарли, у нас тут несчастный случай — облучение. Ничего не расплавилось и вообще ничего не произошло, но облучение довольно сильное. Появилась голубоватая вспышка.

Солдат стоит у порога, не зная, что делать. Саксл говорит по телефону недолго, потом идет к остальным, и они о чем-то совещаются, ходят взад и вперед, некоторые начинают чертить мелом на полу в разных местах грубые круги, квадраты, даже очертания ступней, но все держатся подальше от большого стола. Близко к столу никто не подходит. Солдат спрашивает, не надо ли ему что-нибудь сделать, но один из них говорит — нет, делать тут нечего, пусть лучше он станет снаружи и следит, чтоб сюда никто не заходил.

— Нет,— оборачивается Саксл, не двигаясь с места.— Я хочу вызвать Дэйва Тила. Вы ведь знаете его? — спрашивает он солдата, и солдат кивает.

— Я позвоню ему и расскажу, что случилось,— продолжает Саксл, ни к кому не обращаясь и снова подходя к телефону. — Он приедет и восстановит все, как было. Он снимет показания приборов. Страшно не хочется звать его сюда, но, может, он сумеет восстановить картину, может, он...

Солдат видит, что Саксл подходит чуть ближе к столу. Он поднимает голову — очевидно, смотрит на циферблаты приборов, что висят над столом. Он берет маленькую металлическую плашку из кучи плашек, лежащих на другом столе поменьше, и, пристально разглядывая, медленно вертит ее в пальцах. Солдат замечает, что другие бросили свое дело и не сводят глаз с Саксла. Саксл кладет плашку обратно, опять рассматривает циферблаты счетчиков, потом слегка подымает руки и глядит на них. Так он и стоит, а в это время откуда-то издали доносится глухое рычанье санитарной машины, то обрывающееся при переключении скоростей, то возникающее снова, уже на более высокой ноте.

Солдату не терпится узнать, что произошло и что будет дальше, но он не может придумать, как спросить, а главное, понимает, что сейчас не время спрашивать. Все же он не в силах удержаться. Люди один за другим выходят из дома на крыльцо, потом спускаются по ступенькам на поляну, куда въезжает санитарная машина. Солдат трогает за плечо человека, идущего позади всех, делает неопределенный жест и бормочет что-то нечленораздельное, но на лице его написано такое откровенное любопытство, что человек, не дожидаясь вопроса, говорит:

— Я сам толком ничего не знаю, кроме того, что он потерял управление,— человек смотрит на солдата удивленным взглядом.— А почему, понятия не имею.

Солдат видит с крыльца, как люди входят в санитарную машину, как машина делает на поляне разворот. Джипы и военные автомобили — их четыре штуки — стоят где попало, по всей поляне, и мешают водителю

развернуть длинную санитарную машину. Водитель задевает один из джипов, до ушей солдата доносится ругательство. Потом водитель дает задний ход, медленно и осторожно лавирует между двумя машинами и продвигается к самому краю поляны; теперь путь свободен, и машина, пересекая поляну, выезжает на дорогу, идущую между деревьями в гору; еще секунда, и санитарная машина исчезает среди деревьев.

ЧАСТЬ II

СРЕДА.— РАЗУМ, СЕРДЦЕ, НО НЕ РУКИ.

1.

Ранним утром на вершине пика Тручас играют сиреневые и голубые блики; пик еще темен, а на долину между ним и горным плато уже сеется бледное золото. Ранним утром пик Тручас кажется недостижимо далеким и прекрасным. В мае, как, впрочем, и в июле, утра на плато бывают холодные, а город полон того особого очарования, которое свойственно многим городам в часы, когда улицы еще безлюдны и тихи. Главная улица Лос-Аламоса тянется через все плато к востоку и западу, и когда восходящее солнце венчает пик Тручас, уличные фонари, указательные столбы и ранние прохожие отбрасывают на мостовую длинные тени. На другой день после случая в каньоне, часов около семи утра, когда первые лучи солнца хлынули через пик Тручас, Дэвид Тил вышел из больницы, сошел с немощеного, раскисшего после весенних дождей тротуара и зашагал по мостовой, преследуемый своей гигантской тенью.

Он поднял воротник мятого, заношенного пиджака и сгорбил плечи, стараясь еще глубже уйти в воротник. Он шагал, съежившись от холода и нагнувшись вперед, — так было легче ходить при его хромоте. Невысокий и хрупкий, Дэвид Тил сзади или сбоку представлял собой довольно жалкую фигуру — он так сгорбился, что трудно было заметить, какой прекрасной формы у него голова. Тил думал о фразе, вычитанной у какого-то писателя — кажется, русского. Фраза была такая: «Все молитвы сводятся к одному: господи, сделай так, чтоб дважды два не было четыре». Иногда он подымал голову, и тогда его благородный профиль бросался в глаза; лицо у него было напряженное от мыслей, от холода, от бессонной ночи. Спереди, вместе с длинной, тянущейся за ним тенью, он производил довольно внушительное впечатление.

У Дэвида Тила одна нога была короче другой и к тому же искривлена. Поэтому он ходил с толстой суковатой палкой, тяжелой с виду, чересчур для него массивной; на солнце она отливала маслянистым блеском. Дэвид ловко управлялся с палкой, со своей здоровой ногой и искалеченной ногой, но туловище его оставалось почти неподвижным, словно существовало само по себе, вне тех усилий, которые раньше, а может, и сейчас, приходилось затрачивать при ходьбе. На улице не было ни души, и все плато казалось сейчас безлюдным.

«Господи»,—почти вслух проговорил Дэвид. «Это у какого-то старого русского писателя», — сказал он себе, но не мог припомнить у кого именно.

Дойдя до узенькой улицы, пересекавшей главную, — это был, скорее, просто переулок, но вымощенный, — Дэвид свернул и побрел между двумя рядами домов; на восточной стороне тень от домов перемежалась яркими солнечными просветами, и маленькая ковыляющая фигурка пешехода то скрывалась в тени, то озарялась солнцем. У восьмого по счету

дома Дэвид, не поднимая глаз, вдруг резко, будто его кто-то дернул, повернулся и, подойдя к двери, постучал. Справа на двери висела медная дощечка, на которой блестели выпуклые буквы: «Полковник Корнилиус Хаф». Стоя у двери, Дэвид обводил буквы концом палки. Выждав с минуту, он снова несколько раз стукнул в дверь набалдашником. И тотчас в доме послышались звуки: шорох, шаркающие шаги и хриплые спросонья голоса. Наконец дверь открылась, на пороге стоял сам полковник Хаф, аккуратный и по-военному подтянутый, несмотря на халат и такой ранний час.

— Дэвид...— сказал он, и в голосе его звучали сочувствие, отеческая заботливость и, быть может, легкая укоризна. Он произнес только одно слово, но глаза его говорили «не нужно было сидеть в больнице всю ночь», и «не нужно было приходить так рано», и «не нужно так расстраиваться», и «но я понимаю вас».

— Входите, Дэйв, — сказал полковник и пошел было в дом, но остановился и спросил: — Что-нибудь случилось?

— Ничего, — ответил Дэвид, — все идет по плану.

Полковник бросил на него быстрый взгляд, но на этот раз его глаза ничего не выражали. Он пошел в глубь дома, зовя жену; Дэвид следовал за ним. Полковник крикнул, что пришел Дэвид, и попросил подать кофе. Жена отозвалась сверху: «Бедный Луис Сакс и другие тоже, подумать только, какой ужас», — сказала она. Голос ее был приветлив, она ни о чем не стала расспрашивать, потому что была замужем за полковником уже тринадцать лет и почти все это время прожила с ним на разных военных объектах.

— Значит, никаких перемен, — сказал полковник. — Это хороший признак, правда?

Дэвид пожал плечами.

— А его руки? — спросил полковник. — Плохо, да?

— В котором часу вы ушли из больницы?

— Что-то около одиннадцати — кажется, в десять тридцать.

— Да...— сказал Дэвид. — Немного позже его руки положили в лед. Левая величиной с добрую дыню. Руки спасти не удастся.

— Понимаю, — произнес полковник. Он зашагал по комнате, мельком поглядывая на Дэвида, который стоял посредине и обводил концом палки узор индейского ковра. Ковер жена полковника купила в индейском пуэбло вскоре после того, как они с мужем приехали на этот объект.

— А если ампутировать руки, есть ли надежда...— начал полковник и после паузы продолжал: — Бывает, если ампутировать вовремя, можно остановить гангрену и прочее. Может, это его спасет? — Полковник снова замолчал, потом добавил: — Чтобы он поплатился за ошибку только руками, которые ее совершили.

— Нет, — сказал Дэвид. — Не тот случай.

— Понимаю, — опять произнес полковник.

— Приходилось ли вам читать отчеты о медицинских наблюдениях после взрыва в Японии? — спросил Дэвид. — Луис собирался лететь туда с группой врачей, составлявших эти отчеты, но остался с Ноланом. Помните Нолана? Луис не отходил от него все время. Тот же опыт и такие же последствия, только на этот раз дело хуже. Вы не видели этот отчет?

— Я помню. Отчет я читал, — впрочем, кажется, не вникая в подробности.

— Это совсем не обязательно. Начальство никогда не вникает в подробности. И все-таки вы всегда отлично осведомлены, а на этот раз и подавно. Семь человек получили серьезную дозу облучения, а вы успокаиваете себя наивными надеждами.

— А как остальные шестеро? — помолчав, спросил полковник.

— Те выживут, — сказал Дэвид.

— Это был героизм со стороны Луиса.

Дэвид поднял на него глаза.

— Какой героизм?

— Ну, он же растащил котел. Остановил реакцию своими руками.

— Нийл, перестаньте молоть чепуху. Все произошло так быстро, что он ничего не успел сообразить. Что вы сделаете, если вам сунут в руки раскаленный кирпич? Вы бросите его. Разве это героизм? Это — рефлекс.

— Да, но все-таки...

— Вы никогда не видели, как делается этот опыт. Авария произошла в одну крохотную долю секунды. Произошла, и все тут. Нийл, военные власти должны поручиться, что этот опыт больше не будут производить таким способом.

— Не я решаю подобные вопросы, Дэвид.

— От вас зависит многое.

— Возможно, но и от вас, ученых, тоже многое зависит, пожалуй, даже больше, чем от меня.

— Да, но сколько раз с тех пор, как кончилась война, мы, ученые, требовали ввести управление приборами на расстоянии?! Все дело в том, что тут — военный объект.

— И такой, какой мне и во сне не снился, — внушительно произнес полковник. — Дэвид, сядьте, пожалуйста.

Оба сели. Было слышно, как в кухне возится жена полковника.

— Дэвид, — немного помолчав, сказал полковник, — у атомного проекта с самого начала было два хозяина. Не знаю, приходилось ли вам слышать историю о генерале Мичэме и нашем друге Кардо. С Кардо не разговоришься, а если он что и скажет, его не всегда поймешь. А генерал вообще не любит разговаривать на эту тему. И вот, в сорок третьем году, когда мы только еще начинали налаживать дело, генерал однажды вызвал Кардо и предупредил, что такой-то прибор должен быть готов к такому-то сроку. Кардо ответил, что это не кажется ему невозможным и во всяком случае он будет сообщать генералу о ходе работ. Ну, тут наш генерал вскипел. «Кардо, сказал он, это военное предприятие, начальник здесь — я, мне нужны практические результаты вашей работы, а если вы их не представите в срок, ваша репутация может серьезно пострадать». Словом, наговорил ему всяких слов. А Кардо, нобелевский лауреат и прочее, только посмотрел на генерала и медленно покачал головой. Вот так, чуть-чуть. И говорит: «Вряд ли, генерал. Мою репутацию создавали не вы и повредить вы ей не в силах. А вот ваша репутация конечно может пострадать».

— Я об этом не знал. Отличный анекдот, — насильно улыбнувшись, сказал Дэвид. — Урок всей вашей чванной братии, — лицо его опять застыло, и он уставился на индейский ковер.

— В ту пору, — продолжал полковник, поглядывая в сторону кухни, — считалось, что вас, капризных баловней, необходимо приучать к дисциплине. Я знаю, вы на все корки клянете и генерала и армию вообще, только, ей-богу, зря. Мы давно уже оставили попытки муштровать ученых примадонн наподобие солдат, совершенно не понимаю, почему вас так бесит военное руководство. Живи и жить давай другим. Так или иначе, а мы свое дело сделали. Уж вам-то, Дэйв, известно, чем я тут занимаюсь. Отчасти я — начальство, но главным образом — великий специалист по домашнему хозяйству. Имейте в виду, я застрелю вас на восходе солнца, если вы кому-нибудь проговоритесь, и счастье ваше, что, во-

первых, все это и так знают, а во-вторых, у меня на вас не подымется рука.

Он чуть нагнулся, чтобы разглядеть выражение склоненного лица Дэвида и убедился, что шутка его не имела успеха.

— Да... — начал Дэвид так тихо, что полковнику пришлось наклониться вперед, чтобы разобрать его слова. — Но вы только подтверждаете то, что думаю я, каждое ваше слово служит лишь подтверждением моих мыслей. Нас бесит военное руководство потому, что оно даже в вашем лице подчиняет человека рутине, вечно ждет указаний откуда-то свыше, а уменье увиливать превратило в своего рода искусство. Военщину не интересует, в чем тут дело и что из этого может выйти, ее интересует лишь то, что было раньше, да и то при условии, что это санкционировано свыше. Она не только живет пережитками последней войны, чего многие из вас даже не отрицают, но и судит обо всем с точки зрения будущей войны. Вам платят за то, чтобы вы нас защищали, и это определяет ваш кругозор, но вам платят не за то, чтобы вы создавали необходимость защиты, а ведь к этому и ведут все ваши планы. Война кончилась девять месяцев назад, но Лос-Аламос по-прежнему является военным объектом, здесь по-прежнему делают бомбы, а вашингтонская военщина лезет из кожи вон, чтобы закрепить за собой контроль над тем, что делаем здесь мы, ученые, вернее, мы, инженеры и техники. Сейчас временное затишье, и вполне возможно, что кому-то удалось бы наладить мир, а военщина вносит свой вклад в дело мира испытанием новых бомб в Бикини. Ученые меньше всего заинтересованы в этих испытаниях, а вам не хуже меня известно, сколько крупных ученых уже отказалось работать на атомных станциях и сколько хотят отказаться, — и это в значительной мере потому, что им осточертела военщина. Не представляю, что нового могут дать испытания в Бикини, — ведь любой опытный техник с помощью счетной линейки предскажет вам их результаты. И вы это отлично знаете. А между тем, лаборатории полным ходом работают над всякими поделками — включая и бомбы, — и вычислениями, чтобы ублаготворить военщину демонстрацией, которая, по моему скромному мнению, является чисто политической, и какой уж тут к черту вклад в дело сохранения мира! И вот устарелому эксперименту, который до сих пор очень опасен, который уже изжил себя и мог быть оправдан только условиями военного времени, — этому эксперименту приносится в жертву человеческая жизнь, а вы толкуете о том, что чего-то там добились и что надо жить и давать жить другим. И надеетесь, что Луис поплатится за ошибку только руками, которые ее совершили. Я слышал ваши слова, я их запомнил. Но виновны ли руки Луиса? Вы уверены? Я не уверен, но военное руководство не допустит никаких сомнений, особенно раз есть прецедент. Итак, вы ссылаетесь на беднягу Нолана. У него-то руки действительно дрогнули, он сделал неловкое движение — точнее говоря, уронил отвертку, и она упала, куда не надо. Следовательно, Луис тоже, наверное, уронил отвертку. Но вчера вечером при первой же возможности, как только остыл прибор, я дважды повторил этот опыт. Я расспросил Луиса, я взял из «Эстерлайн-Ангус» все записи и чертежи. Я расспросил тех, кто там присутствовал. Ни у кого не дрогнули руки, это неправда. Боже мой, он делал этот опыт шестьдесят три раза, вчера был шестьдесят четвертый. Сегодня он должен был ехать в Бикини — он получил приказ, военный приказ. Вчера я ходил с ним в магазин покупать резиновые ласты для плаванья, которые он хотел взять с собой. Предполагалось, что он в последний раз проделает этот проклятый, устаревший, бессмысленный опыт тем способом, которым никогда не следовало бы пользоваться и который надо было отменить по крайней мере девять месяцев назад. Почему этого не сделали? Почему,

будь оно все проклято? Потому что военные палец о палец для этого не ударили; все вы мастера увиливать, никто не хочет брать на себя ответственность за решение, но решение зависит только от армии. Это ведь военный объект. Так почему же решение не принято до сих пор? Почему? Может, вы знаете, почему?

Слова Дэвида заметно расхолаживали полковника. Когда Дэвид умолк, он отвел глаза в сторону и оба довольно долго молчали. За кухонной дверью негромко позвякивали чашки и блюдца.

— У меня сложилось впечатление, что сам Сакс не слишком настаивал на механизации опыта, — сказал наконец полковник. — Как вам известно, у нас бывали совещания, и он неоднократно говорил, что...

— Он говорил, что будет работать по-прежнему, потому что у него это получается, — сухо перебил его Дэвид. — И еще он говорил, что никому другому не посоветует работать таким же способом. О, господи, все это теперь лишние разговоры, но вы конечно знаете, почему он взялся за это вчера. Он показывал Уолтеру Геберу, как делается опыт. Гебер должен был замещать Луиса, пока он будет в Бикини. Значит, что же? Ну ладно, все мы стараемся выиграть войну, каждый по-своему. Какую же войну? Да ту войну, которую не выдержит никакая цивилизация, если позволите процитировать слова генерала Мичема из воскресной газеты.

— Дэвид, у вас была трудная ночь, — сказал полковник, вставая. — Случилось большое несчастье. Мне кажется, я понимаю, что творится у вас в душе. Я вам сочувствую, поверьте, глубоко сочувствую. Но что толку от того, что мы будем разговаривать в таком тоне? Разумеется, все это нужно обсудить, но... Лорэн!

Дверь тотчас же открылась и вошла жена полковника в полинявшем халате и папильотках. В руках у нее был поднос с кофейником и чашками. Она бросила на Дэвида взгляд, полный сострадания, быстро разлила по чашкам кофе и пробормотала множество сочувственных слов, удержавшись из уважения к измученному виду гостя от множества назойливых вопросов.

Прихлебывая кофе, они говорили все, что можно было сказать в данном случае; впрочем, далеко не все, ибо Дэвид почти не участвовал в разговоре. Поставив на стол недопитую чашку — по его словам это была шестая с тех пор, как он в пять часов утра ушел из лаборатории в каньоне, — Дэвид оперся подбородком на палку и, слегка поворачивая голову, обводил глазами геометрический узор ковра.

— Что ж, остается только надеяться, — сказала жена полковника, — надеяться и молиться. Теперь ведь врачи делают чудеса.

Луис просил не извещать родителей, сказал им Дэвид; он хочет подождать и считает, что пока незачем их тревожить.

— Это можно? — спросил он, пристально глядя на полковника. — Или запрещается каким-нибудь пунктом военного устава?

— Мы обязаны известить семьи всех пострадавших, — ответил полковник. Но, разумеется, сначала он поговорит с врачами; он не станет волновать людей понапрасну. — Дэвид, — сказал полковник, — а что он думает о своем положении, вы не знаете?

— Нет.

— Он вам ничего не говорил?

— О том, что он думает, — ничего.

— Бедный мальчик, — вздохнула жена полковника.

— Дэвид, — сказал полковник, — если тут не было какой-то ошибки, то что же тогда произошло? Ведь вы же вчера дважды проделали этот опыт.

— Я бы умерла со страху, — вставила жена полковника.

— Ошибка, вероятно, была, — сказал Дэвид, — но руки тут ни при чем. Разум или сердце, но не руки.

— Разум?..

— Это ведь очень тонкая работа. Она требует полной сосредоточенности.

— Да, — сказал полковник, — я знаю. Мне говорили. Но ведь...

— А если вы знали, как же вы могли допустить, чтобы все оставалось по-прежнему? — почти крикнул Дэвид. Он с трудом поднялся на ноги и стал перед полковником, опираясь на палку.

— Спасибо за кофе, — продолжал он уже гораздо спокойнее, — и простите, что я так рано вытащил вас из постели. Мне хотелось задать вам один вопрос, Нийл. Как вы намерены осветить этот случай?

— Пока я не поговорю с врачами, я никого уведомлять не буду.

— Я не о том. Если вам позвонит какой-нибудь репортер, что вы ему скажете?

— А как они узнают? Нет, газеты вряд ли будут нам звонить.

— Судя по кое-каким вашим вчерашним намекам и по тону сегодняшнего разговора, вы собираетесь отрицать, что произошел несчастный случай. Но чем бы дело ни кончилось, а это все-таки несчастный случай, и очень серьезный. Что вы намерены говорить об этом?

— Дэйв, не будем забегать вперед — там видно будет.

— Вы хотите отрицать, что произошло несчастье?

— Мне нужно кое с кем посоветоваться, Дэйв. Тут надо учесть военную тайну. И опасность деморализации населения тоже.

— Значит, вы намерены отрицать?

— Черт возьми, не в том дело, чтобы отрицать или не отрицать, Дэйв. Просто я сам не знаю, нужно ли оглашать происшедшее и как это сделать. Откровенно говоря, я лично не вижу смысла в том, чтобы поднимать газетную шумиху: «Семеро пострадавших в лаборатории, где изготовляют атомные бомбы», и прочее. Тем более, что тут еще и лучевая болезнь. Это только напугает публику.

Дэвид пошел к двери.

— Дело в том, что в лаборатории, где изготовляют бомбы, действительно пострадало семь человек, — сказал он, — а один из них, быть может, больше чем пострадал. Дело также и в том, что военные власти на все, что их смущает, торопятся пришлепнуть ярлык «военная тайна». Но этот случай, а главное то, чтобы он больше не повторялся, гораздо важнее, чем смущение военных властей. — Дэвид открыл дверь и перешагнул порог. — Дело, наконец, и в том, что эта история так или иначе получит огласку. Прощайте!

Жена полковника подошла и стала рядом с мужем в открытых дверях. Лицо у нее было испуганное. Оба следили глазами за маленькой фигуркой, удалявшейся по направлению к главной улице.

— Зачем ты позволил ему говорить такие гадости! Я бы дала ему по физиономии, — сказала она. Страх ее сменился злостью, но и в злости остался оттенок страха. — Еще наделает тебе неприятностей, — продолжала она брюзгливым тоном. — Почему ты позволяешь так разговаривать с собой, ведь как-никак ты тоже начальник объекта! Они бог весть что о себе воображают, даже этот калека. Совсем обнаглели!

— А ты совсем разнервничалась,— сказал полковник, отходя от двери. — Изволь-ка нести солдатскую службу, когда с одной стороны наседают ученые, с другой женщины! — Он опустился на диван, где только что сидел Дэвид, и, вытянув ноги, уставился на носки сапог. — Я бы не возражал, если б газеты написали об этом как о геройском поступке.

Ошибки, конечно, бывают, но в свете героизма этот случай будет выглядеть иначе. — Полковник медленно поднял ногу, согнул в колене, потом выпрямил и так же медленно опустил на пол. — Совсем иначе, — повторил он.

Жена налила ему кофе.

— А что, Луис Сакс от этого умрет? — спросила она.

Полковник разжал сплетенные на животе пальцы, неторопливо развел руками, потом рассеянно стал чистить ногти одной руки ногтями другой.

— Пожалуй, шансов выжить у него немного, — проговорил он.

— Знаешь, я никогда раньше об этом не думала, — сказала жена, — но евреи... мне просто не приходило в голову... — их что, хоронят как-то по-другому?

— О, Лорэн, ради бога!.. — поморщился полковник. Он поднялся с дивана, подошел к двери и стал на пороге. Дэвид давно исчез из виду, но на улице уже появилось около десятка прохожих, и все шли в одном направлении — к центру. Кто-то помахал рукой с противоположного тротуара, полковник тоже помахал в ответ и закрыл дверь.

2.

На земле возникают города и в них стекаются люди, которых приводят туда самые разнообразные и удивительные причины. Прадед Луиса Сакса, покинув Германию вслед за Карлом Шурцом, приехал, разумеется, в Нью-Йорк, где какое-то время ему удавалось, вернее, не удавалось, зарабатывать на хлеб уроками музыки. После Гражданской войны многие из его знакомых, даже те, кому удалось обеспечить себе заработок, поддавшись общей тяге, устремились на Запад, и прадед Сакса, у которого свободного времени было хоть отбавляй, подолгу толковал с уезжавшими. Он и сам не знал, чего хочет; он всегда гордился своим здравым смыслом, и этот здравый смысл подсказывал ему, что, наслушавшись рассказов о целях и стремлениях этих ищущих, он, быть может, найдет какую-то заманчивую цель и для себя. Однако его совсем не привлекало золото — ни ископаемое, ни растущее на пшеничных полях; стремления уезжающих ничего не говорили его сердцу, а призыв открывать новые земли казался ему слишком отвлеченным.

Как-то вечером, с уважением, но без особого интереса слушая некоего молодого человека, который собирался занять кафедру проповедника в Филадельфии и рассказывал о своей миссии, Сакс узнал, что на огромном пространстве между крупными городами побережья не наберется и пяти раввинов, знающих английский язык. Сакс считал себя человеком энергичным и первой же мыслью его было поехать на Запад и либо самому стать раввином — ведь он говорил по-английски, либо давать раввинам уроки английского — ведь он как-никак был учителем. Пожалуй, думал он, можно поехать в Цинциннати — там был центр реформатского движения, а Сакс, не слишком приверженный к своей религии, был ярым сторонником реформатов. Увлекшись этими мыслями, он раздобыл карту, на которой прежде всего отыскал города, где были раввины, говорящие по-английски. Так он наткнулся на Куинси, совершенно неизвестный ему город в штате Иллинойс, о котором он знал лишь то, что там родился великий Линкольн. Раздумывая над картой, Сакс обнаружил, что неподалеку от Куинси пересекаются сороковая параллель и девяностый меридиан, а потом заметил, что большинство крупнейших городов страны расположены всего на несколько градусов в ту или другую сторону от точки пересечения этих линий. Ни речи уезжаю-

щих, ни собственные ощущения не казались ему такими убедительными, как мысль о том, что точка пересечения этих линий определена судьбой; кроме того, это открытие принадлежало ему самому.

Там, где скрещивались линии, не было никакого города (нет его и сейчас, почти сто лет спустя), но небольшое скопление домов и лавчонок, называющееся Джорджтауном, маленькое местечко среди простора полей, которое изо всех сил старалось стать городом, находилось почти у самой точки пересечения. Мордухай Саксл, не долго думая, поехал туда, взяв с собой жену; на другой день после приезда он узнал от тамошнего топографа, где именно пересекаются линии, и отправился туда пешком — оказалось, что отсюда до Джорджтауна всего семь миль. Мордухай был доволен — ведь семь, как известно, счастливое число. Он приехал сюда бедняком и не нажил богатства, давая уроки, но в этом месте он жил не хуже, чем жил бы в любом другом. Со временем Мордухай и его жена умерли; до самой смерти они были относительно счастливы и пользовались уважением в городе, и хотя их скоро позабыли, они оставили миру сына Авраама, который должен был продолжать род и улучшить его благосостояние; Авраам исполнил и то и другое.

Никому не известно, почему индейцы выбрали для постройки города плато Лос-Аламос и почему они его впоследствии покинули. Найденные здесь развалины не дают ответа и свидетельствуют лишь о том, что оба события произошли так давно, что отошли в область преданий, и уже невозможно представить себе их такими, какими они были. Приходится широко обобщать, но тогда невозможность воскресить человеческие прихоти и разные житейские мелочи, которые много дали бы для понимания событий прошлого и необходимы для понимания событий, происшедших даже неделю или год назад, — такая невозможность приводит к тому, что этими мелочами сначала вообще пренебрегают, потом их начинают отрицать и в конце концов погребают под ссылками на закон необходимости, по которому события происходят потому, что это не могло быть иначе.

Быть может, в некие времена какой-нибудь мудрый старец из индейских племен, обитавших южнее того места, где потом возник город Санта-Фе, узнав, что его народ изобрел новый способ ведения войны, который повысит военную мощь племени, припомнил, что в юности он однажды отправился к северу вдоль Рио-Гранде разведать места для охоты и случайно забрался на плато такое уединенное, что лучшего места для тайных работ над новой выдумкой и не сыскать; быть может, старик тотчас же повел туда воинов, и так начал свое существование тайный поселок, процветавший в тиши, пока его не разрушили какие-то силы, а какие — теперь уж никто не помнит, и можно только строить предположения.

Официальные отчеты об атомном проекте просто отмечают, что по мере развертывания работ в соответствующее время было выбрано соответствующее место, причем выбор определялся необходимостью обеспечить строжайшую секретность. С таким же успехом можно сказать, что атомная бомба делалась в Лос-Аламосе потому, что это не могло быть иначе. Но вовсе не обязательно вытаскивать на свет закон необходимости для объяснения такого недавнего события, как закладка города в 1943 году. Дело было так. В конце 1942 года некий молодой физик-теоретик, зная, что проблема цепной реакции деления урана близка к разрешению, и зная также, что подыскивается абсолютно уединенное место, где последнее достижение науки сможет быть претворено в чудо техники — какое-то новое оружие, вспомнил плато Лос-Аламос, где когда-то в детстве он провел столько счастливых дней, где он жил в палатке, ездил верхом, охотился и удил рыбу. Ученому пришло в голову, что некоторые особенности тех мест, глушь и уединенность — словом, все то, что прида-

вало им такое очарование в его детские годы, как нельзя больше подходят для задуманных работ; он рассказал о Лос-Аламосе военным властям, повез туда нескольких генералов, и те одобрили его предложение. Вот каким образом среди развалин древнего индейского стойбища было положено начало существованию военного объекта, известного под названием «Участка V», или лос-аламосской научной лаборатории, «Холма», или «Волшебной горы».

«Знаете, помню я одно место, я еще мальчишкой, бывало, жил там летом в палатке...» — достаточно представить себе, что молодой физик обратился с такими словами к генералам, как тотчас же в плотной, непроницаемой стене, которая скрывает стоивший два миллиарда долларов атомный проект, как бы появляется щель, и по ту сторону щели воображению привычно рисуются застывшие в ледяной суровости фигуры начальства, но среди них — несколько генералов, чуточку оттаявших под своими мундирами: в памяти их оживают блаженные минуты где-нибудь на речном берегу или под лестницей погреба, где нет подсматривающих глаз, и кажется, что сейчас они думают или говорят не об атомных бомбах, а о своем детстве. Детские тайны—это самые таинственные тайны, и укромные места детских лет навсегда остаются в памяти как самое надежное укрытие, куда, словно в материнское чрево, не может проникнуть посторонний глаз. Вероятно, главным образом сентиментальные воспоминания и заставили начальство одобрить предложение физика и выбрать плато Лос-Аламос местом для тайного вынашивания атомной бомбы.

Надо полагать, что это было именно так или примерно так, потому что столовая гора Лос-Аламос представляла слишком большие неудобства для подобной цели.

Прежде всего, плато Лос-Аламос, как индейский город Акома, прилепившийся где-то в поднебесье к югу отсюда, или как обнесенные рвами средневековые замки, было почти неприступным. Единственная ведущая к нему горная дорога, узкая и извилистая, которую одолевали только лошади, да с большим трудом — легковые машины, оказалась почти непроходимой для огромных грузовиков, гуськом пополз ших по ней в начале 1943 года. Грузовики везли из Нью-Джерси спектрографы, аппаратуру для рентгено-структурного анализа, газовые камеры Вильсона и тонны всякого оборудования: из Висконсина — два ван-де-граафовских генератора; из Массачусетса — все массивные и хрупкие части и детали циклотрона; из Иллинойса — уникальные элементы одного из высоковольтных приборов Кокрофта-Уолтона; а из множества других городов — тысячи самых разнообразных материалов, в том числе воск и лаки, колбы, кислоты и растворители, резиновые ковры и клеммы для батарей. Ничего этого, конечно, не было на плато, и ничего нельзя было найти поблизости. Грузовики, с трудом взбираясь по дороге, доставляли поклажу наверх; грузовики же привозили громадные количества реек и болтов (круглых и шестигранных), шурупов (медных и из нержавеющей стали), пил, молотков, бревен и тесу, потому что и этого нельзя было достать на месте. Здесь предстояло строить жилые дома для тех, кто будет работать в лабораториях, которые тоже предстояло построить, ибо на плато не было ничего, ровным счетом ничего, кроме нескольких строений, где когда-то помещалась маленькая скотоводческая школа для мальчиков. Здесь не было ни электростанции, ни слесарных мастерских, и всегда не хватало воды. Людей тоже привозили издалека; довольствуясь скупыми указаниями, не выдававшими никаких секретов, они ехали из Нью-Йорка и Калифорнии, из Англии и Канады неведомо куда, не имея представления о том, что ожидает их в этом неизвестном месте. Многие, не умея различить важную цель сквозь покровы тайны, отказались ехать вовсе. А некоторые из тех,

кто эту цель различал, бежали отсюда, испугавшись первозданной дикости здешних мест, где, по их мнению, эта важная цель никогда не будет достигнута.

То были люди малодушные; к тому же они сильно заблуждались.

О величии человеческого труда на плато Лос-Аламос говорит хотя бы то, что все трудности были в конце концов преодолены. Но преодолевать их заставлял своего рода священный трепет перед секретностью предприятия, а за этим крылось уже нечто другое. Это «нечто», наряду с величием, пронизывало всю жизнь города, им были проникнуты те беседы, которые велись перед вакуумными насосами в лабораториях, и те беседы, которые велись по вечерам под абажурами настольных ламп в новых домах. Сейчас, сколько ни присматриваться к жизни города, уже нельзя уловить и понять, что это, в сущности, было; даже весной 1946 года это уже стало забываться, ибо к тому времени вылилось в общую нервозность, вернее, в самые разнообразные формы нервозности.

Но вначале...

Вначале мистер Герцог, терпеливейший и деликатнейший человек, поджидал грузовик, который должен был привезти ему банку глипталя — без глипталя никак невозможно закрепить длинную стеклянную трубку в металлическом ободе. А без этого нельзя продолжать измерения, а измерений Герцога ждала добрая сотня людей. Он довольно спокойно стоял в углу своей лаборатории, возле холодильника для бутылок кока-кола, и в мозгу его вертелась одна мысль: что сейчас делает Макс Оттобергер? Оттобергер стал упорно избегать его больше чем за год до того, как ему, Герцогу, пришлось покинуть Германию, но ведь как-никак они много лет работали вместе и были близкими друзьями. Понадеявшись на это, Герцог в конце тридцатых годов написал Оттобергеру из Англии, спрашивая, не возьмется ли он похлопотать перед нацистами за одного пожилого физика-еврея, который, судя по всему, попал в концлагерь. Ответа Герцог так и не получил; разумеется, это еще ничего не доказывает, но с тех пор он перестал вспоминать о своей дружбе с Оттобергером и все чаще думал о нем, как об одном из крупнейших физиков мира и об одном из немногих ученых, оставшихся в Германии.

И теперь, среди царившего на плато строительного хаоса, из которого с фантастической быстротой вырастал город, Герцог стоял и смотрел на холодильник для кока-кола, спрашивая себя, на что сейчас смотрит, о чем думает и над чем работает Оттобергер, и ждал глипталя. Часа через полтора после того, как ему сказали, что грузовик приедет с минуты на минуту, вошел приставленный к его лаборатории солдат и сообщил, что грузовик прибыл, но глипталя не привез. Герцог вместе с солдатами отправился на разгрузочный пункт, за четверть мили; там уже собралась толпа: несколько офицеров, солдаты, механики, кладовщики и двоетрое физиков и химиков. Глипталя не было. Однако среди ящиков и коробок, содержавших уйму других материалов, оказался новенький, блестящий холодильник для кока-кола. Герцог взглянул на него и вдруг затрясся. Он стоял как вкопанный, окружающие стали оборачиваться и постепенно умолкали, а у него тряслась голова, тряслись руки и ноги. Так продолжалось с минуту.

— Будьте любезны, убирайтесь ко всем чертям, — выговорил наконец Герцог. С посеревшим лицом он повернулся и пошел в свою лабораторию. С тех пор эта фраза пошла в ход. Ее часто кричали друг другу шоферы встречных грузовиков на петляющей горной дороге, но сотрудники Герцога никогда не произносили этих слов в его присутствии.

...Вначале был страх. Больше всего обитатели Лос-Аламоса боялись неизвестности. Сорок лет назад дело, приведшее их на плато, никому и не снилось; пять лет назад оно могло только привидеться во сне; никто в мире еще не делал ничего даже отдаленно похожего на то, что делали здесь они, и они были далеко не уверены, что из этого что-то выйдет. Так возник страх неудачи, а неудача (и этого страшились здешние обитатели) могла означать проигранную войну и владычество варваров. Но ничуть не меньше они страшились и удачи, так как изготовляли — собственно говоря, что же они изготовляли? А изготовляли они некий снаряд, обладавший такой чудовищной способностью убивать и калечить все живое, что его применение — а оно-то и должно было увенчать их труды — не так-то легко отличить от самого закоснелого варварства. Нужно было во что бы то ни стало поддерживать в людях боязнь, что противник работает в том же направлении, ибо только страх, что противник их опередит, мог заглушить страх перед варварской сущностью нового снаряда. Однако их работа требовала от промышленности немалых усилий, и было ясно, что вражеской промышленности, и без того перегруженной и пострадавшей от бомбежек, с такой работой не справиться; следовательно, если они идут правильным путем к разрешению проблемы, то противника особенно бояться нечего. Тогда появился другой, и самый изводящий страх: а вдруг противник найдет какое-то неожиданное и очень простое решение. И так как люди, приехав на плато, еще очень многого не знали, то этот страх имел серьезные основания, хотя в то же время служил своего рода отвлекающим средством.

И вот ученые, для которых всякая секретность пагубна, ибо ничто так не вредит работе, ее результатам, полноте знаний, поискам истины, в конце концов стали радоваться этой ненавистной секретности, находя в ее хаотических крайностях не только своего рода прибежище, но, быть может, и маскировку для своих мучительных сомнений в чудовищном замысле, который они собирались осуществить, оправдание своим ошибкам и какие-то проблески надежды среди вечных страхов. И если этим ученым было суждено застопорить развитие науки (так как работа над атомной бомбой превращала их в инженеров и техников) и отложить свои исследования (неизвестно на какой срок), то уединенное плато Лос-Аламос создавало им для этого все условия.

С начала 1943 года физики, химики, инженеры и техники хлынули на плато непрерывным потоком. Они приехали для того, чтобы работать в городе; военные, офицеры и солдаты всех рангов и всех родов войск приехали с ними, чтобы управлять городом. Тысячи людей других специальностей — врачи, педагоги, строители, ремонтные рабочие, сиделки, заведующие штатами, повара и пожарные — приехали обслуживать город. Все они прибыли из разных мест, в одиночку и группами, с мужьями или женами и детьми, и, выезжая из Санта-Фе, сразу попадали в удивительную страну гор и плоскогорий, яркого, словно отполированного, неба, всепроникающего прошлого и новых страхов.

Плато Лос-Аламос было просто плато на вершине горы; сначала домов не существовало вовсе, потом появились плохие дома, и, наконец, дома неудобные; вода исчезала, и ее привозили снизу; воды не хватало, и ее опять привозили снизу; дорога портилась, ее чинили, она опять портилась, ее переделывали; тротуары, вернее, утоптанные тропинки, раскисали от дождей, и весной 1946 года, когда на плато прибыло шесть тысяч человек, на весь Лос-Аламос было тринадцать ванн. Тяготы и неустроенность быта, подчиненного единой цели, прибавились к страхам, которые эта цель вызывала.

На некоторых обитателей города секретность и очевидная историче-

ская важность работы производили такое огромное впечатление, что к бытовым тяготам они относились как к мелочам, сопутствующим увлекательному приключению. Другие же, которых раздражала засекреченность или одолевали страхи, относились к этим любителям приключений, как к добавочным бытовым тяготам. Патриотический пыл или трезвый «реализм», то или другое, либо то и другое вместе, стали играть роль перил на шатком мостике. Но в конце концов напряженная борьба за успех поглотила все и все подчинила себе. И вместе с войной кончились крайности засекречивания, кончились некоторые трудности быта и все страхи, кроме одного.

На вопрос «Что же мы наделали?» можно было найти несколько ответов, и один из них заключался в том, чтобы бежать с плато. В первые же месяцы после окончания войны, несмотря на то, что число людей, занятых управлением и обслуживанием города, все возрастало, ученые, работавшие во имя единственной цели, для которой был создан город, стали уезжать из него сотнями. У каждого были свои причины для отъезда; и не все те, кто уезжал потому, что не находил другого ответа на трудный вопрос, заявляли об этом вслух. Оставшиеся читали этот ответ в их глазах, или узнавали от их жен, или же находили в письмах, полученных впоследствии из научно-исследовательских центров, не имеющих ничего общего с войной. И многие из оставшихся жили, терзаясь сомнениями, жалели, что не уехали, и подумывали об отъезде или погружались в своего рода тревожную апатию, как животные на пастбище, с которого вдруг сняли все изгороди. Для этих трудный вопрос день ото дня становился все труднее; во время войны он тревожил всех, кроме самых пылких патриотов и самых трезвых «реалистов», отдаваясь эхом протеста в каких-то дальних закоулках мозга: И если во время войны каждому удавалось найти более или менее убедительное оправдание своей деятельности, то оправдания эти частично, а для некоторых и вовсе, утратили свою силу, когда война окончилась. Весной 1946 года весь Лос-Аламос был охвачен нервозностью — сказывались остатки былых страхов, подготовка к испытаниям новых атомных бомб в районе Бикини; ожесточенные споры в законодательных органах Вашингтона о том, сохранить ли навсегда или уничтожить военный контроль над атомной энергией; отголоски этих споров, газетные статьи и речи в Деловых клубах и Организации Объединенных Наций, свидетельствовавшие о том, что очень многие вовсе не понимают, что они наделали, и даже не допускают возможности каких-то сомнений.

«Для научной работы необходимы три условия: чувство, что ты на правильном пути, вера в то, что твоя работа не только высоко интеллектуальна, но и высоко моральна и ощущение солидарности с человечеством»,— так писал за два года до того, как было открыто расщепление атома, Зент-Георги, лауреат Нобелевской премии 1937 года. Весной 1946 года все три условия были нарушены лос-аламосскими учеными, ибо они бросили науку ради производства атомной бомбы, они не слишком верили в свою работу и не чувствовали солидарности с человечеством, что и было источником их сомнений.

А тем временем весной 1946 года линия снегов на пике Тручас отступала все выше, по всему плато вдоль дорог и тропинок распускались весенние цветы, в домах установили еще триста ванн, а чудесные тихие сумерки становились все длиннее и радовали душу. По субботам и воскресеньям дороги и тропинки заполнялись пешеходами и всадниками, туристы взбирались на горы, коллекционеры минералов бродили между скал, многие из жителей города отправлялись в пуэбло, болтали с индейцами и покупали у них ковры и деревянные чаши. И все же, несмотря ни на

что, в Лос-Аламосе чувствовалась нервозность, принимавшая самые разнообразные формы, над ним реяли остатки прошлых страхов и призрак одного, который так и не проходил.

3.

Выйдя от полковника, Дэвид Тил пошел обратно той же дорогой. С тех пор, как он шагал по этим пустынным улицам, прошло не больше часа; в ярком утреннем свете кое-где еще желтели фонари, но из домов западной, северной и восточной части плато уже выходили люди, устремлялись в одном направлении и, пройдя через центр, шли в южную часть города, где за высокой железной оградой, с колючей проволокой наверху и часовыми у калиток, находилась Техническая зона. По ту сторону ограды беспорядочно разбросаны строения разной высоты и всех размеров, а в просветы между ними, за каньоном, к самому краю которого подходят строения, виднеются несколько длинных, низких зданий на плато соседней горы. Дальше, вдоль подножья горного хребта тянется ровное плоскогорье; оно полого спускается к югу, мимо Санта-Фе, туда, где сотни на две миль ниже гор раскинулась пустынная низменность Аламогордо.

По улицам уже сновали джипы, военные закрытые седаны, обыкновенные машины и грузовики, но большинство пешеходов, как и Дэвид, не обращали на них внимания и, не желая месить грязь на тротуарах, шагали прямо по мостовой. Почти все прохожие знали друг друга, некоторые шли парами или небольшими группами, но чаще всего поодиночке, одни медленнее, другие быстрее, и каждый приветствовал знакомых жестом, кивком или двумя-тремя словами. Все они, по-видимому, знали о вчерашнем происшествии: при встрече с Дэвидом на их лицах сразу появлялось грустное выражение — деликатный намек на то, что им уже все известно. Кое-кто ускорял шаг или переходил через улицу, чтобы заговорить с ним, Дэвид отвечал на ходу, не останавливаясь.

Пройдя по главной улице половину пути от дома полковника до больницы, Дэвид свернул на дорожку, ведшую к небольшому стандартному домику. Он вынул из внутреннего кармана клочок бумаги и, читая написанные на нем строчки, ощупью нашел ручку двери. Домик состоял из одной комнаты, разделенной пополам деревянной стойкой. За стойкой было нечто вроде конторы, там, среди канцелярских столов и пишущих машинок, стояла девушка в форме; другая девушка в ярком цветастом платье склонилась над разостланной на конце стойки газетой. Обе подняли глаза на вошедшего Дэвида; девушка в форме сказала «Доброе утро»; Дэвид поздоровался, потом присел к столу возле двери, взял из пачки телеграфный бланк и стал переписывать с клочка бумаги телеграмму, которую продиктовал ему ночью Луис Сакс.

Телеграмма была адресована Терезе Сэвидж в Нью-Йорк, на Десятую Западную улицу. Луис сообщал, что произошла небольшая авария и ему придется несколько дней полежать в больнице. В словах чувствовалась некоторая сдержанность, потому что Луис их диктовал, зато они довольно успешно маскировали тревогу, для которой, как говорилось в телеграмме, нет никаких оснований.

Кончив переписывать, Дэвид два-три раза перечел телеграмму, потом встал и подал ее девушке за стойкой. Та взяла листок и стала подсчитывать слова, слегка подчеркивая их карандашом. Вдруг она подняла голову и взглянула Дэвиду прямо в глаза. У нее было удлиненное, худощавое лицо типично американского склада, но землистый оттенок еле заметно испорченной какой-то давней болезнью кожи выдавал примесь индейской

крови — девушка была метиска или квартеронка. Глаза ее смотрели откровенно притягивающим взглядом, и это так не шло к ее лицу, было так неуместно в этой обстановке и в этот час, что Дэвид, который не мог припомнить, видел ли он ее прежде, удивленно приподнял брови. Но она не отвела глаз, не взглянула на его трость, не оглядела с головы до ног, и Дэвид первый смущенно отвернулся. Этот откровенный взгляд чуточку взволновал его, он почувствовал внезапное желание заговорить с ней, но подумал, что никогда не решится на это, и даже немного огорчился. Девушка снова принялась подчеркивать слова, а Дэвид, следя за ее карандашом, читал перевернутые буквы. Расплатившись и получив квитанцию, Дэвид ушел.

Немного погодя в дверях появился полковник Хаф. Он кивнул девушке в ярком платье, которая снова наклонилась над развернутой газетой, и обратился к выступившей вперед девушке в форме.

— Я полковник...

— Знаю, полковник Хаф, — улыбнулась девушка. — Сержант Майра Куик.

— Вчера произошел несчастный случай, пострадало несколько человек, — сказал полковник.

— Я уже слышала вчера вечером.

— Что же вы слышали?

— Кажется, был какой-то взрыв, что ли? Их не то обожгло, не то еще что-то.

— Нет. Запомните вы, и вы тоже, — обратился он к другой девушке, которая подняла голову от газеты. — Никакого взрыва не было, произошла только небольшая авария во время работы, — у одного человека дрогнула рука, и он получил ожог. И он, и остальные сейчас в больнице, где им обеспечен прекрасный уход.

Полковник сделал паузу; девушки смотрели на него во все глаза.

— Так вот, — продолжал он, — если вам принесут телеграмму насчет этого случая, вы ее пока не отправляйте. Потом будет дан соответствующий приказ. Я зашел мимоходом, чтобы предупредить.

— Есть, сэр. Вообще не принимать или только не отправлять? — спросила девушка-сержант.

Полковник на секунду задумался.

— Не отправляйте. Я еще должен дать официальное распоряжение. А пока просто не отправляйте.

— У нас уже есть одна такая телеграмма, — сказала девушка-сержант. — Только что поступила. У нас ее приняли. Ничего особенного, но...

— Вот как? — перебил ее полковник. — Ну, так не отправляйте ее. И ждите моего приказа.

— А вы не хотите прочесть телеграмму?

— Нет, задержите ее, и все.

Полковник опять остановился, и обе девушки молчали, не сводя с него глаз.

— Тот, по чьей вине это случилось, совершил героический поступок,— сказал он наконец. — Он спас остальных.

Полковник, казалось, хотел добавить еще что-то, но раздумал и, круто повернувшись, вышел.

Девушка в ярком платье презрительно взглянула на девушку-сержанта.

— Кто тебя тянул за язык? — бросила она.

4.

В небольших городках часто совсем не бывает больниц, и серьезно заболевших либо лечат дома, либо отправляют в ближайший крупный город. А там больницы обычно находятся где-то на окраине. Если вам не приходилось иметь дела с больницей, то вы могли жить в таком городе много лет и даже не знать, где она находится. Но в Лос-Аламосе больница, с виду похожая на присутственное здание какого-нибудь захолустного городка в Новой Англии, стояла в самом центре города и, по крайней мере благодаря своему внешнему виду, служила своего рода городским центром. Почти все дома в Лос-Аламосе напоминали казармы и были выкрашены в зеленый или казенно-серый цвет, и только больница сияла белизной. Фасад больницы выходил на главную улицу, от которой ее отделял небольшой пустырь, нечто вроде заглохшего скверика, где вились и перекрещивались дорожки и тропинки. Позади дома, ярдах в ста от него, в маленькой низинке был небольшой, почти круглый пруд; в последние годы его обступили и заслонили собой новые постройки Технической зоны, которую он когда-то отделял от города. Вероятно, сейчас этот пруд уже совсем заброшен; раньше возле него собирались дети со всего города, он служил катком, бассейном для плавания, местом для всевозможных игр.

На пустыре перед больницей стояло несколько грубо сколоченных деревянных скамеек; в полдень на скамьи и ступеньки у входа в больницу часто присаживались прохожие; сюда выходили посидеть и покурить врачи и сестры, а друзья пациентов, лежавших в первом этаже, вопреки существующим правилам, подтаскивали скамейки к дому и, став на них, разговаривали с больными через окно. Случайно или намеренно, рожениц всегда клали в палаты на первом этаже, и молодые мужья постоянно пользовались скамейками. Иногда по вечерам сразу три или четыре молодых человека не меньше часа кряду беседовали со своими женами через окно. Лос-Аламос — город молодой, и в его больнице преобладали медицинские случаи, свойственные молодости.

На другое утро после происшествия в каньоне доктор Вальтер Ромаш, проходя через пустырь к Технической зоне, постепенно замедлял шаги и наконец остановился. Поставив портфель на землю, он подпер его ногой, закурил и устремил пристальный взгляд на больничные окна. Через минуту с другой стороны улицы его увидел Джордж Уланов и, перейдя мостовую, остановился рядом.

— Сакс лежит в угловой палате на втором этаже, — сказал Уланов. — Вон там, — указал он пальцем. — Что вы слышали? — Уланов чуть-чуть подчеркнул слово «вы».

Ромаш пожал плечами.

— Говорят, будто он в худшем положении, чем был прошлым летом Нолан, впрочем, эти слухи — из ненадежных источников. К тому же, Луис значительно здоровее Нолана. У Нолана пошаливало сердце, и сам он был толстый — во всяком случае, толще, чем следовало бы. Вы знали, что у него плохое сердце? В таких случаях это иногда имеет значение.

— Возможно,— ответил Уланов, все еще глядя на окна больницы.— Но я не уверен, так ли уж много это значит. Разве состояние сердца что-нибудь решает?

— Ну, само собой, все относительно,— сказал Ромаш.— Быть может, такие вещи ровно ничего не значат, а, с другой стороны, человека всегда может подвести сердце. Разумеется, здоровое сердце — большой плюс.

— Если только это имеет значение, — сказал Уланов. — Два месяца назад я лежал в той же самой палате. Я сломал палец на ноге, катаясь

на лыжах,— кстати, вместе с Сакслом. И в этой палате я очень быстро выздоровел. Это хороший знак, как по-вашему?

— Ох, ради бога,— поморщился Ромаш.

— У вас такой вид, будто вы несете бедняжке больному собственноручно приготовленный бульончик. Бедный малый! Избави меня боже от друзей, а от врагов я сам избавлюсь!

— Надо еще иметь друзей,— сказал Ромаш, раздраженно оглядываясь вокруг.

— Сейчас начнут каждую мелочь выворачивать наизнанку и приписывать значение всяким пустякам, которые ровно ничего не значат. И все это только для собственного утешения.

— Так что же, по-вашему, имеет значение? — громко и зло спросил Ромаш, поворачиваясь к Уланову.— Какие у вас основания приговаривать его к смерти, когда тут вообще ничего не известно? Я и не знал, что вы такой специалист по лучевой болезни. До сих пор считалось, что таких специалистов нет.

— Разве? — сказал Уланов.— А Саксл? По крайней мере, он специалист по болезни Нолана. Ведь все двадцать дней, пока Нолан умирал, Луис не отходил от его постели и ухаживал за ним, как родная мать. Он знает неизмеримо больше вас, а вы будете распространять среди других благонамеренную чушь, и эта чушь будет с самым серьезным видом преподнесена ему в палате благонамеренными посетителями —ему, который знает все и может без конца думать об этом в те часы, когда нет посетителей. — Уланов снова взглянул на окна угловой палаты и повторил: — В те часы, когда нет посетителей.

На улице, немного поодаль, остановились три человека.

— Что слышно? — крикнул один.

— Чем это вы допекли Ромаша? — спросил другой.— Смотрите, какое у него злющее лицо.

— Никто не хочет понять, что понадобится несколько дней, чтобы установить объем полученного ими нейтронного облучения, — сказал третий, подходя к Ромашу и Уланову. — Гамма-излучение вычислить не так трудно, но нейтронное излучение — это совсем другое дело. Нужно проделать множество измерений. И расчет на семь человек. Верно, Уланов?

— Времени хватит и на то, и на это, — возразил Уланов Ромашу.

К маленькой группе присоединились еще двое. С противоположной стороны подошел человек, шагавший по улице в одиночестве. Никто не произнес ни слова, все слушали Ромаша, который, отвечая Уланову, глядел на окружающих. Высокий и грузный, Ромаш стоял, широко расставив ноги, придерживая одной ногой портфель и скрестив на груди руки. Лицо у него действительно было злое, но чувствовалось, что вызывает эту злость вовсе не собеседник. В сущности, Ромаш был скорее растерян, чем зол,— он никак не мог понять Уланова, и разве не ясно, что Уланов нарочно не хочет понять его?

— ...а с больным всегда надо говорить осторожно, особенно если он человек образованный, да еще такой, который знает, что это за болезнь,— говорил Ромаш.— Это же само собой разумеется. Но как хотите, а такие факторы, как больное или здоровое сердце... Я только что говорил, что у Нолана сердце было плохое или, во всяком случае, не совсем в порядке. Вам это известно? — Ромаш обвел глазами всю группу.

— Да, мне это известно, — сказал один из присутствующих. — Но, простите, о чем, собственно, спор?

— Меня интересует одно,— сказал другой,— как это произошло. Если это могло случиться с Сакслом, значит может случиться и с любым из нас.

Уланов сосредоточенно беседовал с физиком, заговорившим об измерении нейтронного излучения, приземистым человеком по имени Пепло,

— ...ничего общего с взрывами в Японии, — говорил он. — Конечно, последовательность ядерных реакций одинакова, что в бомбе, что в критической массе, с которой они работали. Но эта их масса давала только ионизирующее облучение — ни тепловой, ни механической энергии. Короче говоря, взрыва быть не могло. К тому же, они стояли близко к источнику радиации. Значит, что же? Когда взрывается бомба, лучи фильтруются сквозь воздушный слой в несколько тысяч футов, а здесь не было никакого воздушного слоя и вообще ничего, кроме той ерунды, которая у них считается заслоном. Это означает еще больший процент нейтронов по сравнению с гамма-лучами. И еще больше бета-лучей. Если Сакел действительно дотронулся руками до делящегося вещества, он может потерять их хотя бы от бета-лучей.

— Если это могло случиться с Сакслом, значит может случиться с любым из нас,— повторил человек, только что сказавший эту фразу.

Вдруг заговорил очень молодой человек, лет двадцати двух или двадцати трех, с прямыми светлыми волосами и голубыми глазами. Он внимательно слушал Ромаша, излагавшего свой спор с Улановым, и сделал попытку вмешаться в разговор.

— Простите...— начал было он.

— Интересная штука получается с числами,— перебил его один из присутствующих.— Двадцать первое число опять пришлось на вторник, и надо же, чтобы в этот день все и случилось.

— Простите,— снова заговорил юноша,— вероятно, вы и мистер Уланов говорите о разных вещах.

— Что вы сказали насчет чисел? — заинтересовался Уланов, прерывая разговор об излучении нейтронов.

Оказалось, что только двое из восьми собравшихся уже слышали о любопытном совпадении дат. Некоторые улыбнулись, один вытянул губы трубочкой, а остальные, кроме Уланова, приняли это довольно безразлично. Уланов короткими шажками стал ходить взад и вперед.

— Ну, разве это не поразительно? — бормотал он.— Ей-богу, просто поразительно!

Ромаш и молодой человек разговаривали между собой, чуть отойдя в сторону.

— Тем не менее,— говорил Ромаш,— когда я сказал, что у Луиса здоровое сердце и это позволяет надеяться на лучшее, он заявил, будто я несу чушь.— Тон у Ромаша был удрученный.

— Третий день, два и один,— сказал Уланов.— Это безусловно интересно. Три, два, один, shunya.

— Но если чересчур поддаваться иллюзиям, не рискуем ли мы проглядеть настоящую опасность? — спросил Ромаша молодой человек.— И, так сказать, утратить ощущение реальности? Быть может, об этом и шла речь?

— Да, примерно,— бросил через плечо Уланов. Он остановился и снова стал глядеть на окна угловой палаты.

— Совершенно верно, в такой ситуации процент нейтронов очень велик,— объяснял кому-то Пепло,— но не только это затрудняет дело. Необходимо выяснить, как распределилось нейтронное излучение. Например, сколько из этой дозы проникло в кости, где радиоактивность фосфора еще усилит действие облучения на соседние ткани. Это очень интересно, но и очень трудно.

— Вы суеверны, Уланов? — спросил с улыбкой кто-то.

— Само собой, — ответил Уланов, — а кто из нас не суеверен? Но такая необычная последовательность чисел, даже если б это случилось один раз, и то удивительно. А уж дважды — тут надо либо не обращать на это внимание, либо ждать беды. Три, два, один, ноль — shunya, то-есть, ни-

что.— Он развел руками и сделал гримасу.— Признаться, меня это не радует,— добавил он.

— «Shunya?» Это еще что...— начал кто-то.

— Мистер Уланов обращается к первоисточникам,— перебил юноша.— «Shunya» по-индийски — ноль, который, кстати, придумали индийцы. Но, мистер Уланов, не слишком ли вы поддаетесь страхам, особенно по такому экзотическому поводу?

— Индийцы? — раздался голос.— Какие индийцы?

— Которые живут в Индии,— ответил другой голос. — Меня всегда удивляло, как это греки не додумались до ноля. Данциг утверждает, что рабовладельческая основа греческой экономики сказалась в презрении ко всему, что способствовало...

— Бесспорно,— сказал Уланов,— но что поделаешь с такими совпадениями? Это и удивительно просто, и попадает в самую точку; такие вещи существуют на свете, и от них никуда не денешься. Однако я должен извиниться перед Ромашом. Ромаш, примите мои извинения. Я еще больший болван, чем вы.

— Как физик,— сказал один из собравшихся,— я могу понять вас обоих. Математики, вроде Уланова, всегда склонны к мистике. Помните Рамануджана — кстати, почему индийцы так сильны в математике? — так вот, помните, Рамануджан писал замечательные формулы, но часто не мог придумать для них доказательства. Он утверждал, будто какая-то богиня внушила ему эти формулы во сне. Что вы на это скажете, Ромаш? А что касается вас, химиков, вы просто сварливый народ и боитесь всего нового. А все потому, что вы подавлены тем, как много вы знаете. Мы-то, физики, понимаем, насколько знания ограничены.

Сверкающий, быстро нагревавшийся на солнце воздух над пустырем дрожал от этих споров и рассуждений, хотя с пика Тручас, вероятно, казалось, что в городе ровно ничего не происходит, а на противоположную сторону улицы или в угловую палату не доносилось ни слова. Даже на расстоянии двадцати шагов слышалось лишь неясное бормотанье, ибо только Ромаш один раз повысил голос, остальные же говорили совсем тихо. Бетси Пилчер, заметившей эту группу за целый квартал, показалось, что они стоят молча и неподвижно. «Как коровы на пастбище»,— сердито подумала Бетси, подходя ближе.

Она шла медленно, но, увидев их, прибавила шагу; пусть знают, сказала она про себя, что у некоторых есть дела поважнее, чем стоять и глазеть на окна. И для пущей убедительности она придала суровое выражение своему помятому, припухшему от бессонной ночи лицу. Сегодня в два часа ночи холодный ветер, бесконечная пустая улица и безучастные звезды нагнали на нее глубокую тоску; сворачивая за угол, к своему дому, она оглянулась на освещенные окна угловой палаты, и ей захотелось плакать. Сейчас стояло солнечное утро, на улицах толпился народ, но, когда Бетси приближалась к окнам, которые с виду ничем не отличались от других, на душе у нее было нисколько не легче. Сегодня она приняла таблетку бензедрина, выпила три чашки кофе и долго стояла под холодным душем — эти меры в сочетании с невеселыми мыслями привели к тому, что она ненавидела всех, кто попадался ей по пути. Ведь никто не знает того, что знает она, никто не испытывает того, что она, и все казались ей врагами, особенно те на пустыре — стоят, как стадо свиней, прикидываются друзьями, а на самом деле (она знала этот сорт людей) их просто разбирает любопытство; ничем они не помогут, да и не в силах помочь, они целы и невредимы — *невредимы!* — и лезут сюда неизвестно зачем. Бетси не дала себе труда надеть маску на усталое лицо, и оно отражало все ее ощущения. Она чуть замедлила шаг, поправила выбившиеся из-под шапочки волосы и решительно пошла вперед.

Но, подойдя ближе, Бетси увидела, что они вовсе не стоят неподвижно, как стадо свиней. Скользнув по ним быстрым взглядом, она убедилась, что они и не думают пялить на нее глаза, и это как-то примирило ее с ними. Бетси не столько увидела, сколько ощутила еле заметные беспокойные движения, какую-то напряженность в облике каждого, выдававшую чувства, которые им хотелось скрыть, и смущение оттого, что это не получается. Но Бетси ничуть не смягчилась, потому что, внутренне примирившись со всеми, она к каждому отдельно испытывала враждебность. Все они были ей знакомы, некоторым она даже оказывала помощь при каких-нибудь пустяковых заболеваниях, но все эти люди принадлежали к прошлому или, если угодно, к будущему, и сейчас ей было не до них. Смутно различая их лица краешком глаза, она видела и чувствовала, что сначала один, потом другой хотел заговорить с нею, и ровным шагом прошла мимо. Бетси, как, впрочем, многие сестры, научилась подчинять свои душевные движения внешним обстоятельствам так, чтобы не обострять отношений с родственниками и друзьями пациентов; когда надо, она умела проявить участие или же держаться в стороне. Пожалуй, атмосфера сейчас была довольно благоприятная для того, чтобы дать волю душевным порывам, так как, проходя мимо этих людей, она вместо возмутительного нездорового любопытства почувствовала в них искреннее беспокойство, которое могло бы ее растрогать. Однако она не растрогалась. Ибо все-таки никто не знал того, что знала она, и никто не испытывал того, что она. Бетси выругала их про себя — наверное, они еще доставят ей немало хлопот — и молча поднялась по ступенькам.

А в группе, когда Бетси прошла мимо, сразу же оборвалась ниточка нервного, ничего не значащего разговора. Бетси отнеслась к этим людям с полным равнодушием; но они не могли оставаться равнодушными к Бетси, вернее, к тому, что было сейчас с нею связано; и чтобы не проговориться о том, самом основном, что каждому из них удавалось скрыть за пустой болтовней, они начали расходиться. Физик, который перед появлением Бетси учтиво иронизировал над собеседниками, вдруг резко повернулся и ушел. Три человека, подошедшие вместе, отделились от остальных и вместе зашагали прочь. Но к пустырю подходили другие. И едва распалась первая группа, как тут же рядом возникла новая. Кто-то окликнул Ромаша; тот поднял с земли портфель и подошел поближе. Уланов и юноша остались вдвоем; Уланов курил и чертил носком ботинка по земле; юноша раз-другой провел рукой по прямым волосам, мельком взглянул на Уланова, потом тоже повернулся и ушел.

5.

Через несколько минут на улице, со стороны телеграфа, появился Дэвид Тил. Уланов уже ушел, вторая группа тоже разошлась, но на другой стороне улицы, напротив больницы, образовалась третья. Человек пять-шесть медленно прохаживались по тротуару, останавливались, потом опять принимались ходить взад и вперед. Они были увлечены разговором и не заметили Дэвида, который, в свою очередь, не обратил на них внимания. Но не успел он дойти до пустыря, как кто-то отделился от группы и, окликнув Дэвида, бросился его догонять.

— Ну как, удалось? — спросил Дэвид, повернув к нему голову, но продолжая идти к больнице.

— И да и нет, или, вернее, и нет и да,— сказал человек. Ему, видимо, хотелось остановиться и поговорить, но так как Дэвид шагал дальше, он последовал за ним, шагая немножко боком.— Тот мотор, о котором вы говорили, не годится — кто-то вынул из него щетки. Но у моего сы-

нишки есть маленький моторчик, в двадцать лошадиных сил, знаете. Я взял его.

— Можно найти и другой,— сказал Дэвид.

— Да он ему не нужен. Потом я связался с Домбровским из циклотронной мастерской. Попозже зайду к нему. Они с радостью... Дэйв! А, черт! Подождите же! Как там сегодня дела?

Дэвид уже начал подниматься по трем ступенькам небольшого крыльца. Сейчас он остановился на средней.

— Не знаю, со вчерашнего вечера ничего не слыхал. Да и вряд ли пока что можно ожидать перемен.

— А как по-вашему, что будет?

Дэвид двинулся дальше. Стук палки о дощатую ступеньку заглушил брошенное им в ответ односложное слово. Поднявшись на крыльцо, Дэвид оглянулся. К небольшой группе на той стороне подошел полковник Хаф; все смотрели на окна больницы; а Дэвид несколько секунд смотрел на них, потом обратился к стоявшему у ступенек человеку:

— Знаете что,— сказал он,— можно взять один из этих больничных подносов на роликах, что передвигаются поперек кровати, и поставить аппарат для чтения прямо на нем. Вы сэкономите время. Во всяком случае, это идея. Вы уже придумали, как управлять аппаратом?

— Это мы сообразим, Дэйв. Но на вас просто лица нет. Шли бы вы домой, выспались бы.

Дэвид кивнул головой, потом повернулся и вошел в больницу.

На той стороне улицы полковник Хаф, следивший глазами за Дэвидом, вдруг умолк и, когда Дэвид исчез за дверью, заговорил снова:

— Все-таки он мог бы остановиться и поговорить с вами. Сегодня утром я с ним беседовал. Он очень потрясен. Всю ночь не сомкнул глаз. Конечно, Луис его самый близкий друг. Конечно, это... а, да что говорить, случай ужасный, сколько времени все шло хорошо, и надо же было...

— Это ведь очень коварный опыт. Меня всегда удивляло, почему...— начал кто-то.

«Солдаты рискуют жизнью, — так говорила жена полковника, — и отлично знают, что идут на риск. А разве ученые — какие-то особенные люди? Почему они не должны рисковать жизнью?»

— Да,— произнес полковник,— опыт коварный. Я-то сам не видел, как он делается, но мы часто об этом говорили. Странно только, что Луис делал его уже далеко не в первый раз...

— Насколько я понимаю,— вмешался один из присутствующих,— опыт мог быть куда менее сложным. Я тоже его никогда не видел. Но не то вчера, не то третьего дня мне говорили, будто Сакслд добивался разрешения установить контроль на расстоянии.

— Вы не знаете точно, что там произошло? — спросил другой.— Должен сказать, трудно отделаться от мысли, что если это случилось с ним, значит может случиться с каждым из нас.

Остальные закивали, подтверждая его слова. Полковник покачал головой. Он мало знал своих собеседников. Это были главным образом инженеры и высококвалифицированные техники из электронной лаборатории и механических мастерских. Трое или четверо считались в Лос-Аламосе новичками — иначе говоря, они прибыли сюда уже после войны. Полковник обычно сходился с такими людьми быстрее, чем с физиками, химиками и математиками; мысли их были ему гораздо понятнее, тем более, что они совпадали, вернее, могли бы совпасть с его собственными мыслями, если бы он дал себе труд подумать. Но сейчас он глядел на этих людей с чувством неловкости. Сколько есть такого, чего эти новички не знают и, наверное, никогда не узнают о годах войны, о великих, увлека-

тельнейших временах, о временах сугубой секретности. «Болван»,— выругался он про себя, задумчиво глядя в пытливые глаза молодого человека, который спросил, что там произошло.

— Я еще не разобрался,— сказал он, но все глаза были по-прежнему устремлены на него.

Полковник подошел к этим людям с намерением что-то разъяснить, но его встревожили их взгляды — полковник даже забыл, что он сам виноват, что на него не глядели бы так, если б он не уклонился от ответа и сказал бы то, что хотел сказать вначале. Но прежние мысли не то чтоб исчезли, а как бы отступили на задний план перед чем-то другим. А это другое было внезапно пришедшим ему на память эпизодом из книги Кестлера, которую он прочел не так давно. Фашисты сорвали с ее героя одежду, положили его на стол и привязали; один из них подошел и стал медленно протягивать руку с зажженной сигарой к его половым органам. Герой, лишенный всякой возможности сопротивляться, мог отвечать фашисту только взглядом, а тот, смотря ему в глаза, придвигал сигару все ближе и ближе. Но так выразителен был взгляд лежащего, что фашист не выдержал, немой упрек возбудил в нем какое-то человеческое чувство, и он отступил, так и не пустив в ход сигару. Но к чему полковник вспомнил это? Кто и кого укоряет? Мы с Сакслом однажды здорово выпили вдвоем, подумал он; но им этого не понять, в те времена их тут не было.

— Я еще не разобрался,— повторил полковник.— Но Луис вел себя самоотверженно, это мне точно известно,— продолжал он, вспомнив, что хотел сказать. — Вы знаете, что он разбросал кучу голыми руками?

Некоторые знали, другие — нет.

— Остальные должны быть ему благодарны,— пояснил полковник.— Это был геройский поступок.

— Я думал об этом,— сказал кто-то.— Не знаю, есть ли время в такой ситуации совершать геройские поступки. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я преклоняюсь перед Сакслом, хотя почти не знаком с ним, но судя по тому, что я слышал... К тому же, у него необычайно искусные руки. Об этом мне не раз уже рассказывали. Как инженер, я могу это оценить; но руки еще не все.

Остальные что-то пробормотали в знак одобрения. Полковник представил себе Луиса на больничной койке, беспомощного, с руками во льду.

— Ведь это случилось за одну крохотную долю секунды, а чтобы мозг реагировал на внешние импульсы, надо...

— Быть может, это был инстинктивный порыв,— резко перебил полковник,— но такие порывы бывают лишь у людей мужественных. Я наблюдал подобные случаи среди солдат. Иногда опасность возникает так молниеносно, что они не успевают опомниться. И что же — один бросается вперед, другой назад. Да. Оба действуют инстинктивно, но у одного есть мужество, а у другого нет.

Полковник поглядел вдоль улицы, затем на больницу, после чего сказал, что ему пора идти. Он попросил присутствующих, если можно, пока не рассказывать о случившемся никому за пределами Лос-Аламоса и подчеркнул значение официальной информации, учитывающей интересы безопасности и моральное состояние жителей. Не будут ли они добры передать это своим друзьям? — добавил полковник. Он круто, по-военному, повернулся, быстро зашагал через пустырь и вошел в больницу.

Люди медленно побрели по улице.

— Любопытно, могут ли влиять моральные критерии на инстинкты,— немного погодя, сказал один.— По-моему, вряд ли.

— Вы читали, что вчера сказал Трумен? — спросил другой.— Он сказал, что атомная бомба уничтожила национализм и открыла новую, небывалую Эру Духа. Вы что-нибудь понимаете?

— Эй, посмотрите-ка! — воскликнул третий, судя по выговору — англичанин.

— Вперед, навстречу Бикини и новой Эре Духа! — холодно сказал кто-то. Остальные засмеялись.

— Беда в том, что полковник неспособен представить себе миллионную долю секунды,— произнес инженер.— Это очень трудно.

— Да поглядите же туда, говорят вам!

— Что это?

Собеседники в это время поравнялись с дальним крылом больничного здания; посредине его была дверь в подвал, возле нее стоял маленький грузовичок. Два человека сгружали бочонок колотого льда; лед сверкал в лучах солнца, на земле поблескивали упавшие осколки.

— Должно быть, для его рук,— заметил кто-то после паузы.— Очевидно, весь лед уже вышел.

— Бедный малый,— сказал другой. Все зашагали дальше, немного быстрее, чем прежде, и никто больше не произнес ни слова.

В окне палаты, где лежал Луис Саксл, щелкнули планки жалюзи; за ними показалась Бетси Пилчер, глядевшая на пустырь. Там уже не было ни души, все разошлись, и в последующие полчаса на пустыре никто не задерживался, хотя за это время с разных сторон прошло несколько человек; они торопливо пересекали пустырь и исчезали в дверях больницы. Попозже стали появляться жены, вышедшие в центр за покупками, они останавливались у пустыря, смотрели на окна больницы, рассказывали все, что слышали, узнавали, что слышали другие, и сопоставляли сведения, стремясь выведать как можно больше. В полдень и несколько раз в течение дня прохожие опять собирались на улице кучками; люди что-то говорили, потом подолгу молчали и расходились в разные стороны. Некоторые из тех, кто задерживался здесь утром, по дороге на работу, опять задерживались в конце дня, по дороге домой. А перед вечером, когда горы Хемез стали вырисовываться темными силуэтами на фоне заката, на улицу высыпали дети. Бегом и вприпрыжку они мчались через пустырь к пруду немножко поиграть до ужина. Когда на плато легли тени гор, в городе зажглись огни; у пруда на высоком столбе ярко горела голая лампочка, ее желтый свет достигал угловой части больничного здания, и чем больше сгущалась темнота, тем ярче казался этот свет на фоне чернеющих окон. Еще какое-то время с пруда доносились крики расшалившихся ребятишек, а потом, когда совсем угас дневной свет, они бегом и вприпрыжку помчались по улице домой.

6.

Повернув голову направо, Луис мог смотреть в окно, выходящее на пустырь перед больницей. Но даже подтянувшись к изголовью, насколько позволяли лотки со льдом, державшие его руки, словно капканы, Луис не видел пустыря, откуда весь день то и дело доносились невнятные голоса и изредка долетало какое-нибудь отдельное слово. Если планки жалюзи стояли с наклоном вниз, как сейчас, ему были видны верхушки деревьев. Если планки были наклонены наружу, под прямым углом, как утром поставила их Бетси, то на уровне подоконника виднелся тротуар на другой стороне улицы. В промежутках между приходами лаборантки, регулярно бравшей у него кровь, между двумя уколами пенициллина, переливанием крови, бесконечными сменами льда в лотках, несколькими беседами с Дэвидом Тилом, одной с полковником Хафом и многочисленными с врачами, не говоря уже о всяких осмотрах, исследованиях и про-

чем, — в промежутках Луис провожал глазами вдоль подоконника многих своих друзей, чуть подымая или наклоняя голову, чтобы видеть их ноги. Но сейчас он уже не поворачивал голову и не менял положения, чтобы поглядеть в окно. Лед в лотках, державших его руки, не мог унять боль, которая постепенно поднималась к локтям и выше; еще немного, подумал он, и придется сказать об этом врачам. А тем временем было как-то удобнее лежать на спине и смотреть прямо перед собой или на другое окно в стене напротив. Планки жалюзи на этом окне находили одна на другую, и Луис не видел ничего, кроме желтого света, становившегося все заметнее по мере того, как меркнул день. Луис знал фонарь, светивший в его окно, и мысленно рисовал себе пруд, у которого стоял столб, и играющих ребятишек; ему даже было слышно, как они перекликались.

Луис лежал тихо, не шевелясь. Ему дали снотворного, но спать не хотелось. Он ощущал огромную усталость и вместе с тем гложущую тревогу, он ощущал одно сквозь другое, и сон не приходил. Пока что в лечении не было ничего нового, кроме льда. То же самое они проделывали и с Ноланом, только не обкладывали его льдом. Луису хотелось подумать о мерах, которые принимали врачи,— в тот раз и сейчас.

Желтое сияние пробивалось между планками жалюзи, будто стараясь добраться до койки и окутать все его тело. Свет как бы согревал Луиса. Оба окна были закрыты, но в палате чувствовалась ночная свежесть, и ему становилось как-то легче, когда он смотрел на падавшие в комнату теплые желтые блики. Он закрыл глаза, потом открыл и снова закрыл. Особой разницы не было, он одинаково чувствовал свет и даже одинаково видел его. Он глядел на свет, прислушивался к детским голосам, и ему казалось, что все это когда-то уже было — и такой свет, и такие голоса, но у него не хватало сил припомнить, где и когда это было. Мысли его скользили дальше, память вдруг подсказала слова:

Огню ли мир наш обречен?
Во льду ли сгинет он?
Со мною пламя изберет,
Кто страстью опален.

Дальше он не мог вспомнить и долго лежал, не шевелясь и не напрягая памяти, и только повторял про себя строки стихов, смотрел на свет и слушал детские голоса.

В каньоне темнее, чем здесь, на плато; подумав об этом (и мгновенно забыв о стихах), он по меркнущему дневному свету в правом окне высчитал, что несчастье произошло более суток назад. Надо будет спросить Бетси, где его часы. Он попытался вспомнить, сколько раз его рвало,— кажется, четыре. Хорошего в этом мало. Но температура не повышалась, по крайней мере, с полчаса назад она была нормальной (хотя прошло еще слишком мало времени, и это ровно ничего не значит). А кровь — ему не сказали, что́ показывают эти бесконечные анализы, а он еще не успел спросить, но обязательно спросит. Он спросит Бетси, когда она придет. И пусть повесит часы так, чтобы он мог их видеть.

— «Лед», — произнес он вслух, — «той же силой наделен, как пламя убивает он». — И хотя Луис сказал это очень тихо, почти шепотом, он тотчас же огляделся по сторонам. Теперь ему во что бы то ни стало захотелось вспомнить эти полузабытые стихи. Дэвид, наверное, знает остальное, сказал он себе. Но тут же решил, что не станет спрашивать; ведь ему попросту досадно, что у него какие-то пробелы в памяти, а чего доброго, его заподозрят в нездоровом интересе к этим мрачным стихам. Он слегка пошевелил левой рукой в лотке со льдом, и боль в предплечье усилилась. А стихи, между тем, отличные. Он попросит Дэвида принести этот сборник, и Бетси прочтет ему вслух.

Немного погодя ему показалось, что кто-то приоткрыл дверь палаты. Он не был в этом уверен, потому что не хотелось поворачивать голову; и все-таки в ярком свете из коридора он ясно увидел лицо, выражающее бесконечную озабоченность; его даже слегка позабавило, что это выражение мгновенно сменилось сияющей, приветливой улыбкой, какая бывает у стюардесс на самолетах и у медицинских сестер. Видеть этого Луис, конечно, не мог, и отсюда он заключил, что, наверное, дремлет, — это его огорчило, потому что он решил не спать. Впрочем, вряд ли он дремал, так как в эту самую секунду до его сознания дошло, что детских голосов не слышно,— должно быть, они умолкли уже несколько времени назад. Ему показалось, что наступившая тишина была такой, словно дети не разошлись, а только притихли — быть может, к чему-то прислушиваясь. Потом он услышал высокий, пронзительный, совсем не детский голос: «Гарри! Гарри! Девять часов, Гарри! Ты слышишь?» Луис не мог определить, откуда шел этот голос,— как будто издалека, из-за пруда, и в то же время как будто из желтого сияния возле самого пруда, из сияния, которое уже просочилось сквозь жалюзи, расплылось по палате и окутало все его тело.

В желтоватом свете он разглядел фигуру Бетси, стоявшей у его кровати. Она протягивала ему банку варенья и говорила:

— «Мы пришли к тебе с дарами». Немножко вздремнули?

— Как другие? — услышал он свой голос.

А Бетси продолжала:

— Толпы людей и днем, и ночью. И чего им нужно? Вы немножко вздремнули?

Но в его ушах еще яснее, еще громче раздался зовущий голос: «Гарри! Девять часов, Гарри! Ты слышишь?»

Луис попробовал было потянуться за банкой варенья, но почувствовал страшную боль в левой руке. Бетси сразу отодвинулась куда-то далеко, словно откатилась на колесиках, улыбка ее потускнела, очертания фигуры стали расплываться. Боль постепенно ослабевала. Повернув голову, Луис взглянул на Бетси еще раз и понял, что она хочет что-то сказать. Но все же она была очень далеко, и он не представлял себе, что она может сказать, так как, несмотря на голос матери, звавшей Гарри, девяти часов еще не было. Он знал — стоит Бетси заговорить, и она скажет какие-то слова, а потом произойдет то, чего ему отчаянно не хочется. Но тут ему пришло в голову, что он может переждать или вовсе избегнуть этого, если будет лежать неподвижно и молчать.

— Девять часов, Гарри!

Даже не глядя в сторону Бетси, он увидел, как она снова приблизилась к нему с банкой варенья. По выражению ее лица он понял: что-то неладно.

— Помнишь тот вечер, когда ты нашел дедушку? — спросила она.— Как я могла допустить — ведь для ребенка это слишком сильное потрясение.

— О, мама, это было так давно, и ничего со мной не случилось, я помню... помню...

Вот такие же вечера...

В такие вечера большие, квадратные, похожие на ящики дома, их нелепые купола и неуклюжие, обсаженные кустами веранды сливались с деревьями темной Лонгфелло-авеню, образуя причудливые расплывчатые силуэты. Деревья ровными как по линейке рядами выстроились по обе стороны улицы на одинаковом расстоянии друг от друга. Те деревья, что выступали вперед, почти соприкасались кронами над мостовой, остальные затеняли тротуары, раскидывались шатром над лужайками перед домами

ми, и сквозь их густую листву светились окна верхних этажей. Свет мерцал между колыхавшимися листьями, и на лужайках играли узорчатые тени. В такие вечера на верандах сидели люди, чуть поскрипывали качели, в темноте светились красные точки сигар и сигарет. Люди негромко разговаривали, курили, порой перекидывались словом с соседями и то и дело поглядывали на середину улицы, где на узкой полоске травы, которая называлась бульваром, играли дети.

Вдоль полоски стояли фонари, по два на квартал; когда совсем темнело, в желтых кругах света, падавших на землю от фонарей, собирались дети. Они топтались, таращили глаза, дразнили друг друга, убегали, садились, вставали, играли в прятки, бросались из светлого круга в темноту, потом с визгом мчались обратно. Голоса играющих детей были самыми громкими звуками на вечерней Лонгфелло-авеню, а в желтых кругах под фонарями сосредоточивалось почти все движение. Изредка попадавшие на эту улицу машины ехали медленно; с веранд на детей то и дело устремлялись зоркие взгляды. Часов около девяти раздавался первый зов: «Гарри! Девять часов, Гарри! Ты слышишь?» И Гарри приходилось идти домой, игры мало-помалу затихали, дети разбредались по домам. А потом целый час на улице не было ни звуков, ни движения, разве только с какой-нибудь веранды донесется негромкий голос да изредка залает собака, хрустнет во дворе гравий под колесами машины, которую ставят в гараж, да послышится звук шагов, заглушенных листвою и темной массой кустов. И наконец веранды пустели, гасли окна сначала в первых этажах, потом наверху, и к полуночи в темноте светились только желтые круги под фонарями и все вокруг замирало совсем.

На бульваре обычно собирались только малыши. У подростков лет двенадцати появлялись уже другие интересы: правда, играть под фонарями они переставали и раньше, потому что здесь, между верандами, можно было играть тоже только в прятки да в пятнашки. Но иногда и подростки выходили на бульвар после ужина. Они стояли, прислонясь к фонарным столбам, присаживались на каменный бордюрчик, огораживающий полоску травы, смеялись и болтали с малышами или ловили их, когда те пробегали мимо, играя в прятки. Сиго, прозванный Капитаном и живший кварталом дальше, изредка появлялся на бульваре даже после того, как ему исполнилось пятнадцать лет. В глазах Луиса, одиннадцатилетнего мальчишки, Капитан был героем; и Капитан, чувствуя это, иногда заговаривал с ним и не очень дразнил. И это было уже много, ибо неизмеримое расстояние отделяет мир ребенка от мира подростка. Но в этот вечер два мира, преодолев разделяющую их даль, почти соприкоснулись. (О, мама, не приходи за мной подольше! О, Капитан...).

В тот вечер его мать сошла с веранды и направилась через улицу, к бульвару. Луис увидел ее издали и удивился — ведь еще не время идти домой, а кроме того, матери никогда не приходили на бульвар, они просто звали. Но мать подошла к нему, и он сказал, что еще рано. Мать ответила что уже почти пора, а кроме того, она собралась проведать дедушку Авраама Саксла и отнести ему банку варенья; она хочет, чтобы Луис пошел с ней.

Несколько месяцев назад дедушка Саксл почувствовал тяжесть в груди, внезапно покрылся потом и тут же ощутил бешеный трепет внутри, и когда трепет утих и ушел доктор, дедушка Саксл сразу превратился из бодрого шестидесятисемилетнего мужчины в старого брюзгу.

Он уже много лет жил один и продолжал жить в одиночестве даже после припадка. Он был еще в состоянии двигаться, вел свое хозяйство сам, возился в разбитом позади дома маленьком садике с виноградной беседкой и даже совершал небольшие прогулки. Мать Луиса навещала его ежедневно, а иногда и по два раза в день и приносила ему провизию,

книги и журналы. Обычно она проводила у старика около часу, они вспоминали прошлое и беседовали о семейных делах. Старик не хотел переезжать из своего домика, впрочем, благодаря ей в этом и не было надобности. Она поставила у его кровати телефон и всегда звонила ему по вечерам. Но в этот вечер на звонок никто не откликнулся. Мать повесила трубку и стала звонить еще и еще, но ответа не было. Несколько секунд она молча просидела у телефона, постукивая по столику карандашом. (Папа уехал в Спрингфилд и вернется, примерно, через час, но все-таки...) Ей не хотелось звать никого из соседей; пока незачем, думала она, мельком вспомнив, каким красивым и стройным был Авраам Сакс еще несколько месяцев назад и какие у него были густые белые волосы,— сейчас они уже не кажутся густыми. Вернее всего он заснул... но в конце концов она встала и пошла на бульвар.

Дедушка Авраам Сакс жил за углом, на соседней улице, в домике с неуклюжей верандой, обсаженной кустами. Спальня была на втором этаже, ее круглое окно выходило на крышу веранды. Завернув за угол, они увидели в окне свет и заметили, что окно приоткрыто. Им была видна даже висящая над кроватью большая гравюра в раме, изображавшая летящих уток, но с тротуара они не могли видеть дедушкину кровать, вернее, видели только заостренные столбики и часть стены под гравюрой.

— Пожалуй, лучше зайти, может, ему что-нибудь нужно,— сказала мать.— Должно быть, он задремал,— продолжала она. Только после того, как они завернули за угол, Луис почувствовал, что мать встревожена.— Жаль, что папы нет,— добавила она, и когда они подходили к дому, не сводя глаз с окна, тревога передалась и Луису. Он заметил, что мать раза два украдкой взглянула на него. Пройдя полпути от угла к дому дедушки, она вдруг остановилась, и Луис остановился тоже. Мать обняла его рукой за плечи, и они пошли рядом.

— Дедушке осенью будет шестьдесят восемь,— сказала мать,— не следовало бы старику жить одному, мало ли что может случиться с больным человеком.— Пройдя несколько шагов, она заговорила снова: — Ты, наверное, не помнишь, каким он был красавцем. Он всегда ходил в белых полотняных костюмах, и люди на улице оборачивались ему вслед.

Почти напротив дома стоял фонарь; стекло в нем было наполовину закрашено черным, чтобы свет не бил в окна. Они миновали фонарь и пошли по дорожке к веранде. На этой улице было совсем тихо, здешние дети ходили играть на Лонгфелло-авеню. В соседнем доме было темно, а на верандах других домов не виднелось ни души. Мать окликнула деда вполголоса, но в тишине ее зов прозвучал неожиданно громко.

— Отец, вы не спите?.. Дедушка! — Они немного подождали, потом пошли к веранде, и мать позвонила. Звонок пронзительно задребезжал в доме, они стояли и прислушивались. Мать позвонила еще раз и сразу же застучала в дверь.

— И зачем он только запирается, — сказала она, дергая ручку, дверь была заперта. А Луис в это время стоял чуть позади, глядел на мать и напрягал слух.

— Ты можешь влезть на крышу веранды? — вдруг спросила мать.

— Ясно, могу.

— Да, я знаю. Сколько раз я тебе запрещала, но... ох, милый! — Мать обняла его. — Ну, слушай, — сказала она, — полезай наверх, только будь осторожен, милый, и попробуй окно на лестничной площадке. Оно, наверно, открыто, а если нет, влезь в окно дедушкиной спальни. Пройди через комнату, не останавливайся, не смотри вокруг и не заговаривай с дедушкой, спустись прямо вниз и открой мне дверь. Можешь?

— Ясно,— сказал Луис. Он повернулся к перилам, примыкавшим к столбу возле ступенек веранды; взобравшись на перила, он вскарабкался

по столбу, как делал уже не раз, добрался до навеса и, ухватившись за край, подтянулся на руках и влез на крышу.

— Помни же, ступай прямо вниз,— сказала мать.

Он знал, что окно на лестнице закрыто наглухо; он даже не посмотрел на него, а прежде всего быстро заглянул в окно дедушкиной спальни, ни на чем не задерживая взгляда, и не столько увидел, сколько ощутил белизну простынь, фигуру лежащего на кровати деда и особенно его голову, выделявшуюся на белой подушке. Еще не успев ничего рассмотреть, он увидел устремленные на него глаза и, пробираясь к окну по плоской крыше, все смотрел прямо в глубь комнаты, в глаза деду. Чтобы влезть в окно, надо было только чуть-чуть приподнять раму, и, влезая, Луис уже ни на секунду не отрывал взгляда от глаз, смотревших на него с подушки. Очутившись в спальне, он выпрямился и, все еще глядя на деда, нерешительно остановился: теперь он заметил, что старик беззвучно шевелит губами. И еще он заметил, что дедушка лежит, согнувшись, у самого изголовья кровати, словно придавленный тяжестью, не дающей ему подняться. Голова его непрерывно двигалась — чуть-чуть вперед и назад и опять вперед и назад. Старик лежал, согнувшись почти вдвое, а мальчик стоял возле, и оба смотрели друг на друга и молчали. Мальчик растерянно отвел глаза, но растерянность тут же сменилась страхом, и он снова взглянул старику в глаза, словно ища источник этого страха и боясь от него оторваться. Так он и стоял, как пригвожденный к месту, и не пошевелился даже, когда услышал голос матери, что-то кричавшей ему снизу. Как выглядел дедушка в белом полотняном костюме, Луис помнил лучше, чем думала мать. Помнил он также, как они всей семьей — отец, мать, сестра и он — приходили к дедушке. «Кто знает — Един?» — спрашивал дедушка, сидя у стола и пристально глядя на Луиса сверху вниз.— «Кто знает — Един?» — спрашивал он терпеливо и спокойно. «Я знаю — Един бог во вселенной». «Кто знает — Два?» И вдруг Луис отвел глаза и бросился бежать через комнату, через площадку, вниз по лестнице к входной двери, отпер ее и дрожа прижался к матери.

Потом все было хорошо. Сидя на каменном бордюре, окаймлявшем бульвар, и карауля отца, он удостоился сначала внимания, а потом живого интереса со стороны Капитана Сиго. Когда другие дети, ничего толком не поняв, разошлись по домам, Луис почувствовал себя, как прибывший издалека гонец, который сподобился аудиенции у владетельного князя. Все барьеры рухнули: князь, из уважения к доблести юного гонца, сам подошел к нему и предложил сесть. Мать заплакала, глядя на Луиса, подъехавший доктор назвал его молодцом, но только Капитан оценил всю важность происшедшего.

— Я знаю ребят, которые видели мертвецов,— сказал Капитан,— но только ты один видел, как умирают. Если только он и правда помрет.

— Он обязательно помрет.

— Ну, пока еще неизвестно. От второго припадка не всегда умирают. От третьего — уж обязательно, это все равно как третий раз нырять — непременно утонешь. Но можно помереть и от второго припадка. Вот не знаю только, будет ли считаться, если он помрет не сегодня.

— Если он помрет от этого припадка, значит он все равно умирающий, пусть он даже умрет не сегодня, верно? Пусть он даже умрет завтра или послезавтра?

Капитан немножко подумал, легонько подергав кустик травы; с веранд доносилось поскрипыванье качелей.

— Пожалуй, да,— милостиво согласился он.— Наверно, так и есть. Ну ладно, там увидим. А знаешь, солдаты на поле боя все время видят, как люди умирают. И спорим на что хочешь — это им нипочем, они привыкли. И гонщики тоже, те, что ездят на гонках в таких маленьких авто-

мобильчиках,— ведь у них расшибается уйма народу. А ты мог бы привыкнуть, если б все время видел умирающих?

— К такому привыкнуть нельзя.

— Вот уж чего не знаю, того не знаю. Скажи правду, ты здорово перепугался?

— Да уж порядком.

— Ну-ка, расскажи еще раз, какой он был, как он лежал на кровати.

В эту ночь дедушка не умер. Он оправился настолько, что опять мог двигаться по дому, но на возню в садике у него уже не хватало сил. Вместо того он научился выращивать в себе те сухие, но питательные плоды, что растут только на крутых откосах смерти. К нему приставили служанку, а веранду оборудовали так, чтобы старику было удобно проводить там летние дни и видеть все, что делается на улице. Вскоре после второго припадка он стал порою замечать на тротуаре перед домом своего внука в сопровождении мальчика постарше. Дети редко приходили играть на эту улицу, и старшего мальчика он не знал в лицо. Старик махал им рукой с веранды, и мальчуганы иногда заходили к нему. И хотя они только и делали, что по-ребячьи переминались с ноги на ногу и молча переглядывались, старик радовался этим кратким посещениям. Ему доставляло огромное удовольствие видеть двух дружков, еврея и христианина, одиннадцати и пятнадцати лет, его радовало, что они бросали игры, чтобы навестить старика, да еще такого больного.

(«Он тебя очень любил, сынок. Ты очень на него похож». — Луис думал: «Я знаю. Мы с ним много разговаривали... в те времена, когда я ходил к нему... Но только не сегодня, мама... не сегодня...»).

Оба они были детьми эпохи чудес, он и Капитан, и так велики были эти чудеса — автомобили, аэропланы, радиоприемники,— что разница в возрасте стала несущественной мелочью. Как-то Капитан захворал, и родители завалили его подарками. Среди подарков был набор деталей для самодельного радиоприемника — великолепная вещь, состоявшая из бесчисленных частей и приспособлений и рассчитанная на профессионалов, но вовсе не недоступная пониманию мальчика, который ради нее забросил всякие игры на целый месяц. Пока их занимало это дело и пока длился этот месяц, Капитан и Луис были неразлучны. Если б не чудеса, Капитану никогда не пришло бы в голову, что Луис подходящий для него товарищ, но в данном случае товарищем мог стать всякий, кто проявлял интерес к таким занятиям, хоть он мог быть и притворным — и понимание, которого уж никак не подделаешь.

Но вскоре Луис, к своему ужасу, обнаружил, что чудеса ему наскучили; это казалось невероятным, и он много размышлял и приходил к выводам, что чудеса велики, а сам он — ничтожество. Ночами Луис долго не засыпал, отстаивая свои привычные убеждения от вторгшейся в его душу ереси. Но с той минуты, как он ощутил в себе эту слабость, он уже не мог отделаться от мысли, что ему больше нечему учиться у машин. Он скорее умер бы, чем открыто сознался в этом; Капитан соображал куда лучше, чем он, и Луис явно мог бы еще многому научиться. А если так, шептал ему суровый внутренний голос, значит тебе просто неинтересно учиться. Неправда, кричал он про себя, это только потому... потому...

Его спасало и поддерживало лишь преклонение перед Капитаном, которое ничуть не поколебали эти лихорадочные сомнения. По-прежнему мать Капитана, спотыкаясь о провода и деревянные сооружения, прогоняла Луиса домой, но в конце концов дезертировал не Луис, а Капитан; он открыл для себя новые стороны жизни, о которых не полагалось болтать, и отдалился от Луиса. Это случилось внезапно, и еще с неделю Луис упрямо ходил в дом Капитана, неумело копаясь в радиоприемнике, а

Капитан иногда заглядывал и исчезал, а то и не появлялся вовсе. Потом Капитан заявил, что дело закончено, и Луис может больше не приходить. Было ясно, что Луис совершил какой-то проступок или же оказался плохим товарищем, и память о светлых, веселых часах потонула в обиде. Луис даже не заметил, как постепенно затихала его борьба с ересью.

И вряд ли он сознавал, как участились его визиты к деду: если раньше он забегал только на минутку, чтобы молча поглазеть на старика, то теперь часами просиживал на полу, обложившись книгами, которых у дедушки Саксла было больше, чем у кого-нибудь. Он забрасывал деда вопросами, делился с ним мыслями, и они вместе старались уразуметь, что за штука квадратный корень из минус единицы, который однажды попался Луису в какой-то книге. Они так и не могли понять, и дедушка превратил это в своего рода пароль.

— Эй, мальчуган, чему равен квадратный корень из минус единицы? — кричал он с веранды, завидя на дорожке Луиса.

— Этот вопрос надо еще изучить, — откликался Луис.

Шутя и болтая, они скользили по поверхности множества тем. Да и трудно было ожидать большего — слишком велика была разница между ними. Дед не мог преодолеть рассеянности, которая как бы припорашивала его мысли даже во время разговоров с внуком. Он то и дело забывался и умолкал, иногда ни с того ни с сего начинал суетиться или, наоборот, сам того не замечая, застывал, уставившись куда-то в пространство, и тогда, вспомнив о каком-нибудь параграфе, отмеченном вчера в книге, мальчик уходил в дом.

Соседи считали его примерным внуком, а иные с беспокойством следили за его приходами и уходами.

— Все-таки нехорошо, что ребенок целыми днями сидит со стариком, даже если это его дед.

— Тем более такой больной и вообще... Ребенок должен играть.

— Конечно, у евреев очень дружные семьи.

— Все равно, ребенку надо играть.

В те дни, когда Луис не ходил к деду, он играл с жившим напротив Чуркой Брэйли — во дворе у него был большой сарай. Здесь мальчики мастерили самокаты; в сарае было полным-полно ящиков, старых велосипедных колес и другой полезной рухляди; и если Луису наскучили чудеса, то мастерить вещи, которые придумывал он сам, ему никогда не надоедало. В сарай постоянно забегали другие мальчики, и все вместе они делали самокаты, учились курить и рассуждали о девочках.

Он ходил в сарай днем, после школы, и под вечер, после обеда, но эти занятия не поглощали его целиком. Соседи замечали, как часто он навещает деда, а Чурка замечал его частые отсутствия и его отчужденность, когда он бывал в сарае. Поскольку у Луиса был дед, который перенес два сердечных припадка и каждую минуту мог умереть, Чурка причислял его к особой касте, а поскольку он был еврей, ему разрешалось отличаться от прочих — от него это даже требовалось. Но Луис знал, что Чурка думает почти то же, что и соседи.

Постепенно Луис так далеко отошел от интересов сарая и бульвара, что это многим стало бросаться в глаза, но сам он уже настолько вжился в мир дедушкиных книг, что мнение других его мало трогало. Центром этого мира, его солнцем, его точкой опоры было одиннадцатое издание Британской Энциклопедии, много лет провалявшееся в дедушкином доме без употребления. Указатель давно затерялся, затерялся и том от «ЛОР» до «МЕХ», но оставалось еще двадцать семь миров, полных чудес, которые были вне сомнений, вне скуки и, говоря откровенно, вне его понимания. Листая бесконечные страницы, Луис поглощал одну за другой статьи,

сулившие пищу его любознательности, которая была еще такой неразборчивой, что пищей для нее могло служить что угодно. Не имея указателя, он следовал за ссылками и примечаниями, в какие бы дебри они его ни заводили. Гюйгенс, воздушный насос и теорема трех тел (см. то-то, см. то-то, см. то-то). Жадность его была велика, хоть и совсем бесцельна, и в конце концов Луис стал упиваться мечтами, в которых видел себя ученым, а какой специальности — он и сам не знал; он натыкался на целые горы неизвестного и старался сравнять их с землей, доискиваясь каких-то еще неясных истин.

И вот однажды вечером (таким же, как сейчас) он впервые нащупал почву для своих мечтаний и соприкоснулся с истинным величием. И все это благодаря единственному тому «Избранных сочинений» Томаса Хаксли, уцелевшему из полного комплекта, который дед приобрел в 1895 году, когда, обуреваемый жаждой знаний, он находился под впечатлением панегириков, появившихся в связи со смертью великого английского биолога. Лежа на полу в передней дедушкиного дома, как раз возле двери, за которой он когда-то стоял рядом с матерью, прислушиваясь к дребезжанию звонка в тихом доме, Луис прочел то, что вещал Хаксли с высокой, но не такой уж недоступной вершины:

«В процессе своей работы философ-натуралист порою сознательно, а чаще всего случайно находит немало такого, что обладает чисто практической ценностью. Велика радость тех, кому идут на пользу подобные открытия, они видят в науке Диану — покровительницу всякого ремесла. Но пока звучат крики ликования, пока пена и обломки, выброшенные потоком научного исследования, превращаются в заработную плату для рабочих и прибыль для капиталистов, огромные валы исследовательской мысли уносятся все дальше в безбрежный океан неведомого».

О, вот куда я буду стремиться! — воскликнул про себя Луис. Он еще раз перечел эти слова, они росли и ширились в его мозгу, слепили его глаза. Он перевернулся на спину и поглядел на желтоватый свет запыленной лампочки, которая свисала с потолка над его головой. «Все дальше, в безбрежный океан неведомого», — шептал он и видел перед собой огни бакенов на вспененных валах; огни медленно поворачиваются, лучи, медленно кружа во тьме, прорезают четкие светлые дорожки в зубчатых грядах волн, лучи золотятся в черной тьме, колыхаясь, подступают все ближе и вдруг заливают Луиса на гребне волны ослепительным светом.

О нет! О нет!

— И чего им надо? Вы немножко вздремнули? — говорила Бетси и после небольшой паузы наклонилась ближе: — Луис! О Луис, я сейчас...

Он чувствовал, как где-то глубоко внутри него вздымается, готовясь рухнуть, неудержимая волна. Он был бессилен, он не мог произнести ни слова, говорить было труднее всего. Волна все нарастала, становилась плотнее и вдруг обрушилась, наполнив его чем-то, что выливается через рот на пижаму, на одеяло, и тут же накатилась еще волна. Он слышал, как негромко вскрикнула Бетси, и видел возле себя ее мелькающие руки. Он увидел также, хотя не сразу понял, что это такое, свою руку, покрытую белыми и красными пятнами, огромный волдырь меж двух пальцев и стекающие капли воды. Рука была протянута вперед и приподнята над одеялом, как бы избегая всякого соприкосновения с окружающим. Она висела в воздухе, освещенная желтым, проникшим сквозь жалюзи светом, и, взглянув на нее, Луис невольно откинулся назад и уперся головой в спинку кровати. Он пытался заговорить с Бетси, чувствовал, как шевелятся его губы, но не мог издать ни звука. Глядя на свою руку, содрогаясь от сухих рвотных спазм, он изогнулся в кровати, словно придавленный тяжестью, не дававшей ему подняться.

7.

Бетси весь вечер просидела в палате Луиса, ухаживая за ним, угадывая все его желания, и в конце концов заставила его уснуть. Жестокая рвота, которой закончился день, могла, по мнению Бетси, оказаться даже благотворной: должно быть, организм таким путем избавлялся от каких-то неизвестных ядов. В начале одиннадцатого она тихонько выскользнула из палаты и медленно пошла по коридору, заглядывая по пути к другим больным. Всюду было темно, но в трех палатах ее окликнули и спросили про Луиса. Она, не кривя душою, ответила, что ему *гораздо* лучше и что он *совершенно* спокойно спит. Наведя в палатах тишину, она пошла дальше. Две ночные сиделки уже были на своих постах и получили от нее исчерпывающие инструкции. Никто не стонал, не вскрикивал, не метался в постели. И когда Бетси унесла шорох своего накрахмаленного халата вниз, весь этаж погрузился в полную тишину.

Пройдя половину лестницы, Бетси остановилась на площадке и закурила. Почти машинально, по привычке она посмотрела на тускло освещенный коридор, откуда только что вышла. Бетси не прислушивалась и ничего не могла бы увидеть с того места, где она стояла. И все-таки она смотрела вверх, а сигарета дымилась в ее пальцах. С нижнего этажа донеслись неясные голоса; Бетси слышала их, но не обратила никакого внимания. Рвота бывает даже полезна, думала она, стоя на площадке, как грация, возникшая из тьмы, под маленькой лампочкой, которая смягчала напряженное выражение ее лица. Очевидно, так и есть, ведь это естественная реакция организма. И хотя рвота была тем грозным признаком этой серьезной болезни, которого ожидали и боялись врачи, все же она может до некоторой степени облегчить состояние больного. Мало того, врачи, как известно, склонны все преувеличивать или упрощать или раскладывать все по полочкам. После вечернего приступа наступило явное улучшение: возбужденность прошла, даже боль в левой руке как будто уменьшилась, и вообще ему стало легче. В восемь часов, через час после приступа, дыхание у него было нормальное, пульс и кровяное давление тоже, а температура — на одно деление ниже нормы; в девять тридцать было то же самое. Бетси прочла ему вслух стихи, которые он просил принести, после они болтали о его знакомых и о ее знакомых, раз или два он даже сострил, а потом наконец подействовало снотворное, и он заснул. Бетси, сидя на стуле в ногах кровати, наблюдала за ним еще минут двадцать.

На первом этаже открылась дверь, неясные голоса стали отчетливее, слышались даже отдельные слова. Бетси повернула голову и, не двигаясь с места, посмотрела вниз. Ей не хотелось ни говорить с врачами, ни слушать их разговоры, а если все-таки придется, то хорошо бы, чтоб этих разговоров было поменьше. Она знала, что врачи собрались в ординаторскую на совещание и, очевидно, уже расходятся. Останется только доктор Педерсон и, вероятно, больше никто.

О том, как протекает лучевая болезнь, Бетси почти ничего не знала. Девять месяцев назад, когда произошел первый случай, ее здесь еще не было. Она не читала медицинских отчетов, которые ей несколько раз показывал доктор Педерсон. Она только мельком проглядела бесчисленные документы, брошюрки и снимки, собранные медицинской экспедицией в районе Хиросимы и Нагасаки. Бетси была ничуть не брезглива; она могла совершенно хладнокровно и даже с интересом рассматривать содержимое судна́, и в своей работе к самым неприятным процедурам относилась, как к важному и нужному делу. Но она не знала, за чем нужно особенно следить и что считать важным в этой таинственной лучевой болезни. В лечении этого заболевания у Бетси было не больше опыта, чем в лечении проказы или золотухи, но не это ее беспокоило, а то, что

об этой болезни физики и химики знают больше, чем врачи и сестры, а в сущности вообще никто ничего не знает. Ее беспокоило, что при этом доктора Педерсона, несмотря на его молодость и небольшой врачебный стаж, считают чуть ли не экспертом, потому что он в свое время дежурил у постели Нолана. А больше всего ее беспокоило, что эта болезнь поразила такого славного человека, как Луис Сакс, и она не могла придумать, как тут быть, — разве только уверовать в благотворное действие рвоты. Надо будет потолковать об этом с доктором Педерсоном — впрочем, он, конечно, только усмехнется:

— Японцы таких исследований не делали.

Бетси поглядела вниз, но никого там не увидела. Слова донеслись из-за выступа стены у подножия лестницы. Это был мягкий, вкрадчивый голос доктора Моргенштерна. Бетси бросила сигарету, наступила на нее и носком туфли отодвинула в угол; она чуть отступила назад, но все равно сверху ей был виден весь нижний коридор. Доктор Моргенштерн показался из-за выступа стены, но тотчас же повернулся и опять исчез из виду. Доктор Моргенштерн настоящий великан шести с лишним футов росту, и все доступные обозрению части его тела очень крупны и костлявы. Как всегда при встрече с ним, Бетси невольно вспомнила некоторые анатомические подробности, которые однажды описал ей штабной писарь Роберт Чавез, видевший его в душевой. Мелькнувшая на ее лице улыбка исчезла так же быстро, как и сам доктор Моргенштерн.

Но вот он снова появился из-за выступа в сопровождении Герцога и низенького, юркого, незнакомого ей человека. Юркий человечек что-то говорил. В руках у него были бумаги, которыми он потряхивал в такт своим словам.

— Это просто досадная мелочь, — говорил он. — Такие же явления наблюдались у подопытных животных — я где-то читал об этом, наверняка знаю, что читал, вот только не помню, где. Подобные явления ничего не доказывают, я знаю наверняка — досадная мелочь, вот и все.

Бетси перевела взгляд с юркого человечка, слова которого ничего ей не говорили, на доктора Моргенштерна. Он фактически заведовал больницей, поэтому Бетси смотрела на него. Доктор Моргенштерн сверху вниз взглянул на говорившего, пошевелил пальцами и ничего не ответил.

Все трое остановились у нижней ступеньки. Доктор Моргенштерн оглянулся.

— Пошли, — сказал он.

В коридоре к неясному гулу голосов прибавились новые звуки: шаркающие шаги и постукивание трости. Кто-то заговорил громко, его остановил чей-то тихий голос. Звуки были разнообразные: шелест бумаги и шелест одежды, сморканье, шорох и шаги; они сливались в шум, по характеру которого Бетси всегда определяла присутствие мужчин — многих мужчин. Там их не один десяток, сказала она себе. Кто они? Для чего собрались?

— Однако поперечное сечение захвата натрием значительно больше, чем поперечное сечение захвата фосфором, — послышался негромкий голос Герцога.

Бетси машинально повернула голову к выступу стены, из-за которого доносился шум. Услышав голос Герцога, она перевела взгляд на него; он легонько подтолкнул локтем незнакомца.

— Известны ли вам какие-нибудь биологические факторы, объясняющие такую огромную несоразмерность в картине болезни Сакса?

— Можно только строить предположения, — ответил юркий человечек.

В коридоре появился Дэвид Тил. Он шел очень медленно, почти не опираясь на палку и держа перед глазами не то брошюру не то журнал;

он что-то читал вслух двум своим спутникам, но так тихо, что Бетси не могла ничего расслышать. С ним шел Новали, молодой врач, работающий в больнице; второго Бетси не знала. Оба внимательно слушали, стараясь соразмерять свои шаги с шагами Дэвида. Появились еще двое — Бетси не знала ни одного, ни другого. Потом она увидела представительную фигуру Эдварда Вислы — его-то она, как и все в Лос-Аламосе, знала хорошо; но ведь прошло только дня три-четыре, как он уехал в Вашингтон «потолковать с конгрессом об атомах, а заодно и об армии», — так сказал ей Луис Сакслвсего час назад. Бетси уставилась на Вислу, его неожиданное появление и все эти незнакомые люди заставили ее насторожиться как бы в ожидании надвигающейся опасности. Затем появилось еще одно незнакомое лицо. Люди проходили один за другим по коридору, то появляясь в поле зрения Бетси, то исчезая, и шли дальше, к выходу. Промелькнул Педерсон в белом халате; он помахал Бетси рукой и тут же вернулся обратно.

Бетси слышала, как он пожелал спокойной ночи кому-то, скрытому выступом стены, и в ответ раздался чей-то голос:

— Да, спокойной ночи. — Пауза. — А знаете, не мешало бы завтра утром сделать пункцию спинного мозга.— Снова пауза.— Ну, пока.

Человек, говоривший с Педерсоном, вышел из-за выступа, тщетно пытаясь натянуть на себя пальто. Повернув голову набок, он ощупью неуклюже совал руку в рукав и все не попадал в него. Наконец надев пальто в рукава, он выпрямился, поглядел назад, потом на лестницу; Бетси, стоя у верхней ступеньки, заметила мелькнувшее на его лице удивление.

Казалось, он что-то хотел ей сказать, но вместо того повернулся и пошел по коридору. Вдруг он оглянулся и направился прямо к лестнице.

— Вы идете сверху? — спросил он.

Бетси кивнула.

— Откуда, от кого?

— От мистера Саксла.

Незнакомец поглядел себе на ноги, потом поднял глаза на Бетси.

— Вы — мисс Пилчер?

Бетси опять кивнула. Он все еще не спускал с нее глаз.

— Ну, что же вы не сходите вниз? — сказал он немного погодя и чуть-чуть улыбнулся. Он отступил в сторону, как бы давая Бетси дорогу, и она стала медленно спускаться.

— Как там, все в порядке?

— Все хорошо, — ответила Бетси. Она сама не знала, почему она так ответила, ибо слова эти не выражали ни ее надежд, ни ее опасений; так можно было ответить родственнику больного, но она-то ведь отлично понимала, что этот человек — врач. А кроме того, он ведь просто один из тех незнакомых людей, что прошли перед нею, как некая процессия, тревожная процессия, которая ей очень не нравилась. «Что это за врач,— подумала она,— зачем он тут?»

Он опять улыбнулся, словно угадав ее мысли или их характер. Бетси остановилась на последней ступеньке.

— Меня вызвал сюда доктор Моргенштерн. Я прибыл из Беркли уже поздно вечером, иначе мы встретились бы с вами раньше. Меня зовут Берэн. Я приехал в качестве консультанта. Могу я видеть больного?

— Сейчас? — сразу посуровев, спросила Бетси.

— Да, сейчас. Проведите меня к нему, пожалуйста.

— Он спит, он только что заснул. Его нельзя беспокоить. — Это ей внушил сам доктор Моргенштерн.

— Я его будить не стану. Только посмотрю на него.

Бетси сошла с последней ступеньки. Слова Берэна показались ей чудовищно обидными. Она окинула его холодным взглядом, и наконец он чем-то выделился для нее из безликой процессии незнакомцев: она заметила у него на переносице бородавку и уперлась в нее взглядом.

— «Смотреть» на мистера Сакса сегодня нельзя. Я не могу пустить вас. Если вас пригласил доктор Моргенштерн, обратитесь к нему.

— Если б вы знали, как часто сестры забывают, что им велено, — быстро отозвался Берэн. — Я очень рад, что вы — хорошая сестра. Мне так о вас и говорили. Хороший уход — это одно из немногих известных нам средств, которые в таких случаях наверняка помогают. Вы сегодня вечером делали ему обтирание?

Теперь Бетси смотрела прямо в глаза за стеклами очков без оправы. На лице Берэна было напряженное ожидание, и, судя по выражению его глаз, вопрос для него очень важен; разумеется, надо ему ответить. О чем он спросил? Ах да, насчет обтирания...

— Да, я слегка обтерла его примерно час назад.

— Кожа у него, наверное, смуглая, то есть, я хочу сказать — загорелая. Но на теле должны быть границы загара. Ведь не нагишом же он ходил. Нет ли у него эритемы на нижней части живота? Вы не заметили?

— Я как-то не присматривалась, вернее, не заметила, — невольно смутившись, сказала Бетси. — Я не видела, но, возможно, что-то есть, я хочу сказать, он думает, что там есть маленькое покраснение.

— Почему вы полагаете, что он так думает?

— Он что-то об этом говорил, как бы про себя, понимаете?

— Да? Что ж, ладно, — произнес Берэн после паузы. — Ну, и как же он? Чувствует себя неплохо?

— О, сегодня вечером ему гораздо лучше. Около шести часов была сильная рвота. Но с тех пор... похоже даже, будто...— Бетси сделала полшага вперед.

— Будто болезнь вышла вместе со рвотой, — докончил Берэн. — Ну что ж, какие-то болезненные явления после нее прошли, не так ли? Сколько раз это было? Кажется, мне говорили, раз пять или шесть. Да... Я видел его рвоту. Ничего не поймешь. А потом его больше не тошнило?

— Ничуть. Весь вечер он чувствовал себя отлично. Скажите, а не может быть, что...

Берэн качнул головой вверх и вниз, а потом из стороны в сторону. На лице его, крупном и мясистом, появилась растерянность, словно его в чем-то изобличили. Уголки его рта слегка опустились книзу. Бетси рванулась сердцем к тому живому участию, которое секунду назад прочла на его лице, но это участие уже исчезло без следа. И теперь, глядя на Берэна и как будто впервые увидев его по-настоящему, Бетси вдруг тоже растерялась, словно недавняя злость и этот порыв в чем-то ее изобличали.

— Вы, наверное, очень утомлены, — сказал Берэн. — Не смею вас больше задерживать. Увидимся завтра.

Он развел руками — жест, которому можно было придать какое угодно значение. Пожелав Бетси спокойной ночи, он пошел по коридору. Но не пройдя и трех шагов, он опять обратился к ней через плечо, едва повернув голову.

— А рвота — что ж, может, это для него и полезно. Ведь все мы очень мало знаем, кроме того, что хороший уход — чрезвычайно важен. Рвота может оказаться полезной — это весьма вероятно.

Бетси не знала, что ответить. Она смотрела вслед Берэну, пока он не скрылся в маленьком тамбуре возле наружной двери, и снова он стал казаться ей таким же безликим, как прошедшие перед ней незнакомые люди, все эти врачи и эксперты в той или иной области, прибывшие из разных мест и вызванные для того, чтобы... Двенадцать человек (если

считать и Педерсона), и семь из них — приезжие! Ее даже испугало такое количество приезжих; мысленно она все еще видела перед собой шествие незнакомых людей, потом откуда-то, совсем уж некстати, всплыли воспоминания о процессиях со знаменами и траурным маршем, и вдруг Бетси подумала о том, что, когда она поздней ночью шла по холодным улицам из больницы домой, а может, и еще раньше, доктор Моргенштерн или кто-то другой заказывал срочные междугородные разговоры, чтобы вызвать сюда Берэна из Калифорнии, Вислу из Вашингтона и всех прочих из других городов. Эта мысль обдала ее холодом, как ночью — свежий, предутренний воздух; с небольшой высоты, куда ее вознесла маленькая, но тщательно лелеемая надежда, Бетси увидела мрачную и сложную действительность, воплощенную в этом зловещем сборище людей, но спуститься к ней не могла. Она отвернулась от двери, пошла было к ординаторской и тут же остановилась. Казалось, плечи еле выдерживали тяжесть ее головы. Бетси взглянула на ручные часики и оправила на себе халат. От недавнего порыва остался неприятный осадок — ей было немножко стыдно, что она высказала Берэну такую наивную мысль; все же она решила поделиться своими соображениями с Педерсоном, и они сразу стали казаться ей более вескими, да они и в самом деле были вескими — разве ее не поддержал настоящий, опытный врач? Впрочем, решила Бетси, сегодня она не станет говорить об этом. Ей трудно о чем-нибудь думать. Она действительно устала. Она увидела, что дверь ординаторской открылась, и, не трогаясь с места, смотрела на Педерсона, вышедшего в коридор. Он был в пальто и шляпе.

— А я хотел идти наверх, к вам, — сказал Педерсон. — Что-нибудь случилось? — быстро добавил он, останавливаясь шагах в двадцати.

— Нет. Все хорошо.

— Какая у него температура?

— В девять тридцать, перед тем как он заснул, было тридцать шесть и пять. С восьми часов — никаких перемен.

Педерсон подошел поближе. Он задал ей несколько вопросов, выслушал ответы и повертел в пальцах болтавшуюся на нитке пуговицу пальто. Под мышкой у него торчали три-четыре коричневые папки, набитые бумагами и журналами; Бетси узнала серую обложку истории болезни Нолана, которую она так и не прочла. Педерсон был взволнован, даже возбужден. Он расспросил ее обо всем, о чем, по ее мнению, ему следовало знать, но явно торопился уйти и очень скоро попрощался с нею. А Бетси не пришло в голову спросить, зачем собрались все эти люди, расходившиеся на ее глазах; в сущности, она уже поняла смысл этого сборища — основной его смысл, по сравнению с которым все остальное было неважным. Бетси не сомневалась, что выспрошенные Педерсоном подробности предназначены для тех людей, и они будут тщательно в них копаться. Кроме того, она и сама за какие-нибудь десять минут незаметно присоединилась к ним. Ведь не Берэн и не Педерсон, а она замкнула собою их шествие, когда немного погодя вышла из больницы и подняла воротник пальто; она заранее ежилась от холода, думая о предстоящем пути домой.

Бетси почти не отдавала себе отчета в своих мыслях. Она действительно очень устала, и мысли ее как бы засыпали одна за другой, хотя, подходя к дому, она вдруг спохватилась, что Педерсон спросил у нее не все, о чем, по ее мнению, ему следовало бы спросить: он не спросил о покраснении на нижней части живота (а если об этом говорили и Луис, и Берэн, то, конечно, надо было поинтересоваться и Педерсону).

Бетси не понимала, что означает эта краснота, да и кто тут может знать что-нибудь наверняка? Но вдруг ее словно ударила в сердце неожиданная догадка: ох, какая же она дура! Какая нечуткая! Конечно же,

краснота в этом месте имеет самый элементарный и очень грустный смысл.

«Бедный мальчик, как он, должно быть, встревожен!» — почти вслух сказала она.

Но как ни грустно думать об этом, все же это еще не самое грустное, и кто знает, быть может, даже лучше, что эта мысль заслонила собой другую, самую грустную. Ведь вряд ли кто-нибудь, вряд ли мужчина будет тревожиться о том, останется ли он мужчиной, если он думает, что умрет. Бетси почувствовала, что затронула некий вопрос, окруженный тайной, но в то же время фигура доктора Моргенштерна, которую рисовало ей воображение с помощью штабного писаря Роберта Чавеза, вдруг выступила из-за какого-то закоулка ее памяти во всей своей непристойной наготе. Бетси стало стыдно и неловко, и она поскорее отогнала от себя это видение.

«Неужели он умрет?»

Бетси мысленно произнесла эти слова, не вдумываясь в них. Она так устала, вечер был такой холодный, а впереди ее ждали тепло и сон, и она знала, что не может ответить на этот вопрос, и, снова сказав себе: «Кто может знать что-нибудь наверняка?»,— она отогнала и эту мысль тоже.

Каблучки ее застучали громче, дыхание стало чаще, воротник она подняла выше, потому что в воздухе стало еще холоднее, и последние несколько шагов до своего дома она пробежала бегом.

(Продолжение следует).

«РАССКАЗ ИЗ СТРАНЫ ПАПУАСОВ» *Рис. А. Лурье*

Ярослав Ивашкевич

РАССКАЗ ИЗ СТРАНЫ ПАПУАСОВ

Перевод с польского А. Мельникова

Материалом для этого рассказа мне послужили, помимо личных воспоминаний, работы по антропологии Бронислава Малиновского, брошюра Рогинского о Николае Николаевиче Миклухо-Маклае и ряд путевых заметок французских и английских журналистов.

За последнее время ни одна книга не производила на меня такого сильного впечатления, не будила столько мыслей и чувств, как «Далекие годы» — превосходно переведенные на польский язык Енджеевичем воспоминания молодости Константина Паустовского. Не только благодаря мастерской прозе выдающегося писателя, но и потому, что это — книга и о моей юности. В одном городе, в один год окончили мы с Паустовским гимназию, поэтому он извлекает из бездны прошлого те события, которые волновали всю молодежь того времени — смерть ли Толстого или убийство Столыпина,— и даже описывает людей, стоявших у истоков как его, так и моего творческого пути. В моих воспоминаниях, если я их когда-нибудь напишу, эти люди займут то же место, что и в книге советского писателя. Лишь одно вызывает мои возражения — название книги Паустовского «Далекие годы». Дорогой Константин! Разве эти годы далекие? Годы молодости никогда не становятся далекими, они всегда с нами и будут жить вечно. Хотя нас отделяют от них такие грандиозные события, как две войны и Великая Революция в России, мне кажется, что все описываемое Паустовским происходило вчера, позавчера, неделю назад.

Вот хотя бы похороны Столыпина. Словно наяву, вижу я отблеск августовского солнца на куполах Киево-Печерской лавры и вереницу учеников, стоящих уже часа два у стен церкви в ожидании траурной процессии. Паустовский, как я узнал лишь теперь — почти сорок лет спустя,— стоял со своей школой рядом с нами. Все мы расценивали убийство Столыпина как раскат надвигавшейся бури. Мой приятель Юра, оставленный на второй год в седьмом классе за пропуски занятий, стоял в шеренге учеников довольно далеко от меня. Но я пробрался к нему, и мы начали одну из тех бесконечных бесед, которые ведутся только между друзьями юности. Разговор этот памятен мне еще и тем, что Юра тогда впервые упомянул о своем родственнике, которого он называл «дядя Коля». Это был один из самых знаменитых русских путешественников. К разговору о нем нам еще предстояло вернуться.

Как известно, в нашей памяти остаются не только большие события. Порой память запечатлевает какой-нибудь обычный, ничем не примечательный день, и вдруг, после многих лет, вспоминаются не только цвет неба и мелкие, ничего не значащие события, но помнится даже запах того утра, полдня или вечера, во время которых ничего не произошло и которые все же запали в сердце навеки, может быть, именно благодаря своей обыденности.

Вот и мне помнится такой обыкновенный день, суббота, когда я поехал на футбольное поле посмотреть игру нашего класса, решившего помериться силами с восьмым классом кадетского корпуса. День был уже осенний — прошло недели две со времени похорон Столыпина,— однако полный весенней силы, весенних красок, придающих иногда осенним дням необычайную красоту, трогающую сердце, как последняя ставка в жизненной игре. И сегодня я мог бы нарисовать линию березок с пожелтевшими листьями, купы деревьев, сбегающих с холмов, как на картинах Нестерова, и строгий силуэт здания кадетского корпуса.

Было настолько тепло, что можно было сидеть на траве. Мы с Юрой устроились в стороне, где сетка ворот защищала нас от неожиданных ударов мяча и бросавшихся на него игроков. Нас не особенно увлекал ход игры, несмотря на то, что наши ближайшие друзья лезли из кожи вон, чтобы всадить кадетам гол. Через несколько лет они дрались с этими кадетами уже не шутя.

Мы начали разговор о дяде Коле. Можно представить себе, как в те времена интересовала и захватывала нас деятельность великого путешественника, проведшего целые годы в Меланезии, где его именем было названо северное побережье Новой Гвинеи, прилегающее к заливу Астролябии. В те годы мы воспринимали путешествия, совершавшиеся во второй половине девятнадцатого столетия, еще по-жюльверновски, нас увлекало приключение само по себе. Мы не особенно разбирались, какая идея вдохновляла дядю Колю в далеких морях Океании.

Мой приятель подробно рассказывал об охоте на райских птиц, многие виды которых обитают на островах Новой Гвинеи. Некоторые их породы составляют предмет усиленных поисков как черных жителей тех земель, так и европейцев, поставщиков модных магазинов Лондона и Парижа. Мода, внезапно отказываясь от употребления перьев райских птиц и заменяя их страусовыми, разорила не одного такого охотника. Юра рассказал, что несколько превосходных чучел редких птиц из коллекции дяди Коли находятся в имении, расположенном недалеко от Киева, и если я хочу их увидеть, то могу поехать туда. Вскоре подошли какие-то католические праздники, я освободился от занятий, а так как Юра такими вещами, как регулярное посещение школы, нисколько себя не обременял, мы решили, что я приеду к нему на эти несколько дней. В монотонной и тяжелой жизни, которую я тогда вел, учась и зарабатывая на хлеб частными уроками, этот неожиданный осенний выезд был большим событием. Даже сегодня я могу рассказать об этом посещении со всеми подробностями.

Дом моего друга был самым достопримечательным сельским домом из всех виденных мною в жизни. Это было жилище с необыкновенно высокими комнатами, колоссальными дверными косяками, огромными окнами и полным отсутствием уюта. В столовой находился громоздкий средневековый камин с железным навесом, стояли стол и стулья, в салоне — небольшое пианино и табурет, а в спальнях — железные кровати и письменные столы вместо ночных столиков. В этом обширном доме жил мой приятель с двумя братьями, старшим и младшим. Они давно осиротели. Имущественными и домашними делами ребят заправляла величественная старая няня Дарья Михайловна, которая тогда занимала довольно высокое положение в семейной иерархии. Ребята боялись ее как огня, а круп-

ная, пышная Дарья Михайловна явно капризничала со всеми людьми, появлявшимися в доме, которым она управляла. К счастью, моя молчаливая и скромная особа пришлась ей по вкусу, и она не только не имела решительно ничего против моего пребывания у опекаемых ею ребят, но уже на второй день рассказывала мне всю историю семьи с начала до конца, потешаясь над многочисленными подробностями, касавшимися как родителей Юры, так и его дяди, великого путешественника.

Вещи, напоминавшие о нем — а их было немного, — находились в глубине дома, в последней комнате, которая была библиотекой и одновременно спальней младшего брата Юры, хромого, обаятельного Димы. В этой комнате можно было видеть редчайший экземпляр райской птицы с горы Мороб, единственный оставленный дядей Колей для себя. Другие коллекции он передал музеям в Сиднее и Петербурге. В доме находилось несколько документов и черновиков писем, хранившихся в особом портфеле из коричневой кожи. Среди них была знаменитая гневная депеша Бисмарку, в которой дядя Коля заявлял, что жители северного побережья Новой Гвинеи протестуют против присоединения их к Германской империи... Полагаю, что канцлер Бисмарк должен был улыбнуться при виде этой депеши, если обладал хоть каплей юмора.

Среди этих документов находилась вещь, чрезвычайно редкая по тем временам, и поэтому она мне запомнилась: фотография последней страницы прошения, поданного ученым и путешественником императору Александру III, на котором сей царствующий городовой начертал лаконический приговор, похоронивший все надежды дяди Коли на создание идеального колониального общества, которое, не насаждая христианства и не спаивая, на деле заботилось бы о счастье любимых им папуасов. Приговор был немногословным: «Считать дело конченным». Все это потому, что дядя Коля хотел спасти «диких»! Замысел совершенно не соответствовал духу того времени, когда русский ученый высадился на одном из островов Меланезии. Необходимо признать, что в делах своей второй, субтропической родины он разбирался отлично, и если еще не знал слова «геноцид», то знал или сам создал выражение «охота на людей», характеризующее отношение белых к колониальным народам. Он употреблял его в своих многочисленных письмах, которыми засыпал русские и английские власти, губернатора Австралии и представителей правительств Великобритании и Нидерландов на неизмеримых пространствах Микронезии и Меланезии. Если дядя Коля не знал слова «геноцид», то ему пришлось столкнуться с тем, что оно означает. Недавно я узнал, что в Сиднее найден архив великого путешественника, а в нем — старательно спрятанное письмо некоего Фрэнка Шеридана, полицейского чина из Куинслэнда, в котором описаны охоты так называемых «blackbirders»* на жителей Гвинеи и способы эксплуатации их труда в Северной Австралии. Там же обнаружены подлинные отчеты об уничтожении целых племен папуасов после истощения их физической силы.

В то время я еще не знал об этом. Несколько пожелтевших листков с черновиками писем и записями, фотография изнуренного мужчины в красивой меховой шубе и, конечно, райская птица с горы Мороб служили мне единственными иллюстрациями к устным рассказам о дяде Коле.

Основной темой рассказов была именно птица с горы Мороб. Постараюсь повторить рассказ о ней, несколько упорядочив, так как вначале мне рассказывала его няня, затем — совершенно иначе — Юра, а Дима помогал ему, вставляя свои замечания. Наконец я услышал всю историю еще раз от Сергея Сергеевича, старшего брата моего приятеля, который

* Blackbirder — в данном случае — человек, занимающийся похищением и торговлей чернокожими.

приехал на второй день моего пребывания в их доме из соседнего местечка, где отбывал военную службу в блестящем уланском полку. Рассказ Сергея Сергеевича несколько отличался от предыдущих. Мы сидели с ним в столовой, возле огромного камина, Юра бренчал на фортепьяно — играл преимущественно военные марши,— а Дима курил трубку за трубкой далеко, в библиотеке. Из ее открытых дверей валили клубы дыма и время от времени доносился предостерегающий окрик, когда Юра начинал не в меру фальшивить. Я не стал прерывать рассказчика, не сказал ему, что уже дважды слышал о птице с горы Мороб, потому что форма, которую придал повествованию молодой улан, понравилась мне больше всего.

С тех пор прошло почти сорок лет. Давно уже нет в живых не только няни, но и моих друзей — они умерли молодыми. Излагая сегодня их рассказ, я, возможно, ошибусь в деталях, забытые подробности восполню узором вымысла, но постараюсь как можно точнее вопроизвести то, что сохранилось в моей памяти об этом ярком эпизоде из жизни путешественника. К сожалению, время оставляет нам лишь обрывки таких воспоминаний, но, вероятно, уже никто в мире не сможет мне сказать: постой, это было не так! Только я один знаю эту историю, потому что великий путешественник не упомянул о ней в своих записях, хранящихся в Ленинграде и Сиднее. Именно поэтому я хочу поделиться ею с моими читателями.

Когда дядя Коля прибыл на корвете русского военно-морского флота — это было в сентябре 1871 года — в залив Астролябии, Новая Гвинея — Isla del Oro* испанских путешественников, явившихся сюда задолго до него,— не пользовалась доброй славой. Земля эта считалась среди моряков самой небезопасной, а мореходные справочники сообщали о населявших ее людоедах, охотниках за черепами, змеях и крокодилах и даже об огромных кровожадных растениях, которым бросали на съедение незваных гостей, появлявшихся в стране райских птиц.

Большой залив Астролябии, закрытый со стороны океана коралловыми рифами, был окаймлен широким пляжем из белого песка. Волны мягко набегали на берег, рассыпаясь брызгами у подножия кокосовых пальм, которые росли здесь довольно далеко одна от другой. В нескольких шагах от них начинались густые заросли, джунгли, состоявшие из пестрой смеси пальм, древесных папоротников и лиан. Здесь, среди зелени, время от времени вспыхивали красные цветы мальв и желтые — пахучего пандануса. Над лесом возвышались снеговые вершины огромных конусообразных вулканов. На первый взгляд джунгли представляли собой сплошную стену, сквозь которую невозможно было проникнуть. Поэтому папуасы, неожиданно появлявшиеся на фоне такой зеленой стены, казались возникшими из воздуха.

Можно легко представить себе чувства дяди Коли, когда корвет «Витязь», распустив паруса и легко маневрируя на волнах залива, начал отдаляться и путешественник в маленьком деревянном домике с крышей из гофрированного железа, сооруженном матросами корвета за два дня, остался почти в полном одиночестве. Почти в полном одиночестве, потому что два его товарища: полинезиец, которого звали просто «Бой», так как никто не мог выговорить его сложного имени, и еще молодой парень, моряк Ульсон, швед по национальности,— были вне себя от страха.

Когда корвет окончательно скрылся из вида и спустились сумерки, путешественник вышел из домика. Зной немного спал. Дядя Коля вдохнул в себя воздух, напоенный иодистыми испарениями моря, и пошел босиком по мокрому песку. Языки волн лизали его ступни. Путешественника охватила величественная тишина земли, расстилавшейся за его плечами, тиши-

* Isla del Oro — Золотой остров.

на леса и синеющих вдали гор, и он остро ощутил свое одиночество. Удалявшийся корвет был единственным звеном, связывавшим его с остальным миром. Он оставался один в неизведанной, загадочной, опасной стране. Может быть, навсегда?

Но одиночество никогда не бывает абсолютным. Внезапно сквозь джунгли прокатились, то приближаясь, то удаляясь, дробные раскаты небольших барабанов. Джунгли давали знать, что они не дремлют.

В ответ на эти звуки дядя Коля улыбнулся. Поссорившись с миром ученых, деливших расы на высшие и низшие, он приехал сюда, чтобы изучить и понять именно этого человека, который ударами барабана извещал племена, жившие вдоль и вглубь побережья, о прибытии таинственного белого. Он приехал, чтобы найти в этом человеке такого же брата, как и во всех униженных и обездоленных, живших под самыми различными географическими широтами.

«Если меня не убьют сразу, я выйду победителем»,— подумал дядя Коля и направился к своему домику. Бой и Ульсон разговаривали шепотом, сидя на циновках перед домом, но умолкли при виде ученого. Когда дядя Коля прошел мимо, они проводили его презрительными взглядами.

Со следующего дня началась борьба дяди Коли за приобретение доверия «диких». Способ был очень простым: ученый прохаживался по берегу моря, по лесу, приближался к деревням, притаившимся в джунглях, а иногда заходил в них. Он не носил никакого оружия, даже ножа.

Вначале он брал с собой кого-нибудь из товарищей, Боя или Ульсона, но те улепетывали, заслышав свист стрелы или далекие отголоски барабанной дроби. А барабаны гремели и грохотали без перерыва то ближе, то дальше. Сначала дядя Коля гулял только по пляжу, собирал раковины, поглядывал на волны. Затем он стал прохаживаться вдоль стены густых зарослей, пахнувших перцем и мятой. Подойдя совсем близко, он заметил, что в зеленой стене там и сям виднелись как бы проломы: это были выходы тропинок, которые вели в глубь побережья. Путешественник дошел и до устья довольно широкой реки, медленно катившей свои зеленые волны в залив. Когда дядя Коля опустил ногу в эту воду, она показалась ему очень холодной: река стекала с гор.

На третий день он углубился по одной из тропинок в заросли и скоро вышел на поляну, где стояли хижины с крутыми соломенными крышами, одни прямо на земле, другие на сваях. Узкие фронтоны жилищ были покрыты рисунками, резьбой и раскрашены яркими красками. Это была деревня.

По мере приближения путешественника к деревне, барабанная дробь становилась все громче и отрывистее. Подойдя к первым хижинам на расстояние полета стрелы, дядя Коля увидел женщин и детей, убегавших с громкими криками в противоположную сторону. Навстречу путешественнику вышли мужчины, грозно потрясая луками и копьями. Несколько стрел пролетело над его головой. Один из мужчин выделялся высокой красивой фигурой и благородными чертами лица. И хотя он грознее всех размахивал копьем и, что-то гортанно крича, показывал рукой на тропинку, по которой путешественник пришел в деревню, требуя, очевидно, чтобы тот вернулся, именно этот папуас показался дяде Коле самым симпатичным. Он обратился к нему, жестами показывая, что не имеет оружия, пришел к ним с мирными намерениями и хочет есть. Дикари успокоились, но с недоверием поглядывали на пришельца. Их благородный вождь вошел в одну из хижин и вынес несколько плодов мангового дерева для путешественника.

— Так началась дружба моего дяди,— заметил здесь Сергей Сергеевич,— с вождем деревни Бонгу по имени Туй. С тех пор туземцы стали называть дядю Колю «Тамо-Рус». Под этим именем он был известен

на протяжении двух десятков лет на северном побережье Гвинеи и прилегающих островах.

— А откуда эта птица? — спросил я, указывая на синее, отливающее стальным блеском чучело, украшенное длинными белоснежными перьями и каким-то выцветшим серебром на груди и голове. Запыленная птица стояла на полках библиотеки уже тридцать лет. Сейчас, когда ее внесли в нашу комнату, свет от камина обнаружил весь ущерб, нанесенный ей временем. Но трепетное пламя заставляло темно-синие перья играть разноцветными бриллиантовыми огнями, золотило белый венчик хвоста, и птица как бы оживала. Это была прекрасная минута.

Отважный исследователь, очевидно, еще не раз переживал моменты смертельной опасности: в него целились копьем, над его головой пролетали стрелы, в него бросали камни и метали каменные топорики. Но другой враг — тропическая лихорадка — оказался самым опасным. Жертвой ее пал — о, чудо! — житель тех мест, полинезиец Бой, а оба европейца уцелели. После долгих недель жестокой лихорадки, течение которой дядя Коля описывал в своем дневнике с поразительной объективностью, он все же вернулся к жизни. Но болезнь сильно подорвала его здоровье, которое уже никогда не восстановилось полностью.

Одинокий перед лицом всех трудностей, конфликтов с туземцами, перед голодом и прочими лишениями (моряк Ульсон был всецело поглощен страхом), предоставленный самому себе, дядя Коля чувствовал дружбу вождя деревни Бонгу, с которым встретился во время своего первого визита. Когда домик путешественника, не рассчитанный на влажный и жаркий климат, начал разрушаться, Туй помог его отстроить. Когда подмокли запасы спичек и нужно было постоянно поддерживать огонь, Туй обеспечил белого друга запасами топлива. У Туя было двое любимых детей: сын Бонем — с ним он приходил к домику на пляже — и старшая дочь Илямверия, о которой Туй рассказывал другу. По прошествии десяти месяцев дядя Коля уже бегло говорил на языке папуасов, но, к сожалению, лишь на языке деревни Бонгу, так как в Горренду — местности, расположенной в отдалении, — говорили совершенно иначе.

Дядя Коля, ведя внешне малоподвижный образ жизни, лежа зачастую из-за лихорадки и вызванных ею осложнений в своем довольно неудобном гамаке, постепенно выполнял задачу, ради которой он прибыл в те края. Он воочию убедился, что все существовавшие в науке теории о том, что папуасы принадлежат к низшей расе,— чистейший вымысел. Английские и немецкие ученые доказывали если не более низкое развитие папуасов, то исключительность этой расы, наличие каких-то особых черт в строении и функционировании их организма. Путем личных наблюдений русскому ученому легко удалось опровергнуть считавшиеся в то время научными теории — например, что волосы папуасов растут не как у всех прочих людей, но пучками, что их кожа имеет иные свойства и грубее нормальной человеческой кожи или что ее чернота носит иной характер, чем у африканских негров. Самое важное — он собирал сведения, доказывающие, что «дикий» человек является таким же человеком, как и любой другой, что у него те же переживания, желания, чувства, любовь и ненависть. Недаром несколько лет спустя Лев Толстой писал дяде Коле (это письмо мне также показали): «...растрогало меня и приводит в восхищение в Вашей деятельности то, что Вы первый, несомненно, опытом доказали, что человек везде человек, то-есть доброе, общительное существо, в общение с которым можно и должно входить только добром и истиной, а не пушками и водкой».

Этот период был, вероятно, самым счастливым в жизни русского путешественника, в жизни, полной борьбы и приключений. А ведь его тихий и мечтательный характер не был создан для борьбы. С того момен-

та, когда его, семнадцатилетнего юношу, исключили из Петербургского университета за участие в студенческой сходке, за социалистические убеждения и открыто выраженные симпатии польскому восстанию, догоравшему тогда в Келецких лесах, он понял, что должен будет всю жизнь превозмогать в себе склонность к созерцанию и мечтательности, и бороться. Это не мешало ему быть в хорошем настроении и выглядеть очень энергичным юношей, как об этом писал Томас Хаксли, в то время, когда он боролся. Боролся с авторитетом ученых, теории которых строились на предубеждениях, боролся с неповоротливостью Русского Географического общества и бюрократизмом царских министерств... Но здесь, на берегу Тихого океана, в домике у подножья кокосовых пальм, ослабленный болезнью, которую с трудом поборол, он позволял себе мечтать.

Он мечтал и даже записывал свои мысли, создавая «схему государственного устройства побережья залива Астролябии». Чего там только не было: и самоуправление, и постепенное развитие культуры, школы, дороги, мосты, торговля с другими племенами, и правительство, состоящее из совета наиболее энергичных туземцев, таких, как Туй, и сам Тамо-Рус как друг, советник и защитник от чужеземцев. Все эти планы, конечно, не учитывали интересов европейского капитала и всякого рода эксплуататоров. Об уничтожении целых племен он узнал значительно позднее. Это были времена, полные иллюзий.

Через некоторое время Тамо-Рус убедился, что его домик стоял на пути черных и был построен как бы на муравьиной дорожке. Пляж, где он жил, играл значительную роль в жизни окрестных деревень. Как только туземцы освоились с его пребыванием, они начали понемногу собираться на пляже. Вначале пришли одинокие молодые пары, затем, постепенно, стали приходить рыбаки. Но во время первого полнолуния, наступившего через три недели после прибытия дяди Коли на побережье, движение в деревнях неожиданно усилилось, барабаны стали бить отчетливее и чаще, за стеной зарослей что-то задвигалось. Когда луна взошла над морем, раздались странные звуки: это молодые парни из Бонгу и Горренду затрубили в большие морские раковины, как тритоны на картинах Тинторетто. Раздалось удивительное пение, и размечтавшийся путешественник с порога своего домика увидел на серебристом пляже Астролябии хоровод чернокожих юношей. Поднимая поочередно то одну, то другую ногу, они все быстрее кружились по песку. Барабаны били где-то поблизости, головные уборы из перьев райской птицы колыхались в лунном свете, как цветы. Аромат цветов бутии, связанных в пахучие венки, сходный с резким запахом гардении, и запах мяты, заткнутой большими пучками за браслеты на предплечьях танцоров, долетали даже к домику Тамо-Руса. Мелодичная декламация стихов затягивалась до поздней ночи, и усталый путешественник стал различать в них отдельные примитивные и грубоватые слова, которым его к тому времени научил Туй.

А как-то днем он заметил процессию женщин в красочных юбочках цвета фиалки и апельсина. Они приблизились к морю и стали входить в волны. Руки женщин были соединены, и по ним осторожно шла молодая девушка. Далеко от берега она прыгнула в море, а подруги начали со смехом ритуально обмывать ее, распевая песни о красоте и любви. Потом путешественник узнал, что молодая Дабугера, подруга Илямверии, праздновала в тот день обряд начала первой беременности.

На реке, открытой путешественником в первый день его пребывания, туземцы днем и ночью ловили рыбу. Спустя несколько недель после прибытия белого на реке возобновилась обычная жизнь. Однажды Туй пригласил путешественника сопровождать его во время рыбной ловли. Ночью на утлых пирогах туземцы двинулись вверх по реке. На первой из них и на тех, что окружали пирогу вождя, горели большие факелы

из сухих ветвей. Густые заросли по берегам реки, освещенные трепетным красноватым пламенем, казались еще красивее, чем днем. На носу передней пироги стоял Бонем с большим луком в руке, балансируя ногами, чтобы удержать равновесие, и целился в черные тела рыб, появлявшиеся в прозрачной горной воде. Бонему было лет шестнадцать. Картина всей этой охоты была волнующе красива.

Постепенно дядя Коля узнал скрытые стороны жизни папуасов, начал понимать даже их недомолвки. Как мне неоднократно говорили, самым удивительным в этом познавании тайн и обычаев незнакомого общества было открытие тех же законов, которыми в большей или меньшей степени руководствуются все общества, обнаружение сходных с нашими условностей и покровов, под которыми кипели первобытные страсти. Традиции и культура, унаследованные от предков, проявлялись, как и у нас, порою в виде нелепых обычаев. Так, тем, кто действительно скорбел по умершему, то есть его ближайшим родственникам, запрещалось проявлять свое горе. Наоборот, те, кого можно было подозревать в неискренности, например жена или дальние родственники, должны были в течение долгих недель подчеркнуто горевать, не выходить из дома, сбривать свои красивые прически и мазать тело пеплом и смолой.

Ряд вещей, действий, существ был огражден самыми строгими запретами, порой совершенно необъяснимыми. Нельзя было, к примеру, убивать синюю райскую птицу, есть мясо дикого кабана и в определенные дни или недели рвать цветы пандануса.

Но самым грозным запретом, самым строгим табу ограничивались отношения брата и сестры. С раннего детства брат не может ни в малейшей степени интересоваться сестрой. Они растут под одной крышей, но брату запрещается играть и разговаривать с сестрой, даже задавать ей вопросы. Вся интимная жизнь сестры должна быть неизвестна брату до такой степени, что от него до последней минуты скрывают имя молодого человека, за которого она выходит замуж. Тем удивительнее этот суровый закон, что с момента выхода сестры замуж брат становится опекуном сестры и ее детей и выделяет специальные средства — в натуре — на их содержание. Любые нарушения этого страшного запрета покрывают виновных несмываемым позором. Если преступление получит огласку, они должны совершить «лоу».

Что такое лоу, любопытный белый узнал вскоре после прибытия, но в то время он еще не понимал происходившего. Однажды к вечеру, когда море было особенно лазурным и его голубые отблески лежали на джунглях, когда не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка, что довольно редко бывает в тех краях, дядя Коля увидел выбежавшую из леса молодую, празднично одетую (это он уже умел отличить) женщину. С громким воплем она начала карабкаться на высокую кокосовую пальму, склонившуюся над пляжем и потому более доступную. За женщиной с криками и плачем выбежала целая толпа жителей деревни. Громче всех голосила мать и, вероятно, сестры или братья взбиравшейся на пальму женщины. Вдруг от толпы зрителей отделился молодой подвижный мужчина и тоже начал карабкаться на пальму, что-то жалобно крича женщине. Но та быстро добралась до вершины, ловко цепляясь ступнями за гладкий ствол пальмы, и там неожиданно разжала обе ладони, которыми обхватывала ствол, застыла на мгновение, внезапно произнесла какую-то пронзительную, полную отчаяния фразу и рухнула головой вниз, к корням пальмы. Толпа бросилась к женщине, но та была уже мертва.

Впоследствии выяснилось, что пальма, росшая вблизи домика Тамо-Руса, была, так сказать, официальным местом совершения лоу, традиционного самоубийства опозоривших себя людей. Какие действия считались позорящими, дядя Коля узнал только к концу своего первого пребывания

на побережье Гвинеи. Именно это и будет составлять основное содержание моего рассказа.

К концу года, осенью, когда пришла пора праздника урожая, настало время торжественных сборов при луне, игр с перетягиванием соломенной веревки, песенных и танцевальных конкурсов. Джунгли были так переполнены движением, трепетом, музыкой, рокотом барабанов и далеким призывом продырявленных раковин, звуки которых походили на голоса горных трембит, что обессиленный зноем и остатками лихорадки русский путешественник не мог спать по ночам. В тот вечер протяжные и звучные напевы особенно волновали его. Казалось, джунгли пели. Хоры слышались то ближе, то дальше, но главный хор пел неподалеку, в окрестностях деревни Бонгу. Путешественник многократно слышал такое пение, но ни до, ни после того вечера оно не казалось ему таким проникновенным.

Чудилось, что пели сами джунгли — лес отзывался в такт плеску морской волны. Когда путешественник начал вслушиваться в пение, то понял, что это задушевный человеческий голос. Голос человека забытого, низведенного до положения животного, но который все-таки, сознавая свое достоинство, бросает в темноту ночи призыв к лучшему будущему. Молодой русский знал песни российских крестьян, и рабочих Людвигсхафена, где учился в университете*, знал нищету петербургских студентов и их тоскливые песни, и песни каторжников, угоняемых царскими жандармами по этапу в Сибирь. Их отголоски сливались для него сейчас в протяжных напевах деревни Бонгу, которые неслись из темного леса к серебристому лунному небу Меланезии. Голоса дружными, но дикими для европейского уха аккордами взлетали ввысь, крепли, вибрировали и неожиданно обрывались на высокой ноте, чтобы через минуту снова зазвучать где-то внизу, подобно шелесту камыша, и вновь такими же волнами подниматься до высокой ноты, которая вдруг возносилась над пляжем, как стройная пальма.

Дядя Коля рассказывал впоследствии, что он никогда не чувствовал острее судьбу человека, тоскующего по борьбе за свободу, за счастье. Потрясенный, он продолжал лежать в своем гамаке, как вдруг услышал около дома шорох. Даже не шорох, потому что жители побережья появлялись бесшумно, а увидел какую-то тень. Чья-то легкая рука тронула его через окно, за которым виднелись пальмы, белый пляж и луна. Голос вернул его к действительности:

— Тамо-Рус! Тамо-Рус!

По очертаниям головы, по особому бренчанию браслетов дядя Коля узнал вождя деревни Бонгу.

— Что случилось?

— Тамо-Рус! Тамо-Рус! Очень плохо! Туй очень несчастлив.

— Войди в дом.

— Не могу, я должен сейчас идти. Туй сейчас умрет от горя.

Дядя Коля вышел из дома. Туй сидел на песке и нервно пересыпал его вокруг себя. Месяц белый, какой бывает только над тропиками, бросал резкий свет на окружающий пейзаж и лицо черного вождя. Путешественник заметил, что Туй был одет по-праздничному, на лбу и щеках его виднелись черные и красные разводы. От вождя исходил сильный запах мяты и мускуса, но его лицо, несмотря на все это, выдавало наивысшую степень подавленности. Белки глаз Туя блестели в темноте.

— Тамо-Рус! Дай гром в трубке, иначе все пропало.

У дяди Коли было несколько штуцеров и охотничьих ружей. Однако убедившись, что жители побережья знают применение огнестрельного

* По другим данным, Миклухо-Маклай учился в университетах Иены, Лейпцига и Гейдельберга.

оружия, но не имеют его и очень боятся, он никогда не стрелял поблизости. Путешественник даже не предполагал, что Туй знает о существовании ружей в его полуразрушенном домике. Дядя Коля совершенно не понимал существа дела, бессвязные слова, сказанные на языке без синтаксиса и грамматики, вызывали путаницу в его тяжелой от лихорадки голове. Наконец после долгих расспросов, после того как Туй успокоился, выпив рюмку арака (дядя Коля прибегал к этому средству только в совершенно исключительных случаях), дело более или менее прояснилось. Сидя на пляже перед своим домом, рядом со всхлипывающим Туем, путешественник узнал следующее:

Светила луна — эти молодые сходят с ума, когда светит луна, добавлял Туй каждый раз, когда вспоминал о спутнике земли, — и увлеченная чувством Илямверия не соблюла обязательной в родном доме осторожности. Вошел ее брат Бонем и увидел сестру и ее жениха Митакату, нежно воркующих в полутьме. Бонем тотчас вышел, но грех совершился, все трое нарушили самый суровый запрет: брат узнал, кто является женихом и избранником сестры, а она предстала перед его взором бесстыдно разговаривающей с чужим мужчиной. От этого нет спасения. Согласно существующим традициям, завтра они должны совершить лоу, все трое. Митаката, может быть, покинет деревню и уйдет в глубь побережья или на другие, небольшие острова, где не будет известно о его позоре. Но Бонем и Илямверия должны погибнуть, а ведь они дети Туя!

Путешественник удивился:

— Почему ты пришел с этим ко мне? — спросил он убитого горем вождя.

— Только Тамо-Рус, только белый человек может здесь чем-нибудь помочь.

Такое мнение вождя Туя, очевидно, польстило дяде Коле. Оно было свидетельством огромного доверия и, что важнее, доказательством того, что мирный белый человек, живший в течение восьми месяцев по соседству с папуасами, завоевал среди них такое положение, когда сам вождь приходит к нему с наиболее важными жизненными вопросами. В то же время путешественник отдавал себе отчет в том, что хотя весь его авторитет зависит от хода событий, в данном случае он ничего посоветовать не может. У него, без сомнения, было огнестрельное оружие. Туй несколько раз напоминал ему об этом, но Тамо-Рус совершенно не представлял себе, каким образом, применив это оружие, можно освободить двух молодых людей, вернее, трех, из-под власти многовекового обычая. Туй, тряся головой, все время повторял:

— Бонем — мой сын, Илямверия — моя дочка! Оба — мои дети! Только они остались.

Действительно, другие дети Туя умерли, и, кроме этих двоих, у него была только маленькая дочка Каньявака.

— Идем, Тамо-Рус, я тебе покажу! — сказал наконец Туй и, осторожно взяв путешественника за руку, повел через лес к деревне.

Пение не прекращалось, оно то замирало, то вновь возникало и устремлялось к небу, зеленоватому от лунного света. Путники осторожно прошли по тропинке среди зарослей древесных папоротников, лиан и пальмовых стволов. Там стоял запах джунглей, дикого перца и гниющих листьев. Дрожь лихорадки вновь пронзила дядю Колю.

В деревне Туй, не отпуская руки русского путешественника, привел его к большому нарядному дому, стоявшему посреди селения, недалеко от жилища вождя. Это был «дом неженатых», место, где проводили ночи влюбленные, еще не вступившие в брак. Фронтон дома сиял, озаренный лунным светом, а его задняя сторона, как у сфинкса, лежащего на площади, была погружена во мрак тропической ночи. Туй задержал своего

товарища в тени и показал ему пальцем на дом. На высоком пороге, под треугольным резным навесом из бревен красного и синего цвета — полная луна делала эти краски особенно выразительными — сидели двое молодых людей. Их неподвижные тела казались изваянными из черного мрамора. Молодой папуас сидел на земле, вытянув перед собой широко разведенные ноги, девушка, присев рядом на корточки, обнимала его. Прислонив головы, они смотрели на небо, не произнося ни слова. Они не двинулись, пока притаившиеся наблюдатели смотрели на них, даже губы их ни разу не пошевелились, ресницы не вздрогнули. Туй наклонился над ухом дяди Коли и прошептал:

— Это Илямверия! Это Митаката!

Скрываясь в тени, Туй и путешественник удалились в сторону хижины вождя. Пение на опушке леса стихло, и сразу же из-за дома, рядом с ними, раздался молодой голос, тянувший отдельные слова на высоких нотах. Это пел Бонем:

Я надел на себя все свои ожерелья.
Раковины и венки из цветов бутии надел я на шею,
Я натер пахучей мятой все свое тело,
Теперь прощай, отец, прощай, маленькая Каньявака,
Сейчас я должен броситься вниз
С пальмы, высокой, как горы, на которых живет райская птица.

Притаившиеся наблюдатели отступили и вернулись к домику на пляже, где храпел равнодушный ко всему Ульсон. Путешественник продремал до утра в гамаке; вернулся ли Туй в деревню или переждал короткую ночь на пляже — неизвестно. Как бы там ни было, едва золотой луч озарил верхушки пальм, возвышавшихся над зарослями, он вновь появился в окне и разбудил спящего.

— Тамо-Рус, — сказал он, — возьми с собой трубку-гром!

Когда они дошли до деревни, было уже светло. Жители Бонгу торопливо собирались на площади перед домом вождя. Маленькая Каньявака жалобно плакала. Увидев своего вождя в обществе белого, толпа заволновалась. Вождь жестом успокоил папуасов. Все мгновенно затихли, так как именно в эту минуту из дома вождя вышла Илямверия, звеня всеми своими украшениями, раковинами и браслетами на предплечьях. Ритмично, как в танце, покачивая бедрами, она шла гордо, но время от времени глядела в сторону, как бы боясь взоров обступивших ее людей. В двух шагах позади нее шел Митаката. Весь с ног до головы натертый ароматичным пальмовым маслом, в лучах утреннего солнца он казался изваянием. Все стихло, замерло, только из-под эвкалипта, росшего перед домом вождя, долетало всхлипывание маленькой Каньяваки.

Илямверия остановилась на минуту и закричала с рыданиями в голосе:

— Отец мой, вождь Туй! Вот дочь твоя, опозоренная, невинная, но опозоренная; вот моя праздничная юбка, вот мои браслеты и венки пахучих цветов, а сейчас я пойду, взберусь на дерево, брошусь вниз и разобьюсь, потому что так велят обычаи предков.

Туй делал знаки дяде Коле, чтобы тот вмешался как deus ex machina* и помог в трагической ситуации. Но обстоятельства требовали от русского путешественника слишком многого. Он не мог решить, как защитить трех молодых людей, так как уже появился и Бонем, вышедший из отчего дома с таким же скорбным видом.

Внезапно взоры всех присутствовавших устремились на один из эвкалиптов, росших перед домом Туя на площади деревенских сборищ. Освещенная утренним солнцем, на дереве появилась сияющая, как бы целиком

* Deus ex machina (лат.) — неожиданное вмешательство сверхъестественной силы.

сплетенная из стеклянных волокон, сапфировая райская птица с горы Мороб. Молодой путешественник рванулся как безумный, остановился перед Илямверией, на губах которой замерли жалобы, и начал выкрикивать бессвязные слова языка, которому недавно научился. Он хотел выразить презрение к обычаю, который заставляет трех молодых людей покончить жизнь самоубийством по совершенно ничтожному поводу.

— Не может быть! — восклицал он.— Духи предков не хотят смерти молодых... чтобы умирали молодые... Такой запрет бессмыслен... Все это глупо, глупо... Будьте разумными... Не дайте умереть Илямверии и Бонему, не дайте умереть Илямверии и Митакате!

Толпа зашевелилась и начала повторять одно слово:

— Бома, бома, бома, бома...

Дядя Коля знал, что это слово означает священный запрет.

— Не существует священных запретов,— сказал он,— когда решается вопрос о человеческой жизни. Смотрите на эту птицу,— он указал на массу голубых перьев, развевавшихся на эвкалипте,— убить ее также бома, а я убью ее, и со мной ничего не случится.

Он сорвал с плеча штуцер, прицелился и выстрелил. Несмотря на сильное возбуждение, он попал в цель. Птица упала к ногам Каньяваки, которая громко вскрикнула и замолкла. Крик Каньяваки эхом отозвался в толпе. Напуганные выстрелом, все попадали лицом вниз. Облачко жженого пороха понемногу рассеялось, нагретый утренний воздух, затуманенный выстрелом, снова стал прозрачным и золотистым. Воцарилась глубокая тишина.

В этой тишине радостно зазвучало шлепанье двух пар босых ног. Митаката и Бонем устремились к тому месту, где в естественной гавани в устье реки стояли папуасские пироги. Вначале они ступали неуверенно, но по мере удаления от дома вождя их шаги становились все быстрее и тверже. В тот момент, когда дядя Коля почувствовал, что его икру сжимает ладонь Туя, вместе с остальными лежавшего лицом вниз, он заметил, как оба парня быстро столкнули пирогу вождя в воду и через минуту уже отплыли далеко в море.

Бонема путешественник встретил лишь через одиннадцать лет, когда вновь вернулся на побережье залива Астролябии. Молодой папуас занял место своего отца, умершего вскоре после его побега. Обстоятельства смерти Туя были известны только русскому путешественнику.

Выстрел, убийство синей птицы, побег двух «преступников» и спасение Илямверии, которая вскоре вышла замуж за кого-то другого, на долгое время нарушили спокойствие в деревне и на пляже. Теперь никто не приходил к домику путешественников, не приносил даров в виде дынь, таро и молодых кокосовых орехов. Животный страх Ульсона стал еще сильнее, чем вначале. Он трясся, проклинал свою судьбу и ругал своего товарища за его спиной. Однако через некоторое время папуасы как будто начали забывать о потрясших их событиях и вернулись к своим занятиям и играм на пляже; лишь овощи и фрукты не появлялись, как прежде, у дверей дома белого путешественника.

Однажды к дяде Коле пришел Туй. Он один не прекратил своих посещений, один оказывал белым мелкие услуги и на каждом шагу старался выразить свою благодарность за спасение детей. Бонем был на «северных островах», прислал оттуда весточку отцу вместе с красивой раковиной, в которую можно трубить. Туй пригласил дядю Колю на рыбную ловлю. Белый путешественник был немного удивлен, когда увидел, что они едут вдвоем и никто из молодежи их не сопровождает, но Туй сказал, что так нужно. Путешественник по опыту знал, что при таких обстоятельствах лучше не задавать вопросов. Они молчаливо плыли вверх по реке почти целый день. Туй то отталкивался длинным веслом, то греб

им на глубоких местах. Река была широкая, но неглубокая. Только временами, когда в горах выпадали дожди, бурые воды ее стремительно вздымались. Так повторялось регулярно каждые две недели.

Вечером путники вышли на берег, и Туй развел огонь. Русский путешественник с удивлением заметил, что у Туя есть огниво и трут, которыми он умеет пользоваться.

Путешественник по-прежнему не задавал вопросов. Он, разумеется, понимал, что дело было не в рыбе. Причина поездки была, несомненно, более важной.

Спали они на срезанных ветвях, а на следующий день отправились в том же направлении. Туй рассказал путешественнику несколько забавных историй и сказок, смеялся, но было видно, что он не совсем спокоен.

Вечером, когда ели печеное на углях таро, дядя Коля не выдержал и спросил своего черного приятеля:

— Куда же мы все-таки едем, друг Туй?

Туй отмахнулся рукой.

— Увидишь, Тамо-Рус, будешь доволен. Белые всегда довольны, хотя радоваться нечему...

Костер горел всю ночь. Белый человек не мог спать. Он смотрел, как Туй поддерживал огонь, подбрасывая сухих веток. Дядя Коля доверял ему полностью, но опасался какого-нибудь недоразумения. Он дал себе слово, что завтра согласится ехать с Туем только до полудня, а затем будет настаивать на возвращении. Утром над рекой поднялся густой, как молоко, туман. Путники немного подождали, пока он поредеет, а когда сели в пирогу, заметили, что грести стало труднее. Вода была мутная, желтая, было видно, что она быстро прибывает. На ее поверхности неслись круги белой пены.

Около полудня послышался шум. Путники подъехали к изгибу реки, за которым виднелся красивый водопад. Берега здесь были обрывистые, но Туй нашел место, где можно было вытащить пирогу и даже обезопасить ее от прибывавшей воды. Туман рассеялся, и теперь было отчетливо видно, что вода в реке прибывает. Туй очень спешил и как только пристроил пирогу высоко над водой, пригласил своего спутника подняться на скалистый порог, с которого низвергался водопад. Через два часа они были уже наверху и добрались до места, откуда ниспадали водяные массы. В нескольких шагах вверх по течению реки вода была спокойная, черная и казалась очень глубокой. Неподалеку в реку впадал небольшой ручей. Путники остановились на его берегу.

— Подожди, Тамо-Рус, — сказал Туй.

Он вошел в ручей, внимательно глядя на дно, внезапно наклонился и вытащил из воды небольшой камень. Не говоря ни слова, он подал его белому.

.

— Это был вот этот камень,— сказал мне рассказчик, нажав на маленький замок в подставке, на которой сидело чучело райской птицы; из ящика, который выдвинулся автоматически, он вынул какой-то минерал. Подал его мне. Я наклонился к камину, и камень чудесно заблестел в свете его пламени.

Это был самородок чистого золота.

Вождь деревни Бонгу, желая отблагодарить Тамо-Руса за спасение детей, показал ему место, где горный поток размыл дно, обнажив золотые самородки. Было их там, очевидно, великое множество. Несомненно, именно сюда наведывались испанские авантюристы, первыми прибывшие в эти места. Недаром они назвали Новую Гвинею по-своему — Isla del Oro.

Наконец оба путешественника уселись на берегу. Туй держал в кулаке несколько золотых самородков. Он уверял своего белого друга, что только он один знал тайну «золотого потока». Если бы жители острова узнали эту тайну, они бы не заинтересовались золотом: им оно ни к чему. А белые?

Действительно! Дядя Коля вздрогнул при этой мысли, даже высказал ее вслух:

— А белые?

— Ты будешь единственным белым, который знает об этом,— сказал Туй.

Тамо-Рус вытащил из кармана бумажник, достал из него карту и нанес карандашом берег, где он высадился, пляж, джунгли, расположенные в них деревни и устье реки. Он хотел нанести на карту место, где они в тот момент находились, разложил бумагу на коленях и провел синим карандашом линию реки, по которой они прибыли, как она ему представлялась. Он обозначил и водопад, а над ним — место впадения «золотого потока».

Туй наблюдал за работой своего друга и наконец спросил:

— Что это такое?

Белый немного растерялся. Как объяснить своему черному брату, что такое карта? Он на минуту задумался.

Туй продолжал допытываться:

— Что это такое? — Потом показал пальцем на только что нанесенную линию и спросил: — Это наша река?

Дядя Коля вздрогнул и машинально ответил:

— Конечно, река.

— А это водопад? — Туй указал на только что обозначенный пункт.

— Да.

— Ты забыл,— сказал Туй,— здесь петля.

Взяв карандаш из руки путешественника, он нарисовал изгиб реки и недалеко от водопада остров, о котором дядя Коля забыл. Это само по себе свидетельствовало о его психическом состоянии в ту минуту. Белый путешественник с удивлением посмотрел на вождя папуасов.

— Ты когда-нибудь держал это в руке? — белый указал на карандаш.

Папуас отрицательно покачал головой.

— Нужно ехать,— сказал он,— вода прибывает.

Когда спутники спустили пирогу на воду, она понеслась как шальная. Туй не мог справиться с силой стремительного потока, вертевшего пирогу, как щепку. Быстро смеркалось. Пирога безостановочно продвигалась вперед.

Белый путешественник, возможно, испугался бы, попав в такую переделку, но занимавшие его мысли не давали ему сосредоточиться на опасности. Открытие «золотого потока» вывело его из равновесия. В первую минуту путешественник решил, что сохранит эту тайну для себя, так как знал, какие последствия для любимого им побережья, для всех лесных деревень и его полинезийских друзей будет иметь открытие золотых россыпей на Новой Гвинее. С другой стороны, располагая огромными средствами, которые давало ему в руки золото Туя, он мог бы попытаться несколько иначе приступить к осуществлению своих мечтаний и реализации «схемы государственного устройства побережья залива Астролябии». Приобретение в собственность участка «золотого потока» было очень простым делом. Достаточно было вернуться туда и воткнуть в нескольких местах таблички с надписями. Помочь ему в этом мог Ульсон, однако он уже не доверял Ульсону. Тот мог убить его во время поездки и присвоить золото. Ульсон вел себя так странно, что к нему невозможно было

питать и капли доверия. Впервые дядя Коля так ощутил свое одиночество. Он должен был один решить все. О создании колонии свободных людей здесь, в Океании, он думал не раз. Но создавать ее на золото, которое, едва появившись на свет, покроется кровью? Ни за что.

Во мраке ночи он видел Туя. Тот стоял на носу пироги и пытался веслом хоть немного направлять ее бег. Это ему не всегда удавалось. Вздымавшиеся волны то подбрасывали пирогу, как мяч, то неожиданно останавливали ее, ударяя о корни деревьев или, что было опаснее, о камни. Вождь папуасов в такие моменты старался удержать равновесие, упираясь своими сильными ногами, однако то и дело падал на дно пироги либо повисал над водой. Порой это было опасно.

Белый человек, сидевший на корме, откинувшись назад и упираясь ногами в борта пироги, оставался неподвижным и внимательно следил за происходившим. Вдруг ему пришла в голову удивительная и неожиданная мысль: только Туй знал о том, что на дне ручья, за водопадом, есть чистое, промытое золото. Только Туй и он, путешественник. Путешественник не расскажет об этом никому. Но вождь папуасов? Туй может выдать эту тайну первому хорошему белому, Ульсону, например, который заметит в его руке желтый камешек и в обмен за сведения, где тот его нашел, подарит перочинный нож с тремя лезвиями. Если бы Туй погиб, тайна золотого прииска на Новой Гвинее погибла бы вместе с ним на долгие годы. Золотой прииск — самое большое несчастье, какое только могло обрушиться на счастливый остров и его жителей.

В эту минуту течение реки прибило лодку к берегу, на котором росли склонившиеся над водой деревья с торчащими сучьями. Хлынул дождь, и сучья склонились еще ниже к воде. Туй что-то крикнул. Незамеченный в темноте сук сильно ударил его, но он схватил его обеими руками и задержал лодку ногами. Белый больно ударился головой о корму лодки. В это мгновение он подумал: «Если бы мы оба сейчас погибли...»

Туй кричал:

— Помоги, помоги, не удержу...

Белый хотел броситься на помощь. На короткое мгновение, долю секунды, его задержала мысль:

«Если бы Туй сейчас погиб, черные люди были бы счастливы».

Но в то же мгновение он превозмог ослепившую его боль и бросился на выручку. В темноте дядя Коля обхватил руками густые ветви с мокрыми листьями и гладкое тело Туя, но удержал их лишь на какой-то миг. Он почувствовал, что ноги Туя отпустили пирогу, мокрый удар ветвей бросил его на дно, и пирога понеслась как стрела. Белый услышал за собой лишь треск ветвей, ломающихся под тяжестью тела Туя, его вскрик и тут же потерял сознание.

Придя в себя, он увидел, что пирогу окружает множество знакомых черных лиц. Они выловили его недалеко от устья реки уже днем. Лицо белого болезненно опухло. Его подняли и перенесли на берег. Оказалось, что река выбросила на берег тело Туя в нескольких километрах вверх по течению. Его уже нашли. Все были потрясены.

Белого проводили до его домика. Над входом висело неизвестно кем набитое и принесенное чучело голубой райской птицы с горы Мороб.

Сопровождаемый молодыми папуасами путешественник едва тащился к дому. Навстречу выбежал Ульсон и в величайшем изумлении, будучи попросту не в состоянии вымолвить слова от наплыва чувств, бормоча что-то, указал рукой на море. Дядя Коля посмотрел в указанном Ульсоном направлении: там, во всем великолепии, прекрасный легкий фрегат «Изумруд», распустив паруса, как лебедь, вплывал в воды залива Астролябии.

Николай Николаевич Миклухо-Маклай никогда никому не открыл тайны золотоносной реки. Впоследствии, возвращаясь на побережье, названное его именем, он даже не пытался начинать эксплуатацию золотых россыпей, находившихся недалеко от поселений его друзей. Только много-много лет спустя он рассказал о своем приключении на реке в семейном кругу, где этот его рассказ, как и многие другие, был выслушан с определенным недоверием. Такие «легенды» даже пересказывались у камина в этой удивительной резиденции гостям, подобным мне, но они никогда не принимались всерьез, как обычно не принимают всерьез в тихом сельском доме, окутанном ноябрьской мглой, рассказов о золоте, палящем зное, чернокожих людях и красных цветах. Никто не пробовал организовать экспедицию за золотом. Никто из этой семьи не дожил до момента, когда до Европы долетело известие о том, что англичане открыли большие золотые россыпи в северной части Новой Гвинеи, вытеснив оттуда немецких колонистов, первые из которых ловко прикрывались именем русского ученого. С этого момента Новая Гвинея стала местом борьбы, преступлений, обмана, махинаций и политики «сильной руки». Всевозможные несчастья, которых опасался Тамо-Рус, обрушились на его папуасов.

Значит, все, о чем мечтал или что сделал этот великий человек на побережье залива Астролябии, пропало даром? Рассеялось, как дым? Оказалось побежденным одной из самых тяжелых болезней человечества — золотой лихорадкой? Полагаю, что нет. Мечты и слова Миклухо-Маклая создали перед преданным проклятию народом как бы туманный образ правды. Папуасы когда-нибудь поверят, что Тамо-Рус был прав, приехав к ним безоружный, с добрым словом, с намерением осуществить «государственное устройство побережья Астролябии», что он был прав, когда от их имени послал гневный протест Бисмарку и лишь однажды, ради спасения трех молодых жизней, убил на эвкалипте перед хижиной вождя голубую райскую птицу с горы Мороб.

Клод Сернэ

Сила одного слова

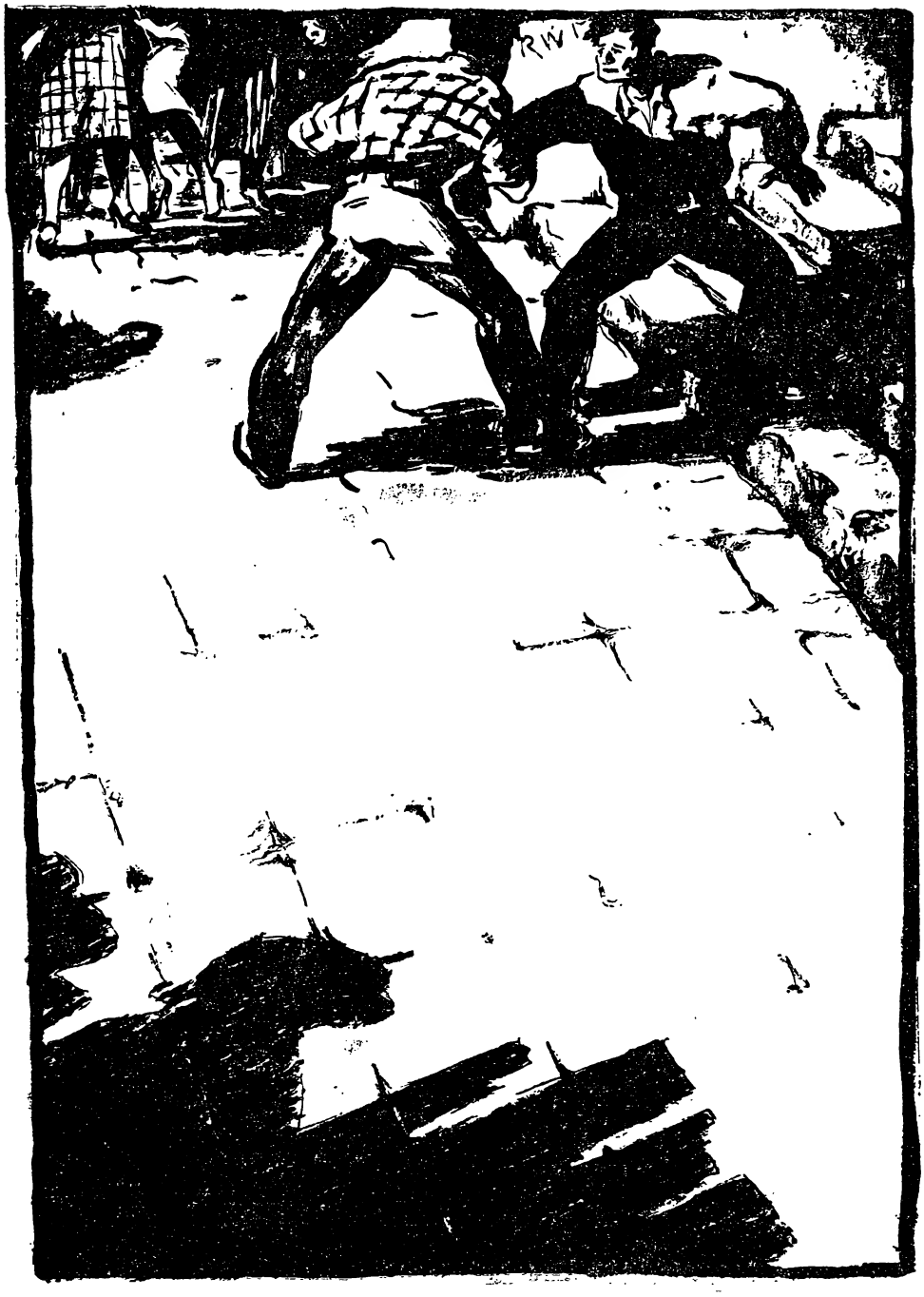
Мы говорим: «Товарищ!» —
И раскрывается дверь...
Дверь? Нет, это вспышка зари,
Поток лучезарного света,
Это — лицо любимой...

Сколько ночей позади,
Черных тревожных ночей,
Сколько горя и слез,
Ненависти и муки —
Все для того, чтоб в ответ
На одно короткое слово
Занялась золотая заря,
И пролился трепетный свет,
И ласковый смех прозвенел!

Мы говорим: «Товарищ!» —
И в дверь тихонько стучим.
В темноте загорается свет.
На лице человека, что дверь распахнул, —
Легкие блики огня.
Тают тревожные тени.
Любовь, о злобе забыв,
Говорит: «Товарищ, входи!»...

Вы как будто не верите?
Но попробуйте сами —
Сами сказать это слово.

Перевод с французского
М. Ваксмахера.



«ВИД С МОСТА» *Рис. Л. Шенгелия*

Артур Миллер

Вид с моста

Перевод с английского Е. Голышевой и Б. Изакова.

Стихи в переводе Бориса Слуцкого

Пьесы Артура Миллера «Все мои сыновья», «Смерть коммивояжера» («Человек, которому так везло»), «Суровое испытание» («Салемский процесс») обошли театры всего мира и принесли ему мировую известность. С присущим А. Миллеру талантом написана и его последняя пьеса «Вид с моста».

В предисловии к американскому изданию «Вида с моста» Артур Миллер изложил свои взгляды на драматургию. Это предисловие озаглавлено: «О социальной драме». Автор противопоставляет пьесе, несущей социальную тему, подавляющее большинство произведений американской драматургии, пафос которых сводится к «разочарованию в жизни». Миллер заявляет, что социальная драма должна давать ответ на вопрос: «Как нам жить?» Драматургия, утверждает он, призвана помогать тому, чтобы люди «освободились от страха голода, безработицы, болезней, трудились всего несколько часов в день, а продолжительность их жизни достигла бы восьмидесяти, девяноста, а может быть, и ста лет». Автор считает, что античная драма носила социальный характер; с этим связана и его попытка использовать в «Виде с моста» некоторые формы древнегреческой трагедии.

А. Миллер не стал делить «Вид с моста» на акты, хотя и отмечает в своем предисловии, что это «пьеса обычного размера по числу страниц». Однако драматизм и напряженность действия в пьесе таковы, что он «просто не знал, где ему опускать занавес».

Пьеса «Вид с моста» затрагивает одну из специфических сторон «американского образа жизни». В США отдельные предприимчивые дельцы и целые организации капиталистического типа занимаются нелегальным ввозом дешевой рабочей силы из стран с особенно низким жизненным уровнем и массовой хронической безработицей (из Италии, Ирландии, Мексики и других). Рабочие, ввезенные нелегально, без оформления необходимых документов, целиком попадают во власть подрядчиков: они обеспечивают их работой в первую очередь, одновременно облагая тяжелой мздой.

Разумеется, это только фон, на котором развертывается насыщенное действие пьесы, разыгрывается драма любви и ревности, дружбы и предательства.

Но не только общий фон определяет социальный характер пьесы «Вид с моста». Автор решает в ней вопрос, глубоко волнующий в наши дни общественность США. Как указывала американская прогрессивная печать, этим вопросом является отношение к доносчику и системе доносов, проникшей сегодня во все поры общественного организма США. Драматург выносит уничтожающий приговор главному герою пьесы, которого чувство ревности толкнуло на путь предательства. Так, в атмосфере разгула маккартистской реакции Артур Миллер смело поднял свой голос против доносчиков и доносительства.

Прошло немного времени — и политические условия в США практически столкнули Артура Миллера с общественной проблемой, поставленной в пьесе «Вид с моста». «Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности» палаты представителей

США предложила ему назвать лиц, участвовавших вместе с ним в собраниях прогрессивных организаций. Миллер отказался стать предателем. За это он отдан под суд. Решение о его предании суду было вынесено палатой представителей большинством в 373 голоса против 9 голосов. Но так же, как американской реакции не удалось сделать из него доносчика, ей не удастся и заглушить талант Артура Миллера, не удастся свести на нет воздействие его пьес, в которых звучит мужественный голос правды.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Луис
Майк
Алфиери
Эдди
Кэтрин
Биатрис
Марко
Тони
Родольфо
Первый иммиграционный агент
Второй иммиграционный агент
М-р Липари
М-сс Липари
Два «зайца».

Многоквартирный дом и улица перед ним.

Как и в самой пьесе, в декорациях отсутствуют второстепенные детали, на сцене только самое необходимое. Главное место действия — гостиная (она же столовая) в квартире Эдди Карбоне; в ней — круглый стол, несколько стульев, качалка и патефон.

Комната расположена несколько выше уровня сцены, форма ее и размер должны соответствовать замыслу постановщика. Задняя стена представляет собой перегородку, за которой справа и слева скрыты двери в невидимые зрителю кухню и спальни.

На передней части сцены, в комнате и слева от нее, нечто вроде уходящих ввысь колонн, которые обозначают фасад дома и вход в него. Тут же висит архитектурная деталь; она изображает фронтон, венчающий колонны и весь фасад дома. У входа — лестница; она доходит до уровня пола гостиной, затем сворачивает к задней части сцены и, опоясав ее, поднимается к площадке второго этажа.

В центре передней части сцены — улица. Справа, у просцениума, письменный стол и стул м-ра Алфиери; тут его контора. За стулом вешалка. Рядом с конторой — низкая чугунная решетка, какими огораживают спуск в подвал. Позже слева у просцениума появится будка телефона-автомата.

Цель спектакля — сделать реально ощутимой извечную тему этого повествования в обыденной жизни современного большого города и, столкнув извечное с сегодняшним, создать на сцене свой особый мир.

Когда поднимается занавес, портовые грузчики Луис и Майк играют в орлянку у стены слева.

Издали из порта глухо доносится завывание сирены.

Входит Алфиери — адвокат лет пятидесяти, уже седеющий, грузный; человек он благодушный и наблюдательный. Когда он проходит мимо грузчиков, они ему кивают. Адвокат медленно подходит к своему столу, снимает пальто и шляпу, вешает их и оборачивается лицом к зрителям.

Алфиери.

Я улыбаюсь потому, что мне
Не часто улыбаются.
Я адвокат, а здесь у нас в округе —
Что адвокат, что поп:
Обоих вспоминают,
Когда стряслась беда.
Мы — вестники несчастья.

Добрый вечер. Добро пожаловать к нам в театр. Зовут меня Алфиери. Хоть я и адвокат, но перейду прямо к делу. Я уж не молод. И мне не чужда слабость людей нашей профессии: я убежден, что в моей практике было множество необыкновенно интересных дел.

Когда ты еще молод, необъяснимые капризы и причуды жизни раздражают. В молодости во всем ищешь логику. Но когда ты стареешь,

важнее и дороже всего становятся факты — в них поэзия, все чудеса и волшебство весны. А до чего прекрасна весна, когда тебе уже перевалило за пятый десяток! Да, я влюблен в факты: дорого то, что уже произошло, а не то, что могло бы произойти или должно было бы произойти...

Жена постоянно корит меня, друзья тоже; они говорят, что здешним жителям недостает, мол, изящества, обаяния... А ведь правда, с кем мне приходится всю жизнь иметь дело? С портовыми грузчиками, с их женами, отцами и дедами; трудовые увечья, выселения, семейные дрязги — вот мои дела: мелкие невзгоды бедноты... Однако...

В часы прилива,
Когда волны морского ветра бьются в стены,
Я сижу в моей конторе
И думаю о том, что все здесь вечно.
Я думаю о Сицилии, откуда пришли эти люди,
О древних скалах Калабрии,
О Сиракузах, где карфагеняне и греки
Бились в кровавых битвах. Я думаю о Ганнибале —
Он убивал их предков; о Цезаре —
Он понукал их по-латыни.

Все это, конечно, смешно.
На этой панели учился своему ремеслу Аль Капоне,
А Фрэнки Йэла разрéзали надвое
На углу Юнион и Президент-стрит,
Где несправедливые люди
Перестреляли стольких, и всех— за дело.

Теперь, конечно, все изменилось.
Я больше не прячу револьвер в конторке;
Мы цивилизовались. Мы теперь настоящие американцы.
Дележка теперь идет у нас мирно.
По мне — так лучше.

И все же, в часы прилива,
Когда зеленый запах океана
Плывет прямо в окно,
И голуби бедняков
Кружатся в небе,
Я вижу не их, а соколов,
Охотничьих соколов древних времен,
Парящих над лесами Италии...
И все это в Ред Хук — портовой трущобе,
Которая видна с Бруклинского моста.

По улице идет Э д д и. Он присоединяется к игрокам.

Изредка попадается стоящее дело.
И когда стороны рассказывают о своих бедах,
Рвется паутина времен;
И камни руин Адриатики снова складываются в здания;
Калабрия!
Глаза истца вдруг кажутся глазами древней статуи,
Его голос доносится словно сквозь руины.
Посмотрите, его зовут Эдди Карбоне.
Грузчик, работающий в доках
Между Бруклинским мостом и молом...

Э д д и *(подбирая с земли монетки)*. Ладно, встретимся позже, ребята.

Л у и с. Ты завтра работаешь?

Э д д и. Да, еще один день на этой посудине. Ну, пока. До свиданья, Луис.

Входит в дом, поднимается по лестнице. В квартире загорается свет. Э д д и лет сорок, это коренастый, слегка отяжелевший грузчик.

Его племянница К э т р и н стоит у окна и машет рукой Луису, который, подняв голову, видит ее и машет ей в ответ. Ей семнадцать лет; в руках у нее тарелки: она собирается накрывать на стол к обеду.

Входит Э д д и, и она сразу же отходит от окна к столу.

Огни, освещавшие Алфиери и улицу перед домом, гаснут.

К э т р и н *(в ней чувствуется тайное возбуждение)*. А-а, Эдди, ты уже пришел!

Э д д и *(чуть желчно)*. А по какому случаю ты надела эти туфли?

К э т р и н *(усмехается)*. Я никуда не ходила.

Э д д и *(снимает куртку и шляпу)*. Ха! Делаешь мне одолжение?

К э т р и н. А почему мне нельзя надеть их хотя бы дома?

Э д д и. Сними-ка их, будь добра. Ты и так красивая.

К э т р и н. Мне просто хотелось их немножко разносить.

Э д д и. Я пришел домой, а не в кино. И не желаю смотреть, как молоденькие девчонки ковыляют на высоченных шпильках вместо каблуков.

К э т р и н. О, господи!..

Входит жена Эдди Б и а т р и с. Ей столько же лет, сколько ему.

Б и а т р и с. Тебе удалось что-нибудь выяснить?

Э д д и *(усаживаясь в качалку)*. Пароход пришел. Они, наверно, скоро сойдут на берег.

Б и а т р и с *(тихо, сжав руки не то от радости, не то с мольбою)*. Боже мой! Ты видел Тони?

Э д д и *(озабоченно)*. Ну да, я с ним говорил. Вечером команду отпустят на берег. Тони сказал, что они могут прийти сюда в любую минуту.

К э т р и н. Уж верно у них все поджилки дрожат...

Э д д и, Чепуха! Преспокойно сойдут на берег. На них ведь выправлены матросские документы по всей форме; сойдут на берег вместе с командой. *(Биатрис.)* Надеюсь, они подумали, где им переночевать, а?

Б и а т р и с. Я написала им в письме, что у нас нет места.

К э т р и н. Но ты их не встретил? Сам-то ты их не видел?

Э д д и. Нет, они еще там. Я видел на пристани только Тони. А с чего это вы обе так всполошились?

К э т р и н. И вовсе я не всполошилась.

Б и а т р и с *(примирительно)*. А почему ж ей не беспокоиться?

Э д д и *(Кэтрин)*. Думаешь, они приехали сюда развлекаться? Они работать приехали.

К э т р и н *(смутившись, но будто даже польщенная поддразниванием)*. А кто думает о развлечениях?

Э д д и. Слушай, Кэтти, тебе что — нечего обуть? У тебя же есть хорошие туфли? *(Показывая на ее ноги.)* Это дрянцо для какой-нибудь актерки. Переобуйся-ка.

К э т р и н. Не смейте ничего рассказывать, пока я не вернусь! *(Выбегает из комнаты, на ходу скидывая туфли).*

Э д д и *(Биатрис, когда та подходит к нему)*. Почему ты ей разрешаешь носить такую гадость? Совсем это ей не идет! *(Биатрис, наклонившись, целует его в щеку.)* А это еще за что?

Б и а т р и с. За то, что ты такой хороший.

Э д д и. Только пускай они знают, что у нас самих ничего нет, Би,— вот что меня сейчас заботит.

Биатрис. Они за все будут платить, я им писала.

Эдди. Нет уж, на этот раз ты не будешь спать на полу, как тогда, когда у твоей матери сгорел дом.

Биатрис. Эдди, я их предупредила в письме, что у нас нет места.

Кэтрин входит в туфлях на низком каблуке.

Эдди. Э, я тебя знаю: стоит только появиться какому-нибудь родственнику, как ты уже спишь на полу.

Биатрис *(полушутливо, полусерьезно)*. Ладно, хватит тебе ворчать. Хочешь пива? Соус еще не готов.

Эдди *(Биатрис)*. Не хочу, и так холодно. *(Кэтрин.)* У тебя сегодня был урок, Грета Гарбо?

Кэтрин. Ага. Я уже много успела, теперь надо побольше практиковаться.

Биатрис. Она уже умеет записывать почти так же быстро, как ты говоришь. Прямо ужас! Почитай ей что-нибудь, глазам не поверишь!

Эдди. Молодец, Кэти. Вот увидишь, детка, из тебя будет толк.

Кэтрин *(гордо)*. Я хоть сейчас могу поступить на работу. И ни капельки не боюсь.

Эдди. Спешить некуда. Подожди, покуда тебе стукнет восемнадцать. Будем читать объявления, может, попадется солидная фирма, а может, адвокатская контора или еще что в этом роде.

Кэтрин. Господи! Да учительница говорит, что я могу работать хоть сейчас.

Эдди. Пусть тебе сперва стукнет восемнадцать. Я хочу, чтобы ты на ногах крепче стояла. А то тебя еще часто ветром шатает. *(Биатрис.)* Где дети? Все еще на улице?

Биатрис. Я отвела их к маме. Не то они всю ночь спать не будут. Какой тебе сегодня попался груз?

Эдди. Кофе. Нам повезло!

Биатрис. Вот почему мне целый день казалось, что пахнет кофе!

Эдди. Да, бразильским... Тот редкий случай, когда приятно быть грузчиком. Весь пароход насквозь пропах кофе. Словно цветами. Завтра скажем, что лопнул мешок, и я тебе принесу немножко. Ладно, давай есть.

Биатрис. Еще две минуты. Мне хочется, чтобы овощи протушились как следует.

Эдди подходит к вазе с виноградом.

Кэтрин. А как же это так получилось, Биатрис, что он холостой? Такой старый... Этот младший.

Биатрис *(Эдди)*. Двадцать пять лет для нее уже старость!

Эдди *(Кэтрин)*. Что за чушь у тебя на уме?

Кэтрин *(язвительно)*. А что, по-твоему, должно быть у меня на уме?

Эдди. Мало ли что.

Кэтрин. Например?

Эдди. Что ты ко мне привязалась? Лучше бы у меня язык отсох в тот день, когда я поклялся твоей матери заботиться о тебе.

Кэтрин. И у меня тоже.

Эдди *(смеясь)*. Господи, ну и язва! Просто ведьма! Тебя бы только по телевидению показывать.

Кэтрин. Ну, и было бы здорово!

Эдди. Да ты бы перепугалась насмерть.

Кэтрин. Я-то? Как же!

Эдди. Кстати, Гарбо, разве я тебе не говорил, что нельзя махать рукой из окна?

Кэтрин. Да ведь я же махала Луису!

Эдди. Знаешь, милая, я мог бы тебе такое порассказать про этого Луиса, что ты не стала бы ему больше махать.

Кэтрин *(Биатрис, которая только посмеивается)*. Хотела бы я посмотреть хоть на одного парня, о котором он не мог бы порассказать бог знает чего!

Эдди *(подходит к ней, сжимает своей большой ладонью ее подбородок)*. Смотри, Кэтрин, ты со мной не шути!

Я отвечаю за тебя, детка.
Я обещал твоей матери, когда она умирала.
Поэтому не шути со мной. Я говорю серьезно.
Не люблю постукивания высоких каблучков по панели,
Не люблю я этот тук-тук-тук.
Не люблю, когда на тебя пялят глаза.

Биатрис. А разве она виновата, что на нее смотрят?

Эдди. Ходит не так, как надо. *(Кэтрин.)* Так вся и вихляешься, когда ходишь.

Биатрис выходит на кухню.

Кэтрин. Кто это вихляется?

Эдди. Ты меня, Кэти, не зли! Вихляешься!

Кэтрин. Парни заглядываются на всех девушек без разбору, сам знаешь.

Эдди. У других есть отцы и матери. Тебе надо быть осторожнее.

Входит Биатрис с суповой миской.

Кэтрин. Господи Иисусе! *(Выходит на кухню.)*

Эдди *(кричит ей вдогонку)*. Ну-ка, попридержи язык, слышишь?

Биатрис *(оставшись с ним вдвоем, накладывает еду на тарелки, она старается смягчить эту небольшую размолвку)*. Ну чего ты все время к ней привязываешься?

Эдди. Как она выросла! Если бы твоя сестра могла ее видеть! Это прямо чудо; кажется, только вчера еще была совсем крошка, не успели оглянуться и... *(Входит Кэтрин, неся вилки и ножи.)* Знаешь, когда она накрывает на стол, она похожа на Мадонну. *(Биатрис убирает со лба Кэтрин выбившуюся прядь волос. Кэтрин.)* У тебя, Кэти, лицо Мадонны. Вот почему тебе нельзя крикливо одеваться. Тебе это не идет. И на службе косо посмотрят. Там таких вещей не любят. *(Садится к столу.)*

Биатрис *(принимается за еду)*. Садись, крошка Кэти. *(Кэтрин садится. Они едят.)*

Эдди. Как тихо в доме без ребят.

Кэтрин. Как же теперь будет? Как они нас найдут?

Эдди. Тони заберет их с парохода и приведет сюда.

Биатрис. Этот Тони, небось, наживает немалую деньгу.

Эдди. Какое там! Все пенки снимает синдикат.

Кэтрин. А что будет, когда пароход отойдет и обнаружится, что там их нет?

Эдди. Не волнуйся, капитан получает свою долю.

Кэтрин. Даже капитан?

Эдди. А что, капитану есть не надо? И капитан получает, и один из помощников тоже... Кое-что дают тому парню в Италии, который выправил им бумаги... *(Биатрис.)* Им придется шесть месяцев отрабатывать на синдикат, прежде чем они смогут распоряжаться своим заработком. Надеюсь, они это знают?

Биатрис. Да. Но ведь Тони устроит их на работу, правда?

Э д д и. Еще бы! Раз они должны ему деньги, он, конечно, их устроит. Вот после того, как они ему все выплатят, тогда с работой будет туго, как и всем нам. Надеюсь, что они и это знают.

Б и а т р и с. Да, должны бы знать. Господи, они, видно, там подыхали с голоду. Пройти через такие муки, чтобы заработать несколько долларов! Ей-богу, как тут не заплакать!

Э д д и. Кстати, что ты собираешься сказать соседям? Если у тебя спросят, что они здесь делают?

Б и а т р и с. Что ж, я им скажу... Да кто станет спрашивать? Все, наверно, и так знают.

Э д д и. То есть, как это знают? Слушай, Биатрис, иммиграционное бюро имеет своих шпиков во всей округе.

Б и а т р и с. Может быть, но не в нашем же доме?..

Э д д и. Почем ты знаешь, что их нет в нашем доме? Послушайте, вы, обе. Если вас спросят, скажете, что это ваши двоюродные братья, приехали к вам в гости, ну хотя бы из Филадельфии.

К э т р и н. Ладно, но разве они что-нибудь знают про Филадельфию? Если их самих начнут расспрашивать...

Э д д и. Что из этого? Они, мол, не любят трепать языком, вот и все! Вы вот только ни с кем не откровенничайте, слышите? Многие тут что хочешь сделают за парочку долларов, а иммиграционные власти здорово платят за такие новости.

К э т р и н. Я могу рассказать им насчет Филадельфии...

Э д д и. Сделай одолжение, детка, не учи ты их и не водись с ними, ладно? С твоим длинным языком, чем меньше ты знаешь, тем нам будет спокойнее. Они начнут работать и будут приходить домой только чтобы поспать. Не желаю я, чтобы ты обращала на них внимание. Тут дело нешуточное, тут замешано правительство Соединенных Штатов. Так что лучше тебе и не знать, живут ли они вообще на белом свете. Будь осторожней, когда болтаешь с подружками. Держи язык за зубами. *(Немножко помолчав.)* Где соль?

Пауза.

К э т р и н. Уже темнеет.

Э д д и. Да, видно, завтра будет снег.

Пауза.

Б и а т р и с *(со страхом)*. Господи, а ты помнишь Винни Бользано? Много лет назад. Помнишь?

Э д д и. Этого ненормального? Я как раз недавно о нем вспоминал.

К э т р и н. Кто это?

Б и а т р и с. Ты была еще совсем маленькой. Жил тут поблизости один мальчишка, его звали Винни, лет шестнадцати. На Сэкет-стрит. И накапал про кого-то иммиграционным властям. У него было пятеро братьев и старик-отец. Они схватили парнишку в кухне и поволокли вниз с третьего этажа — голова его билась о ступеньки, как кокосовый орех. Мы жили в соседнем доме. А на улице они плевали ему в лицо — родной отец и братья. Вот ужас!

К э т р и н. А что с ним потом стало?

Б и а т р и с. Кажется, он уехал. *(Эдди.)* Ты его так и не видел?

Э д д и. Его-то? Ну, его больше не увидишь. Такую вещь сотворил! Разве он решился бы взглянуть людям в глаза? Пересолено.

Б и а т р и с. Зачем же ты солил еще?

Э д д и кладет ложку, встает из-за стола.

Э д д и. Господи, знаешь, я что-то нервничаю...

Б и а т р и с. Ну, что ты? Они ведь будут только спать здесь, ты их и видеть не будешь. Садись, ешь. *(Он смотрит на нее с беспокойством.)* А

что мне было делать? Ведь они мои двоюродные братья. *(Он возвращается к ней и любовно берет ее лицо в свои ладони.)*

Свет над ними меркнет и зажигается над Алфиери.

Алфиери. Я знаю, он имел двоих детей
И в этой жизни жалкой, монотонной
Старался быть хорошим мужем.
Работал, ежели была работа,
А заработок приносил домой.
Так он и жил.
В тот вечер, часов примерно в десять,—
Они уже отужинали,
Когда пришли двоюродные братья.

Кэтрин и Биатрис убирают со стола посуду. Эдди садится и принимается читать газету.

Алфиери говорит, а Эдди в это время подходит к окну и выглядывает наружу. На улице показывается Тони в сопровождении Марко и Родольфо, которые несут по чемодану. Тони останавливается, показывает окно квартиры Эдди. Все трое стоят, глядя на дом.

Марко *(приземистый крестьянин тридцати двух лет, недоверчивый, говорит негромко)*. Спасибо вам.

Тони. Ну, теперь действуйте сами. Только поосторожнее, вот и все. Первый этаж.

Марко. Спасибо.

Тони. Завтра увидимся на пристани. Начнете работать.

Марко кивает. Тони проходит дальше, вниз по улице.

Родольфо — живой парень лет двадцати с небольшим; порой он совсем еще мальчишка, порой — не по летам отягощенный заботами мужчина. Волосы его необычайно светлы.

Родольфо. Это первый дом, в который я войду в Америке.

Марко. Т-с-с! Пойдем. *(Они поднимаются на крыльцо.)*

Родольфо. Подумай только! Она писала, что они бедные!..

Марко. Т-с-с-с!

Проходят между колоннами. В квартире загорается свет. Эдди, Кэтрин и Биатрис слышат шаги и поворачивают головы к двери. Марко стучит. Биатрис и Кэтрин смотрят на Эдди; тот встает и отворяет дверь. Входят Марко и Родольфо, снимают кепки.

Эдди. Вы Марко?

Марко кивает, смотрит на женщин, пристально вглядывается в лицо Биатрис.

Марко. Вы моя двоюродная сестра?

Биатрис *(приложив руку к груди)*. Я Биатрис. А это мой муж, Эдди. *(Кланяются.)* Дочь моей сестры Нэнси — Кэтрин. *(Братья кивают в знак приветствия.)*

Марко *(показывая на Родольфо)*. Мой брат. Родольфо. *(Родольфо кланяется. Марко держится натянуто, подходит к Эдди.)* Я хочу сказать вам сразу: когда вы прикажете нам уйти, мы уйдем.

Эдди. Да нет...

Марко. Я вижу, у вас маленький дом, но скоро, может быть, у нас будет свой дом.

Эдди. Милости просим к нам, Марко, у нас хватит места. Кэти, дай-ка им поужинать.

Кэтрин. Идите сюда, садитесь. Я налью вам супу.

Они подходят к столу.

Марко. Мы поели на пароходе. Спасибо. *(Эдди.)* Спасибо вам.

Биатрис. Выпейте кофе. Мы все выпьем кофе. Давайте садитесь.

Кэтрин. Как это, Родольфо: он совсем темный, а вы — такой светлый?

Родольфо. Не знаю. Говорят, что тысячу лет назад как-то раз Сицилией владели датчане... *(Смеется.)*

Кэтрин *(Биатрис.)* Он настоящий блондин!

Эдди. Как там насчет кофе?

Кэтрин *(смешавшись)*. Сейчас принесу. *(Выбегает из комнаты.)*

Эдди. Как прошло ваше путешествие?

Марко. Океан зимой всегда неспокойный. Но мы к морю привычные...

Эдди. Когда шли сюда, все было в порядке?

Марко. Да. Этот Тони довел нас до самого дома. Очень славный парень.

Родольфо. Сказал, что мы завтра начнем работать. Он человек порядочный?

Эдди. Нет. Но покуда вы должны им деньги, они будут давать вам работу. *(Марко.)* Вы у себя в Италии работали когда-нибудь в порту?

Марко. В порту? *(С огорчением прищелкнув языком.)* Нет.

Родольфо *(улыбаясь при воспоминании о том, как мал его родной город.)* В нашем городе нет порта. Только песчаная отмель да рыбацкие лодчонки.

Биатрис. Так где же вы там работали?

Марко *(сконфуженно пожимает плечами)*. Где придется, мы не брезгали любой работой.

Родольфо. Бывало, строят
Иль чинят мост. И Марко
Шел каменщиком.
А я к нему — подносчиком цемента.

Смеется.

А летом мы работали на поле,
Когда была работа. Хоть какая.

Эдди. Там так же плохо, как и раньше, да?

Марко. Да, плохо.

Родольфо. Ужасно.
Торчим на площади и день-деньской,
Как птицы, слушаем журчание фонтана.

Смеется.

И каждый ждет поезда.

Биатрис. А что на этом поезде?

Родольфо. Да ничего. Но если много пассажиров
И если вам к тому же повезет,
То можно заработать пару лир,
Подталкивая в гору извозчичью пролетку.

Входит Кэтрин, садится, слушает.

Биатрис. Толкать руками извозчичью пролетку?

Родольфо *(со смехом)*. У нас так заведено.
Ведь лошади у нас тощи, как козы,
И если пассажиров много,
То мы толкаем экипажи вверх к отелю.

Снова смеется.

А лошади — они только для видимости.

Кэтрин. А почему у вас не заведут такси?

Родольфо. У нас есть одно — мы толкаем и его тоже. В нашем городе не толкнешь — не поедешь!

Все смеются.

Биатрис *(Эдди, печально)*. Как тебе это нравится...

Эдди (Марко). А чего вы хотите — остаться здесь, в этой стране, или вернуться домой?

Марко *(с удивлением)*. Вернуться домой?

Эдди. Но вы ведь женаты, не так ли?

Марко. Да, у меня трое детей.

Биатрис. Трое! А я думала — только один.

Марко. Ну, нет. У меня их теперь трое. Четыре года, пять лет и шесть лет.

Биатрис. Могу поручиться, что все они по вас уже плачут.

Марко.

А что мне оставалось делать?
Ведь старшенький в чахотке. А жена
Сама не ест, чтоб накормить детей.
Я говорю вам правду.
Там оставаться я не мог —
Моим детишкам ведь тогда не подрасти;
Они питаются одним сияньем солнца.

Биатрис. Боже мой! И сколько же вы намерены здесь пробыть?

Марко. С вашего разрешения, мы, пожалуй, остались бы здесь...

Эдди. Она подразумевает не здесь в доме, а в Америке.

Марко. А-а... Года четыре-пять, а может, и шесть.

Родольфо *(улыбаясь)*. Он верит своей жене.

Биатрис. Конечно, но если вы заработаете много денег, то сможете уехать домой побыстрее.

Марко. Надеюсь. Не знаю. *(Эдди)*. Тут у вас, насколько я понимаю, тоже не сладко.

Эдди. Ну, вам-то беспокоиться нечего, во всяком случае, покуда вы им все не выплатите. А потом и вам тоже с работой будет нелегко, придется побегать, как и нам всем. Но вы все равно заработаете здесь больше, чем там.

Родольфо. Сколько? Нам называют самые разные цифры. Сколько здесь можно заработать? Мы готовы работать и день и ночь...

Эдди *(он все чаще и чаще обращается только к Марко)*. В среднем за год? Может быть... видите ли, трудно сказать Порой мы подолгу сидим без дела — бывает три-четыре недели нет ни единого судна.

Марко. Три-четыре недели? *(Огорченно вздыхает.)*

Эдди. Но я думаю, что вы, наверно, смогли бы получать... монет тридцать или даже сорок в неделю, весь год, на круг.

Марко. Долларов?

Эдди. Конечно, долларов!

Марко *(глядя счастливыми глазами на Родольфо)*. Если бы мы могли пожить здесь хотя бы несколько месяцев, Биатрис...

Биатрис. Милости просим. Марко...

Марко. Если бы я остался у вас, я мог бы посылать им немножко больше денег...

Биатрис. Живите сколько хотите, у нас хватит места...

Марко *(в его глазах блестят слезы)*. Моя жена... Моя жена... Я хочу послать ей сразу хотя бы двадцать долларов.

Эдди. Вы сможете послать им немножко денег уже на будущей неделе.

Марко *(чуть не плача)*. Эдуардо...

Эдди. Не стоит благодарности. Какого черта, разве от меня убудет? *(Кэтрин)*. Как там у тебя насчет кофе?

Кэтрин. Я поставила. *(Родольфо.)* А вы тоже женаты? Наверно нет.

Родольфо. О нет!
Биатрис. Я ведь говорила тебе, что он...
Кэтрин *(Биатрис)*. Знаю, ну а вдруг он недавно женился...
Родольфо.

Нет денег у меня, чтобы жениться.
Лицом-то я, пожалуй, вышел,
А денег — ни гроша. *(Смеется.)*

Кэтрин *(Биатрис)*. Он самый настоящий блондин!
Биатрис *(Родольфо)*. И ты тоже хочешь здесь остаться? И, может быть, навсегда?
Родольфо.

Навсегда?.. Я
Хочу пожить в Америке.
А потом вернусь в Италию,
Когда разбогатею и куплю мотоцикл. *(Улыбается.)*

Кэтрин. Мотоцикл?
Родольфо. С мотоциклом в Италии с голоду не помрешь!
Биатрис. Сейчас принесу кофе. *(Выходит.)*
Эдди. А что вы будете делать с мотоциклом?
Марко. Мечты, все пустые мечты.
Родольфо. Почему пустые мечты?

Поручения! Любые! Богачам в отеле
Всегда нужен кто-нибудь для поручений.
Чтобы быстро! Чтобы с шумом и треском.
Я поставлю свой голубой мотоцикл
Во дворе отеля,
И мне сразу же дадут поручение.

Марко. Когда у человека нет жены, он может мечтать.
Эдди. А почему нельзя выполнять поручения пешком, на автобусе или как-нибудь еще?

Входит Биатрис с кофейником.

Родольфо.

Э, нет, мотоцикл, мотоцикл — вот что нужно.
Человек приходит в богатый отель
И говорит: «Я посыльный».
А кто он такой?
Пешеход исчезает бесшумно, бесследно.
Пешеход может и не вернуться,
Может не выполнить порученье.
Но человек с мотоциклом —
Это солидный человек. Он не исчезнет.
Ему будут давать порученья.
Кроме того, я еще и певец.

Эдди. То есть как это певец? В самом деле?..
Родольфо.

О да. В прошлом году
Внезапно заболел баритон Андреола.
Я заменил его в саду отеля.
Спел три арии и не сфальшивил.
Со столиков мне бросали тысячные банкноты.
Деньги кружились так, словно ураган ворвался в казначейство.
Это было грандиозно.
Этот вечер кормил нас полгода. Да, Марко?

(Марко неуверенно кивает.)

Марко. Два месяца.

Биатрис. Неужели у вас там нельзя поступить на работу?

Родольфо.

Андреола выздоровел.
Баритон у него могучий,
Не то бы я...

Марко *(Биатрис)*. Родольфо пел слишком громко.

Родольфо. Вовсе нет!

Марко. Слишком громко. А посетители отеля — англичане. Они не любят, когда что-нибудь делается слишком громко...

Родольфо. Тогда почему же они бросали так много денег?

Марко. Они платили тебе за храбрость. *(Эдди.)* Англичанам нравится храбрость, но они не любят, когда ее проявляют больше одного раза.

Родольфо *(ко всем, кроме Марко)*. Никто мне никогда не говорил, что я пел слишком громко.

Кэтрин. Вы когда-нибудь слышали джаз?

Родольфо. Еще бы! Я пою под джаз.

Кэтрин. Вы умеете петь под джаз?

Родольфо. Я пою неаполитанские песни в сопровождении джаза. Я пою «Бумажную куколку». Вам нравится «Бумажная куколка»?

Кэтрин. Еще бы, я просто без ума от «Бумажной куколки»! А нука, спойте!

Родольфо *(принимает позу и поет высоким тенором)*.

Как тяжко одиночество, скажу я вам, друзья,
Вот, скажем, любишь куклу, а кукла — не твоя.
Я позабыть решил про них,
Глядеть я не хочу на них,
А что же еще делать мне, друзья?
Бумажную куклу
Я для себя куплю.
Веселые парни с зазывными глазами
Хоть смейтесь, хоть плачьте фальшивыми слезами,
Бумажная куколка за вами не пойдет,
Ту куклу никто у меня не украдет.
Вам с куклами живыми придется флиртовать,
Бумажная куколка меня лишь будет ждать.

Эдди *(нетерпеливо переступая с ноги на ногу в сильном возбуждении)*. Эй, милый, погоди минутку...

Кэтрин *(как зачарованная)*. Дай ему кончить.. Чудно! *(Биатрис.)* Замечательно! Это просто замечательно, Родольфо!

Эдди. Слушай, парень, ты хочешь, чтобы тебя застукали, да?

Марко. Нет, нет!

Эдди *(показывая на соседние квартиры)*. У нас тут еще никогда не было певунов. И вдруг в доме ни с того ни с сего появился певун... Понимаете, о чем я говорю?

Марко. Да. Конечно. Замолчи, Родольфо.

Эдди *(покраснев от возбуждения)*. У них повсюду свои люди, понимаете, Марко?

Марко. Да. Он будет молчать. *(Родольфо.)* Молчи.

Эдди *(с железной выдержкой, даже улыбаясь)*. Ты снова надела те туфли, Гарбо?

Кэтрин. Я думала, что сегодня вечером...

Эдди. Сделай одолжение, слышишь? *(Тычет пальцем в сторону спальни.)* Ступай туда.

Кэтрин, смутившись, но уже злясь, выходит в спальню. Биатрис, следя за ней, встает и, проходя мимо Эдди, бросает на него холодный взгляд, сдерживаясь только в присутствии посторонних. Подходит к столу и разливает в чашки кофе.

Эдди *(Марко, однако обращая свои слова и к Биатрис)*. Все они тут мечтают пойти в актерки! *(Идет к окну и опускает штору.)*

Родольфо *(радостно)*. И в Италии тоже! Все девушки!

Эдди *(испытующе оглядывая Родольфо, с плохо скрываемым подозрением)*. Вот как?

Родольфо. Ну да! *(Смеется, кивком показывая на Кэтрин, вернее, на ее спальню)*. Особенно, когда они так красивы.

Кэтрин выходит из спальни в туфлях на низком каблуке, подходит к столу. Родольфо подносит ко рту чашку.

Кэтрин. Вы любите с сахаром?

Родольфо. С сахаром? Да! Я очень люблю сахар.

Эдди стоит в глубине сцены и следит за тем, как она кладет ложку сахару в кофе Родольфо. Эдди отворачивается и опускает еще одну штору. На его лице тревога. Свет в комнате гаснет и зажигается над Алфиери.

Алфиери.

А кто может знать свою судьбу?

Над улицей и домом поднимается солнце.

Эдди Карбоне не думал, не гадал о том,
Что стерегло его.

Эдди медленно, едва переступая ногами, спускается по лестнице.

Вот человек работает, растит детей,
Играет в кегли, ест,
Стареет, смерти ждет.
Недели шли, и прямо перед ним
Маячила угроза —
Беда ему покоя не давала.

Появляется Биатрис с сумкой для продуктов. Заметив жену, Эдди поджидает ее у крыльца.

Эдди. Уже пятый час.

Биатрис. В этом кино всегда длинная программа.

Эдди.

Они уж давно пересмотрели все фильмы в Бруклине.
Ему бы лучше посидеть дома, когда он не работает,
Ему бы лучше не мозолить людям зря глаза.

Биатрис. Что ж ты мне прикажешь делать?

Эдди. Вчера вечером они ходили в парк. Ты об этом знаешь? Луис видел их в парке.

Биатрис. Ей уже скоро восемнадцать. Что тут плохого?

Эдди. Я за нее отвечаю.

Биатрис. Хотела б я, чтобы ты хоть раз в жизни то же самое сказал обо мне.

Эдди. Чего ты взъелась?

Биатрис. Будто ты не понимаешь? *(Он отворачивается, стиснув зубы, делая вид, что оглядывает улицу.)* А что тебя гложет? Скоро без зубов останешься, так ты ими во сне скрежещешь! Всю ночь напролет скрипишь, точно жерновами. *(Он не отвечает, смотрит исподлобья.)* Что с тобой, Эдди?

Эдди. Тебе на все наплевать? Твое дело — сторона.

Биатрис. А ты чего хочешь — весь век держать ее в люльке? Чего ты хочешь, Эдди?

Эдди. Так, значит, вот для кого я ее растил? Для этого типа?

Биатрис. А что? Он славный парень. Работящий и с лица приятный...

Эдди. Хорош, нечего сказать!

Биатрис. Да разве он некрасивый парень, господи боже мой?!

Эдди. Мне от одного его вида душу выворачивает. И повадки его мне не нравятся.

Биатрис *(улыбаясь)*. Ты просто ревнуешь, вот и все!

Эдди. К нему? Ну, милая, не очень-то ты обо мне высокого мнения!

Биатрис *(подходя к нему)*. И чего тебе беспокоиться? Она ведь не маленькая, может за себя постоять.

Эдди. Ничего она еще не понимает. Вот он ее и обкрутил. Разве ты не видишь, как она на него глядит? Кругом нее хоть все огнем гори — ничего не замечает.

Биатрис. Что ж тут удивительного? Раз дружок завелся — ясно, что девочка сама не своя. Как же иначе?

Эдди. Он поет на пароходах, ты это знаешь?

Биатрис *(озадаченно)*. То есть как это поет на пароходах?

Эдди. Очень просто. Стоит себе на палубе и ни с того ни с сего поет. Его сначала прозвали «Бумажной куколкой», а теперь зовут кенарем. Какой-то чудной, ей-богу. Только появится на пристани — и сразу начинается бесплатное представление.

Биатрис. Ну и что ж тут такого? Еще молоденький, не знает, как себя вести.

Эдди. А волосы желтые, как воск? Не то шансонетка, не то еще похуже!

Биатрис. Так ведь он же блондин...

Эдди *(не глядя на нее)*. Надеюсь, у него настоящие волосы, на одно это только и надеюсь!

Биатрис *(встревоженно)*. Ты, видно, совсем спятил!

Эдди *(мельком взглянув на нее)*. А что? Знаешь, как его зовут? Сам слышал, в пятницу. Стою в очереди за жетоном и слышу кто-то кричит: «Белянка!» Оборачиваюсь и вижу — это его зовут! Понимаешь: «белянка»!

Биатрис. Можно подумать, что ты никогда в жизни блондинов не видал! А белобрысый Бальзо?

Эдди. Так Бальзо ведь не пел! Он ведь ничего такого не выкомаривал...

Биатрис. Почем знать, может, у них в Италии так принято.

Эдди. Тогда почему его брат не поет? И ведет себя как человек, и никто над ним не смеется. *(Поглядывая на нее, переминается с ноги на ногу.)* Мне он не нравится, слышишь, Би. Говорю тебе прямо: я этого терпеть не намерен. Я ее растил не для этого типа!

Биатрис. Ладно, ступай, скажи ей об этом.

Эдди. Что я могу ей сказать? Она меня все равно не послушает, она меня теперь просто не замечает. Прихожу домой, а она точно во сне. Смотри, как похудела, на тень стала похожа...

Биатрис. Ладно, погоди...

Эдди. У меня вся душа изныла. Видеть его не могу! А что с ее стенографией? Она ведь теперь совсем не упражняется.

Биатрис. Ну, хорошо, хорошо. Отвяжись ты от них, понятно? Ты себя не накручивай, слышишь? Это ее дело.

Эдди. Би, пойми, он испортит девчонку!

Биатрис. Ну и бог с ней. Не твоя забота. Пришла пора другому звать ее своей Мадонной. Пойдем домой, у тебя свои дети, о них побеспо-

койся. *(Оглядывается кругом.)* Сколько бы ты ни стоял на улице, она от этого скорей не придет. И перед людьми совестно.

Э д д и. Сейчас поднимусь. Мне хочется пройтись. *(Отходит.)*

Б и а т р и с. Идем, хоть разок поглядишь на детей.

Э д д и. Говорю тебе, сейчас приду. Ступай.

Б и а т р и с *(стараясь не показать обиды)*. Не стой ты здесь, пожалуйста. Нехорошо это. Я тебе серьезно говорю.

Входит в дом. Э д д и подходит к краю авансцены справа, минуту рассеянно смотрит вдаль, потом, видя, что кто-то приближается, подходит к перилам на переднем краю сцены и садится на них. Входят Л у и с и М а й к, присаживаются рядом с ним.

Л у и с. Хочешь сыграть в кегли?

Э д д и. Устал. Пойду спать.

Л у и с. Как твои «зайцы»?

Э д д и. В порядке.

Л у и с. Вижу, их не обделяют работой.

Э д д и. Да, у них дела идут неплохо.

М а й к. Вот и нам надо бы так же. Уехать что ли отсюда, а потом вернуться «зайцами» в трюме. Тогда и у нас будет работа.

Э д д и. Хороши шутки!

Л у и с. Какие там к черту шутки! Знаешь что?

Э д д и. Допустим знаю.

Л у и с. Ты сделал доброе дело. Тебя за это будут уважать...

Э д д и. Ну, эти ребята мне не больно мешают да и не стоят ни гроша.

М а й к. Старший — настоящий бык! На днях я видел, как он таскает мешки с кофе. Дай ему волю — он один набьет доверху целый пароход.

Э д д и. Да, силен парень, ничего не скажешь. Мой Фрэнки, видно, в него пошел. Их отец, говорят, был настоящий великан.

Л у и с. Да, оно по Марко и видно. Только он безответный какой-то, словно раб.

М а й к. А вот светловолосый... *(Эдди быстро переводит на него глаза.)* Тот — весельчак.

Э д д и *(испытующе)*. Да, смешной...

М а й к *(не может удержаться от смеха)*. Да нет, нельзя сказать, чтобы он был смешной, но вот как скажет! Такое, понимаешь, отмочит... Стоит ему появиться, как сразу смех кругом.

Э д д и *(чувствуя себя неловко)*. Ну да, конечно... Любит пошутить.

М а й к. Ну да, и я говорю: такое отмочит, что... *(Луис беззвучно смеется вместе с ним.)*

Э д д и. Говорят... Но он ведь еще совсем мальчишка, а? Он... просто-напросто еще мальчишка.

М а й к. Верно. Стоит хоть раз на него взглянуть — и у тебя уже хорошо на душе. И не у тебя одного. Вон я работал с ним как-то раз на прошлой неделе, возле Мура-Маккормака. Говорю тебе, все со смеху просто катались.

Э д д и. Отчего? Что он такое сделал?

М а й к. Понятия не имею. Шутил и все. Трудно даже вспомнить, что он говорил. Все дело в том, как он говорит! Взглянет только — и тебе уже смешно.

Э д д и. Понятно. *(Он обеспокоен.)* Шутник!

М а й к *(смеясь)*. Это точно.

Л у и с. Ну, пока, Эдди, до скорого.

Э д д и. Носа не вешай!

Л у и с. Ясно. Пока.

М а й к. Если захочешь сразиться в кегли, имей в виду, что мы идем на Флэтбаш-авеню.

Уходят. Эдди, обуреваемый тревожными мыслями, смотрит им вслед; они подходят к левому краю сцены, и их смех, беззаботный и дружеский, становится громче, когда они видят Родольфо, входящего под руку с Кэтрин. Грузчики уходят. Родольфо машет им в знак приветствия.

Кэтрин. Эдди, какую картину мы сегодня видели! Мы так смеялись.

Эдди *(не может не улыбнуться при виде ее)*. Где вы были?

Кэтрин. В «Парамаунте». Там играли эти два артиста, знаешь? Те, что...

Эдди. В бруклинском «Парамаунте»?

Кэтрин *(с чуть приметной злостью, ей неловко перед Родольфо)*. Конечно, в бруклинском «Парамаунте», где же еще? Я же тебе сказала, что мы не поедем в город.

Эдди *(отступая из страха, что она рассердится)*. Да я ведь только так спросил. *(Родольфо.)* Мне просто не хочется, чтобы она топталась по Таймс-скверу, там столько хулиганья.

Родольфо.

Хочется пройтись по Бродвею, Эдди,
Хочется прогуляться с ней хоть разик.
Там, где опера и всякие театры.
С детства я видел их огни на картинках.

Эдди *(у которого лопается терпение)*. Я хочу с ней кое о чем поговорить, Родольфо, ступай-ка наверх, ладно?

Родольфо.

Эдди, мы просто ходим с ней по улицам,
Она учит меня...

Кэтрин.

Знаешь, с чем он не может примириться?
С тем, что в Бруклине нет фонтанов!

Эдди *(невольно улыбаясь Родольфо)*. Фонтанов?

Родольфо смеется над собственной наивностью.

Кэтрин.

Он говорит, что в Италии повсюду фонтаны.
К ним приходят на свидания. А кроме того,
Апельсины растут там прямо на деревьях,
И лимоны. Поверишь ли? На деревьях!
Вот здорово! Но он без ума от Нью-Йорка.

Родольфо *(стараясь говорить по-дружески)*. Послушай, Эдди, а почему бы нам разок и не сходить на Бродвей?

Эдди. Погоди, мне надо ей кое-что сказать...

Родольфо кивает и идет к крыльцу.

Родольфо.

Может, и ты пойдешь с нами.
Мне так хочется поглядеть на все эти огни...

Лицо Эдди непроницаемо. Взглянув на Кэтрин, Родольфо входит в дом.

Кэтрин. Почему ты никогда не поговоришь с ним, Эдди? Он так тебе благодарен, он просто боготворит тебя, а ты с ним и словом не обмолвишься.

Эдди *(не отрывая от нее глаз)*. Я боготворю тебя, а ты никогда со мной не поговоришь. *(Криво улыбается.)*

Кэтрин. Я с тобой не говорю? *(Ударяет его по руке.)* Что ты хочешь этим сказать?

Эдди. Я тебя теперь совсем не вижу. Прихожу домой, а ты убегаешь неведомо куда...

Кэтрин берет его под руку, и они прогуливаются вдвоем по улице.

Кэтрин. Понимаешь, ему так хочется все посмотреть, вот мы с ним и бродим по городу. Ты на меня сердишься?

Эдди. Нет. *(Он улыбается печально, даже мечтательно).* Раньше бывало, когда я возвращался с работы, ты всегда была дома. Но не успел я оглянуться, как ты стала совсем большая. Не пойму, как с тобой теперь и разговаривать.

Кэтрин. Почему?

Эдди. Не знаю, Кэти, ты всегда в бегах, всегда в бегах... Мне кажется, что ты меня больше и не слушаешь.

Кэтрин. Да что ты, Эдди. Когда же это я тебя не слушала? Что с тобой? Тебе он не нравится?

Небольшая пауза.

Эдди. А тебе, Кэти, он нравится?

Кэтрин *(покраснев, но с поднятой головой).* Да, нравится.

Эдди *(с лица его сходит улыбка).* Ага, значит тебе он нравится...

Кэтрин *(глядя себе под ноги).* Да. *(Теперь она подняла глаза и ждет, попадет ли ей, улыбаясь, но готовая принять удар. Он смотрит на нее как потерянный.)* Что ты имеешь против него? Не понимаю. А он тебя просто боготворит...

Эдди. Он и не думает меня боготворить, Кэти.

Кэтрин. Неправда! Ты для него все равно что отец.

Эдди. Кэти!

Кэтрин. Что, Эдди?

Эдди. Ты выйдешь за него замуж?

Кэтрин. Не знаю. Мы ведь просто... гуляем вместе, вот и все...

Эдди. Он тебя не уважает, Кэти.

Кэтрин. Почему?

Эдди. Если бы ты не была сиротой, разве он не спросил бы разрешения у твоего отца, прежде чем шататься с тобой по городу?

Кэтрин. Ему и в голову не приходило, что ты можешь рассердиться.

Эдди. Он знает, что я сержусь, но ему на это наплевать. Понимаешь?

Кэтрин. Нет, он меня уважает. И тебя тоже. Когда мы переходим улицу, он всегда берет меня под руку, чуть ли не с поклоном. Ты его просто не понимаешь, ей-богу. Ты...

Эдди. Кэти, он заботится не о тебе, а о своем паспорте!

Кэтрин. Паспорте?!

Эдди. Да, паспорте! Если он на тебе женится, он получит американский паспорт. Вот в чем все дело. *(Кэтрин озадачена.)* Понимаешь, что я говорю? Парень ищет своей выгоды, вот и все, что ему надо.

Кэтрин *(с болью).* Нет, я тебе не верю.

Эдди. Не веришь? Ей-богу, мне с тобой хоть плачь! Ну какой он рабочий человек? Что он сделал на свои первые деньги? Купил фасонистый пиджак, остроносые башмаки, пластинки. А детишки брата голодают, мрут от туберкулеза. Девочка, поверь мне, он — шалопай; у него в голове только огни Бродвея; такие молодчики думают только о себе! Выйдешь за него замуж, а потом ищи ветра в поле — увидишь его следующий раз только во время бракоразводного процесса.

Кэтрин. Он мне ни слова не сказал о своих документах, или...

Эдди. Так он тебе и скажет!

Кэтрин. Мне кажется, что он об этом даже и не думает.

Эдди. О чем же ему тогда думать? В любую минуту его могут застукать, и тогда пиши-пропало! Придется снова пролетку толкать в гору!

Кэтрин. А я все равно не верю.

Э д д и *(хватая ее за руку)*. Кэти, ты разбиваешь мне сердце, послушай...

К э т р и н. Не хочу ничего слушать. Оставь меня в покое.

Э д д и *(удерживая ее)*. Кэти, послушай...

К э т р и н. Он любит меня!

Э д д и *(в глубочайшей тревоге)*. Не говори мне этого, Христа ради! На такую приманку испокон века и попадаются дурочки вроде тебя!

К э т р и н *(с отчаянием, будто слова его осквернили ее душу)*. Я тебе не верю.

Э д д и. Тут таких, как ты, ловят с тех самых пор, как ввели закон об иммигрантах. Обхаживают наивную девчонку, которая еще ничего не смыслит, и...

К э т р и н. Не верю! Замолчи! Черт бы тебя побрал...

Обливаясь слезами, бежит в дом.

Э д д и. Кэти!

Он хочет ее догнать, но останавливается, словно понимая, что не имеет над ней никакой власти. Издали доносится музыка — по радио передают джаз. Окинув взглядом улицу, он отходит от дома; грудь его теперь уже вздымается от гнева.

Свет загорается над сидящим у себя за столом А л ф и е р и.

А л ф и е р и.

В тот день он пришел ко мне впервые.
Я защищал когда-то его отца —
Тот получил увечье на работе —
И был слегка знаком со всем семейством.
Я узнал его сразу, как только
Он переступил мой порог,
Глаза его, запавшие глубоко, похожи были на туннели.
Сперва я подумал, что он совершил преступление.

Входит Э д д и. Держа кепку в руках, он садится у стола и глядит в окно.

Но вскоре понял, что это просто страсть, —
Она вошла в него без разрешенья.

А л ф и е р и замолкает, смотрит на свой стол, потом снова поднимает глаза на Э д д и, как будто продолжая с ним разговор.

Я не совсем понимаю, что я могу для вас сделать. Есть тут какое-нибудь нарушение закона?

Э д д и. Об этом-то я вас и хотел спросить.

А л ф и е р и. Если девушка влюбилась в иммигранта, в этом нет ничего недозволенного.

Э д д и. Да, но если здесь только желание получить паспорт?

А л ф и е р и. Вы ведь этого точно не знаете...

Э д д и. Вижу по его глазам; он смеется и над нею и надо мной.

А л ф и е р и. Эдди, я адвокат, и могу полагаться только на то, что можно доказать. Понимаете? Можете вы доказать то, что говорите?

Э д д и. Мистер Алфиери, я хорошо знаю, что у него на уме!

А л ф и е р и. Даже если бы вы смогли это доказать...

Э д д и. Послушайте... Да послушайте же вы меня хоть минуту! Отец всегда говорил, что вы человек толковый. Я хочу, чтобы вы выслушали меня.

А л ф и е р и. Я всего-навсего человек закона, Эдди...

Э д д и. Будете вы меня слушать? Я и говорю о законе. Дайте мне только высказать то, что я думаю. Ежели человек нелегально приезжает в страну, разве здравый смысл не требует, чтобы он откладывал каждый заработанный грош? Он-то не знает, что с ним стрясется наутро, так ведь, не правда ли?

Алфиери. Предположим.

Эдди. А он швыряет деньгами. Покупает какие-то пластинки. Туфли. Пиджаки. Понятно? Парень ровно ни о чем не заботится. Думает, что он здесь навечно. Значит он уже пораскинул мозгами, что к чему. Решил, что с ним все в порядке. Не так ли?

Алфиери. Предположим. Ну, а дальше?

Эдди. Ладно. *(Оглядывается через плечо, словно боясь, что сюда кто-нибудь ворвется, потом, посмотрев на Алфиери, снова опускает голову, уставившись в пол.)* Разговор наш строго между нами?

Алфиери. Безусловно.

Эдди. Я хочу сказать, что не стал бы затевать этого разговора в другом месте. Вовсе на так уж приятно говорить о ком-нибудь подобные вещи! Даже жене, и той не стал бы рассказывать такое про человека.

Алфиери. Что именно?

Эдди *(глубоко вздохнув)*. Парень-то ведь не того, мистер Алфиери...

Алфиери. В каком смысле?

Эдди *(снова оглянувшись через плечо)*. У него не все в порядке...

Алфиери. Не понимаю.

Эдди *(беспокойно двигаясь на стуле)*. Вы его когда-нибудь видели?

Алфиери. Что-то не припомню!

Эдди. Он совсем светлый блондин. Волосы, как... платина. Понимаете?

Алфиери. Нет.

Эдди. И вообще, махнешь газеткой — и его сдует, словно и не бывало.

Алфиери. Да, но это не значит...

Эдди. Погодите минуту, я же говорю вам дело. Он поет, понимаете? Это само собой... Я хочу сказать, что в этом, может, ничего такого и нет, но иногда он вдруг возьмет такую ноту... Понимаете? Прямо закачаешься. Такую высокую ноту. Понимаете?

Алфиери. Ну что ж, значит у него тенор.

Эдди. Знаю я, что такое тенор, мистер Алфиери. Никакой у него не тенор. Говорю вам, если вы войдете в дом и не будете знать, кто поет, вам и в голову не придет, что поет мужчина, а не женщина.

Алфиери. Но это отнюдь не значит...

Эдди. Погодите минутку, мистер Алфиери. Ведь я стараюсь выложить вам все, что у меня на душе. Денька два назад племянница показывает нам платье, которое стало ей мало,— за последний год девочка вымахала вверх, как молодое деревцо. И что же? Он берет это платье, раскладывает на столе, чик-чик ножницами, туда-сюда иголкой—и платье готово. Понимаете? При этом он хорошенький, как ангелочек, ну так бы его и поцеловал!

Алфиери. Слушайте, Эдди...

Эдди. Мистер Алфиери, в порту над ним все потешаются. А мне стыдно. Зовут «Бумажной куклой». А теперь «Беляночкой»! Брат его думает, что люди смеются потому, что он шутник и весельчак, но это неправда. Не потому они смеются. Они же знают, что он мне родня, и, конечно, не станут говорить худого. Им и на самом деле лучше поостеречься таких шуточек. Но я-то знаю, над чем они смеются, и когда я думаю, что этот слизняк ее лапает, я могу... меня просто выворачивает наизнанку, мистер Алфиери. Ведь я из кожи лез ради этой девчонки. А теперь он приходит в мой дом и...

Алфиери. Послушайте, Эдди. Я вас понимаю, у меня тоже есть дети. Но закон определяет все точно. Закон не разрешает...

Эдди *(охваченный еще большим негодованием)*. Вы хотите сказать,

будто нет такого закона, чтобы парень, у которого не все в порядке, не имел права работать и жениться, и чтобы...

Алфиери. Закон вам не поможет, Эдди.

Эдди. Даже если у него не все в порядке? Мистер Алфиери, вы хотите сказать...

Алфиери. Поверьте, Эдди, тут ничего не поделаешь.

Эдди. Ничего?

Алфиери. Ровным счетом ничего. Закон тут может заинтересоваться только одним.

Эдди. Чем?

Алфиери. Как он попал в нашу страну. Но мне кажется, что вы вряд ли захотите этим воспользоваться.

Эдди. Вы это о чем?

Алфиери. Ведь они приехали сюда нелегально...

Эдди. О, господи Иисусе, в эти дела я впутываться не буду. То есть...

Алфиери. Ладно, дайте теперь мне вам кое-что сказать.

Эдди. Мистер Алфиери, не могу я поверить тому, что вы говорите! Должен быть какой-нибудь закон, который...

Алфиери. Эдди, я хочу, чтобы вы меня выслушали внимательно.

Пауза.

Бог иногда нам помрачает разум.
У каждого из нас своя любовь:
Жена, детишки — каждому свое.
Но временами — как бы вам сказать —
Любовь бывает слишком велика.
Вот человек трудами рук своих
Растит племянницу, а то и дочь.
И человеку вовсе невдомек,
Что дочь он слишком сильно полюбил.
И что племянница ему мила
Не как племянница — куда сильней.
Вы понимаете, что говорю я?

Эдди *(саркастически)*. Вы хотите сказать, что мне нечего заботиться о том, чтобы ей было хорошо?

Алфиери. Да, Эдди, только раньше иль поздней
С этим приходится кончать.
Ребенок повзрослеет и уйдет,
И нужно позабыть свою любовь.
Вы, Эдди, это понимать должны.
Без этого никак нельзя.

Пауза.

Отпустить ее вам надо. Вот мой совет.
Вы сделали все, что могли.
Пусть вступит в жизнь она —
Уйти ей дайте
И пожелайте счастья.

Пауза.

Вы сделаете это? Закона нет такого.
Закону это безразлично, ясно?

Эдди. Вы хотите сказать, все равно, даже если он такой ублюдок?.. Даже если он...

Алфиери. Вы ничего не можете сделать.

Эдди сидит, чуть ли не скрежеща зубами от гнева. Встает, трет глаза.

Эдди. Что ж, ладно, благодарствую.

А л ф и е р и. Что ж вы намерены делать?

Э д д и *(с беспомощным жестом, но и не без иронии)*. Что мне прикажете делать? Я ведь макаронник, а что макаронник может? Двадцать лет работал как вол ради нее и теперь должен отдать ее этой полубабе? Вот и все, что мне остается! В самые тяжелые, в самые что ни на есть тяжелые времена, когда в гавань не заходило ни единое судно, разве я сидел и ждал пособия? Нет, я бился как рыба об лед. Когда в бруклинской гавани было пусто, я обходил Хоубокен, Стейтен-Айленд, Вест-Сайд, Джерси — все, что только можно. А почему? Потому что я дал клятву ее матери. Я урывал у собственных детей, чтобы ее накормить. Я отказывал себе. Сколько раз бродил я по городу с пустым желудком! *(Больше не может сдерживать себя.)* А теперь прикажете сидеть сложа руки и смотреть на эту подлость? Откуда он взялся, этот сукин сын? Я пустил его в дом, дал ему кров. Отдал одеяло с собственной постели, а он лапает ее, проклятый ворюга!

А л ф и е р и. Но, Эдди, она уже женщина...

Э д д и. Он хочет ее у меня украсть!

А л ф и е р и. Ей пора замуж, Эдди. Ведь она не может выйти замуж за тебя?

Э д д и *(с бешенством)*. Что за чертовщину вы несете? Что вы говорите?!

Пауза.

А л ф и е р и. Я дал вам совет, Эдди. Вот и все, что я мог сделать.

Э д д и берет себя в руки. Пауза.

Э д д и. Ну что ж, спасибо. Большое спасибо. Дело в том... сердце у меня разрывается, вот что. Я...

А л ф и е р и. Понимаю. Выбросьте все это из головы. Постарайтесь!

Э д д и. Я... *(Чувствуя, что готов разрыдаться, беспомощно машет рукой.)* Прощайте. *(Уходит.)*

А л ф и е р и.

Случается, что хочется кричать
И бить тревогу. А причины нет.
Я знал, я знал в тот день. В тот самый вечер
Я смог бы эту повесть досказать.
В ней тайны ни на грош не оставалось.
Я видел: словно тень скользящая по залу,
Развязка шаг за шагом приближалась.
Я знал, куда он клонит
И чем он кончит, знал.
И часто я сидел здесь вечерами
И думал! Я разумный человек,
А прекратить все это я не в силах.
Однажды даже я пошел к соседке —
Умнейшая старуха — и спросил,
Как быть?
Она лишь покачала головой:
— «Молитесь за него».
И вот. *(Он садится.)* Мне оставалось только ждать.

Контора А л ф и е р и погружается в темноту; свет загорается в квартире Э д д и, где все сидят за столом; ужин подходит к концу. Молчание. Слышен только звон посуды. Но вот К э т р и н поднимает голову.

К э т р и н. Знаете, где они уже побывали?

Б и а т р и с. Где?

К э т р и н. Они плавали в Африку. На рыбачьей шхуне. *(Эдди, который взглянул на нее.)* Это правда, Эдди!

Э д д и. Я ничего и не говорю. *(Допив кофе, поднимается из-за стола.)*

К э т р и н. А мне вот и за городом побывать не довелось.

Э д д и *(сидя в качалке и читая газету)*. Ничего не потеряла. *(Пауза. Кэтрин выносит тарелки, Биатрис и Родольфо собирают грязную посуду.)* И долго, Марко, вы до нее добирались, до этой Африки?

М а р к о. Дня два. Да, поплавали мы на своем веку немало...

Р о д о л ь ф о. Раз мы даже до Югославии дошли.

Э д д и *(Марко)*. А зарабатывали на этих шхунах прилично?

М а р к о. Когда рыба ловится, тогда платят.

Р о д о л ь ф о. Такие шхуны не каждый имеет. У нашей семьи шхуны не было. Вот мы и рыбачили только тогда, когда в чужой семье кто-нибудь заболевал.

Возвращается К э т р и н.

Б и а т р и с. Вот чего в толк не возьму, Марко: в океане полно рыбы, а вы все голодаете.

Э д д и. Надо иметь лодку, сети, а на это нужны деньги.

Б и а т р и с. Хорошо, но разве они не могли бы удить рыбу с берега? На Кони-Айленд видишь столько рыболовов...

М а р к о. У нас сардины.

Э д д и. Ясное дело. Разве сардинку поймаешь на крючок?

Б и а т р и с. А я и не думала, что у них там сардинки. *(Кэтрин.)* Там у них водятся сардинки!

К э т р и н. Ну да, они гоняются за ними по всему океану... до самой Греции, Югославии, Африки...

Б и а т р и с *(Эдди)*. Правда, смешно? Подумать только — сардинки плавают в океане!

К э т р и н. Ага. А апельсины и лимоны просто растут на деревьях. *(Эдди.)* Ну, можно ли себе представить, что апельсины и лимоны растут на деревьях?

Э д д и. В самом деле. Смешно. *(Марко.)* Я слыхал, апельсины подкрашивают, чтобы они были оранжевыми.

М а р к о. Подкрашивают?

Э д д и. Ну да, я слыхал, что на самом деле они зеленые...

М а р к о. Нет, в Италии апельсины оранжевые.

Р о д о л ь ф о. Лимоны бывают зеленые.

Э д д и *(недовольный тем, что Родольфо вмешался в разговор)*. Господи, словно я не знаю, что лимоны бывают зеленые,— их и в лавке иногда продают зелеными. Я сказал, что подкрашивают апельсины, а разве я говорил что-нибудь про лимоны?

Б и а т р и с *(переводя разговор)*. Жена твоя теперь аккуратно получает деньги, Марко?

М а р к о. Да. Она купила мальчику лекарство.

Б и а т р и с. Замечательно. У тебя, небось, на душе полегчало?

М а р к о. Еще бы! Но я по ним скучаю.

Б и а т р и с. Надеюсь только, ты не будешь вести себя, как другие. Живут здесь лет по двадцать пять, а все никак не скопят денег, чтобы съездить домой.

М а р к о. Знаю. У нас в городе есть такие семьи, где дети никогда не видели отца. Но я вернусь домой. Года через три-четыре.

Б и а т р и с. А что, если бы тебе больше откладывать здесь? Не то она еще подумает, что денег тут куры не клюют; тогда ты никогда не встанешь на ноги.

М а р к о. Нет, она у меня бережливая. Я посылаю ей все. Жена очень скучает. *(Смущенно улыбается.)*

Б и а т р и с. Она, видно, у тебя славная. Хорошенькая? Наверно да!

М а р к о *(краснея)*. Нет, но она все понимает.

Р о д о л ь ф о. Жена у него умница!

Э д д и. Когда ваши парни возвращаются домой, их, небось, там ждут всякие неожиданности?

М а р к о. Неожиданности?

Э д д и. Бывает ведь и так: пересчитают ребятишек и найдут парочку лишних... По сравнению с тем, что было до отъезда.

М а р к о. Нет... нет. Женщины наши ждут, Эдди. Большинство. Большинство ждет. Неожиданностей очень мало.

Р о д о л ь ф о. У нас в городе живут строже, чем у вас. *(Эдди смотрит на него.)* У нас не позволяют себе вольностей.

Э д д и. Да и здесь не позволяют себе вольностей, ты не думай. Мне не раз приходилось видеть, как новички из-за этого нарывались на неприятности: они думали — раз девушка не покрывает голову шалью, значит она и не скромница. Не обязательно девушке носить черное платье, чтобы соблюдать себя. Понял?

Р о д о л ь ф о. Что вы, я всегда уважал...

Э д д и. Да уж знаю, но дома ты не стал бы без спроса волочиться за девушкой. *(Поворачивается.)* Ты понимаешь меня, Марко? У нас порядки не хуже ваших.

М а р к о *(осторожно)*. Конечно.

Э д д и *(Родольфо)*. Кой у кого из вас бог знает что на уме. Может, у нас и держатся чуть повольнее, но строгости у нас не меньше, чем у вас.

Р о д о л ь ф о. Я ее уважаю, Эдди. Разве я позволяю себе что-нибудь лишнее?

Э д д и. Что ж, я ведь ей не отец, я только дядя...

М а р к о. Нет, Эдди, если он ведет себя не так, как надо, ты должен ему сказать. Что он сделал плохого?

Э д д и. Понимаешь, Марко, прежде она не гуляла до полуночи.

М а р к о *(Родольфо)*. Ты будешь рано приходить домой.

К э т р и н. Так ведь кино кончилось поздно.

Э д д и. Я ничего и не говорю... но он, небось, думает, что ты всегда гуляла так поздно. Он же, милая, не понимает.

М а р к о. Теперь ты будешь приходить домой рано, Родольфо.

Р о д о л ь ф о *(в замешательстве)*. Ну что ж, пожалуйста.

Э д д и. Дело не только в ней, Марко. *(Кэтрин.)* Все дело, детка, в том, что он ведет себя неосторожно. Чем больше он шатается по улицам, тем больше он рискует. *(Родольфо.)* А вдруг ты попадешь под машину или еще что случится, какие ты предъявишь документы, кто ты такой? Понимаешь, о чем я говорю?

Р о д о л ь ф о. Но не могу же я сидеть все время дома, я...

Б и а т р и с. И верно, надо же ему иногда и погулять...

Э д д и. А это как сказать, Би. Если он приехал сюда работать, пусть работает; а если он приехал сюда гулять, пусть валяет дурака. *(Марко.)* Но я ведь думал, Марко, что оба вы приехали сюда на заработки. Понимаешь, о чем я толкую?

М а р к о *(теперь он и впрямь почти все понял, сдержанно)*. О чем, Эдди?

Э д д и. Я говорю, что прежде про вас думал, будто вы приехали сюда работать.

М а р к о. Да, мы приехали сюда работать.

Э д д и. Вот это я и хотел от тебя услышать.

Неловкая пауза. К э т р и н встает и ставит пластинку. Музыка.

К э т р и н *(пылая от негодования)*. Давай потанцуем, Родольфо?

Родольфо *(не желая сердить Эдди)*. Я... я устал.

Кэтрин. Нет, давай. Этот парень так чудно играет на рояле. Пойдем. *(Берет его за руку; он медленно встает, чувствуя на себе взгляд Эдди; они танцуют.)*

Эдди *(Кэтрин)*. Что, опять новая пластинка?

Кэтрин. Нет, та же самая. Мы ее на днях купили.

Биатрис *(Эдди)*. Они купили всего три пластинки. *(Смотрит, как они танцуют, Эдди отворачивается. Марко сидит в ожидании.)*

Биатрис *(обращается к Эдди)*. Должно быть, хорошо поплавать на рыбачьей шхуне. Я бы и сама не отказалась. Повидать свет.

Эдди. Наверно.

Биатрис. Но женщин вы с собой, конечно, не берете?

Марко. На шхуны — нет. Работа слишком тяжелая.

Биатрис. У вас там и кухня настоящая, все как надо?

Марко. Да, на шхуне еда хорошая, особенно если Родольфо едет с нами; тогда впору и растолстеть.

Биатрис. Он и стряпать умеет?

Марко. Еще как! Повар хоть куда. Готовит все: рис, макароны, рыбу.

Эдди. Ах, значит он еще и кухарка! *(Смотрит на Родольфо.)* Поет, стряпает...

Родольфо благодарно улыбается.

Биатрис. Что ж, это хорошо; всегда на хлеб себе заработает.

Эдди. Да уж прямо замечательно! Поет, стряпает, шьет платья...

Кэтрин. Им, поварам, хорошо платят. Шеф-повары во всех больших гостиницах непременно мужчины. О них даже пишут в газетах.

Эдди. А я что говорю?

Кэтрин и Родольфо танцуют.

Кэтрин. Да, да!

Эдди *(Биатрис)*. Да, уж не парень — просто золото. *(Короткая пауза; он смотрит в сторону, потом снова поворачивается к Биатрис.)* Вот почему ему не место в порту. Возьми меня — я не умею ни стряпать, ни петь, ни платья шить — вот мне сам бог и велел там работать. Умей я стряпать, петь или шить, ни в жизнь бы не стал мешки таскать. *(Теперь все смотрят на него не сводя глаз; он чувствует, что выдает себя с головой, но не может остановиться.)* Я бы уж был где-нибудь в другом месте. Например, в модном ателье. *(Неожиданно поднимается и подтягивает брюки.)* Ну как, Марко, пойдем поглядим на бокс вечерком в субботу? Ты ведь еще никогда бокса не видел?

Марко *(с тревогой)*. Только в кино.

Эдди. Угощаю. А ты что скажешь, датчанин? Пойдешь с нами? За билеты плачу я.

Родольфо. Конечно, пойду. Охотно.

Кэтрин *(в радостном возбуждении)*. Я сварю кофе, ладно?

Эдди. Давай, готовь кофе! *(Привлекает ее к себе.)* Послаще и покрепче. *(Озадаченная, она улыбается и уходит. Он странно весел, потирает кулаки ладонями.)* Погоди, Марко, ты еще у нас увидишь настоящую драку. А сам когда-нибудь боксом занимался?

Марко. Никогда.

Эдди *(Родольфо)*. А ты-то уж как пить дать занимался.

Родольфо. Нет, никогда.

Эдди. Ну что ж, поди сюда. Вставай, я тебя поучу.

Биатрис. Зачем ему учиться?

Эдди. Как знать, а вдруг ему кто на мозоль наступит? Поди сюда, Родольфо, я научу тебя парочке приемов.

Биатрис *(нехотя, настороженно)*. Иди, Родольфо. Он и в самом деле хороший боксер — он может тебя поучить.

Родольфо *(смущенно)*. Но я ведь не умею...

Эдди. Да подними же руки!.. Видишь, вот так. Правильно. Совсем неплохо, левую держи на весу, ею ты будешь бить, смотри и замечай. *(Осторожно дотрагивается левой до лица Родольфо.)* Видишь? Теперь ты должен защищаться, и если я сделаю выпад, ты... *(Родольфо отбивает его левую.)* Скажи пожалуйста, здорово у тебя получается! *(Родольфо смеется.)* Ладно, теперь нападай. Бей.

Родольфо. Боюсь тебе сделать больно, Эдди.

Эдди. А ты меня не жалей — бей, и все. Я покажу, как защищаться. *(Родольфо, смеясь, делает выпад.)* Вот так. Еще разок. Бей в скулу, прямо сюда. *(Родольфо бьет увереннее.)* Отлично!

Биатрис *(Марко)*. Смотри, как у него хорошо получается!

Эдди. Еще бы, он просто молодчина! А ну, парень, бей изо всех сил — больно ты мне все равно не сделаешь. *(На этот раз Родольфо бьет решительнее и задевает скулу Эдди.)* Парень что надо! Теперь буду бить я, а ты защищайся, понятно?

Кэтрин, возвратившись из кухни, наблюдает за ними.

Кэтрин *(с растущей тревогой)*. Что они делают?

Они обмениваются легкими ударами.

Биатрис *(ничего не замечая, кроме дружеской шутки)*. Эдди его учит. Родольфо очень способный.

Эдди. Еще бы, герой, да и только! Видишь, как бьет! *(Родольфо наносит удар.)* Так. А теперь берегись, датчанин, пришел мой черед. *(Делает ложный выпад левой и бьет правой. Родольфо пошатывается.)*

Кэтрин *(бросаясь к Родольфо)*. Эдди!

Эдди. Что? Я ему ничего не сделал. *(Поддерживая пошатывающегося Родольфо.)* Да ну, разве больно?

Родольфо. Нет, не больно. *(Эдди, оживленно, с улыбкой.)* Это я от неожиданности.

Биатрис. Хватит, Эдди. Все равно он дрался неплохо.

Эдди. Ну да. *(Потирая кулаки.)* Из него выйдет толк, Марко. Я поучу его еще.

Марко кивает не очень уверенно.

Родольфо *(услышав новый мотив по радио, с неожиданной для него повелительной ноткой в голосе.)* Потанцуем, Кэтрин. Идем.

Обнимает ее. Они танцуют. Сидя в качалке, Эдди погрузился в раздумье. Марко встает и идет к стулу, стоящему в глубине сцены. Биатрис и Эдди за ним наблюдают.

Марко. Сможешь поднять этот стул?

Эдди. То есть как?

Марко. Вот так. *(Становится на колено, заложив одну руку за спину, берется за самый низ ножки стула, но не поднимает его).*

Эдди. Конечно, почему же нет? *(Подходит к стулу, становится на колено, берется за ножку, поднимает стул на вершок, но стул сразу же накреняется к полу.)* Ишь ты, оказывается это нелегкое дело, а я и не знал. *(Делает новую попытку, но снова терпит неудачу.)* В чем тут загвоздка? Надо, видно, брать его под каким-то углом.

Марко. Смотри.

Опускается на колено, берется за ножку и с усилием медленно поднимает стул все выше и выше, становясь постепенно на ноги.

Родольфо и Кэтрин перестают танцевать; они смотрят, как Марко поднимает стул высоко над головой.

Марко стоит лицом к лицу с Эдди; его глаза горят, жилистая шея напряжена, он держит стул, как оружие; на лице его предостережение, которое переходит в тор-

жествующую улыбку; поняв его взгляд, Э д д и перестает усмехаться. Свет меркнет. Мгновение на сцене темно. Слышны пароходные гудки. Свет загорается в конторе Алфиери; он сидит за письменным столом в глубоком унынии, положив на стол руки и опустив на них голову. Поднимает глаза и смотрит в зал.

А л ф и е р и.

В то двадцать третье декабря
Ящик шотландского виски упал при разгрузке
На сорок первом причале.
У ящиков шотландского виски
Есть привычка разбиваться в сочельник.
День был холодный, но снега не было.
Биатрис ушла за покупками.
Марко еще не пришел,
А Родольфо в тот день сидел без работы.
Кэтрин говорила позднее,
Что они впервые остались дома одни.

Свет переносится на К э т р и н; она гладит. Слышна музыка. Откинув голову, Р о д о л ь ф о неподвижно сидит в качалке. Звучит джазовая мелодия, исполняемая на рояле. Блаженствуя, Р о д о л ь ф о поворачивает к К э т р и н голову и ей улыбается; она улыбается в ответ, продолжая гладить. Р о д о л ь ф о подходит к столу и садится рядом с К э т р и н.

К э т р и н. Что ты? Хочешь есть?

Р о д о л ь ф о. Есть — не хочу. *(Подперев тыльной стороной руки подбородок, следит за тем, как она гладит.)* У меня уже почти триста долларов. *(Взглянув ей в лицо.)* А, Кэтрин?

К э т р и н. Слышу.

Р о д о л ь ф о берет ее руку, целует, затем отпускает. К э т р и н продолжает гладить. Он снова подпирает голову рукой.

Р о д о л ь ф о. Ты больше не хочешь об этом разговаривать?

К э т р и н. Нет, почему же?

Р о д о л ь ф о. Что у тебя на душе, Кэтрин?

К э т р и н продолжает гладить. Он снова берет ее руку — теперь ту, которая держала утюг; она садится, откинувшись на спинку стула, не глядя ему в глаза.

К э т р и н. Я все хочу тебя кой о чем спросить. Можно?

Р о д о л ь ф о. Все ответы ты прочтешь у меня в глазах. Но ты перестала смотреть мне в глаза. У тебя завелись тайны. *(Она глядит ему в лицо. Он прижимает ее руку к своей щеке. У нее отчужденный вид.)* О чем ты хочешь спросить?

К э т р и н. А что, если бы я захотела жить в Италии?

Р о д о л ь ф о *(улыбаясь нелепости вопроса)*. Ты решила выйти замуж за богатого?

К э т р и н. Нет, я спрашиваю: а что, если нам с тобой поехать туда жить?

Р о д о л ь ф о *(у него пропадает улыбка.)* Когда?

К э т р и н. Ну... когда мы поженимся.

Р о д о л ь ф о *(удивленно)*. Ты хочешь стать итальянкой?

К э т р и н. Нет, но я бы могла там жить и так. Живут же там американцы.

Р о д о л ь ф о. Поехать туда навсегда?

К э т р и н. Да.

Р о д о л ь ф о. Ты шутишь.

К э т р и н. Ничуть.

Р о д о л ь ф о. Что это ты выдумала?

К э т р и н. Да ведь ты сам всегда рассказывал, как там красиво: и горы, и море, и все вообще.

Р о д о л ь ф о. Ты шутишь.

К э т р и н. Да нисколько же!

Родольфо.

Денег нет, работы нет, ничего нет, Кэтрин.
Если я привезу тебя домой,
Они скажут, что Родольфо сошел с ума,
Позовут священника и врача.

Кэтрин. Знаю, а все-таки мне кажется, что мы были бы там счастливее.

Родольфо. Счастливее? А что бы ты ела? Из всей этой красоты супа не сваришь.

Кэтрин. Ты мог бы стать певцом, скажем, в Риме, или...

Родольфо. В Риме! В Риме и без меня полно певцов.

Кэтрин. Ну, тогда я нашла бы работу.

Родольфо. Где?

Кэтрин. Господи, есть же там какая-нибудь работа!

Родольфо.

Ничего! Там нет ничего! Ничего.
А теперь давай разберемся.
Брать ли тебя из богатой страны,
Чтобы ты страдала в бедной стране?
Ну что ты выдумала?

Он подыскивает слово.

Я украл бы твою красоту.
Два года — и ты голодная старуха.
Когда дети брата плачут от голода, им дают воду,
Воду, в которой варились кости.
Ты не веришь мне, что ли?

Кэтрин *(тихо)*. Мне страшно здесь. Я боюсь Эдди.

Небольшая пауза.

Родольфо.

Мы не будем жить с ними.
Рано или поздно мне дадут гражданство.
Я смогу работать, где захочу.
И найду работу получше.
У нас будет свой дом, Кэтрин.
Если бы я не боялся ареста,
Я бы уже пошел очень далеко.

Кэтрин *(пересилив себя)*. Я хочу спросить у тебя одну вещь... А ты отвечай по совести. Ты бы женился на мне, если бы нам пришлось уехать в Италию? Предположим, что так бы случилось.

Родольфо. Это ты спрашиваешь или спрашивает он?

Кэтрин. Я хотела бы знать, Родольфо. Мне нужно это знать.

Родольфо. Поехать туда с пустыми руками?

Кэтрин. Да.

Родольфо. Тогда нет. *(Она смотрит на него, широко раскрыв глаза.)* Нет.

Кэтрин. Ты бы не захотел?

Родольфо.

Нет. Я не хочу жениться и жить в Италии.
Я хочу на тебе жениться
И стать полноправным гражданином.
Скажи ему это, не то я сам скажу.

Сердито ходит по комнате.

А еще скажи ему — и себе, пожалуйста, тоже,
Что я не нищий,
А ты не лошадь, не вещь.
Не подачка бедному иммигранту.

Кэтрин. Ну, не сходи с ума.
Родольфо.
Я взбешен!
Ты думаешь, что меня уже приперли к стенке?
Брата — да. А меня еще нет.
Ты думаешь, я посажу себе на шею
Нелюбимую женщину до конца дней своих,
Лишь бы стать американцем?
Что это так уж прекрасно?
Ты думаешь, у нас в Италии нет высоких домов,
Электрического света или широких улиц?
Или автомобилей?
У нас есть все, кроме работы.
Я хочу стать американцем из-за работы.
Здесь только одно чудо — работа.
Почему ты издеваешься надо мной, Кэтрин?
Кэтрин. Я не это хотела сказать.
Родольфо.
Гляжу я на тебя, и сердце разрывается.
Почему ты так его боишься?
Кэтрин *(чуть не плача)*. Не знаю!

Родольфо притягивает ее к себе.

Родольфо. А ты? Ты веришь мне, Кэтрин?
Кэтрин.
Дело в том, что я...
Что он был добр ко мне, Родольфо.
Ты ведь его совсем не знаешь.
Он был всегда со мной так ласков
И добр. Вот мучит, пилит,
Но оскорбить не хочет. Я-то знаю.
Мне было б стыдно огорчить его.
Ведь я всегда мечтала, чтобы он
Радовался, когда я выйду замуж,
Чтоб пел и плясал у меня на свадьбе.
Ну, а теперь он зол и груб все время.

Плачет.

Скажи ему, что будешь жить в Италии,
Быть может, он тебе поверит.
Мне хочется, чтоб он был счастлив. Ты пойми.
Он дорог мне... Я так измучилась, Родольфо.

Плачет, он ее обнимает.

Родольфо. Кэтрин... девочка моя...
Кэтрин. Родольфо, я люблю тебя, люблю.
Родольфо.
Ну и скажи ему об этом.
Неужто ты не сможешь?
Кэтрин. Я боюсь. Я так боюсь.
Родольфо.
Ш-ш-ш. Сегодня вечером, когда он возвратится,
Мы оба сядем с ним
И все ему расскажем — ты и я.

Он видит, что ее страх стал еще сильнее.

Но ты сама должна мне верить, Кэтрин.
Я знаю, ты ведь даришь мне так много —
Всю родину свою! Подумать только,

С тобой — Америку я обнимаю.
Но если бы я не любил тебя
И всякий раз на дню не улыбался,
Как вспоминал тебя,
За тысячу Америк я не смог бы
Поцеловать тебя.
Сегодня вечером я все ему скажу,
И страх пройдет твой. Правда?
А через два-три месяца скоплю
Достаточно, и мы пойдем
С тобою в церковь, а оттуда к себе, в наш...

Он умолкает, видя, как она улыбается, как в ее глазах рождается страсть.

Кэтрин!

Кэтрин. Сейчас. Здесь никого нет.

Родольфо. Девочка моя. Господи!

Кэтрин *(целуя его лицо)*. Сейчас!

Она кладет ему голову на плечо, он ей тихо что-то напевает, они поворачиваются, уходят, обнявшись, в глубь сцены и исчезают в дверях спальни.

Пауза. Вдалеке слышны гудки пароходов. На улице появляется Эдди. Он пьян и нетвердо держится на ногах. Поднимается по лестнице. Все еще слышны гудки. Он входит в квартиру, оглядывается, вынимает из кармана бутылку и ставит ее на стол; из другого кармана вынимает вторую бутылку, из внутреннего кармана — третью. Увидев утюг, подходит к нему, дотрагивается до него и, отдернув руку, поворачивается лицом в глубь сцены.

Эдди. Биатрис? *(Идет к кухонной двери и заглядывает в нее. Потом к двери в спальню.)* Биатрис? *(Из спальни выходит Кэтрин; он смотрит на нее пристально, она поправляет платье.)*

Кэтрин. Как рано ты пришел домой.

Эдди *(испытывая смутную тревогу и стараясь разгадать ее причину)*. По случаю сочельника кончили работу пораньше. *(Она проходит мимо него к гладильной доске. Он указывает на утюг.)* Так недолго устроить и пожар.

Кэтрин. Я вышла на минутку.

Из спальни выходит Родольфо. Увидев его, Эдди делает судорожное движение рукой. Родольфо издали кивает ему, глядя на него испытующе. Эдди смотрит на Кэтрин; она гладит, не поднимая головы.

Родольфо. Биатрис пошла купить ботинки детям.

Эдди. Собирай вещи. Живо! Складывай свои манатки и сматывайся. *(Кэтрин ставит утюг и идет в спальню; Эдди хватает ее за руку.)* А ты куда?

Кэтрин. Оставь меня в покое, Эдди. Я пойду с ним.

Эдди. Ты пойдешь с ним? Вот как, ты пойдешь с ним? *(С силой сжимает ее лицо обеими руками.)* Ты пойдешь с ним!

Целует ее в губы, она старается разжать его руки, но он ее не отпускает, прижимаясь лицом к ее лицу. Родольфо подходит к ним.

Родольфо *(сперва пытаясь его унять)*. Эдди! Не надо, Эдди! *(Старается разжать руки Эдди.)* Не надо! Брось!

Кэтрин вырывается; Родольфо с силой поворачивает Эдди лицом к себе.

Эдди. Тебе чего надо?

Родольфо. Она будет моей женой.

Эдди. А ты-то сам кто будешь? Хотел бы я знать. Ты-то кто будешь?

Родольфо *(со слезами бешенства)*. Не смей так говорить со мной!

Родольфо бросается на Эдди, тот, смеясь, хватает его за руки и вдруг целует.

Кэтрин. Эдди! Пусти его, слышишь! Я тебя убью! Пусти!

Царапает Эдди лицо. Он отпускает Родольфо и стоит неподвижно. По его щекам катятся слезы, но он продолжает с издевкой смеяться над Родольфо. Кэтрин, тяжело дыша, глядит на него в ужасе. Родольфо словно окаменел. Все трое похожи на зверей, которые только что рвали друг друга на части, а теперь разошлись, подстерегая каждое движение противника.

Эдди. Ладно, даю тебе время до завтра. А завтра убирайся. Один. Слышишь? Один.

Кэтрин. Я уйду с ним.

Эдди *(кивком показывая на Родольфо)*. Нет, с ним ты не уйдешь! *(Садится, все еще не в силах перевести дыхание; они беспомощно смотрят, как он откидывает голову на спинку стула, закрыв глаза, и прерывисто дышит.)* Ты меня не доводи, Кэтрин.

Квартира Эдди погружается в темноту; свет загорается в конторе Алфиери.

Алфиери.

Двадцать седьмого декабря я видел
Его еще раз.
Задолго до шести обычно я ухожу домой.
Но в этот раз я все сидел, сидел,
В окно на бухту глядя.
Я увидал его в дверях и понял,
Чего я ждал.
И если я рассказываю вам
Об этом, как о сне, то в самом деле
Все было, как во сне. Случалось
Во время этих двух бесед,
Что я как будто застывал,
Как будто бы лишался сил.

Входит Эдди, снимает кепку и в раздумье садится на стул.

Смотрел ему в глаза я больше,
Чем слушал. И, сказать по правде,
Почти не помню того, что говорил он.
Но не забыть, как меркнул свет, когда
Он на меня глядел.
Глаза его — как два туннеля.
Мне так хотелось крикнуть полисмена.
Но тихо было все,
И ничего, по сути, не случилось...

Он обрывает рассказ и опускает глаза. Потом поворачивается к Эдди.

Короче: он не хочет уезжать?

Эдди. Жена собирается снять для них комнату. Этажом выше у одной старухи сдается комната.

Алфиери. А что говорит Марко?

Эдди. Он молчит. Марко не больно-то разговорчив.

Алфиери. Наверно, они ему ничего и не сказали? О том, что случилось?

Эдди. Не знаю. Марко не больно-то разговорчив.

Алфиери. Ну, а что говорит ваша жена?

Эдди *(не желая вдаваться в подробности)*. В доме все больше молчат. Ну, а что вы скажете?

Алфиери. Но ведь вы его не можете ни в чем обвинить?

Эдди. Да говорю же я вам, мистер Алфиери...

Алфиери.

Вы, Эдди, ничего мне так и не сказали
И сводите все к тому, что он не смог
С вами совладать.

Эдди.

А я вам говорю — он не мужчина.
Кто хочет совладать, тот совладает,
И даже мышь, малюсенький мышонок —
Зажмите вы его в кулак — он будет
Бороться до конца.
А этот не боролся до конца,
Уж я-то знаю. Нет, он не мужчина.

Алфиери. Зачем вы все это затеяли?

Эдди. Чтоб показать ей, чего он стоит! Чтоб она узнала ему цену, раз и навсегда! Ее мать перевернулась бы в гробу! *(С трудом овладевая собой.)* Что мне теперь делать? Скажите, что мне делать?

Алфиери. Она сказала, что выходит за него замуж?

Эдди. Да, сказала. Что мне теперь делать?

Короткая пауза.

Алфиери.

Я говорю в последний раз вам,
А вы уж сами решайте, как вам быть.
По совести и по закону вы неправы.
И вы не смеете ей помешать.

Эдди *(сердито)*. Вы слышали, что я сказал?

Алфиери *(повышая тон)*.

Я слышал то, что вы сказали.
Теперь послушайте, что я скажу.
И это больше, чем простой ответ.
Хочу предостеречь вас —
Закон природе не противоречит.
Закон всегда лишь имя для того,
Что вправе совершиться.
Но если ошибается закон,
То значит он пошел против природы.
А в данном случае природе верен он.
Вы задержать поток хотите,
Но поглотит он вас...
Ее благословите, и пусть она уходит...

Пока он говорит, на противоположной стороне сцены начинает мерцать слабым, призрачным синим светом телефонная будка. Эдди встает, стиснув зубы.

Ведь рано или поздно, Эдди,
Кому-нибудь ее отдать придется.

Эдди поворачивается, собираясь уйти, и Алфиери поднимается в сильной тревоге.

Вы потеряете своих друзей,
Все отвернутся — и те,
Кто в силах был бы вас понять.
Вас будут презирать и те,
Кто поступил бы так же, как и вы.

Эдди быстро удаляется.

Забудь, не думай об этом, Эдди!

Контора Алфиери погружается в темноту. Эдди появляется в телефонной будке и снимает трубку.

Э д д и. Я хочу кое-что сообщить. Насчет итальянцев, которые приехали без разрешения. Их двое. Точно. Дом номер четыреста сорок один по Сэксон-стрит в Бруклине. Ну да! Нижний этаж. Что? *(Пересиливая себя.)* Да, я сосед. Что?

Видимо, его о чем-то спрашивают еще, но он медленно вешает трубку. Выходит из телефонной будки как раз тогда, когда на улице появляются Л у и с и М а й к. Они пересмеиваются втихомолку над чем-то, что известно им одним.

Л у и с. Пойдем, Эдди, сыграем в кегли?

Э д д и. Нет, мне пора домой.

Л у и с. Не вешай носа.

Э д д и. До скорого.

Они уходят, и Э д д и смотрит им вслед. Л у и с и М а й к возобновляют свой, по-видимому, очень веселый разговор. Оглянувшись по сторонам, Э д д и входит в дом, и сразу же в его квартире зажигается свет. Б и а т р и с сидит и шьет детские штанишки.

Б и а т р и с. Где ты так долго пропадал?

Э д д и. Пошел прогуляться, я же тебе говорил. *(Снимает свою куртку на «молнии», берет лежащую на стуле газету, хочет сесть.)* Дети спят?

Б и а т р и с. Да, уже спят.

Пауза. Э д д и смотрит в окно.

Э д д и. Где Марко?

Б и а т р и с. Они решили переехать наверх к миссис Дондеро.

Э д д и *(поворачиваясь к ней)*. Они сейчас наверху?

Б и а т р и с. Уже перенесли туда свои вещи. Кэтрин решила, что так будет лучше. Кэтрин права, Эдди. Они не будут тебе мозолить глаза. Они счастливы, и мы будет счастливы тоже.

Э д д и. И Кэтрин наверху?

Б и а т р и с. Она понесла туда наволочки. Сейчас вернется.

Э д д и *(кивая)*. Ничего, им там будет лучше; весь дом все равно знал, что они здесь живут, теперь уж не от кого прятаться.

Б и а т р и с. Вот и я так решила. Да и, кроме того, не одни они ведь там живут; можно подумать, что они тоже самые обыкновенные жильцы. Хочешь поесть?

Э д д и. А кто там живет еще?

Б и а т р и с. Два парня. Старуха сдала им другую комнату. Она ведь сдает две комнаты. Купила кровати и все что полагается. Я же тебе рассказывала.

Э д д и. Когда ты мне рассказывала?

Б и а т р и с. Не помню, кажется, мы с тобой об этом разговаривали на прошлой неделе. Она хочет открыть у себя что-то вроде маленького пансиона. У нее только нет пока наволочек.

Э д д и. Ничего я не знал ни про какой пансион.

Б и а т р и с. Что ты! Ведь я еще в начале недели одолжила ей большую сковородку. Я же тебе говорила. *(Улыбаясь, подходит к нему.)* Пора тебе прийти в себя, родной, ты в последнее время сам не свой. *(Он молчит, пристально вглядываясь в пустоту; она дотрагивается до его головы.)* Знаешь, Эдди, это я во всем виновата, ты уж меня прости. Кроме шуток. Надо было мне сразу поселить их там наверху.

Э д д и. А ты тех парней видала?

Б и а т р и с. Встречаю их на лестнице чуть не каждый день. Парни вроде молодые. А вот ты ужасно выглядишь.

Э д д и. Грузчики?

Б и а т р и с. Понятия не имею; от них я слышу только «здравствуйте», а старуха ничего не говорит, я и не расспрашиваю, но на вид они

очень симпатичные ребята. *(Эдди молча, пристально на нее смотрит.)* В чем дело? А я-то думала, что ты будешь доволен.

Эдди. Интересно знать... откуда они взялись? Вывески у нее снаружи нет, знакомств тоже... Откуда старуха ни с того, ни с сего заполучила себе жильцов?

Биатрис. Какая разница? Она...

Эдди. Какая разница? А если это шпики, что тогда?

Биатрис. Ну нет, не думаю.

Эдди. Мне-то, правда, что до этого? Мое дело сторона. Но имей в виду, шпики в форме не ходят. Нечего себя обманывать, эти парни запросто могут оказаться агентами. А Родольфо по своей привычке распустит язык. И крышка.

Биатрис. Вряд ли. Хочешь кофе?

Эдди. Нет. Ничего я не хочу.

Биатрис. Что с тобой? Заболел, что ли?

Эдди. Я... нет, я здоров. *(С озадаченным видом.)* Когда ты мне говорила, что у нее есть постояльцы?

Биатрис. Да не раз!

Эдди. Господи, а я совсем не помню. Мне казалось, что у нее всего одна комната. *(С тревогой дотрагивается до своего лба.)*

Биатрис. Помилуй, да мы тут разговаривали об этом на прошлой неделе. Я одолжила ей большую сковородку. Помнишь, я же тебе сказала!

Эдди. Что-то с головой у меня не ладно.

Биатрис. Ничего, пройдет. Теперь и на душе у тебя станет легче. Мне и вправду с самого начала надо было поселить их наверху. Нельзя пускать к себе в дом посторонних. *(Пауза. Они сидят.)* Знаешь, что?

Эдди. Что?

Биатрис. Почему бы тебе не пойти к ней и не сказать, что теперь все в порядке? Скажи Кэти. Уважь ее. Свадьба должна быть веселой.

Эдди. Мне все равно. Пусть делает, что хочет.

Биатрис. Ну почему бы тебе ей не сказать, что ты придешь к ней на свадьбу? Ведь это ужасно, когда на свадьбе нет отца. Она просто в отчаянии.

Эдди. Они уже назначили день?

Биатрис. Кэти хочет, чтобы он прежде скопил шесть-семь сотен. Я ей сказала: «Ежели ты начнешь на пустом месте, тебе никогда не выбиться из нужды...» Вот они и решили немножко повременить. До осени, что ли. Но если ты им скажешь, что придешь на свадьбу,— это будет им очень приятно, понимаешь? Они оба будут просто счастливы. Эдди! Живи сам и дай жить другим, понимаешь?

Эдди *(с самым безразличным видом)*. Ладно. Я приду на свадьбу.

Сверху по лестнице спускается Кэтрин.

Биатрис *(слыша ее шаги, бросает взгляд в ту сторону)*. Я ей сейчас скажу, можно?

Эдди *(раздумывает, потом поворачивается к ней с деланным безразличием)*. Говори, если хочешь.

Входит Кэтрин, видит его и направляется прямо в спальню.

Биатрис. Поди сюда, Кэти. *(Кэтрин смотрит на нее с сомнением)*. Подойди сюда, детка. *(Кэтрин подходит к ней, и Биатрис обнимает ее за талию. Эдди смотрит в сторону.)* Он все-таки решил прийти на свадьбу.

Кэтрин. А мне все равно, придет он или нет. *(Направляется в дальний конец сцены, но Биатрис задерживает ее.)*

Биатрис. Слушай, Кэти, не будь такой упрямой! Я хочу, чтобы вы с ним помирились. Подойди сюда. Ты ведь его доченька! *(Старается подтащить Кэтрин поближе к Эдди.)*

Кэтрин. Нечего мне с ним мириться, пусть он мирится со мной.

Эдди. Оставь ее в покое, она знает, что делает. *(Теперь, однако, он на мгновение поворачивается к Кэтрин.)* Но на вашем месте я последил бы за этими жильцами наверху.

Биатрис. Он боится, что это шпики.

Кэтрин. Да нет, какие же они шпики? Знаешь мистера Липари из мясной — это его племянники; приехали только на прошлой неделе.

Эдди *(вздрогнув)*. Они тоже «зайцы»?

Кэтрин. Ну да, приехали из какого-то местечка возле Бари. Никакие они не шпики!

Идет к себе в спальню. Эдди с трудом сохраняет молчание, а когда заговаривает, голос его звучит резко от скрытого волнения.

Эдди. Кэтрин! *(Она оборачивается к нему. Он поднимается на ноги, обуреваемый страхом, который тщетно силится подавить.)* Ты думаешь, решение было правильное?

Кэтрин. Какое?

Эдди. Почем ты знаешь, какие у Липари враги? А что если кто-нибудь из них захочет воткнуть ему нож в спину? Я хочу сказать, Кэтрин, что зря вы делаете такие вещи: селите две незнакомые пары вместе. Выследят одного, схватят всех четверых. Не мое дело давать тебе советы, но вы делаете глупость. Кто хочешь тебе это скажет. Тут двойной риск, понимаешь?

Кэтрин. Хорошо, а что мне теперь делать?

Эдди. В каком смысле? Разве мало по соседству комнат? Неужели от тебя убудет, если он поселится за несколько кварталов отсюда? У Липари большая семья; если его родственников накроют, он будет винить тебя или меня, и вся его семья на нас же и накинется! Это, милая, не шутки! У этих Липари нрав горячий!

Кэтрин. Ну что же, завтра поищу им другое жилье...

Эдди. Я тебе больше не скажу ни слова. Да и разве я что-нибудь понимаю, олух безграмотный? Но на твоем месте я убрал бы их из этого дома еще сегодня ночью...

Кэтрин. Как же я найду им ночью комнату?

Эдди *(распаляясь все больше)*. Кэтрин, не впутывайся в дела чужой семьи, слышишь?

Два человека в пальто и фетровых шляпах появляются на улице и подходят к дому.

Эдди. Хочешь, чтобы все обошлось? Ступай наверх и уведи их.

Кэтрин. Но ведь они так давно здесь живут...

Эдди. Ты думаешь, я дурака валяю? Ты не веришь, что я желаю тебе добра? *(Вдруг плачет.)* Разве я не работал как вол, чтобы тебя прокормить? Думаешь, я бесчувственный? Разве хоть раз в жизни я сказал тебе что-нибудь во вред? Ни единого слова! Послушай, как ты со мной разговариваешь! Будто я твой враг. Будто я... *(Слышен стук в дверь. Голова его резко дергается в сторону. Все словно окаменели. Снова стук. Эдди властно притягивает Кэтрин к себе. Шепотом, показывая в глубину сцены.)* Ступай быстрей по пожарной лестнице, выведи их задами, через ограду!

Первый агент *(в передней)*. Откройте! Иммиграционные власти!

Эдди. Иди, иди же. Скорей! *(С силой толкает ее в глубь сцены; она мгновение смотрит на него с ужасом, все поняв.)* Ну, чего ты уставилась?

Первый агент. Откройте!

Эдди. Кто там?

Первый агент. Насчет иммигрантов. Откройте.

Застонав от ярости и все еще не сводя с Эдди полных ужаса глаз, Кэтрин проскальзывает в спальню. Эдди глядит на Биатрис, которая падает на стул, отвернув от него лицо.

Эдди. Ладно, не вешай носа, не расстраивайся. *(Идет к двери, отворяет ее. Агенты переступают порог комнаты.)* В чем дело?

Первый агент. Где они?

Эдди. Кто?

Первый агент. Ладно, не прикидывайтесь, где они?

Эдди. Кто? У нас никого нет. *(Первый агент отворяет дверь и исчезает в спальне. Второй распахивает дверь другой спальни и входит в нее. Биатрис поворачивает голову, чтобы взглянуть на Эдди. Он идет к ней, протягивает руки, но она инстинктивно отшатывается. Эдди говорит вызывающе, зло.)* Что это с тобой?

Первый агент выходит из спальни, негромко окликая Второго.

Первый агент. Доминик!

Из спальни выходит Второй агент.

Второй агент. Может, это не та квартира?

Первый агент. Выше еще два этажа. Я пойду с парадного хода, а ты поднимись по пожарной лестнице. Я тебя впущу. Смотри в оба.

Второй агент. Ладно, Чарли.

Снова входит в спальню. Первый агент идет к двери, на ходу поворачиваясь к Эдди.

Первый агент. Это номер четыреста сорок один?

Эдди. Точно.

Агент выходит на площадку, закрывает за собой дверь и поднимается наверх, скрываясь из виду. Биатрис медленно присаживается к столу. Эдди подходит к закрытой двери и прислушивается. Сверху доносятся стук, голоса. Эдди поворачивается к Биатрис. Она теперь на него смотрит и видит его испуг; ослабев от страха, она опускает голову на стол.

Биатрис. О, господи Иисусе!

Эдди. А тебе-то что?

Направляется к ней, но она поспешно встает, прижав ладони к щекам, и отходит от него в угол.

Биатрис. Боже мой, боже мой...

Эдди. Ты что, думаешь я виноват?

Биатрис *(вместо того чтобы убежать, поворачивается к нему — словно нанося решающий удар)*. Господи, что ты наделал!

Его внимание отвлекает шум шагов. Мы видим как спускается Первый агент, ведя Марко, позади идут Родольфо, Кэтрин и двое незнакомцев. Шествие замыкает Второй агент. Биатрис поспешно бежит к двери и отворяет ее.

Кэтрин *(появляясь на лестнице)*. Чего вам от них нужно? Они работают, вот и все. Они снимают наверху комнату и работают в порту.

Биатрис *(выходя на площадку, Первому агенту)*. Ах, господин агент, чего вы от них хотите? Кому они мешают?

Кэтрин *(показывая на Родольфо)*. Можно подумать, что это какие-нибудь «зайцы»! Он родился в Филадельфии.

Первый агент. Отойдите в сторонку, уважаемая.

Кэтрин. Какое вы имеете право? Войти в чужой дом и...

Первый агент. Ладно, не поднимайте шума. *(Родольфо.)* На какой улице вы родились в Филадельфии?

Кэтрин. Что это значит: «На какой улице»? А вы можете мне сказать, на какой вы родились улице?

Первый агент. Конечно. В четырех кварталах отсюда. На Юнион-стрит, дом сто одиннадцать. Пошли, ребята.

Кэтрин *(оттирая его от Родольфо)*. Вы не имеете права. Убирайтесь отсюда вон!

Первый агент *(резко ее отстраняя)*. Послушайте, девушка, если у них все в порядке, они завтра вернутся домой. Если они живут нелегально, им придется вернуться туда, откуда они приехали. Можете нанять адвоката, хотя говорю вам заранее: не тратьте денег зря. *(Возвращается к группе людей, стоящих на площадке.)* Сажай их в машину, Доминик. *(Остальным.)* Пошевеливайтесь!

Все они направляются вниз, на улицу, один Марко задерживается, давая им пройти.

Биатрис. Разве они кому-нибудь мешают, скажите вы мне бога ради! Чего вам от них нужно? Ведь они дохнут там с голоду, чего вы к ним привязались?

Марко внезапно вырывается из группы стоящих на площадке, бросается в комнату и оказывается лицом к лицу с Эдди. Биатрис и Первый агент бегут за ним. Марко плюет Эдди в лицо. Кэтрин, которая подходит в это время к двери, видит это. Эдди с воплем ярости кидается на Марко.

Эдди. Ах ты, стерва...

Первый агент спешит их разнять, отталкивает Эдди от Марко, который стоит с грозным видом обличителя.

Первый агент *(отталкивая Эдди в сторону)*. Ты это дело брось!

Эдди *(через его плечо Марко)*. Я тебя убью, сукин ты сын!

Первый агент. Эй, ты! *(Трясет Эдди.)* Стой здесь. Не смей спускаться вниз. Не приставай к нему. Слышишь? Ты, приятель, лучше вниз не ходи...

На мгновение воцаряется тишина. Потом Первый агент поворачивается, берет Марко за руку, кинув напоследок красноречивый взгляд на Эдди; когда они с Марко выходят на площадку, Эдди взрывается.

Эдди. Я тебе этого не забуду. Слышишь? Не забуду!

Первый агент и Марко спускаются по лестнице. Кэтрин выбегает из комнаты и, обгоняя их, несется по ступенькам за Родольфо, который вместе со Вторым агентом и двумя незнакомцами выходит на улицу. Вокруг крыльца собирается народ: тут Луис, Майк, кое-кто из соседей и среди них взволнованный мясник Липари — толстый человек средних лет.

Эдди бежит вслед за Кэтрин, догоняя Марко. Биатрис следит за ним из комнаты, сжав руки не то в страхе, не то в мольбе.

Эдди *(кричит)*. Так вот как ты меня отблагодарил? За то, что я отдал тебе свое последнее одеяло? *(Бежит вниз по лестнице. Биатрис спускается за ним, тщетно стараясь его удержать.)* Ты у меня еще попросишь прощенья! Слышишь? Марко!

Эдди появляется на крыльце и видит молчаливо поднятые к нему лица. Он замолкает в ожидании. Мясник Липари подходит к двум незнакомцам и целует их. Его жена, громко причитая, целует им руки.

Первый агент. Ладно, гражданка, не задерживайте их. Садитесь в машину, ребята, вон она стоит.

Второй агент удаляется с двумя незнакомцами и Родольфо. Кэтрин кидается к Первому агенту, который хочет оттащить Марко.

Кэтрин. Он родился в Филадельфии! Чего вам от него надо?

Первый агент. Отойдите-ка, пожалуйста. А ну-ка, пошли...

Марко *(воспользовавшись тем, что внимание Первого агента отвлечено Кэтрин, внезапно вырывается и показывает пальцем на Эдди)*. Это он! Я знаю. Это он сделал!

Первый агент *(хватая его и быстро уводя в сторону)*. Пойдем!

Марко *(в то время как его уводят, показывает рукой на стоящего на крыльце Эдди)*. Это он! Убийца моих детей! Он украл у них хлеб!

Марко уводят. Толпа оборачивается к Эдди.

Эдди. Сумасшедший. Я отдал ему свое собственное одеяло. Шесть месяцев я их кормил, поил... *(Мясник Липари поворачивается и уходит. Жена его идет за ним следом.)* Липари! *(Эдди спускается с крыльца, хватает Липари и поворачивает его к себе лицом.)* Христа ради, послушай! Я их кормил, я отдал им последнее одеяло! *(Липари с отвращением отворачивается от него и уходит вместе с женой, которая продолжает причитать. Толпа рассеивается. Эдди кричит.)* Луис! *(Луис, едва обернувшись, уходит с Майком.)* Луис! *(Одна Биатрис остается на крыльце. Из-за кулис, где стоит машина, возвращается Кэтрин; у нее пустые, невидящие глаза. Эдди кричит Кэтрин.)* Пусть он лучше возьмет свои слова обратно! Он все равно возьмет свои слова обратно. Не то я его убью! *(Поворачивается лицом к улице, по которой от него ушли люди.)* Вы слышите? Я его убью!

Затемнение.

Перед тем как зажечься огням, на сцене некоторое время царит мрак. Слева — прямо против того места, где стоит письменный стол Алфиери,— деревянная скамья без спинки. На ней сидят Родольфо и Марко. Тут же два простых стула. Это комната в тюрьме. На стульях сидят Кэтрин и Алфиери.

Алфиери. Я жду, Марко. Что вы скажете? *(Марко молча бросает на него взгляд, пожимает плечами.)* Этого мало, вы мне скажите словами.

Родольфо. Марко никогда никому не делал зла.

Алфиери. Я мог бы взять вас на поруки. До суда.
Но не возьму — подумайте над этим —
Пока вы не дадите обещанья.
Вы — честный человек. Я вам поверю.
Ну, что вы скажете?

Марко.
У нас в стране
Он не жил бы так долго.

Алфиери. Ну, что ж. Родольфо, вы пойдете со мной.

Родольфо. Нет! Господин адвокат, я прошу вас! Марко,
Ты должен обещать ему. Ведь я хочу,
Чтоб ты плясал у нас на свадьбе.
А как жениться, если ты в тюрьме.
Прошу тебя, не делай ничего.
Ты сам ведь знаешь, что не...

Марко молчит.

Кэтрин. Марко, ну как ты не понимаешь?.. Он не может взять тебя на поруки, если ты задумал совершить что-то дурное. Да пропади он пропадом, этот Эдди! Никто не обмолвится с ним ни словом, проживи он хоть до второго пришествия! Все знают, что ты плюнул ему в лицо. Разве тебе этого мало? Пожалей хоть меня, я так хочу, чтобы ты был у меня на свадьбе. У тебя жена и дети, Марко, ты мог бы работать, пока дело не дойдет до суда, а не валяться на тюремной койке. Он ведь только радуется, что ты сидишь в тюрьме.

Марко *(немного помолчав, Алфиери)*. Сколько времени, вы говорите, осталось до суда?

Алфиери. Я сделаю все, чтобы его оттянуть, но больше чем на пять или на шесть недель вряд ли удастся.

Кэтрин. А за это время ты мог бы заработать немножко денег, понимаешь?

Марко *(Алфиери)*. Для меня нет надежды? Никакой?

Алфиери. Никакой. Вы поедете домой. Судебное заседание — пустая формальность. Все ясно и так.

Марко. А он? Для него есть надежда, да?

Алфиери. Когда она выйдет за него замуж, он со временем сможет стать американцем. Это разрешается, если жена здешняя уроженка.

Марко *(глядя на Родольфо)*. Ну что ж, мы все-таки кое-чего добились. *(Кладет ладонь на щеку Родольфо, потом опускает руку.)*

Родольфо. Марко, скажи этому человеку то, о чем он просит.

Марко. Что я ему скажу? *(Смотрит на Алфиери.)* Он знает, что дать такое обещание бесчестно.

Алфиери. Бесчестно дать обещание не убивать?

Марко. А разве честно?

Алфиери. Конечно.

Марко *(склоняет голову набок — это новая для него мысль.)* А как же тогда поступают с таким человеком, как он?

Алфиери. Никак. Раз он не нарушил закона, он имеет право на жизнь. Вот и все.

Марко. Какого закона? Не все законы записаны в книгу.

Алфиери. Нет, они все записаны в книгу. Других законов нет.

Марко *(с нарастающим гневом)*. Он унизил моего брата... мою кровь. Он ограбил моих детей, надругался над моим трудом. Как я работал, чтобы попасть сюда!

Алфиери. Я знаю, Марко...

Марко. И на это у вас нет закона? У вас нет такого закона?

Алфиери. У нас нет такого закона.

Марко *(качая головой)*. Я не понимаю вашей страны.

Пауза. Он стоит, глаза его полны ярости.

Алфиери. Ну так как же? Что вы мне ответите? Вы могли бы еще поработать пять или шесть недель, а так вам придется сидеть здесь. Что вы мне скажете?

Марко опускает глаза. Ему как будто стыдно.

Марко. Хорошо.

Алфиери. Вы его не тронете? Вы обещали.

Маленькая пауза.

Марко. Может быть, он захочет попросить у меня прощенья.

Алфиери *(взяв его руку в свою)*. Эта рука — не бог, Марко. Слышишь? А только бог может чинить правосудие.

Марко отнимает у него руку и прикрывает ее другой рукой.

Марко. Хорошо.

Алфиери. Ваш дядя придет на свадьбу?

Кэтрин. Нет. Но он ничего не станет затевать. Он ведь просто болтает языком, чтобы люди подумали, будто он прав, вот и все. Болтает и только. Мы сейчас поедем в церковь, и там вы меня подождете.

Алфиери. Почему? А вы куда пойдете?

Кэтрин. Мне надо заехать за Биатрис.

Алфиери. Я бы не советовал вам ездить домой.

Кэтрин. Что вы! Какая же у меня может быть свадьба без Биатрис? Не беспокойтесь, все это одна похвальба. Он ничего дурного не сделает. Я могу спокойно заехать домой.

Алфиери *(кивая, но без особой уверенности)*. Ну что ж, ладно, пойдемте.

Марко встает. Родольфо порывисто обнимает его. Марко похлопывает брата по спине, мысли его где-то далеко Родольфо подходит к Кэтрин, целует ей руку. Она кладет его голову себе на плечо. Они выходят. Марко смотрит в глаза Алфиери.

Алфиери. Один только бог, Марко.

Марко поворачивается и выходит. Алфиери торжественно следует за ним, словно шествуя в какой-то процессии. Свет постепенно меркнет, потом загорается в гостиной. Эдди сидит в качалке, рывками покачиваясь взад-вперед. Пауза. Из спальни выходят сперва Биатрис, потом Кэтрин. Обе они в своих самых нарядных платьях и шляпках.

Биатрис *(со страхом)*. Я вернусь через часок, Эдди, ладно?

Эдди. Ты что, не слышала, что я сказал? Оглохла?

Биатрис. Эдди, побойся бога, ведь это ее свадьба!

Эдди. Ты слышала, что я сказал? Только попробуй выйти из дому. Можешь тогда не возвращаться.

Биатрис. Почему? Чего ты этим добьешься?

Эдди. Уважения к себе. Может, слыхала такое слово? Уважения от собственной жены.

Кэтрин. Уже четвертый час, Биатрис, нам давно надо было быть там, священник не станет ждать.

Биатрис. Эдди, это ее свадьба! Ведь, кроме меня, от нашей семьи никого не будет. Ради моей покойной сестры разреши мне пойти. Я иду туда только ради моей сестры.

Эдди. Послушай, сколько можно спорить? Я грызусь с тобой целый божий день. Ты слышала, что я сказал. Либо он придет сюда просить прощения, либо никто из этого дома не пойдет сегодня в церковь. Если они тебе дороже, чем я, тогда ступай. Но уж не возвращайся. Либо ты на их стороне, либо на моей — вот и все.

Кэтрин *(внезапно)*. Чего ты, черт тебя побери, разошелся?

Биатрис. Т-с-с-с!

Кэтрин. Ты больше не можешь приказывать! Никому! До самой смерти, слышишь?

Биатрис. Замолчи, Кэти!

Кэтрин *(тащит Биатрис за руку)*. Ты должна пойти со мной!

Биатрис. Я не могу, Кэти, не могу...

Кэтрин. Почему ты его слушаешь? Эту гадину!

Эдди встает.

Биатрис. *(Кэтрин, в ужасе от того, что она видит в его глазах)*. Иди, иди... Я не пойду...

Кэтрин. Чего ты боишься? Он же не человек, он — крыса! Ему место в сточной яме! На помойке! *(Теперь она обращается прямо к Эдди.)* Ты вонючая крыса. Я видела их в порту! Они подкрадываются и кусают людей исподтишка, во сне. Они отравляют честным людям жизнь!

Эдди бросается на нее с поднятыми кулаками, и Биатрис борется, стараясь его удержать. Появляется Родольфо, он торопливо подходит к дому и взбегает по лестнице.

Биатрис *(истошно кричит)*. Уходи отсюда, Кэти! *(Эдди.)* Не надо, Эдди! Эдди, не надо!

Эдди *(вырываясь)*. Не мешай мне!

В квартиру входит Родольфо. Пауза.

Эдди. Убирайся вон.

Родольфо. Сюда идет Марко, Эдди. *(Пауза. Биатрис в ужасе поднимает руки.)* Он помолился в церкви. Понимаешь?

Пауза.

Биатрис. Эдди, уходи, уходи!

Эдди. То есть как это «уходи»?

Биатрис. Эдди, у тебя дети, уходи отсюда! Уходи из дому!

Эдди. Мне убираться из дому? Мне? Из дому?
А что ж я сделал, чтобы убираться из своего дома?
Я не хотел, чтоб из девочки вышла потаскуха.

Ведь я дал клятву вывести ее в люди
И сдержал ее!

Кэтрин, дрожа, подходит к нему.

Кэтрин. Эдди...

Эдди. Тебе-то что нужно?

Кэтрин. Прошу тебя, Эдди, уйди. Он идет по твою душу.

Эдди. А тебе-то что? Тебе-то что, если он и придет сюда?

Кэтрин *(рыдая, обнимает его)*. Я никогда не желала тебе зла, Эдди!

Эдди *(со слезами на глазах)*. Тогда кто же хотел сделать зло? Откуда оно взялось?

Кэтрин. Не знаю, не знаю!

Эдди *(показывая на Родольфо, но уже с уверенностью, которую вселило в него ее объятие)*. Вот откуда оно! Они все изгадили. Вот этот и его братец. Они все изгадили. Ограбили нас дочиста! Воры! *(Хватает Кэтрин за руку и оттаскивает ее так, что сам оказывается между нею и Родольфо, который стоит у двери.)*

Скажи ему, чтоб шел и — побыстрее,
Скажи ему, чтоб попросил прощенья
За то, что он сказал мне при соседях!
Ступай-ка поскорей.

Родольфо *(пристально глядит мимо Эдди на Кэтрин)*. Пойдем, Кэтрин...

Эдди *(чуть не вышвырнув Родольфо за дверь)*. Отойди от нее прочь!

Родольфо *(отталкивая его, чтобы войти в комнату)*. Кэтрин!

Эдди *(оборачиваясь к Кэтрин)*. Скажи ему, чтобы он убирался! *(Она стоит перед ним, словно окаменев.)* Кэти! Я не знаю, что сделаю, если он не уберется отсюда!

Биатрис *(бросаясь к нему; ее вытянутые руки сжаты у его груди, как в молитве.)* Эдди, он — ее муж, ее муж! Пусти ее, ведь он ее муж!

Кэтрин со стоном бросается к двери, и они с Родольфо начинают спускаться по лестнице; Эдди, рванувшись вперед, хватает ее; он держит ее, а она плачет, глядя ему в лицо. Он целует ее в губы.

Эдди *(словно охваченный безумием любовник)*. Твой муж я! Я!

Биатрис *(бьет его кулаками)*. Эдди, побойся бога, Эдди!

Эдди. Кэти, ведь я, правда? Ты ведь знаешь, что я!

Кэтрин. Не надо, Эдди, не надо, пусти! А-а! Пусти!

Делает движение, чтобы уйти. На улице появляется Марко.

Эдди *(Родольфо)*. Ублюдок! Скажи ей, что ты такое! Ты-то ведь знаешь, что ты — ублюдок!

Кэтрин *(тащит Родольфо)*. Пойдем!

Эдди бросается за ними.

Эдди. А ну-ка, заставь его, пусть скажет, что он такое! Скажи ей, ублюдок! *(Он выбежал на лестницу и кричит им вниз.)* Почему он молчит? Отвечай! *(Скатывается вниз по лестнице, Биатрис бежит за ним.)*

Биатрис. Эдди, вернись!

На улице Родольфо видит Марко и кричит: «Нет, Марко! Уходи, Марко, уходи!» Но Марко приближается к крыльцу, глядя наверх, на спускающегося Эдди.

Эдди *(появляясь на крыльце)*. Ублюдок, какой в тебе прок для девушки? Что ж ты молчишь? Я жду... Отвечай!

Видит Марко. На улице появляются двое соседей, они молча стоят и смотрят. Дорогу Эдди преграждает Биатрис.

Биатрис. Ступай домой, Эдди...

Эдди *(оттолкнув ее в сторону, выходит на крыльцо. Угрожающе*

и злобно смотрит вниз на Марко). С какой же это стати я пойду домой? Может, он пришел ко мне просить прощения. *(К людям.)*

Пред тем, кто собственное одеяло
С постели снял и отдал им,
Кто урывал у собственных детей
И девочку воспитывал, как дочь...
И вот теперь ее уводят от меня,
Как лошадь увели б с конюшни,
Ни слова не сказав.
Еще чернят, бросают обвинение,
Как тряпку, имя мажут грязью.

Стоит лицом к лицу с Марко.

Ты возьмешь свои слова обратно?

Биатрис. Эдди! Эдди!

Эдди. Верни мне мое доброе имя, Марко! Ты его у меня отнял!

Биатрис бросается к Марко и пытается оттащить его подальше от Эдди.

Биатрис. Уйди! Уйди!

Марко. Скотина! Стань передо мной на колени!

Он с силой ударяет Эдди по голове. Эдди отшатывается и вытаскивает нож. Марко поспешно принимает оборонительную позу, оба они кружатся друг возле друга. Эдди делает выпад, и Майк, Луис и другие соседи бросаются, чтобы разнять их, но они дерутся, взбираясь по ступенькам крыльца; вдруг раздается отчаянный вопль — это закричала Биатрис, и все присутствующие рассыпаются в стороны. Кое-кто убегает. Марко стоит над Эдди, который припал на колено, с окровавленным ножом в руке. Эдди падает вперед и на четвереньках ползет к Кэтрин. Она поднимает голову, чтобы его не видеть, но не двигается, когда он хватает ее за ноги и глядит на нее снизу вверх с удивлением, словно недоумевая и оскорбленный тем, что его предали.

Эдди. Кэтрин... Почему?

Падает лицом на землю и умирает. Кэтрин закрывает лицо руками и плачет. Опускается рядом с плачущей Биатрис. Свет медленно гаснет и загорается в конторе Алфиери.

Алфиери. Теперь дележ у нас идет без драки.
По мне так — лучше,
Но в часы прилива,
Когда зеленое дыханье океана
Бьет в наши окна,
Волны в этой бухте
Похожи на волну у Сиракуз.
И, словно высеченное из камня,
Мне видится лицо
С глазами, что похожи на туннели,
Проложенные к берегам предков,
Где мы когда-то жили.

Тогда я думаю о том,
Что многие из нас
Живут там до сих пор;
О том, когда же мы пойдем
Вперед и прочь от этой мертвой тьмы,
Гнездящейся в развалинах былого.

Вот и конец рассказа. Доброй ночи.

Занавес падает.

«БУРЕВЕСТНИК» *Рис. Николае Попеску (Румыния)*

Петру Думитриу

Буревестник

РОМАН

Перевод с румынского М. Олсуфьева

XLVII

На палубе было шумно, раздавался громкий смех. Причиной веселья был болгарский куттер, находившийся саженях в пятидесяти от «Октябрьской звезды». Тут же были серые куттеры рыболовной флотилии, колыхавшиеся поблизости среди луковой шелухи, рыбьих потрохов и бесцеремонно плававших между ними чаек с аккуратно сложенными на спинках крыльями.

Болгарский куттер был необычного типа. На небольшом дощатом помосте виднелись два пулемета, коробка с ярко блестевшими на солнце обоймами и бинокль. На палубе лежал, объясняя назначение куттера, убитый дельфин. На корме было выведено: «„Веселина", Народная Республика Болгария». Голые по пояс, загорелые охотники за дельфинами кричали Емельяну, Ермолаю и Косме, нещадно коверкая самые простые слова:

— Как дела, товарищи? Есть рыба? Когда к нам собираетесь?

Сыпались шутки, с куттера на куттер летели пачки папирос; Лука торопливо рассказывал Адаму:

— Нас этой весной штормом занесло в Болгарию. Так закрутило, что не успели к «мамаше» вернуться. Они, знаешь, как нас приняли? Напоили, накормили до отвала... Эх, жаль, водки нет...

Болгарский куттер, между тем, начал удаляться.

— Удачи, братцы, удачи! — махая рукой, закричал Лука.

Мотор куттера мощно гудел, нос смело и высоко торчал из воды, а на дощатом помосте, широко расставив ноги и глядя в бинокль, прочно стоял полуголый охотник, готовый каждую минуту, лишь только в волнах мелькнет черная, блестящая спина дельфина, взяться за пулемет.

— Удачи, братцы! — повторяли рыбаки, и болгары долго еще в ответ махали кепками, приветствуя «Октябрьскую звезду».

Адам тоже делал приветственные жесты. Случайно оглянувшись, он увидел, как Косма, старшина молодежной бригады, влез на мачту и, помахав оттуда кепкой, ловко и проворно спустился на палубу. «Молодец парень! — думал Адам, глядя на него. — Какой ясный взгляд, какие спокойные, уверенные движения!.. Наверное, у него и на сердце хорошо — ни тревоги, ни заботы: счастливец!»

Он заметил, как Косма, проходя мимо одной из работниц консервного завода, легко коснулся рукой ее плеча и спокойно спросил:

— Как поживаешь, Маргарита?

Круто повернувшись, девушка посмотрела на него с грустным упреком. Скорбное выражение ее лица удивило Адама. Она опустила голову,

---

Окончание. Начало см. в №№ 1, 2 и 3.

потом вдруг снова подняла ее, следя за удалявшимся Космой, каждое движение которого выдавало необыкновенную силу и гибкость молодого тела.

* * *

В эту ночь Адам отправился на промысел с Емельяном. Ночное небо, мерцающая зеленым светом вечерняя звезда Венера, таинственно отражавшийся в воде Млечный Путь, непрестанное колыхание куттера на мелкой зыби спокойного моря, белая пена кормовой волны на стыке двух подводных течений, веселая болтовня рыбаков — все это радовало его, доставляло ему удовольствие. Но мысли неизбежно возвращались к одному — к его счастью с Ульяной. Теперь это действительно стало счастьем, и он все еще не верил, что так бывает на свете, не подозревал, что можно так любить женщину, которая собирается сделать его отцом, и так ждать ребенка. Ему даже хотелось спросить рыбаков, испытывал ли хоть один из них подобные чувства, но это только удивило бы их, и он молчал, слушая громкий говор, шутливую перебранку, ругань, хохот, молчал и улыбался своим мыслям. Наконец они остановились у стоявших на якоре лодок, и все рыбаки собрались на куттере.

— Романов, а Романов! — раздался из темноты грубый голос.

— Чего тебе? — откликнулся Емельян.

— Гостей принимаете?

— Приставай!

Две лодки, рассекая воду, быстро приближались к куттеру. Гребцы сильно налегали на весла.

— Куда торопитесь? Проголодались, что ли?

— Мы к вам по дружбе, — пыхтел Ермолай, с трудом перелезая на куттер.

— Эй, Тихон! — крикнул он своему подручному, до такой степени заросшему бородой, что были видны только нос и уши. — Подай сюда рыбку, а то скажут, что пришли с пустыми руками.

Тихон, покопавшись на дне лодки, бережно поднял на вытянутых руках осетра величиной с десятилетнего ребенка.

— Давай его сюда! Клади в общий котел! А посудинки не прихватил, Ермолай, а?

— Чего нет, того нет, — с искренним сожалением ответил Ермолай.

Из темноты показалась другая лодка и послышался молодой, очень сильный голос:

— Если примете нас в компанию, мы вам песню споем...

— Косма? Ты? — обрадовался Емельян.

— Он самый! Эй, Косма, айда сюда! И вы там! — гаркнул Ермолай, успевший разрезать на куски первого осетра и уже взявшийся за второго.

Лодка молодежной бригады пристала к борту, и Косма прыгнул на палубу. Светловолосый Андрей, прежний подручный Ермолая, и еще один парень пришвартовали ее к куттеру и последовали примеру старшины. Емельян обнял Косму и облобызал в обе щеки.

— Как живешь? Как дела?

— Хорошо, а то как же? — невозмутимо ответил молодой богатырь.— Здорово, дядя Адам... здорово, братцы...

— Адам Жора,— сказал Емельян,— нынче и завтра у меня в гостях...

— Не у тебя одного, — запротестовал Ермолай, — а у всех!

— Жаль только, — продолжал Емельян, — что нечем его угощать, а у Ермолая, который его тоже за своего гостя считает, как раз ни одной посудинки при себе нет...

— Нет, ей-богу нет... — подтвердил Ермолай.

— Побожись, что, если врешь, не видать тебе акульей печенки до скончания века! Ну-ка, ребята, пошарьте у него в лодке под банкой!

— Стойте, — смущенно пробормотал Ермолай, — будто и в самом деле что-то было... Ты бы лучше молчал! — разозлился он на Емельяна.— У самого под мостками всегда свежий осетр припрятан. Как осетра выловит, сейчас лежалого на завод, а свежего под мостки, контрабандист окаянный!

Они уже начали ссориться, обвиняя друг друга во всевозможных грехах, но, к счастью, раздался голос Тихона, сразу положивший конец их пререканиям:

— Готово! Ужинать!

Ермолай прыгнул в свою лодку и вернулся с бутылкой в руках, как раз вовремя, чтобы занять свое место вокруг постеленного Космой и Андреем полотенца, на котором уже лежали ломти хлеба и стояли большой котел с ухой, еще больших размеров сковорода с жареной осетриной и кружка с уксусом.

Принялись за еду: кто хлебал ложкой из котла, кто брал рукой со сковороды облюбованный кусок, обжигаясь, дул на пальцы и, круто посолив, отправлял рыбу в рот. Жирный кусок сам лез в горло, за ним сейчас же следовал другой, третий. Сочная, вкусная рыба таяла во рту.

— А теперь, кто обжегся, пожалуйста прохладительного! — предложил Ермолай, протягивая заветную бутылку.

Выпили по очереди. Косма принес еще полную сковороду жареной осетрины, и все снова принялись за еду, запивая из Ермолаевой бутылки. Потом Емельян достал целую коробку молотого цикория, высыпал в котел, где только что варилась уха, прибавил горсть сахару и разлил этот своеобразный напиток по кружкам.

— Горяченького! — сказал он, подавая первую кружку Адаму. — Отведай, дорогой товарищ, нашего специального кофейку! Варится он на осетровом хвосте, не взыщи, зато горячий!

Адам ел и пил молча. Рыбаки начали жевать медленнее. Послышались вздохи. Над морем показался серебристый край месяца. Тихон встал и, повернувшись к нему лицом, перекрестился.

— Спасибо, Емельян, — поблагодарил он.

— Ешь, ешь. А то рассержусь,— уговаривал хлебосольный хозяин.

— Не могу больше, наелся. Спасибо.

— И мы тоже, дядя Емельян, больше не можем, — сказал Андрей.

Косма затянул вполголоса песню.

Он стоял, прислонившись к мачте, и пел о безнадежной любви и одиночестве. Слова этой песни знали все; сначала Андрей своим мальчишеским тенорком, потом Ермолай густым басом, а за ним и остальные подхватили ее, и поплыла она, колыхаемая ласковой волной, по морскому простору. Адам пел вместе со всеми и думал: «А все-таки я теперь другой, чем прежде...»

XLVIII

В эту ночь Адам спал на палубе, закутавшись в одеяло. Куттер тихонько покачивало с боку на бок. Тишина в море перед рассветом была такой полной и торжественной, о какой люди на суше не имеют представления. Внезапно проснувшись и опершись на локоть, Адам стал смотреть, как зыбь играет черными рыбацкими лодками с загнутыми вверх носами. Рыбаки еще спали. Он повернулся на спину и уставился в расстилавшееся над ним далекое перламутровое небо. «Как хорошо! — думал он. — Работы здесь еще много, очень много. Но как хорошо!»

Небо на востоке стало красным, как кровь, потом нежно-розовым, и над обагрившимся морем взошло солнце. Над бортом одной из лодок показалась чья-то лохматая голова. Кто-то протяжно звал:

— Кос-ма-а!.. Кос-ма-а!..

Старшина молодежной бригады наконец откликнулся. Послышались другие голоса. Начался рыбацкий день.

Перейдя в лодку Емельяна, Адам попросил дать ему весла.

— Я, Емельян, этого не забыл, — сказал он.

— Верю. Но ты у меня в гостях, а гостям работать не полагается.

— А если я очень тебя попрошу?

— Ладно. Афанасие, дай ему пару весел. Айда, ребята! Погода хорошая, улов сегодня должен быть богатый. Держи левее, а то меня снасть в воду тянет. Левее, говорю!

Течение относило их вправо. Часами только и слышалось: «Левее — еще левее!..» Голубое море искрилось на солнце, воздух был теплый, иногда откуда-то налетало легкое дуновение ветерка.

Адам между взмахами весел расспрашивал Емельяна о рыбацких делах, которые интересовали обком партии. Емельян отвечал обдуманно и серьезно, продолжая травить снасть. Стало жарко. Адам почувствовал, как кровь стучит в висках. Окинув взглядом море, он заметил, что в миле от них работает Симион Данилов. Он видел его еще утром, когда старшины лодок советовались, кому куда идти. Молчаливый, угрюмый Симион старался делать вид, что не замечает Адама. «Зачем он здесь? — подумал Адам. — Кому вообще он нужен в рыболовной флотилии?»

— Левее... — пробормотал Емельян.

Воздух был насыщен испарениями, дышалось трудно, парило. Помощник Емельяна Афанасие был флегматичным, молчаливым парнем. Мокрая от пота рубаха липла ему к спине.

— Левее...

К обеду, погрузив на куттер несколько тонн рыбы, Емельян отправил улов на пароход.

— Ищи меня на несколько миль восточнее! — крикнул он старшине куттера. — Кажется, будет ветер. Мы поставим паруса и уйдем.

— Не беспокойся, не потеряю! — откликнулся старшина.

— Обязан найти. На то у тебя тетрадь, компас, часы...

Емельян оказался прав. Вскоре поднялся ветерок, достаточный, чтобы сдвинуть с места черные лодки романовской бригады с их треугольными желтыми парусами. Когда они поравнялись с бригадой Ермолая, потом с лодками молодежи, над морем поплыли голоса рыбаков. Сидя на корме, овеваемый теплым приятным ветерком, Адам вглядывался в ясное небо, в прозрачные ленивые волны. Емельян, сложив руки рупором, уговаривал остальных последовать его примеру и перейти на более глубокое место, туда, где обычно держится крупная красная рыба. Рыбаки послушались, и вскоре целый караван лодок под парусами, медленно плывя по пустынному морю, направился к востоку.

Первым спустил паруса Емельян.

— Пришли, — сказал он решительно.

Бригада остановилась. Емельян развел огонь в старой, проржавевшей железной печурке. Адам достал из-под мостков небольшого осетра и принялся его чистить.

— Действительно, матерый контрабандист, — пробормотал он с серьезным видом, орудуя ножом.

Емельян, который в это время раздувал огонь, покосился одним глазом и хитро подмигнул. С моря донеслось:

— Емельян!

Емельян поднял голову — кричал Ермолай.

— Чего тебе?

— Обедать вместе будем?

— Айда сюда! Чем больше народу, тем лучше... Кос-ма-а!

Лодки молодежной бригады, вспенивая воду, быстро скользили по волнам. Немного погодя, Косма спустил парус и, работая веслами, приблизился к тому месту, где на волнах, то касаясь бортами, то расходясь, насколько позволял счаливавший их канат, качались лодки Романова и Ермолая.

Симион Данилов к обеду не явился. Адам все время чувствовал его присутствие, его тяжелую сосредоточенную злобу и забыл про него, лишь разговорившись с молодежью.

Емельян с Адамом и Афанасие, Ермолай с Тихоном, Косма с Андреем, кое-как разместившись в лодке Романова, медленно ели. Впереди было полдня тяжелой работы. Все молчали, думая каждый о своем. Только хозяин болтал без умолку.

— Что с тобой, Адам? Что с тобой, товарищ Жора? Все ты молчишь, все о чем-то думаешь. В нашей лодке этого не полагается... У нас лодка веселая...

— Разве я не весел? — улыбнулся Адам. — Уже много лет, можно сказать никогда еще у меня не было так легко на сердце, как сейчас...

Емельян кивнул, показывая, что понимает своего собеседника:

— Как же иначе? Ты ведь вернулся на море...

Адам улыбнулся: кроме моря, у него были и другие поводы чувствовать себя счастливым.

— Кто смолоду был рыбаком, — провозгласил Ермолай, поднимая густо смазанный осетровым жиром указательный палец, — у того море навсегда здесь, в самом сердце!

Он ударил себя всей пятерней по голой груди, на которой отпечаталось пять жирных следов.

Адам, шутливо передразнив его, тоже хлопнул себя по груди:

— Здесь оно у меня!

— Черт бы его драл, ваше хваленое море! — яростно произнес чей-то молодой голос.

Все удивленно обернулись. Оказалось, что так непочтительно выразился о море Андрей, работавший теперь в бригаде у Космы.

— Когда этот парень разучится ругаться? — возмутился Ермолай.— Как будто и слов других не знает!

Косма рассмеялся:

— Он говорит, что бросит ругаться, когда ты, дядя Ермолай, бросишь пить...

Адам рассеянно смотрел на Андрея, вспоминая, где и когда слушал точь-в-точь такие же упреки... Наконец он вспомнил. Это ему, семнадцатилетнему Адаму, неукротимому, строптивому дикарю, отчаянному ругателю, доставалось тогда за сквернословие!

— Плохо, когда не можешь воздержаться от водки, но не лучше, когда не можешь удержаться от ругани, — ласково обратился он к светловолосому пареньку.

Ему почудилось, что он разговаривает сам с собой — с тогдашним озорным, своенравным парнем. Нет, этому не придется испытать того, что когда-то испытал Адам. Счастливы те, кто начинает жизнь теперь... «А сам ты, Адам Жора, разве не начинаешь теперь новой жизни?»

— Что оно тебе сделало, море? За что ты его клянешь? — снова обратился он к Андрею.

Парень, упрямо молчавший, пока Адам укорял его, пожал плечами:

— За переменчивость. Вот увидишь: придется нам теперь грести как сумасшедшим...

— Что верно, то верно, — подтвердил Емельян, переговаривавшийся о чем-то с Ермолаем; оба тревожно посматривали вокруг.— Так и есть! — повторил Емельян. — Так и есть!

Смолкли разговоры и на других лодках, едва колыхавшихся на сразу утихших волнах. Рыбаки поднимались с банок и стоя вглядывались в даль.

Ветер совсем спал. Море дышало мертвой, ленивой зыбью. Свинцово-серая вода тревожно, словно собираясь закипеть, хлюпала под бортом, расходилась мелкой волной. В воздухе стоял белый туман, сквозь который кое-где проглядывало голубое небо. Но таких прогалин становилось все меньше. Быстро темнело. Это были не настоящие сумерки, а какой-то удручающий серый полусвет. В сумерки никогда не бывает так жарко, а теперь над морем вдруг повис удушливый зной, заставлявший рыбаков то и дело утирать лившийся с них градом пот.

— Когда же, черт, переменилась погода? — проворчал Емельян. — Скверная штука...

Он принялся приводить лодку в порядок, прибирать, опоражнивать посуду. Косма стоя старался разглядеть что-то за дрожащей белой пеленой тумана.

— Все равно ничего не увидишь, сколько ни смотри... — сказал Ермолай, взглянув на него. — «Мамаша» сейчас миль за двадцать отсюда, не ближе.

Косма, пожав плечами, сел на банку.

Где-то — трудно было разобрать, с какой стороны, — погромыхивал далекий гром. Рыбаки принялись крепить рули, мостки, прибирать снасти. Работали молча и сосредоточенно. Поверхность моря становилась все глаже, все маслянистее. Ближе к лодкам вода казалась мертвенно-синей, с зелеными, как медянка, пятнами.

— Как думаешь, Косма, — спросил Адам, — твои ребята, которые вперед ушли, одни справятся?

Он заговорил, чтобы отделаться от осаждавших его воспоминаний. Но его голос прозвучал так, словно все это было во сне, во время одного из тех иногда снившихся ему снов, когда он снова видел себя в душно-туманный день в предательски изменчивом, безжалостном море. Нынешний день был точь-в-точь таким же, как тот, памятный. Тогда было такое же молочно-белое небо, а вокруг — такое же дрожащее, с металлическими отсветами и ядовито-зелеными пятнами море. И теплый, парной, удушливо-тяжелый воздух был тот же.

Косма посмотрел на едва обозначавшиеся за горизонтом две черные полоски — это были лодки его бригады на месте лова.

— Должны справиться — ребята толковые, — пробормотал он. — Смотря какой будет шторм...

— Какой будет, такой и будет,— сказал Емельян.— А море паршивое...— прибавил он, усаживаясь на банку и ни на кого не глядя. — Через какой-нибудь час, а то и меньше, таких делов понаделает...

Все еще очень далеко, но уже в другой части небосклона, снова проворчал гром. Горизонт в той стороне медленно заволакивался темной тучей.

— Смотрите! Море будто дымится! — воскликнул Андрей.

— Может, минует? — спокойно заметил Адам.

— Может, и минует, — откликнулся Емельян и прибавил с невеселой улыбкой,— а вернее, что нет...

— Что, знать, отвык от опасностей, с тех пор как у нас есть «Октябрьская звезда»? — сказал Адам.

— Верно! — согласился Емельян. — Теперь рыбаки редко рискуют своей шкурой. Ермолай, отправляйся лучше к себе в лодку! И вы тоже, молодцы! По местам!

Ермолай встал, намереваясь ухватиться за конец, которым его лодка

была счалена с Емельяновой, и с тревогой поглядел на небо: тяжелый, теплый, молочно-белый туман висел над самой водой.

— Батюшки-светы! — пробормотал он, утирая пот со лба. — А ты, Андрей, чего молчишь? Ругаться и то позабыл?

Раскат грома, более громкий, чем первые, прокатился по горизонту.

— Я, дядя Ермолай, это бросил...— смущенно проговорил парень.

Ермолай положил ему на голову свою тяжелую руку:

— Давно бы так... Только я тебя потом спрошу, как ты слово сдержал, так и знай!

Андрей посмотрел на Ермолая глазами, в которых ясно можно было прочесть: «Если ты, дядя Ермолай, думаешь, что будет «потом», значит бояться нечего». Адам заметил его взгляд и понял, что Ермолай сказал так нарочно, чтобы ободрить паренька.

«Белое давящее небо, свинцовое море, жара и далекий гром — все, как тогда»,— думал Адам, чувствуя, что дышать становится труднее и труднее.

Он казался спокойнее всех, но прежний страх подкрался к нему, и Адам изо всех сил старался отделаться от власти тогдашних ощущений.

Неподвижный воздух вдруг оживился. Все насторожились: нет, просто легкий ветерок. Подул и замер. Опять загрохотал гром. Тучи были уже не белые, а темные, море приобрело необычайный, не предвещавший ничего доброго сине-черный оттенок.

Косма прыгнул в лодку. Ермолай последовал его примеру.

— Ну и чертово же море, так его!..— громко выругался Андрей.— За один час словно рехнулось. Что же это такое?

— У нас будто уговор был? — сказал Адам и отвернулся, не ожидая ответа.

Он, точно сквозь сон, видел, как Емельян влезает на банку, как вглядывается в горизонт, как потом, снова усевшись, наклоняется вперед.

— Если не будет противного ветра,— сказал Емельян,— «мамаша» должна придти сюда самое позднее через три часа. А если ветер будет противный, раньше вечера ее ждать нельзя. Шторм может нас к ней подогнать, но при большой волне лучше, пожалуй, постоять на якоре. Верно, Адам?

Адам был так глубоко погружен в свои мысли, что не слышал Емельяна. Сейчас важнее всего было покончить с этим страхом. Одно время он совсем про него забыл, не подозревая, что страх все еще живет в глубине его сердца. Теперь этот забытый, похороненный страх выползает наружу!

— Верно, Адам? — снова спросил Емельян.

— Что верно?

— То, что я говорю.

Емельян терпеливо повторил все сначала. Адам внимательно выслушал.

— А если шторм ударит с севера? Тогда нас, пожалуй, отнесет от «мамаши»...

— Конечно, — согласился Емельян. — Это будет хуже...

Он посмотрел на небо, потом на Адама. Тот пожал плечами:

— Так и есть — с севера... Ничего, как-нибудь справимся. Ведь не тысячу лет будет буря?

Емельян промолчал.

«Ему тоже не впервые!» — подумал Адам. Оба хорошо знали, что такое шторм. Знали, что он длится тысячу лет — целую вечность. Целая вечность ужаса заключается в каждом мгновении этой отчаянной борьбы за то, чтобы не задохнуться под диким напором бушующих волн. Тысячу лет длится шторм и, уходя, часто оставляет лишь холодные трупы

с песком во рту и ушах, трупы, которые волна лениво ворочает и лижет на песчаной отмели. Легко может статься, что одним из этих трупов будет Адам Жора, который думал, что он на пороге счастья...

Адам крепко стиснул зубы и еще раз окинул взглядом зловеще спокойное море.

Оно покачивалось и дремало, притворяясь, что улыбается сквозь дрему, расстилаясь мягкими, длинными, ленивыми, гладкими волнами. Где-то за горизонтом сердито и грозно громыхал гром.

* * *

В остальных лодках царило волнение. Они расходились и отдавали якоря, к канатам которых прикреплялись на всякий случай связки досок. Емельян готовился сделать то же. Когда все приготовления были закончены и он бросил якорь в черную воду, Адам, наконец, встряхнулся. Положив руку на плечо Емельяна, он сказал:

— Давай-ка, брат, покроем лодку парусом...

Пока они его натягивали и крепили к бортам, тучи охватили половину горизонта. Гром, затихший на время, загрохотал с новой силой. Его раскаты слышались то ближе, то дальше, то выше, то ниже, и не затихали больше ни на минуту.

Тут они увидели буревестника — небольшую, темной окраски птичку, с узкими черными крыльями, беззвучно носившуюся над водой. Она летела совсем низко, распластавшись крестом. Адам долго глядел ей вслед, хотел что-то сказать, но вздохнул и промолчал.

— Видел? — спросил Емельян, немного погодя.

Адам кивнул. Они снова замолчали, охваченные тягостным оцепенением, пока Адам вдруг не спросил:

— Мальчиков... сыновей своих... ты в рыбаки готовишь?

Емельян вздрогнул и нахмурился.

— В рыбаки, — проворчал он сердито. — А что?

— Ничего... Так просто, спросил...

Он не мог удержаться от грустной улыбки. Емельян тоже осклабился, но зло, по-волчьи:

— В тебя, кажется, опять бес вселился, как в старину?.. Я когда-то бивал тебя за это...

Адам рассмеялся:

— То было давно.

Афанасие, помощник Емельяна, посмотрел с удивлением. Но времени для объяснений не оставалось. Раскаты грома приближались. Сквозь тучи ослепительно сверкали молнии. Небо вдруг словно разверзлось над ними, и сверкающий огненный столб вырос между морем и тучами, осветив все лодки. Удар грома чуть не оглушил рыбаков. Море стало совершенно гладким, неподвижным, тучи еще больше почернели, еще ниже нависли над водой. В воздухе почему-то сильно запахло лесом, свежестью, горами, хотя кругом не было ничего, кроме морского простора и странного, зловещего, бессолнечного освещения. Линия горизонта казалась нацарапанной на серебре. На севере засверкали молнии, ударявшие в море. Рыбаки молча, не двигаясь, сидели по своим лодкам. Их озаряемые молнией лица казались белыми, даже бело-голубыми. Косма поднял руку и показал что-то товарищам: от горизонта отделилась темная стена и понеслась по морю. Косма не сводил глаз с видневшихся вдали двух темных полосок — лодок молодежной бригады. Стена уже стояла над ними. Очертания их стали быстро стушевываться и через минуту исчезли. Все меньше становилась та часть моря, которая еще казалась спокойной. Видно было, с какой быстротой надвигается белый край бурлящей пены. Громовые раскаты слились в непрерывный, ужасающий грохот. Фиолетовые вспышки молний

ярко осветили небо, потухли, потом вспыхнули еще и еще раз. Гора туч сразу выросла, повисла над рыбаками. Рыбаки съежились, спрятав головы под натянутыми на лодках парусами. В эту минуту со страшной силой ударил ветер, небо обрушилось потоками града и воды, а темное море, которое, казалось, только и ждало этого, дрогнуло и, как сорвавшийся с цепи зверь, с дикой яростью кинулось на них, захлебываясь пеной.

* * *

Лука Георге еще в полдень заметил на горизонте облачко, похожее на дым. Через несколько минут оно оторвалось от своего основания и поплыло вверх. Потом на том же месте появилось другое облачко и также ушло в небо, потом еще одно.

— Погода, ребята, портится,— сказал он и стал собираться уходить, потом крикнул, повернувшись к куттеру: — Павелика! Пошли на базу! К «мамаше»! Видел сигнал?

Шторм настиг их в пути. Куттер, как щепка, прыгал по пенящимся, но еще коротким волнам, и рыбаки, сидя в трюме, громко хохотали, когда особенно сильный толчок валил их друг на друга. Лука остался наверху, со старшиной. По мере того, как они приближались к пароходу, им все чаще попадались другие куттеры, боровшиеся с посеревшим, не предвещавшим ничего доброго, морем. Сквозь густую пелену дождя и рваных туч видно было, как они то появлялись, то снова исчезали в волнах под неистовый вой крепчавшего ветра.

Один из куттеров с заглохшим мотором вертелся на месте. Его немилосердно трепали волны.

— Емельяновой бригады! — воскликнул Лука.

Старшина этого куттера, держась за мачту, просигнализировал, чтобы его взяли на буксир.

— Где Адам? — сложив руки рупором, крикнул Лука, когда они приблизились. — Где товарищ Жора?

— Они все остались там! — ответил старшина, указывая направление, и объяснил, сколько часов хода до того места, где он их оставил.

Лука выслушал молча.

— Слушай, Лука,— сказал Павелика,— я отведу тебя к «мамаше», а сам отправлюсь за ними, идет?

Лука по-прежнему молча кивнул.

«Октябрьская звезда» грузно раскачивалась на волнах. Ее подъемные стрелы работали, не переставая, поднимая подходившие лодки, которыми уже была заставлена палуба; куттеры держались в стороне, чтобы не столкнуться ночью с пароходом.

Павелика со своим мотористом отправились разыскивать Адама и оставшиеся в море бригады Емельяна и Космы. Капитан Хараламб с командного мостика озабоченно смотрел им вслед.

— А «мамаша» разве не может пойти за ними? — неуверенно спросил Лука Георге.

Капитан огорченно развел руками.

— Еще не все бригады вернулись. Я обязан собрать всех. Видите, сколько их там?

Он указал на приближавшиеся со всех сторон и, как пробки, прыгавшие на волнах куттеры с лодками на буксире. Лука вздохнул, понимая, что капитан прав.

— Предпочел бы быть с теми, кто пошел на розыск в море, — суховато добавил Хараламб, следя в бинокль, как куттер Павелики исчезает в ранних сумерках ненастного дня.

Проискав Адама всю ночь, но так и не найдя его, Павелика встретил другую бригаду, потерявшую свой куттер. Он забрал рыбаков из всех трех лодок и отправился обратно на базу.

XLIX

Ошалевшие от качки, с болезненно блестящими глазами, они тщетно всматривались в черный горизонт. Горизонт вздымался, когда они проваливались в пропасть, и опускался, когда лодка, подхваченная бурлящим валом, взлетала на гребень, чуть не под самые тучи, которые неслись над морем, разрываемые неистовым ветром. Адам сидел, скорчившись так, что колени упирались ему в подбородок, держась обеими руками за стрингер и ожидая, что будет дальше. «Главное — это ждать, — думал он. — А там или лопнет якорный канат, или подойдет «Октябрьская звезда». Шторм рано или поздно кончится. Голова от тряски и качки работает плохо. Хоть бы качка была равномерной! Но это даже не качка, а беспорядочное чередование коротких прыжков и отчаянных рывков, когда якорный канат натягивается, как струна. Хуже всего, что промежутки между рывками не одинаковы: иногда рывки бывают редкие, иногда такие частые, словно чья-то рука упорно старается выдернуть канат вместе с кольцом или развалить самый остов лодки. Главное теперь — ждать... ждать... Буря должна когда-нибудь кончиться...»

Но буря все усиливалась. Волны достигали такой высоты, что уже нельзя было, как раньше, видеть все лодки: «Когда мы на пенистом гребне, — продолжал свои наблюдения Адам, — три или четыре из них непременно где-то внизу, в провалах между волнами; потом настает наша очередь, и сами мы исчезаем из поля зрения других. Вон там, вдали, еще виднеются лодки молодежной бригады, а на горизонте — ничего. «Октябрьская звезда», наверное, тоже воюет сейчас где-нибудь с бурей...»

Резкий, холодный ветер завывает, рвет натянутый на корме парус, срывает с гребней пену и яростно бросает на головы рыбакам. Их парусиновые спецовки давно промокли, в резиновых сапогах хлюпает вода. Воду все время приходится вычерпывать из лодки, которую заливают разбивающиеся о борт волны.

«Ничего не поделаешь, нужно ждать. Шторм скоро пройдет, «Октябрьская звезда», наверное, уже недалеко». Так думал Адам вечером. Когда начало темнеть и волнение еще более усилилось, а завывание ветра и рев бури превзошли, казалось, все, что мог выдержать человеческий слух, Адам подполз к Емельяну и крикнул в ухо:

— Давайте спать по очереди! Тебе! Тебе с Афанасие начинать!

Емельян ответил кивком. Адам увидел его лихорадочно блестевшие в темноте глаза, пополз обратно на свое место, потом глянул за борт. В лицо ему ударило холодным ветром, и соленая пена заполнила рот. За бортом ничего не было видно, кроме бушующего моря да проносившихся над самой водой и, казалось, задевавших ее своим краем черных, тяжелых туч. Все, как тогда, давным-давно, и в то же время совсем по-другому. Емельян и Афанасие лежали у его ног, тесно прижавшись друг к другу, чтобы их меньше кидало и переворачивало. Адам крепко держался за борта. Спать ему не хотелось.

Афанасие с Емельяном тяжело перекатывались у его ног. «Неужели спят?» — удивился Адам. Впрочем, он догадывался, что это не сон, а то беспомощное состояние, при котором человек не может ни как следует отдохнуть, ни по-настоящему проснуться. У него самого голова начинала склоняться на грудь и отяжелевшие веки сами смыкались, но очередной рывок якорного каната встряхивал его, и Адам просыпался. Раз, сквозь дрему, он почувствовал, как кто-то схватил его за ногу. Вглядевшись, он узнал Емельяна, который подполз к нему и пытался что-то сказать.

— Что тебе, что? — закричал Адам.

Ему удалось расслышать:

— ...Ты гость... спи лучше ты...

Адам оттолкнул его ногой:

— Спи сам, а то как смажу тебя румпелем по башке, сразу заснешь!

Емельян отполз назад. Адам остался на своем месте, на корме. Качка измучила его, от частых ударов о шпангоуты болело все тело. «Емельян, наверно, совсем обалдел, стукаясь головой о шпангоуты...» — подумал он, и мысль эта почему-то растрогала его. Захотелось обнять Емельяна или подарить ему что-нибудь особенно ценное, но ничего, даже мало-мальски ценного, у Адама вообще не было. Единственное, что он мог, — это охранять его сон...

Адам не отдавал себе отчета в том, что сам засыпает, и понял это, лишь почувствовав, что кто-то бесцеремонно трогает его. Очнувшись, он опять увидел кругом себя бурлящие, фосфоресцирующие, скатывающиеся вниз белые гребни и чью-то высокую темную фигуру перед собой. Спросонья Адам не мог разобрать, кто это.

— Что такое? Что надо? — пробормотал он, протирая слипшиеся глаза.

Это оказался Афанасие. «Он хочет меня привязать», — мелькнуло в голове у Адама.

— Надевай! — закричал Афанасие. — Надевай, что ли!

— Что надевать?

Адам нащупал жесткий, как дерево, пробковый пояс. Он не взял с собой пояса, а у каждого из рыбаков был свой.

— Не надо! — крикнул он, не даваясь. — Чей это?

— Бери, говорят! — не отступал Афанасие, пытаясь насильно надеть на него пояс своими большими сильными руками.

Волна ударила о борт лодки и окатила их холодной пеной. Адам окончательно проснулся и вырвал у Афанасие пояс. Тот съежился на дне лодки, защищая голову руками. Адам одной рукой поднял пояс и накинул его на шею рыбаку. Афанасие не двигался. Тогда Адам толкнул его румпелем и заорал во все горло:

— Надень как следует!.. Бери черпак! Отливай воду!

Потом снова, согнувшись, уселся на прежнее место. Болело все тело, особенно бока; мысли растворялись в каком-то болезненном полузабытье. «Мозг, — подумал Адам, засыпая, — в конце концов тоже, очевидно, тупеет от качки...»

Его разбудили чьи-то отчаянные, душераздирающие вопли, каких он никогда не слышал. Адам вскочил с бьющимся от ужаса сердцем. Пена ударила ему в лицо, и он снова услышал крик. Ночь была на исходе. Между низко нависшими тучами и морем струился слабый свет. Вокруг, то показываясь на высоких белых гребнях, то снова исчезая, болтались другие лодки. В двухстах саженях виднелась лодка Симиона Данилова. Она лежала наискось на огромном валу. Один из гребцов беспомощно махал в воздухе веслами; второй — на другом борту — глубоко зарыл свое весло в воду. Адам с минуту, не отрываясь, глядел на них, потом вдруг встряхнулся и толкнул ногой лежавших на мостках Емельяна и Афанасие:

— Берись за бабайки! У Симиона лопнул якорный канат!

Афанасие посмотрел на него ошалевшими от сна и усталости глазами. Емельян глянул в упор, словно спрашивая, что делать.

— Проходи вперед! — крикнул Адам.

Емельян прополз в носовую часть лодки и стал выбирать якорный канат. Адам еще раз толкнул Афанасие. Тот с неожиданной прытью вскочил на ноги, бледный, всклокоченный, мокрый, сел на весла и принялся грести как полоумный.

— Легче! Нас и так ветром несет! — крикнул Адам, оглядываясь через плечо.

Лодка Симиона еще лежала вдоль волны. Но в следующую минуту, догадавшись по лицу Емельяна, что произошло, Адам запретил себе оглядываться. Теперь все силы он направил на то, чтоб веслом хоть несколько заменить якорь, державший их собственную лодку носом против волны. Сейчас, освободившись от якоря, лодка стрелой понеслась вперед. Емельян, все еще не выпуская из рук облепленного илом якоря, делал отчаянные усилия, чтобы не свалиться за борт. Ветер гнал их с неимоверной скоростью.

— Навались, Афанасие!

Рыбак налег изо всех сил. Емельян, взяв вторую пару весел, тоже принялся грести. В нескольких саженях уже виднелось блестящее, черное, то и дело покрывавшееся пеной, днище опрокинутой лодки.

— Гребите, а то нас отнесет ветром! — хрипло кричал Адам.

Он был мертвенно бледен; глаза его горели; небритые щеки ввалились; спецовка насквозь промокла.

Отчаянно работая веслами, они с трудом удерживали лодку на том месте, где опрокинулся Симион. Лопасти весел то и дело задевали утопающих, и те орали от страха, не веря, что им помогут. В кипящей пене, как два черных шара, то появлялись, то исчезали их головы..

— Сюда, сюда! — кричал Адам, протягивая руку ближайшему.

Это оказался Симион Данилов. С выпученными от ужаса глазами он ухватился за руку Адама, подтянулся, лег животом на край лодки и, не отпуская спасшей его руки, в упор посмотрел на своего спасителя. Лицо его исказилось ненавистью и, оттолкнув руку Адама, он снова погрузился в воду. Емельян нечаянно ударил его веслом по голове. Симион зацепился за это весло, потом за борт своими большими, толстыми пальцами и с неимоверным усилием, тяжело дыша, полез в лодку. Емельян накренил ее, чтобы ему было легче.

— Смотрите, не опрокиньте! — кричал Адам. — Вытаскивай второго!

Вторым оказался Ермолай, чуть не захлебнувшийся, несмотря на пробковый пояс, в непрестанно захлестывавшей его пене. Емельян схватил его за волосы и прежде всего вытащил голову из пены. Когда грузного старшину наконец подняли в лодку, он уселся на банку, с величайшим удивлением посмотрел на своих спасителей и захохотал. Не видя в волнах третьего рыбака из опрокинувшейся лодки, Адам, Емельян и Афанасие принялись втроем звать его. Ответа не было, он, очевидно, утонул. Едва отдышавшись, Симион забился, как зверь, в противоположный от Адама конец лодки, бросая оттуда испуганные и злобные взгляды. Адам не обращал на него внимания.

— Емельян, якорь! — крикнул он.

Емельян отдал якорь. Адам греб, пока якорный канат не натянулся и не дернул лодку с такой силой, что Емельян едва удержался на ногах. Адам с замиранием сердца ждал, что будет дальше — выдержит канат или не выдержит? Рвануло еще раз, потом третий — выдержал! Только теперь нашлось время посмотреть в ту сторону, где прыгали на якорях другие лодки. Они оказались так далеко, что даже Емельян едва мог разглядеть их.

Ветер выл все жалобнее и жалобнее, носясь по взбудораженному бурей морскому простору. Наступило утро. Низко нависшие тучи создавали странное, зловещее освещение. Валы достигли такой высоты, что каждый пронесшийся мимо лодки и не заливший ее гребень казался рыбакам неповторимым чудом. Всякий раз Адам, затаив дыхание, спрашивал себя, не наступил ли последний, роковой час. Но ничто и ни разу не выдало его опасений. Сидя на корме и не выпуская румпеля, он время от времени кричал своим усталым, промокшим, измученным товарищам:

— Если канат порвется, выгребем! Держись! Нас найдут!

Емельян устроился между двумя банками и, казалось, дремал. Ермолай, сжавшись в клубок — клубок получился внушительных размеров, — сразу заснул. Афанасие продолжал вычерпывать воду. Симион, сгорбившись, отдельно от всех сидел на носу и, казалось, готов был каждую минуту броситься в море, лишь бы не оставаться в одной лодке с Адамом, с которого не сводил ненавидящих глаз.

Теперь их было пятеро. Перегруженная лодка грозила каждую минуту порвать якорный канат. Прошел час, другой, и после какого-то особенно сильного рывка, мягко скользнув в промежуток между двумя валами, лодка стала поворачиваться вдоль волны.

Адам навалился на румпель, словно он был его смертельным врагом. Емельян и Афанасие вскочили, не дожидаясь его окрика. Ермолай проснулся и мгновенно сообразил, что произошло. Все трое кинулись к веслам и принялись грести с исказившимися от напряжения лицами. Когда им, наконец, удалось выправиться и стать против волны, другие лодки были уже едва различимыми на горизонте точками. Симион так и не двинулся с места.

L.

За несколько дней до шторма Симион приезжал в Даниловку с известием, что Прикопа арестовали пограничники и он теперь в тюрьме. В тот же приезд он узнал, что Ульяна подала в суд заявление о разводе.

Мать, услышав о судьбе своего первенца, принялась громко голосить, мешая жалобные стоны с проклятиями, потом сорвала с головы платок и распустила седые косы. Старик и Симион молчали. Вечером Симион напился и проспал до самого отъезда. Прощаясь с ним, Евтей хмуро поинтересовался, «кто все это подстроил и от кого пошло зло». Симион ответил, что от Адама Жоры — только от Адама Жоры. Старик не произнес ни слова. Старуха, не разобрав, что с Евтеем, кричала:

— Чего молчишь, старый хрыч! Придумай что-нибудь! Вызволи сына!

Евтей оттолкнул ее, как попавшееся под ноги полено, и, забравшись в дальний конец двора, уселся на чурбан. Позднее, так и не сказав старухе ни слова, он уехал в город к адвокату.

Вернулся старик из Констанцы в еще более подавленном настроении, побывал в церкви, заказал молебен «об избавлении от напасти раба божия Прокопия» и снова умолк.

Вторые сутки в море свирепствовал шторм. Над выжженными засухой холмами, над желтой, пыльной землей с яростным свистом носился ветер. На селе буря разрушила немало труб, сорвала немало крыш. Ветлы качались и бились плетьми по ветру, пыль и мельчайшие частицы желтой высохшей глины тучами носились над улицей, закрывая солнце пеленой. Ветер валил с ног, все население Даниловки отсиживалось по домам, слушая, как скрипят на стропилах крыши.

В горнице у стариков стояла тишина, нарушаемая лишь тихими вздохами старухи. Евтей сидел сгорбившись, положив на колени высохшие старческие руки, когда-то сильные и тяжелые. Внезапно он встал и, потрясая поднятыми к потолку кулаками, закричал с неистовой злобой:

— Чем я провинился? Чем согрешил? Жил, как все другие... Не крал, не убивал, не прелюбодействовал. О церкви заботился! Деньги жертвовал! За что ты меня караешь? Чего от меня хочешь?

Устав кричать, он перешел на шепот. Тяжко вздыхая, он жаловался в старческом бессилии:

— Все у меня отняли. Имущества нет, род мой угас, один сын — горемыка, другой в тюрьме. За что караешь меня, господи, что я тебе сделал?

И вдруг, захлебываясь от ярости, снова стал грозить потолку:

— Да тебя, должно быть, вовсе и нет? — гримасничая, подхихикивая, спрашивал он.— Если ты существуешь, почему не накажешь того супостата? Отомсти ему за меня! — заорал он, потрясая кулаками. — Утопи его в море! Пусть сожрут его рыбы! Пусть следа от него не останется на земле, ни от него, ни от семени его! Пусть позабудется самое имя его!

Старуха, закрывая рукой рот, в ужасе слушала проклятия. А старик все вопил, брызгая слюной и угрожая потолку:

— Если ты существуешь, докажи это! Отомсти псу! Уничтожь, рассей прах его, пусть не останется ничего! Уничтожь его, господи, покарай Адама Жору!

Евтей Данилов замер с поднятыми к потолку кулаками, с торчащей вверх бородой, не в силах больше произнести ни слова.

LI.

По желто-пепельным волнам, под быстро несшимися свинцовыми тучами одиноко металась рыбачья лодка. Воздух был насыщен брызгами, видимость ограничивалась двумя-тремя милями. В лодке сидели Косма и еще два парня. Раз они увидели пароход, с трудом пробивавший себе путь по бурному морю, то поднимаясь на волнах, то проваливаясь между ними. Ребята отчаянно махали руками, но, не заметив их, пароход ушел, оставляя длинную полосу дыма, которую быстро относил ветер. Они уже больше ничего не видели, кроме волн, летящей пены и обрывков туч. Косма оброс щетиной, был бледен и смотрел лихорадочно блестевшими глазами. У Андрея глаза глубоко запали и кожа обтянула выступившие скулы. Третий парень неподвижно лежал в лодке. Косма с Андреем устало гребли. Оба промокли до нитки, в голове шумело, сил оставалось все меньше и меньше. У Андрея ныли суставы, казалось, что руки вот-вот развалятся на части. «Все равно, — думал он, — скоро конец!» Он явственно представлял себе, как усталость одолевает их, как весла выпадают из рук сначала у него, потом у Космы, и волны, немного поиграв лодкой, переворачивают ее наискось, выносят на гребень и, обвернув бурлящей пеной, опрокидывают навзничь. Да, скоро конец. Но как может быть, что он умрет? Не будет дышать, думать, чувствовать? Немыслимо примириться с этим, и все же конец, видимо, неизбежен. Как бы все его существо ни противилось, спасения нет, нет, нет!

У парня опускались руки. Словно во сне, он увидел, что продолжает грести один Косма, но гребет все слабее и слабее, все реже и реже заносит весла. Голова Андрея беспомощно болталась, в ушах звенели голоса, музыка, странные, непонятные звуки, но все это только мерещилось ему. Ветер неистово выл, крутил как сумасшедший над пустынным морским простором. Страшно хотелось спать.

Косма вдруг схватил его за руку и указал пальцем на горизонт. Андрей даже не взглянул в ту сторону, не поднял упавшей на грудь головы. Косма принялся его трясти, Андрей через силу приподнял голову, но ничего не увидел, кроме самого Космы, лицо которого, преображенное не то плачем, не то безумной радостью, было трудно узнать. От этого Андрей очнулся, выпрямился на своей банке и вгляделся в ту сторону, куда показывал Косма: вдали, на горизонте, виднелся дымок — пароход!

Онемевшими руками Андрей взялся за весла и попробовал грести. Еще час или два нужно продержать лодку против волн. Хватит ли на это сил? Нет, не хватит...

Руки отказывались повиноваться, плечи так затекли, что он их не чувствовал. Лица у обоих — у него и у Космы — сморщились, пожелтели, глаза провалились. Спать было куда легче, чем грести...

— Может, он не в нашу сторону идет, — тихо, словно про себя, проговорил Андрей, вовсе не заботясь, слышит ли его Косма. — Чего зря грести...

Весла выпали у него из рук и зарылись лопастями в воду. Косма, не зная, что предпринять, растерянно глядел в море. Вдруг глаза его зажглись, из груди вырвался вопль, в котором соединились и мольба, и решимость, и страстное желание жить:

— Спасены! «Мамаша» идет сюда, к нам! Смотри!

Он принялся изо всех сил трясти Андрея, умоляя, чуть не касаясь его лицом, готовый просверлить его горящими от возбуждения глазами.

Андрей вздрогнул, протянул руки, не глядя, нащупал рукояти весел, закинул голову назад и, уставившись в тяжелые, свинцовые, изорванные ветром тучи, принялся грести. Не обращая больше на него внимания, Косма греб так, что у него вздулись жилы на шее и лицо искривилось от усилий. Вечерело. Ветер не унимался, то и дело обдавая гребцов холодными брызгами.

* * *

«Октябрьская звезда», лишившись одного из своих якорей, медленно двигалась против ветра, то поднимаясь на гребень вала, то опускаясь в пропасть. Каждая волна, рассекаемая форштевнем, окатывала палубу, по которой нельзя было пройти без риска быть смытым. С лодок, укрепленных тросами и покрытых брезентом, ручьями стекала вода. Иногда брызги долетали до штурвальной рубки и капитанского мостика, где командный состав, не отрываясь от биноклей, осматривал горизонт.

К вечеру увидели лодку и, подойдя поближе, разглядели в ней измученные лица Космы и Андрея. Третий парень, не приходя в себя, продолжал лежать на дне лодки. Наконец, мокрые, бледные, взлохмаченные ребята с помощью матросов добрались до палубы «Октябрьской звезды».

Андрей, сделав три шага, свалился там, где стоял, и натекшая из его одежды вода сразу образовала лужу. Не замечая ничего, не произнеся ни слова, он сразу крепко заснул, уперев локти в колени и положив голову на скрещенные руки. Растолкав матросов, обступивших спасенных рыбаков, Маргарита подбежала к Косме и, рыдая, повисла у него на шее. Он ласково гладил ее по голове.

— Прости меня, прости! — шептала она, прильнув к его мокрой рубахе.

— Брось, что там! — счастливо пробормотал Косма, лаская девушку.

Потом осторожно разнял ее руки и поднялся по трапу на мостик.

— Где искать Жору? — спросил капитан.

— Прошлой ночью их отнесло ветром в ту сторону, — сказал Косма, указывая на юг, где тучи были так черны, как и на остальном небе, и клочья тумана неслись низко над огромными, сине-зелеными, жутко прозрачными волнами.

— Продан, курс 210! — скомандовал капитан.

Дрожа под напором ударявших в борт волн, «Октябрьская звезда» медленно развернулась и направилась на зюд-зюд-вест в поисках Адама и его товарищей.

LII.

Поздно ночью они увидели мигавший в море огонек. Огонек был даже не особенно далеко, как-то сразу показавшись среди волн, сквозь завесу поднятой ветром пены. Он то прыгал во все стороны, то крутился на месте, то мерно раскачивался, то дергался, то, наконец, ненадолго успокаивался и потом снова принимался прыгать... Адам, широко расставив ноги и с трудом найдя равновесие, поднялся и протяжно, во всю глотку, стал звать на помощь. Но встречный ветер относил его голос и даже, казалось,

старался запихнуть обратно в охрипшее горло вырывавшиеся из груди отчаянные вопли. Остальные проснулись и тоже принялись орать изо всей мочи.

— Огня! — крикнул Адам, нагнувшись к самому уху Емельяна.

Емельян в отчаянии стал колотить себя кулаками по голове:

— Штормовые фонари! Фонари! До сих пор не выдали!

— В ведре! — крикнул Адам.

В кромешной тьме, среди мокрой снасти и не менее мокрых человеческих тел, Емельян проворно нашарил ведро. Наполнив его сухими щепками, стружками и древесным углем, хранившимся в ящике на корме, он принялся лихорадочно чиркать спичками. Но спички отсырели, а те, которые удавалось зажечь, немедленно задувал ветер. Ермолай достал свое огниво и, спрятав его от ветра в ведре, принялся высекать искру. Остальные продолжали взывать о помощи. Но мигавший в море огонек даже и не думал приближаться. Отчаянье начинало овладевать рыбаками. Однако Ермолаю все-таки удалось высечь искру, и щепки занялись. Своими толстыми, короткими руками он поднял ведро высоко над головой, и яркое, рвущееся пламя взметнулось на мгновение вверх, чтобы тут же лечь от неистового порыва ветра. «Замечен или не замечен сигнал?» — замирая от страха, спрашивал себя каждый.

— Есть! — закричал Емельян, и все увидели, что прыгающий вдали огонек стал быстро увеличиваться в размере.

Вскоре из темноты вырос куттер, то высоко подбрасываемый волнами, то зарывавшийся между ними. Пена покрывала его целиком, пока нос куттера не выскакивал из воды в почти вертикальном положении и топовый огонь не принимался описывать в воздухе безумные спирали. Куттер вел на буксире пустую лодку. Когда он остановился в нескольких саженях от терпевших бедствие, из штурвальной рубки с неясно синевшими стеклами показалась темная фигура. Ежеминутно рискуя быть смытым волнами, человек крепко, обеими руками, держался за мачту. До рыбаков долетели заглушаемые ветром отрывистые слова.

— Говорит, чтобы мы к нему подходили! — крикнул Емельян.

Адам, схватив бабайку, уже действовал ею вместо руля. Емельян, Ермолай и Афанасие налегли на весла.

Они приблизились к куттеру, который по сравнению с узкой, легкой, похожей на ореховую скорлупу лодкой казался большим и тяжелым, и стали заходить с подветренной стороны. Послышался гул мотора. Они остановились, суша весла, собираясь упереться ими в борт куттера, когда ветер поднесет их друг к другу. Но куттер и лодку так бросало, что всякая попытка перепрыгнуть на палубу была немыслима.

— Конец! Буксирный трос! — крикнул Емельян, снова принимаясь грести.

Старшина куттера сам, держась за трос, пополз на корму. Волны то и дело перекатывало через борт, и они обдавали старшину целым потоком пены, но он только отряхивался и упорно полз дальше. Наконец канат был подан, и Адаму удалось его поймать, а Емельяну—закрепить на баке, где, безучастный ко всему, по-прежнему сидел Симион. Теперь, внезапно вскочив, он первым прыгнул в море и, ухватившись обеими руками за буксирный трос, стал подвигаться к куттеру. Воспользовавшись минутой, когда левый борт оказался почти лежащим на воде, он вскарабкался на палубу и уцепился за ванты. Адам взглянул на Емельяна: оставаться в лодке и рисковать жизнью не было больше никакого смысла.

— Все за борт! — скомандовал он.

Старшина куттера упрятал Симиона куда-то в трюм и подал знак, что ждет остальных. Ермолай не заставил себя уговаривать. Он бросился в воду и поплыл, в то время как Афанасие работал веслом, отпихивая

шедшую на буксире пустую лодку, чтобы избежать столкновения. Он был мертвенно бледен, и это было заметно даже при фосфоресцирующем отблеске волны.

— Прыгайте в воду! — повторил Адам.

Но Емельян вдруг заупрямился.

— Емельян!

— Я остаюсь в лодке, — крикнул он. — Теперь безопасно! Куттер отведет нас к «мамаше».

Адам пробрался к Емельяну, пытаясь сбросить его за борт, но тот приставил к его груди весло:

— За лодку отвечаю я!

С куттера что-то кричали — по-видимому, старшина не мог больше ждать. Адам махнул рукой Афанасие, но тот, кивнув в сторону Емельяна, тоже отказался прыгать в воду.

— Прыгай сам! — кричал Емельян. — Отправляйся на свой куттер!

«Нет, я не оставлю их, — думал Адам. — Прав Емельян —нас скоро отбуксируют к пароходу». Радуясь благополучному исходу, он заразился на мгновение уверенностью Емельяна, но вспомнил о молодежной бригаде. Сложив ладони рупором, Адам принялся кричать старшине куттера, что к норд-осту от них остались на якоре лодки Космы и других ребят. Старшина подал знак, что слышит, и через минуту куттер, ревя мотором, тронулся в указанном направлении. Буксирный трос натянуло с такой силой, что Адам, Емельян и Афанасие повалились на дно лодки. Емельян сел за руль, и лодка запрыгала по волнам, поднимая фонтаны брызг и пены. Афанасие принялся увязывать покрывавший всю переднюю часть лодки жесткий, мокрый парус. Адам уселся поудобнее, но лодку дернуло, и он больно ударился головой о банку. «Вот черт! — думал Адам.— Потони я, на мое место пошлют инструктора, которому понадобится самое меньшее полгода, чтобы освоиться с этой работенкой...» Он глубоко вздохнул и, не в силах больше бороться с усталостью, стал засыпать. Ему представилось, что он видит сквозь опущенные ресницы какие-то черные столбы, мимо которых проносится по шоссе в обкомовской машине. Потом, неизвестно через сколько времени, он увидел Ульяну, сидевшую рядом с ним. Она была печальна и упрекала его:

— Зачем ты меня бросил, Адам? И как раз, когда у нас будет ребенок...

— Что ты, Ульяна! Как я могу тебя бросить? Ты с ума сошла! Мы с тобой никогда больше не расстанемся, никогда, никогда! Слышишь? — будто бы кричал Адам в страшном смятении, крепко сжимая ее руку.

Он проснулся с сильно бьющимся сердцем, расстроенный и огорченный, хотя сознание сейчас же подсказало ему, что все это было во сне. Их лодка все так же прыгала по волнам, впереди виднелась другая — пустая, а еще дальше — черная масса куттера, который так сильно бросало из стороны в сторону, что, казалось, он неминуемо должен опрокинуться. «Хотя опрокинуться такому куттеру трудно. Построены они великолепно, да и палуба у них прочная, водонепроницаемая...» — думал Адам, и лодка, по сравнению с куттером, казалась ему легкой, хрупкой, незащищенной. Афанасие крепко спал, забравшись под парус. Емельян сидел за рулем. Адам дернул его за ногу:

— Теперь мой черед, а ты поспи!

Емельян отрицательно потряс головой и пробормотал сонным голосом что-то про «мамашу» и о том, что «теперь уже скоро». Голова у Адама опять опустилась на грудь, и он заснул как убитый, потеряв всякое представление об окружающем. Проснулся Адам от страшного крика, заставившего его вскочить на ноги. Широко раскрыв глаза, он стал всматриваться в темноту, но ничего не увидел, кроме пустой лодки и куттера.

Правда, ему показалось, что они теперь дальше, чем прежде, а буксирный трос стал как будто длиннее. Емельян показывал рукой на куттер и что-то кричал, но что именно — разобрать было невозможно. Сообразив, что буксир, по-видимому, лопнул, Адам кинулся к веслам — необходимо было прежде всего выправить лодку, чтобы избежать несчастья. Куттер быстро удалялся — он шел против ветра, и никто на нем не услышал их криков.

Распоров парус ножом, Емельян пихнул ногой Афанасие. Тот сразу схватился за весла. Тогда Емельян пробрался на бак и принялся выбирать буксир. Некоторое время он молча, сидя спиной к остальным, рассматривал конец, потом повернулся и, просунув его под банкой, подал Адаму. Адам нагнулся и взял конец в руки. В темноте ничего не было видно — конец как конец. Емельян жестом показал, что трос перерезан.

— Перерезан! — донесся его крик.

Адам нащупал конец: Емельян прав — это не разрыв. Буксир был перерезан ножом. Он поднял голову и посмотрел вслед куттеру, который почти скрылся из виду.

LIII.

Симион провалился в трюм. Немного погодя, туда же тяжело плюхнулся Ермолай, захлопнув за собой люк как раз в ту минуту, когда с палубы хлынула холодная вода от перекатившейся через борт волны. Грубые голоса встретили незваных пришельцев ругательствами, но разглядеть, кто ругался, мешала темнота. В трюме было тепло; сухой, спертый воздух был насыщен запахами рыбы, смолы, пота и мокрой одежды.

— Кто такие, братцы? — весело обратился Ермолай к сидевшим в трюме рыбакам. — Кто вы такие, родные мои, разлюбезные?

— Это не иначе как Ермолай! — сказал чей-то голос.

Второй голос снова обругал Ермолая.

— Разве так хороших людей принимают? А еще рыбаки, называется!

Ермолай был очень огорчен.

Послышалось очередное ругательство.

— А другого ты ничего сказать не умеешь? — обиделся Ермолай. — Не многому, видно, ты у матери научился, зато уж, чему научился, тому научился! А ну-ка, братцы, потеснитесь маленько, дайте лечь человеку.

В ответ раздались сердитые крики, подкрепленные ударами кулака.

— Кто там ворочается? Чего дерешься, дьявол? — возмутился Ермолай, по-прежнему не двигаясь с места.

— Зажгите свечу! — сказал кто-то.

Чиркнули спичкой, зажгли свечу. Из-под Ермолая, охая и держась за живот, вылез встреченный дружным хохотом рыбак.

— Тяжел Ермолай, что твоя белуга!

— Так это ты, Данила? — ласково обратился Ермолай к пострадавшему. — А я думаю, кто это там шевелится?..

— Что, Данила, отбил небось кулаки-то? — с насмешливым сочувствием расспрашивали вокруг.

В трюме оказалось человек девять — усталых, потных, обросших щетиной, с красными, воспаленными глазами. Симион сидел, забившись в угол. Красноватое, дрожащее пламя свечи осветило одеяла, мешки, бочку. Взлеты и провалы куттера валили людей друг на друга, и это вызывало то смех, то ругань. При свете свечи Симион узнал односельчан. Двое когда-то были его приятелями. Сыновья зажиточных родителей, обладавшие прежде лодками и снастями, теперь были рады рыбацкой зарплате, лишь бы их оставили в покое, лишь бы поскорей стерлось то различие, которым в свое время они так гордились. Симион мрачно хмурился, что-то сосредоточенно обдумывая. Одна неотступная мысль владела им. Сердце уча-

щенно билось от страха и предчувствия тайной, преступной радости. Ермолай, между тем, рассказывал, что с ними произошло:

— Ну, братцы, и хлебнул же я нынче морской соли! А какая от нее жажда! Все нутро горит!

— Выпей воды — пройдет, — проворчал кто-то.

— Это вашей-то, вонючей? Да она мутная — еще заболеешь! — с отвращением сказал Ермолай. — Очищенной нет? Кирсан, голубчик, неужто тебе все равно, когда рядом братская душа погибает? — вкрадчивым голосом обратился он к соседу, обводя всех своими маленькими, хитрыми глазками, блестевшими на его толстой, красной физиономии.

Тот, кого он назвал Кирсаном — один из приятелей Симиона — повернулся и принялся шарить среди рыбацких пожитков. Предвкушая удовольствие, Ермолай расплылся в блаженной улыбке, а при виде бутылки, которую наконец нашли и вытащили, радостно потянулся к ней обеими руками:

— Давай-ка, братец, ее сюда — попробую, что в ней такое, и вам скажу.

— Не давайте ему, пока сами не выпьете, а то вам ни капельки не достанется, — крикнул кто-то из глубины трюма.

— Много, видно, у меня здесь врагов! — не без гордости усмехнулся Ермолай. — Люди нынче злые стали... А ты, Кирсан, делай, как я говорю, — останешься доволен. Чтобы в жизни везло, братец, старших нужно уважать и слушаться... Не трогай! — крикнул он вдруг испуганным голосом. — Давай сюда!

Рядом, за переборкой, гудел мотор, заставляя дрожать все, что было деревянного на куттере. Свеча мигала, готовая каждую минуту погаснуть. Обливаясь потом, со слипавшимися от усталости глазами, рыбаки по очереди пили из горлышка. От качки содержимое бутылки лилось им на бороды, на одежду. Запах цуйки присоединился к остальным запахам трюма, воздух стал еще гуще. Покончив с бутылкой, рыбаки, ворча и ругаясь, принялись за поиски других и вскоре обнаружили припрятанный запас.

Симион, который сидел согнувшись, как и все остальные, потому что иначе в трюме сидеть было невозможно, вдруг поднялся и приоткрыл люк. Струя холодного воздуха, брызги и шум бушевавшего моря ворвались в трюм.

— Закрой! — заорали рыбаки.

Симион огрызнулся, крикнув, что идет по нужде.

— Можно и здесь! — объявил Ермолай. — У меня сердце доброе — не обижусь. Такой я человек — не из обидчивых.

Но остальные закричали, чтобы Симион поскорее вылезал и поплотнее закрыл люк. Симион выбрался на мокрую палубу, захлопнул люк и, судорожно цепляясь за гик — куттер мог ходить и под парусом, — пополз на корму. Он прекрасно знал, что неминуемо окажется в море, если хоть на миг выпустит гик. Палуба, выплясывая какой-то сумасшедший танец, вздымалась то левым бортом, то правым. Симион, как только глаза привыкли к темноте, увидел шедшие на буксире лодки. Пустая, принадлежавшая сидевшим в трюме рыбакам (это была одна из худших бригад во всей флотилии — пьяницы и лентяи, как на подбор), болталась в нескольких саженях. Другая шла дальше. В ней был Адам Жора. Симион ненавидел его всю жизнь. И вот, наконец, Жора оказывался в его власти.

— Ты отнял у меня жену, но и тебе с ней не жить. И тебе ее не любить, не ласкать... — бормотал Симион, припав животом к мокрой палубе. — Теперь тебе не уйти. На этот раз, Адам Жора, тебе каюк — будешь гнить в воде, кормить рыб!

Рассмотрев как следует, который из буксиров ведет к лодке Емельяна, Симион достал из-за голенища разделочный нож и, продолжая крепко

держаться левой рукой за гик, одним взмахом перерезал трос. Отрезанный канат, как змея, взвился в воздухе, потом шлепнулся в воду и исчез. Симион, чувствуя себя безгранично счастливым, пополз обратно, открыл люк и под пьяную ругань рыбаков свалился в трюм.

— Симион, голубчик, пойди ко мне, пропусти глоточек, вспомни, как ты у матери грудь сосал! — взывал размякший от водки Ермолай. Он сунул Симиону в рот горлышко бутылки и чуть не выбил ему при этом передние зубы — куттер подбросило на волне.

Симион глотнул, потом попробовал из другой бутылки и вскоре совсем опьянел. Он так паясничал, так громко заливался дурацким смехом, что даже Ермолаю в конце концов показалось, будто собутыльник смеется не только его шуткам и непристойностям.

— Ты, Симион, слаб стал на водку! — сказал Ермолай с укоризной, но как раз в эту минуту Симион насупился от мысли, что Адам все-таки может спастись и тогда будет нетрудно доказать, кто перерезал буксир. «Глупости, — успокаивал он себя, — при таком шторме, без куттера, без надежды, что их найдет «Октябрьская звезда», Жора обречен на верную гибель...» К нему снова вернулось хорошее настроение. Ермолай вдруг полез целоваться:

— Ты, Симион, сволочь, конечно, пес, а все-таки хороший малый! И ты сволочь, и весь твой род сволочной — все вы сволочи, а все-таки ребята что надо! А ну-ка, потяни еще разок из соски!

И Ермолай опять ткнул ему в зубы бутылкой.

Пьяный вдребезги Симион неторопливо соображал: в Констанце Ульяна, он отыщет ее, обнимет, как обнимал раньше, когда она принадлежала ему, стиснет, навалится на нее, потом задушит...

— Давайте, ребята, — внезапно предложил он, — махнем прямо в Констанцу!

Ермолай обрадовался:

— Айда в Констанцу! По крайней мере, выпивка будет, а то наши умники на пароходе буфет закрыли.

— Айда в Констанцу! — орал Симион. — И выпьем, и к бабам съездим!

«А я отыщу Ульяну и убью! — думал он. — Вот так, своими руками, сверну ей шею. Лишь бы никто не узнал...»

Некоторые из рыбаков высказали сомнение: дома терпимости закрыты, куда же ехать?

— Знаю я, куда! — огрызнулся Симион. — Есть и такие, что по частным квартирам живут. Вам что, вывеска нужна или баба? Без вывески не можете?

— Я без вывески и без разрешения от примарии не могу! — кричал Ермолай, трясясь от смеха.

Шутки, хохот и крики еще более утвердили рыбаков в их решении. Ермолай с Симионом, толкаясь и спотыкаясь, добрались до штурвальной рубки и, дыша спиртом в лицо старшине, велели ему держать курс на Констанцу. Старшина — это был Павелика — нахмурил черные брови и попробовал протестовать:

— Рехнулись вы, что ли! Слышать не хочу! Вы мне не начальство.

Но Ермолай легонько похлопал его по плечу и чуть при этом не сломал ключицы, а Симион молча вынул нож.

— Ты на него не смотри,— ласково уговаривал Павелику Ермолай.— Слушай лучше меня — я человек хороший. Он — пес, а я добрый, такой души, как у меня, ни у кого нет.

Павелика, напуганный ласковостью Ермолая не менее, чем молчаливыми угрозами Симиона, еще попробовал, было, сопротивляться, но когда

Ермолай дружески взял его за руку, а Симион пощекотал сквозь одежду острием ножа, он побледнел и бросил штурвал:

— Делайте, что хотите. Я больше ни во что не вмешиваюсь.

Старшина спустился в носовую каюту, где он помещался вместе с мотористом, а Ермолай преспокойно занял его место за штурвалом и круто повернул куттер на вест-норд-вест. Суденышко задрожало от страшного напора волн, но Ермолай был доволен: они шли туда, где была выпивка. На куттере не осталось ни капли спиртного.

Симион втиснулся между рыбаками; некоторые горланили пьяные песни, другие храпели, упившись до потери сознания. Мысль о том, что Жора теперь наверняка погибнет, продолжала радовать Симиона. Он то смеялся, то покачивал головой, испытывая огромное облегчение: «Ну и счастье привалило! Вот уж не ждал! Наконец-то избавился!»

Настал серый пасмурный рассвет. По грязному небу, низко над морем, плыли грязно-желтые тучи. На горизонте уже виднелись пологие, продолговатые холмы, башни и серо-землистые дома Констанцы, когда Павелика, надеясь как-нибудь урезонить Ермолая, вышел из каюты.

— Ты уж, брат, пожалуйста, в порт не входи! — просил испуганный, взъерошенный, желтый от бессонницы старшина.

Ермолай, все еще не протрезвевший, оттолкнул его локтем, притиснув к переборке. Павелика посмотрел на волны, которые были выше куттера. Из рубки не было видно ни антенн портовой радиостанции, ни минарета большой мечети в Констанце. Но Павелика думал не об этом. Только теперь обнаружил он отсутствие Емельяновой лодки. Плача, дополз он до люка; из темного трюма на него пахнуло тяжелым запахом спирта и блевотины. Спустившись вниз, старшина принялся уговаривать и умолять пьяных рыбаков:

— Заходить в порт опасно, братцы, у волнореза опрокинет. Наверняка все потонем, товарищи! Давайте лучше укроемся от шторма за Тузлой!

Рыбаки, не понимая, чего он хочет, и даже не выслушав его, принялись ругаться хриплыми с перепоя голосами, изощряясь в самых сложных и обидных ругательствах. Ермолай тем временем вел куттер прямо в гавань. Какой-то грузовой пароход держался на почтительном расстоянии от входа на рейд, выжидая, пока уляжется волнение, но на Ермолая и это не произвело никакого впечатления. Волнорез совсем не казался таким страшным с моря. Черные, зловещие волны яростно стремились к порту, лезли на маяк, пенясь и поднимая брызги до самого фонаря, потом бежали вдоль берега, но Ермолай вел куттер прямо к рыбачьей гавани: знай, мол, наших!

Павелика все еще пытался уговорить рыбаков, когда куттер резко и неожиданно остановился, а затем всё, вместе с самим Павеликой, полетело куда-то вверх тормашками. На голову ему свалилось чье-то одеяло, и он вдруг почувствовал, что вода стремительно прибывает. Только что доходила до щиколоток, и вот уже до колен, до бедер... Куттер опрокинулся. В кромешной тьме трюма душераздирающе вопили люди, натыкаясь друг на друга. Какой-то ящик больно ударил Павелику в спину. Вода теперь была уже по пояс; чьи-то руки судорожно вцепились в плечо старшины. Воздух становился все тяжелее из-за поднимавшейся воды и давил ему на барабанные перепонки.

— Спасайтесь через люк, он под нами! — закричал Павелика не своим голосом и тут же услышал, как Симион в ответ обругал его матерным словом.

Кое-как пробившись к люку сквозь путаницу человеческих тел и плавающих в воде одеял, сапог, сундуков, кастрюль, мешков и матрацев, Павелика, сопровождаемый воплями и руганью рыбаков, нырнул под палубу перевернувшегося куттера. Чуть не захлебнувшись, он в последнюю

минуту успел выскочить на поверхность и медленно поплыл не прямо к берегу, а вдоль волн, к тому месту, где они казались меньше и тише. Через два часа пловец выбрался на песчаный берег и лишился чувств. Еще через несколько часов портовые власти узнали, что на берегу был найден и отвезен в больницу человек, который в бреду бормочет что-то о куттере, опрокинувшемся у волнореза, при входе в порт. Лишь на третьи сутки, когда буря несколько улеглась, катер портового управления обнаружил недалеко от берега торчавший из воды нос погибшего куттера. Оттуда слышались стуки. Вернулись в порт, захватили топоры, молоты, долота и, проделав отверстие в борту, извлекли из куттера здоровенного, тяжеленного рыбака с белым лицом и мутными глазами. Это оказался Ермолай, которого, когда куттер опрокинулся, втиснуло водой в носовую каюту. Тяжесть дизеля, помещавшегося в кормовой части, поддерживала все это время нос куттера задранным над водой. В каюте было темно, воздуха становилось все меньше, но Ермолай выжил. Когда его перетащили на катер, он уселся, опершись локтями в колени и беспомощно свесив голову. Потом вдруг вскинул свои хитренькие глазки и проговорил слабым голосом:

— Папироски у вас не найдется?

Ему вложили в рот папиросу и зажгли ее. Один из матросов портового управления достал из кармана флягу с ромом и, открутив пробку, протянул ее Ермолаю. Но ударивший ему в нос запах спирта заставил его вздрогнуть, еще сильнее побледнеть и оттолкнуть флягу.

— Я не пью, — прошептал он чуть слышно. — Воды бы, если есть...

Поднять куттер стоило немало труда, хотя он и затонул на глубине всего двух-трех метров. Волны, двое суток колотившие его о скалистое дно, разбили в щепки всю корму и повредили двигатель. Захлебнувшегося моториста нашли в машинном отделении; из трюма извлекли девять трупов, в том числе — Симиона Данилова.

LIV.

Всю ночь ветер гнал их куда-то, но куда именно — они не знали. К утру Афанасие, выбившись из сил, бросил весла и вытянулся без движения на дне лодки. Адам Жора впервые понял, что он действительно может погибнуть. Небо было железным, пепельно-черным. К нему, казалось, были подвешены тяжелые, чугунные тучи, приводившиеся в движение какой-то гигантской космической машиной. Передачи, шестерни и ржавые, исполинские валы этой машины были невидимы, зато хорошо слышался их лязг, скрип и грохот. Волны тоже казались чугунными и с невероятной механической яростью сталкивались в чугунном море. Залетавшие в лодку тяжелые брызги били в спину, как картечь. Весь окружающий мир представлялся Адаму железным, чугунным — из слабого, изболевшегося, уставшего людского мяса были только он да двое товарищей по несчастью. Неужели конец? Адам еще раз — в последний раз! — занес весла, державшие лодку против волны. Его руки совсем обессилели, натруженные мышцы болели, отказывались повиноваться. Конец!

Он ошибался. Еще не зная, откуда берется сила, и сам поражаясь ей, он снова и снова заносил весла и вел их назад, хотя ветер толкал в грудь и мешал. Исхудалое, обросшее щетиной лицо Адама, похожее на обтянутый кожей череп, вдруг осветилось испуганной, изумленной и в то же время торжествующей улыбкой. Улыбался он бессознательно, потому что все его внимание было поглощено удивительным открытием, которое он только что сделал и в котором сам еще не был окончательно уверен. Человек говорит: если хватит сил... Как узнать, сколько у него осталось сил? Что такое усталость? Отсутствие желаний. Человек так устал, что ничего

не хочет. Но если он еще хочет, если находит в себе скрытую энергию для желания, то и силы его равны этому желанию... Сколько ему нужно для этого сил, столько их и будет... Значит, стоит только захотеть?!

Адам не был уверен, не бредит ли он от усталости и изнурения, не родилась ли эта мысль в его мозгу от непрерывной тряски и качки. Одно было несомненно: все его существо охватила бесконечная радость одержанной победы. «Адам, ты, кажется, сходишь с ума, — сказал он самому себе, забывая об усталости и опять занося весла. — Неужели ты воображаешь, что твои силы неистощимы? Все твои рассуждения — вздор, Адам. Еще немножко — и ты утонешь, потом сгниешь в воде и, по крайней мере, успокоишься — забудешь о том, что ты всемогущ...» Он вздрогнул: «К черту, проклятое сомнение! Если поддаться сомнениям, обязательно утонешь! Сомнение — путь к гибели, моя мысль — путь к жизни! Посмотрим, кто прав!»

Он снова занес весла и опустил их в пепельно-черную воду.

Емельян, который все время сидел согнувшись, вдруг опустился на дно лодки и, передвигаясь на локтях и коленях, пополз к Адаму.

— Конец! — крикнул он, поднимая к нему мертвенно-землистое лицо и полный безнадежности взгляд.

Адам выдохнул:

— Нет!

— Конец! — повторил Емельян, произнося это слово, как непререкаемый приговор, и вкладывая в него все свое отчаяние.

Адам отрицательно покачал головой: на слова не хватило сил.

Емельян оперся на локоть и со стоном опустил голову, потом снова поднял глаза:

— Дети!.. Никогда больше не увижу...

Адам молчал, продолжая работать веслами. Грести было особенно трудно, потому что ветер гнал их в обратную сторону; лодку так сильно качало, что одно весло постоянно оставалось в воздухе, а другое наполовину зарывалось в воду, и гребцу приходилось работать одной рукой... В душу его опять начало закрадываться сомнение: «Ты увидело, что я тебе не поддался, и решило действовать окольным путем? — препирался с ним Адам.— Ты проникло в Емельяна, ты затуманило его взор, ты заговорило его языком! По-твоему выходит, что я тоже никогда не увижу своего ребенка, никогда больше не увижу Ульяну? Прождав столько лет, потеряю ее навсегда? Ульяна! Ульяна!»

Он хотел перекричать бурю. Но кто мог его услышать? Гигантская машина все так же скрипела ржавыми вальцами, стремясь размолоть в порошок и лодку, и людей, как мельничный жернов зерно.

Емельян растолкал Афанасие, лежавшего без чувств, и стал привязывать его и себя концом пенькового троса к лодке. Смертельная усталость неузнаваемо состарила Емельяна. Привязываясь к лодке, он двигался медленно, словно во сне. Совсем обессилевший Афанасие снова опустился на дно лодки, где плескалась вода, которую некому было вычерпывать.

— Нет! — орал Адам.— Нет!

Он сам не знал, к кому обращено это «нет!», но чувствовал, как в нем накапливаются злоба, и решимость, и сила: «Ты хочешь меня истолочь, размолоть, как зерно? А я не дамся, не попадусь в твои шестерни! Так ловко проберусь, проскользну, прокрадусь, что ты меня не поймаешь! Нет, чертова машина, не можешь ты меня истолочь! Не можешь, не можешь, не можешь! И никогда не сможешь!»

Что это было? Сокровенные мысли или громко выкрикиваемые слова? Он и сам не знал. Емельян собрался молиться, как издревле молились рыбаки в море перед смертью, но у него ничего не вышло.

— Не могу я больше молиться!..— простонал он на ухо Адаму, глядя измученным взглядом.

— Развязывайся, чего привязался! — бешено заорал на товарища Адам.

Емельян смотрел, выпучив глаза, ничего не понимая. Адам вытянул ногу с торчавшей из-за голенища рукоятью ножа.

— Режь конец!

Такое неслыханное решение ужаснуло Емельяна. Как? Ведь он покончил все расчеты с жизнью, привязал себя к лодке — оставалось только дожидаться смерти, и вдруг ему велят резать конец, начинать все сначала?..

Страшный порыв ветра с диким воем пронесся по бурному морю, на миг разогнав грозные серые тучи и оглушив гибнущих рыбаков. Емельян, послушно вынувший нож из-за голенища Адама, перерезал конец и развязал Афанасие. Внезапно взгляд его устремился вдаль. Он медленно поднял руку и показал в ту сторону ножом. Адам повернулся, чтобы посмотреть, но в эту минуту лодка скользнула в промежуток между двумя пенящимися гребнями и весь видимый мир снова ограничился для них чугунными волнами и низкими свинцовыми тучами. На пожелтевшем лице Емельяна отразился такой ужас, что Адам с нетерпением ждал, когда лодку снова вынесет на гребень. Он улучил наконец подходящую секунду и, взглянув туда, куда показывал Емельян, сразу увидел все. На горизонте виднелась светлая, зеленовато-серая полоска ясного неба, под нею высокий, скалистый берег, а еще ниже—белая кайма разбивающихся об него страшных смертоносных волн. «Неужели конец?» — снова мелькнуло в голове у Адама. Открытое море было менее опасно, чем такой берег. А лодка, подгоняемая ветром, неслась прямо на эти скалы. Было видно, как у самых утесов огромные валы отступали, сворачивая пенистые гривы, и с новой яростью кидались на скалистый берег только затем, чтобы опять отступить и опять кинуться на скалы. «Неужели это и есть конец? Сейчас, вон под тем утесом?.. А как же Ульяна, та Ульяна, которая допытывалась, хочет ли он ребенка? Умереть теперь, сейчас?..»

Адам вдруг злобно расхохотался.

— Непременно теперь? А может, я не хочу? Может, у меня теперь другие дела?

Он хохотал как помешанный. Афанасие неподвижно лежал на дне лодки и, казалось, крепко спал. Емельян с ужасом глядел на поднимавшиеся из моря утесы, которые все приближались и приближались. Адам выждал минуту, когда лодку подняло на гребень, и, повернувшись, посмотрел на берег такими глазами, словно хотел проглотить и землю, и море, и небо.

— Туда! — крикнул он Емельяну.— Держи туда! На песок!

Емельян понял. Быстро, по-медвежьи косолапя, он дополз до кормы и схватил весла. Направо виднелась узкая полоска песчаного берега. Там, по крайней мере, море не размозжит их черепа о скалы. Там им предстояло или утонуть, или спастись.

Грести становилось все труднее и труднее. Приходилось бороться и со встречным течением, и с водоворотами, коварно поднимавшими свои воронки к самой поверхности волн. Лодку то подкидывало вверх, словно кто-то выталкивал ее из пучины, то засасывало в открывавшуюся под ней пустоту, и тогда она падала в пропасть. Весла глубоко, чуть не по самые уключины, зарывались в воду. Напряженно озираясь, гребцы готовились каждую минуту броситься в море, чтобы плыть прочь от лодки, близость которой могла в одно мгновенье стать смертельно опасной. Грохот разбивавшихся о берег волн оглушал. На камнях ясно виднелись темно-красные

жилы, отчего скалы казались громадными сгустками свернувшейся крови. Ветер безжалостно трепал низкий, редкий кустарник; в вышине кружились птицы. Раскрыв острые, твердые клювы, они смотрели сверху на людей круглыми, хищными, неподвижными глазами...

Вдруг все наполнилось водяной пылью, волны вздыбились, выросли до головокружительной высоты. Упершись в весла, почти не двигаясь, Адам все еще держал лодку на гребне. Он мог бы, конечно, броситься в воду, но был умудрен опытом и знал, что нужно до последней возможности оставаться в лодке. Море теперь вздымается, как один могучий, длинный вал такой высоты, что страшно заглянуть в зияющую за ним пропасть. Весла, опущенные в клокочущую пену, дрожат, как натянутые струны; дрожь эта отдается в голове; но не сдавайся, Адам, веди лодку прямо к песчаному берегу!

Слева огромные, красные, обросшие мохом скалы, похожие на сгустки крови, то и дело исчезают под водой; с них ручьями стекает пена, но на смену прежнему бежит новый вал, чтобы с пушечным грохотом разбиться о каменную грудь скал и устремить ввысь сказочный фонтан пены. Держи правее, Адам, туда, где волны бурлят у песка, то отступая, то снова бросаясь на приступ! Там, дальше, на краю утеса, ветер пригибает к земле кустарник. Видно, как он дрожит и бьется на фоне изумрудно-зеленого, холодного, прозрачного, чистого неба! Хоть ты и оглушен ревом бури, хоть и измучен качкой, не сдавайся, Адам, веди лодку прямо к цели, не выпускай весел! У твоей Ульяны ясный взгляд, влажные, дрожащие губы, а когда она смеется, сверкают крепкие, белоснежные зубы и вокруг глаз собираются мелкие морщинки.

— Не грусти, Ульяна, вернусь! — закричал Адам со страшным напряжением.

Лодку вынесло на гребень огромного, чудовищного вала. Красные скалы угрожающе накренились над ними, словно собираясь обрушиться на головы. Адам взглянул на Емельяна: «Готовься!» С Афанасие уже ничего нельзя было поделать. Емельян ответил одними глазами. Они без слов понимали друг друга. Их связывала давнишняя дружба людей, которые годами словно врастают друг в друга. Двое, трое — сколько бы их ни было — перед лицом смертельной опасности такие друзья действуют, как один человек. Лодка на мгновение задержалась и, дрожа, повисла на пенистом гребне. Потом зеленый, прозрачный вал перекинулся, увлекая и лодку и людей, и зарыл их в бурлящем хаосе белой пены.

Адам не заметил, как опрокинулась лодка, как самого его выбросило далеко в воду. Он почувствовал только, что какая-то страшная сила все глубже и глубже погружает его в темную, зеленую пучину... Успев в последнюю минуту набрать воздуха в легкие, Адам терпеливо дождался, пока эта сила иссякла, перестала действовать, и тогда, с готовой разорваться грудью, оглушаемый даже тут, под водой, грохотом прибоя, поплыл вверх, осторожно выпуская изо рта целые пучки сверкающих, серебряных пузырьков и отталкиваясь сильными движениями рук, как машет крыльями взмывающая в небо птица. Он едва успел выскочить на поверхность и, хрипя, захватить в легкие запас воздуха, как над ним тотчас же выросла новая гора, с тонкой, прозрачной кромкой. Десятки тонн зеленой, темной воды обрушились на его голову и снова увлекли вниз. На этот раз Адам поплыл не прямо вверх, а наискось, и те же сильные, яростные взмахи рук опять понесли его на поверхность, которая снизу казалась составленной из тысячи двигающихся овальных зеркал, озаренных слабым, зеленоватым светом другого мира. Он выплыл, но очередной вал, накрыв его, снова низверг в темную, холодную глубину. Воздуха в легких не хватало, и Адаму стоило неимоверных усилий воли не открыть рта. Мучительная жажда воздуха, страшное сердцебиение и дурнота одолевали его.

Больше всего на свете хотелось широко открыть рот и глотнуть, если не воздуха, то хотя бы морской воды. Плывя вверх, он почувствовал, что все кончено, и страшная, нестерпимая боль сжала сердце. Но именно эта нестерпимая боль пробудила в нем такую бешеную злобу, такую непобедимую волю к сопротивлению — его прежнюю, непокорную, строптивую волю, — что, собрав последние силы, он яростно заработал руками и вновь устремился к сверкавшим над головой серебряным, двигающимся зеркалам. Выскочив на поверхность и жадно втянув в себя воздух, Адам вместе с воздухом глотнул горькой морской воды, от которой его сразу затошнило. Оглядевшись, он успел заметить, что плывет в промежутке между двумя исполинскими волнами — может быть, последними, которые ему суждено видеть в жизни. Но Адам был знающий свои силы, искусный пловец; он смерил глазами догонявший его, кипящий пеной вал, сознательно поддался его власти и пустился вместе с ним вверх. Очутившись высоко в воздухе, он улучил секунду, когда увлекший его гребень готов был свернуться, нырнул и быстро поплыл, упираясь в несущуюся вперед воду и чувствуя, как над его головой бурлит пена, как его крутит и тянет то вверх, то вниз. Его переворачивало, но он нарочно уходил все глубже и глубже; потом делал рывок вверх и опять выскакивал на самый хребет волны, на пенистый гребень, все время помогая руками той силе, которая неудержимо несла его вперед и вверх. И снова слышал за собою рев настигающего вала, и снова уходил обратно в пучину, а потом плыл вверх и наискось, яростно, бешено выгребая руками, едва выдерживая жгучую боль, раздиравшую ему сердце, нестерпимую жажду воздуха и соблазн глотнуть, чтобы покончить с этой мукой. Нет, нет! Плыви вверх, Адам, не сдавайся!.. Он опять — в который раз?! — вырвался на поверхность, опять наполнил воздухом истерзанные легкие, опять видел клокочущую пену у берега и море, с головокружительной быстротой несшее его к этому берегу. Последний вал протащил его над мутной, полной жестких, холодных водорослей водой, выбросил на песок и с неудержимой силой поволок обратно. Крича и цепляясь, Адам чувствовал, как море, несмотря на все усилия, неудержимо тянет его назад. Но Адам, перехитрив его, нырнул в грязную, полную морской травы и песка воду и, борясь против слепой, бессмысленной силы крутивших его во все стороны течений, водоворотов и шумевших над ним волн, стал пробираться к тому месту, где они казались тише. В последний раз подхваченный волной, он почувствовал под руками ракушки и твердый песок, потом, сделав еще одно, последнее усилие, глубоко запустил пальцы в песчаное дно, удержался и пополз...

Волны то влекли его вверх, то били в спину, то наваливались на него всей своей тяжестью, то пихали вперед, пока, наконец, его голова не оказалась над водой. Тяжело дыша и охая, он пополз было дальше, хотя все руки у него были жестоко исцарапаны, а по изрезанной острыми ракушками груди струилась кровь, но прополз всего несколько шагов и упал, уткнувшись лицом в твердый, мокрый песок. Потом он поднялся на четвереньки, уперся локтем в колено и с трудом встал на ноги.

Повернувшись к грозно ревевшему за его спиной морю, Адам заметил у берега человеческую голову и вошел в воду, но голова тотчас же исчезла. Следующий вал выбросил Емельяна с исказившимся от смертельного ужаса лицом. Адам схватил его за руку. Погрузившись рядом с ним в воду, цепляясь свободной рукой за песок, он поволок его за собой и вытащил на берег. Волосы Емельяна, серые, как шерсть матерого волка, были забиты песком, лицо стало мертвенно землистым, взор потух. Емельян долго лежал на боку, бессильно уронив свою большую, квадратную голову и опустив веки на ввалившиеся глаза. Адам лежал рядом с ним на животе, уткнувшись лицом в песок, и чувствовал, как дрожит земля от прибоя. Закрыв глаза и с наслаждением вдыхая воздух, он

ощущал необычайную легкость во всем теле, воздушность, какую-то прозрачную чистоту. Горло судорожно сжалось, но слез не было. Он снова поднялся на ноги. Емельян повернулся и поглядел на товарища. Его до неузнаваемости исхудалое лицо осветилось ласковой улыбкой. Засунув руку в карман парусиновых штанов, из которых ручьем текла вода, он достал что-то и посмотрел на свою раскрытую ладонь. На ней лежали комочек мокрой бумаги, маленькая кучка промокшего табака и пара еще сохранивших свой первоначальный вид папирос. Остальные совсем развалились. Волочась, как раненый зверь, Емельян дополз до сухого места, расправил сохранившиеся папиросы, бережно положил их на песок сушиться, потом закрыл глаза и, казалось, задремал.

Медленно, чувствуя страшную слабость в коленях, Адам отправился отыскивать более отлогий склон; найдя, полез наверх и добрался до верхнего края обрыва. За его спиной ревело море и добивало о скалы их лодку. Правее, в клокочущей у берега пене, то показывалось, то исчезало тело утонувшего Афанасие. Кругом со всех сторон завывал холодный ветер, от которого на Адаме быстро просыхали приставшие к нему водоросли, соль и песок. Над ним, среди туч, виднелись широкие прогалины ясного, бледного неба. Впереди расстилались пологие холмы и желтая выжженная земля с редкой травой без единого дерева. Жилья нигде не было видно. Ветер гонял по степи смерчи пыли, из-за туч падали косые лучи солнца; дальше стояли синие стены криво падавшего дождя. «Где-нибудь поблизости должны же быть люди!» — подумал Адам и пошел их разыскивать.

Сентябрь 1952 — май 1955 года

Роман печатался с сокращениями.

«МАЛЬЧИК С ЛЕСНОГО БЕРЕГА»
Рис. В. Горяева

Джеймс Олдридж

МАЛЬЧИК С ЛЕСНОГО БЕРЕГА

Перевод с английского И. Бернштейн

Под редакцией Е. Калашниковой.

Было у меня два заветных желания: убить лисицу и поймать двадцатифунтовую муррейскую треску. Дошло до того, в конце концов, что я больше и думать ни о чем не мог. Почему так, трудно сказать; может быть, поначалу все дело тут было в Томе Вудли. Том Вудли жил в городе и был богат, а я жил в лесу и был беден. С этого все и пошло, но, как часто бывает в жизни, со временем тут для меня стало важно совсем другое.

Я жил с отцом, дровосеком, на берегу Муррея, милях в трех-четырех от города Сент-Элен, штат Виктория. И правду сказать, я только и знал, что свой лес, а Тому Вудли все было нипочем — он и учился хорошо, и в спорте был из лучших, и в церковь ходил исправно, и еще умел сделать так, чтобы все в городе его любили, даже учителя и полицейский. Том был всюду первым, я—всюду последним, кроме нашего лесного берега. В городе любой мальчишка в чем-нибудь да мог меня обставить, но стоило этим городским мальчишкам

очутиться за городом, где-нибудь в лесу или на реке, и тут уж никто из них не мог со мной тягаться — так было до самого того дня, когда Том Вудли в отцовском форде выехал с приятелями к Муррею на пикник и в первый же час убил лису из двадцатидвухкалиберного ружья и поймал на удочку пятнадцатифунтовую треску.

Ни того, ни другого мне, выросшему в лесу, еще никогда не удавалось сделать. Я переловил чертову пропасть рыбы и однажды вытянул даже треску фунтов этак на десять, но крупнее этого мне ничего не попадалось. Когда бывали патроны, я часто бил кроликов, я, можно сказать, жил продажей кроличьих шкурок; но вот подстрелить лису мне еще не посчастливилось ни разу.

Я знал, что Тому Вудли просто повезло, но от этого было не легче: ведь мне теперь и вовсе нечем было крыть; ну, я и перестал ходить в город совсем, даже в школу бросил ходить, сидел дома или бродил по берегу, твердо решившись не давать повода для насмешек мальчишкам в башмаках и взрослым из тех, что стоят за прилавками, и не показываться в городе до тех пор, пока я не поймаю двадцатифунтовую треску и не убью лисицу.

С лисицей дело обстояло особенно трудно, и тем не менее настал день, когда я увидел перед собой лисицу так близко, что, будь я постарше и посильнее, я мог бы убить ее ударом палки по голове.

Вышло это случайно. Я в тот день совсем и не охотился и не удил, а просто собирал грибы. Вода в реке стояла тогда довольно высоко, и все ложбины на Пентал-Айленде превратились в мелкие озерки или болотца, а сухие пригорки между ними были словно островки, поросшие кое-где кустарником. Перебравшись через одно такое озерко, я поднялся на бугор, на вершине которого рос одинокий ветвистый куст. Стал собирать под кустом грибы и вдруг вижу: лиса. Она учуяла меня, но удирать ей было некуда. Воды она боялась еще больше, чем меня. Она пятилась от меня, а я пятился от нее. Островок, на котором мы с ней оба оказались, тянулся всего на каких-нибудь тридцать квадратных футов, и расстояние между мной и лисицей было не больше десяти ярдов. Но у меня не было ружья, и так мы с ней и стояли: я тут, а она там, хвост трубой, зубы оскалены, но сама не шелохнется.

Медленно отступил я обратно в воду. Без ружья я ничего не мог сделать, а до дому добираться мне было не меньше часу: сначала переплыть реку, а потом еще целую милю идти по зарослям. Но я знал, что эта лиса все равно никуда не денется. Я знал лис и знал, что эта лиса боится воды и скорее подохнет, чем войдет в нее. Поэтому я поставил на землю мешок из-под сахара, в который я клал грибы, перебрался через заводь и бегом пустился к дому.

Дома у меня висело двадцатидвухкалиберное ружье, но я его не захватил по той простой причине, что у меня не было патронов, и теперь, на бегу, я все ломал голову над тем, где бы достать патрон, только один патрон. Я вспомнил на бегу про тот патрон, который в прошлом году уронил в поленницу. Да разве его там найдешь? Я уже раз двадцать пробовал и все без толку. Занять было не у кого, а дома я давно уже перерыл все ящики — хоть бы один патрон завалялся где-нибудь. Я понимал, что бегу зря, но все-таки бежал. По заросшему высокой травой берегу я спустился к реке, спрыгнул в воду, переплыл глубокое место, потом пошел вброд, потом, пробираясь сквозь ивовые заросли, вскарабкался на высокий берег и побежал к дому.

Дома я сразу же бросился к поленнице и, тяжело дыша и отдуваясь, стал шарить в ней, разгребая щепки руками и ногами. Найти этот патрон в груде прошлогодних щепок и опилок я, конечно, не смог, и, отчаявшись, вошел в дом. Заглянул в ствол своей винтовки — пусто. Я прекрасно знал это и все-таки надеялся. Но теперь мне оставалось одно. Отца не было дома — он рубил дрова в лесу; я вошел в его комнату и снял со стены отцовский дробовик. Он был такой тяжелый, что я едва не выронил его, когда снимал. В магазине лежала обойма с тремя патронами. Ружье было вычищено, но из него уже много лет не стреляли. Отец сам неохотно пользовался им и держал заряженным просто на всякий случай. Я снял его и выволок во двор. Это был тягчайший проступок. Мне строго-настрого запрещалось прикасаться к этому ружью. Но сейчас мне было все равно.

Взвалив тяжелый дробовик, словно бревно, на плечо, я бегом пустился в обратный путь. Я уже порядком устал и вскоре должен был перейти на быстрый шаг. Но время от времени я снова пускался рысью и так, то шагом, то бегом, добрался до реки, переплывая которую чуть было не утонул, потому что все время старался повыше поднять ружье. Все равно у меня не хватило сил удержать его над водой, и, выбравшись на тот берег, я увидел, что оно сильно намокло.

От реки до озерка я тащился долго. Меня била дрожь, и дышал я шумно и тяжело; но последнюю сотню ярдов я все-таки пробежал. Глядя на островок, отделенный полосой воды ярдов в двадцать пять шириной, я загнал патрон в ствол и двинулся вперед — убивать свою лису.

Но лиса исчезла. Я ногами обламывал ветки куста, обшаривал его со всех сторон: вдруг где-нибудь есть нора, куда она могла спрятаться. Но там ничего не было, ничего. Только немножко помета да птичье перо. Исчезла, и все тут. Каким образом она очутилась на островке, это я понимал — очень просто: пока она спала на пригорке, вода, видимо, прорвалась в ложбину и затопила все вокруг; но куда она девалась теперь, этого я не мог понять: ведь воды-то она боялась. Я искал на соседних островках, облазил все вокруг в тех местах, куда вода вовсе не доходила,— бесполезно. Так и пришлось мне возвращаться домой с грибами и с отцовским дробовиком.

За дробовик меня выдрали вожжами, потому что объяснить, зачем он мне понадобился, я не мог. Рассказывать правду я даже не пытался — просто выдумал какую-то длинную историю о том, как гонялся за кабаном. Отец сказал, что кабаны у нас вообще не водятся, да я и без него это знал. В общем, мне досталось как следует.

Назавтра я вернулся на то же место и опять искал там эту лису. На следующий день — опять. Я все искал и искал, в конце концов я уже просто думал, как бы мне вообще найти какую-нибудь лису, но для меня это всегда была именно та лиса. Патронов у меня не было, но я продолжал искать и выслеживать. Потом как-то ночью я часок проплакал в постели о том, что все это так трудно и так загадочно, а на следующий день взялся за удочки — ловить двадцатифунтовую треску.

На реке Малый Муррей есть несколько таких мест, где особенно хорошо ловится треска, и все они мне были известны. Самое лучшее место — возле дома старого Роя Кармайкла. Дом себе Рой устроил из парового котла. Перед домом, со стороны реки, стояла калитка, которую он в свое время унес с какого-то старого церковного двора, а забора не было. Калитка была со щеколдой, на которой значилось: «Дома», «Нет дома». Когда Рой уходил или приходил, он всегда поворачивал щеколду соответ-

ствующим образом. Он сделал на берегу ступеньки до самой воды, и всегда — зимой, когда вода прибывала, и летом, когда река мелела, — отмечал на них уровень воды железным колышком. К этому колышку прислонил я свою удочку, и как раз, когда я насаживал на крючок беззубку, старый Рой, собственной персоной, спустился к реке за водой.

— Почему ты не ловишь на червя? — спросил он.

— Я уже, кажется, в наших местах всех червяков извел,— ответил я ему.

— А ты бы сходил в городской свинарник.

— Туда мне нельзя показываться. Меня уже там раз поймали, когда я ковырял между камней, которыми вымощен двор.

Рой был тощий и старый. Седые усы свисали ему прямо на рот. Иногда, безо всякой причины, он вдруг начинал смеяться. Вот и сейчас он вдруг засмеялся.

— Что поделывает твой папаша, Эдгар?

— Поехал в город продавать дрова,— ответил я.

— Тебе, верно, не очень нравится, что в городе все над ним смеются?

Я не нашелся, что ответить, и вместо этого спросил, почему он живет в паровом котле.

— Двадцать лет я прожил над этим котлом,— объяснил он.— А теперь вот живу в нем. Лучшего котла ни на одном речном пароходе не найдешь. Теперь таких больше не делают. Если бы старушка «Рэнг-Дэнг» не наскочила на Стрелку, она и теперь бы еще ходила здесь с этим котлом.

Все это я уже знал. Старушка «Рэнг-Дэнг» была колесным пароходом, на котором Рой попытался однажды пройти вверх по Малому Муррею. У мыса она наскочила на мель и потом затонула. Старый Рой был на ней капитаном. Он остался в этих местах, надеясь поднять пароход со дна реки, но «Рэнг-Дэнг» совсем развалилась, так что Рою удалось спасти только котел. Вот он и поселился в котле тут, на берегу. Все это произошло давным-давно. Как-то я спросил его, почему он не пошел капитаном на другой пароход. Но он вместо ответа подобрал с земли сухой круг подсолнечника и запустил им в меня, так что больше я его об этом не спрашивал. Мой отец, Эдгар Аллан, объяснил мне, что после того происшествия он нигде уже не мог устроиться. Владельцы затонувшего парохода заявили, что Рой наскочил на мель, потому что был пьян. С тех пор Рой никогда не пил, чтоб доказать, что он вовсе не был пьян в тот день.

— Котел-то двухдюймовый,— похвастался, между тем, Рой.

— Да, стенки у него толстые,— согласился я.

— И хоть бы где прогорел. Вот пойдем-ка со мной. Я тебе покажу.

Он мне уже и раньше показывал, но я все-таки закрепил удилище камнем и пошел за Роем. Он прошел через калитку и повернул щеколду на «Дома». Потом открыл тяжелую металлическую дверцу топки и, согнувшись, пролез внутрь. В котле было множество всяких предметов, сделанных большей частью из старых жестянок. Пол был настлан дощатый, а кругом стояли всевозможные часы в жестяных корпусах. Тут же были цветочные горшки, вставленные в жестянки с отогнутыми краями, жестянка с вырезанным боком служила печкой, и даже кровать представляла собой несколько сколоченных вместе жестянок из-под керосина. Все было выкрашено красной краской. В одной из стенок был вынут целый лист, так что получилась дверь в пристройку, которую Рой соорудил из старых досок. В стенках виднелись дырки в тех местах, где раньше были трубы.

Рой сунул мне в руки кувалду и сказал:

— Ну-ка, ударь. Бей куда хочешь.

Я вовсе не хотел бить. Потому что когда я ударял по стенке котла, все вещи с полок падали на пол. Но он настаивал:

— Бей куда хочешь.

Я выбрал свободное место, покрепче уперся босыми ногами в пол и что было силы ударил по котлу кувалдой. Кувалда отскочила от железной стенки, и все с грохотом попадало с полок.

— Сильней! — кричал Рой.— Попробуй в другом месте!

Я еще раз ударил кувалдой, в то же место, но сильнее.

— Тебе сколько лет? — разозлившись, спросил Рой.

— Одиннадцать.

— Неужели ты не можешь сильней ударить?

— Размахнуться негде.

— То есть как это негде? А если ты станешь выстукивать котел для проверки и будешь так слабо бить, что не заметишь прогоревшего места — знаешь, что тогда может случиться? Струя пара ударит, и все разлетится вдребезги. Давай сюда кувалду. Вот смотри.

Старый Рой размахнулся и обрушил кувалду на стенку котла. Все затряслось. Загремели жестянки. Он ударил опять — в другом месте. Все попадало и с грохотом каталось по полу. Отшвыривая ногами жестянки, Рой подошел к заднему днищу и ударил в него. Он колотил в днище до тех пор, пока не выбился из сил.

— Вот видишь,— сказал он.— Как новенький.

Рой весь трясся; все-таки он был уже старик.

— Что же теперь со всем этим делать? — я кивнул на жестянки, валявшиеся на полу.

— Все это — барахло,— сказал он.— Единственная стоящая вещь здесь — котел.

Потом мы выбрались наружу и спустились по земляным ступенькам к воде.

— Ты что ловишь-то? — спросил он.

— Большую треску,— ответил я.— Двадцатифунтовую.

— Раньше ты ловил лещей.

— То раньше. А теперь мне нужна большая треска.

И я рассказал Рою про Тома Вудли, про лисицу и про треску.

— Тебе попадалась треска в последнее время? — спросил я.

— Нет. Только окуни. Ничего больше и нет в этой реке. Одни желтопузики.

— Рыба, она свои места знает,— сказал я.

— А почему бы тебе не попытаться на Большом Муррее?

— Вода еще не спала, мне не переплыть.

— Хочешь, я перевезу тебя в лодке?

— Ну, нет, спасибо,— поспешно ответил я.

Рой уже однажды перевозил меня в своей лодке, пообещав вернуться за мной, когда я покричу ему с того берега. Я кричал-кричал, но он так и не приехал. Видно, успел забыть обо мне. Вода была тогда высокая, течение сильное, и пришлось мне целую ночь провести на Пентал-Айленде, а назавтра получить еще дома хорошую трепку.

— Я тоже с тобой поеду,— заявил он.— Опротивели мне эти окуни.

— Ну что ж,— сказал я.

Рой пошел за жерлицей и веслами. Лодка его всегда была привязана тут же, возле ступенек. Он сам ее сделал, и это была лучшая плоскодонка на реке.

Спустившись обратно, он посмотрел на мою удочку и сказал:

— Зачем тебе удилище? Треску лучше ловить прямо на лесу. Эти рыбы сами идут на крючок.

— А я люблю удочки, — ответил я. Я и вправду любил ловить на удочку. И если мне суждено было поймать свою двадцатифунтовую треску, я хотел поймать ее на удочку.

— Оставь свою удочку здесь,— сказал Рой.

— И не подумаю. Я возьму ее с собой.

Рой заорал:

— Эй, как тебя! Сейчас же брось удочку!

Я стоял на месте и не лез в лодку.

— Ну, едешь ты или нет? — крикнул Рой. Лицо у него было красное.

— Только с удочкой!

— А ну, залезай. Живо! Бери свою удочку, пожалуйста. Мне-то что. Ты ничуть не лучше, чем все остальные. Плевать я на тебя хотел! Залезай. Слышишь, ты?

Он орал во весь голос, и пока мы переправлялись через реку, он тоже все время орал и ругался. На середине нас подхватило течением и понесло вниз, но Рой знал точно, куда его вынесет. На берегу Пентал-Айленда у него тоже были сделаны ступеньки, и мы причалили прямо к ним.

Пентал-Айленд лежит между двумя реками: Большим Мурреем и Малым Мурреем. Малый Муррей ответвляется от Большого милях в двадцати выше по течению, отходит в сторону, а потом опять соединяется с главным руслом чуть пониже того места, где жил Рой. Там, где сливаются обе реки, растет несколько эвкалиптов; к ним мы и направились, высадившись из лодки.

По дороге я рассказал Рою про лисицу на пригорке. Как он думает, куда она могла деваться?

— Видел ты когда-нибудь, как лисицы удирают от змей? — спросил он.

— Нет.

— В этом все дело, Эдгар. В этом все дело. Ее спугнула змея, и она удрала.

— Раз она от меня не удрала, то она и от змеи не стала бы удирать.

— А я тебе говорю, что ее спугнула змея. — Рой опять разозлился. — Они боятся змей больше, чем человека.

Но я ему не поверил.

Мы прошли через рощу прямо туда, где под нависшим над водой эвкалиптом был глубокий бочаг. Треска всегда прячется в бочагах. Лещи, те клюют на песчаных отмелях. А окуни — в стоячей воде. Окуня нужно ловить с поплавком, а треска и лещ клюют у самого дна: тут нужно грузило с двумя крючками.

— Можешь занять корягу,— сказал Рой.

Это было самое лучшее место. Я поблагодарил его, хотя и знал, что толку от этого не будет: откуда бы я ни удил, он все равно будет забрасывать свою лесу поближе к моей, а потом подойдет и сам и станет разговаривать. Он не верил, что шум может распугать рыбу.

— Ты видел когда-нибудь у рыбы уши? — спрашивал он бывало.

Я говорил «нет», и он продолжал:

— Как же она тогда может слышать? Если б рыбы слышали, они бы и говорили, или там лаяли. Ты когда-нибудь слыхал, как рыба говорит?

— Нет,— отвечал я,— а вот, как рыба лает, я слыхал.

— Врешь ты все, Эдгар, — отмахивался старый Рой. — Разве рыбы могут лаять? Ведь у них нет ушей.

Я прошел по коряге и уселся на развилке. Коряга была наполовину в воде. Я мог бы опустить с нее лесу прямо в бочаг, но только я люблю закидывать удочку. Я насадил на крючки по куску беззубки, примерно на ярд отпустил леску, надавил большим пальцем деревянную катушку и взмахнул удилищем. Грузило, описав дугу, потянуло за собой леску и

плюхнулось в воду как раз там, где мне нужно было. Рой размотал обвитую вокруг рогульки толстую леску, наживил и, раскрутив над головой, забросил. Болт, служивший ему грузилом, бултыхнулся в воду совсем близко от меня, слишком близко. Я даже подпрыгнул — ведь я-то знаю, что шум может распугать рыбу.

Некоторое время мы сидели тихо. Я отпустил леску и ждал, когда начнется клев. Потом Рой встал, подошел к моей коряге и пробрался ко мне.

— Ты почему в школу не ходишь? — спросил он меня.

— Далеко слишком,— ответил я.

— До школы никогда не бывает слишком далеко,— важно проговорил он.— Дошел бы как-нибудь.

— Слишком долго нужно ходить,— сказал я.— Два часа.

— Подумаешь, какие-то два часа. А ты читать и писать-то умеешь?

— Да,— ответил я. Я умел немножко читать. А писать почти совсем не умел. Обычно, когда мне задавали такие вопросы, то ожидали, что я скажу «нет», но я не любил говорить «нет».

— Этого мало,— заявил Рой Кармайкл.— Нужно еще знать счет, а потом историю.

— Ясное дело,— говорю.— Я бы и сам хотел знать все это.

— Да, брат. Тебе надо бы ходить в школу в Касл-Доннингтон.

— Я там и учился. Только мисс Джилспай выгнала меня.

— За что это? — Рой сразу же обозлился.

— Сказала, что я очень грязный; потом, книжек я с собой не носил. А что толку было их носить? Я переплывал реку, чтоб сэкономить время, и один раз нечаянно уронил книжки в воду, у самой Стрелки. Когда я их вытащил, они уже никуда не годились. А что я грязный, так это просто смех было слышать: ведь я каждый день переплывал реку.

— А хоть бы и грязный, что из этого? Беда не велика. В грязи еще ничего плохого нет. Знаешь, кто ходит чистый? Только галантерейщики и мясники. Да еще те, что сидят в конторах, и зубные врачи. Знаешь, Эдгар, кто там лучшие ученики в этой школе?

— Нет,— ответил я, думая о рыбе.

— Сынки этих галантерейщиков и мясников. А знаешь, кем они будут, когда вырастут?

— Нет.

— Галантерейщиками и мясниками. Видал я таких. Школы — это для них. А грязные могут катиться ко всем чертям. Ты можешь катиться ко всем чертям. Меня, будь я мальчишкой, тоже послали бы ко всем чертям. Я — единственный человек на свете, умеющий провести пароход вверх по Малому Муррею, но я могу катиться ко всем чертям. А те, кто торгует подштанниками и ходит с чистой шеей, те — другое дело. Если б у меня был пароход, я б научил тебя, как провести его вверх по Малому Муррею. Я — единственный человек на свете, который знает это дело. Твой отец чем занимается, Эдгар?

Рой знал, чем занимается мой отец, но я все-таки ответил ему: «Продает дрова».

— Что же, разве это причина, чтоб унижать человека?

Но я уже его не слушал. Я почувствовал, что удилище мое дрогнуло — у меня начинало клевать. Я представил себе, как рыба сбоку берет наживку, тянет ее, еще не касаясь крючка. Я замер в ожидании. И тут-то все и произошло.

— Погляди на свою лесу,— говорю я Рою.

Он взглянул на берег и увидел, что ивовый прут, к которому он привязал свою жерлицу, выскочил из земли и лежит уже у самой воды. Но

не успел он еще отойти от меня, как я почувствовал сильный рывок — чудовищный рывок,— дернул удочку кверху, чтоб подсечь рыбу, но удилище изогнулось и чуть было не сломалось. Тогда я понял, что это — моя большая треска.

— Ты зацепил мою лесу! — заорал мне в ухо Рой.— Мою рыбу упустишь!

— Да у меня рыба, у меня! — кричал я ему в ответ, изо всех сил вцепившись в удилище и едва не падая в воду, но не разжимая рук.

— Нет, это ты зацепил мою лесу. Давай сюда удочку.

Красный и взъерошенный, он приплясывал на коряге.

— Ты мне лесу погубишь! Куда ты тянешь? Упустишь рыбу!

Мне некогда было глядеть еще и на лесу Роя. Я старался не упустить ту рыбу, которая натягивала лесу у меня, и в то же время держаться подальше от Роя, чтоб он не мог отнять у меня удочку.

— Да ты что это в самом деле? — сказал Рой и крепко ухватился за мое удилище.— Сейчас же отпусти. Вот я сломаю это удилище о твою спину.

Рыба тянула, удилище выгибалось, Рой и я крепко держались за него.

Потом Рой размахнулся и сшиб меня с коряги назад, прямо в воду — там было мелко, — а когда я выбрался оттуда, он уже наматывал лесу на катушку, медленно двигаясь к берегу и вываживая за собой рыбу. Я подбежал и хотел отнять у него удочку, но он оттолкнул меня и вытащил рыбу на берег.

Так и есть, настоящая муррейская треска, здоровенная, даже побольше, чем на двадцать фунтов весом. Рой тащил ее вверх, подальше от воды, а она била хвостом и разевала рот. Я ухватился за леску — теперь-то уж ясно было, кто из нас поймал эту рыбу.

— Мой крючок! Моя леса! — закричал я на Роя чуть не плача.— Ты вытянул мою рыбу!

Это его леса зацепилась за мою и испортила все дело. Но я кричал ему только одно: «Ты вытянул мою рыбу!»

— Да ты что, в своем уме? — ответил Рой, и я решил, что он сейчас меня опять ударит.— Кто вытянул эту рыбу? Я. У тебя бы силенки не хватило, ты бы сам свалился в бочаг и рыбу упустил.

— Ты вытянул мою рыбу,— повторил я.— Ту самую, которую я так мечтал поймать.

— Вот ты и поймал ее,— сказал Рой и наступил на треску, чтобы вытащить у нее из пасти крючок.

— Нет. Это ты поймал ее!

— Ведь она была на твоем крючке,— теперь Рой уже смеялся.

— Это все равно! Вытащил ее ты. Значит ты ее и поймал. Ты отнял ее у меня. Вытянул мою рыбу.

— Да бери ты ее, пожалуйста.

— Теперь она мне не нужна. Я сам хотел поймать ее.

— Тьфу, черт! Ведь ты ее и поймал. Можешь всем говорить, что это ты поймал ее. Я ничего не скажу.

— Все равно! — кричал я.— Том Вудли сам поймал свою пятнадцатифунтовую. Ну зачем ты мне помешал?—Я не то чтобы плакал, а просто орал на Роя, потому что выловить когда-нибудь еще одну такую рыбину нечего было и надеяться.

Рою вдруг стало меня жалко, и он сказал:

— Ну, ладно, Эдгар, чего там.

И тогда я выругался, длинно и замысловато.

Рой снова рассвирепел и швырнул в меня комком глины.

— Ты украл мою рыбу,— сказал, я, отбежав в сторону. Мне хотелось оскорбить его.

— Забирай к черту свою рыбу! — заорал он.

— Не хочу, — ответил я и бросился бежать.

Я хотел спустить на воду лодку Роя, чтобы переправиться в ней на тот берег, но застрял на отмели, а Рой догнал меня и смеялся надо мной все время, пока мы плыли через реку. Потом, когда мы пристали к берегу, он обнял меня, и я стал говорить, что никогда мне больше не поймать такую рыбу, и никогда не убить лисицу. Никогда. Теперь я конченный человек, и Рой знает это. А он все держал меня и уговаривал, он обещал всему свету рассказать о том, что эту рыбу поймал я, — и больше того: он еще поможет мне убить лисицу. У него есть патроны и манок, и если я приду к нему завтра, мы с ним пойдем на охоту за лисой, а может, еще и поудим. Наконец он меня отпустил.

— Ты забыл удочку! — крикнул он мне вдогонку.

— Можешь взять ее себе,— отозвался я и снова выругался. Он швырнул ее мне вслед, но я убежал. Я кричал и ругался, а на берегу остались моя удочка и большая треска, которая должна была быть моей.

Треска была моя, и я это знал. Но в то же время она была не моя, мне не удалось поймать ее, и мысль эта не давала мне покоя. Я все время думал об этом, с самой той минуты, и вскоре это уже была для меня не просто большая рыба, но нечто такое, чем я владею и, вместе с тем, никогда не буду владеть, чего я добился и, вместе с тем, никогда не добьюсь. Во всем этом было еще больше загадочного и необъяснимого, чем в истории с исчезнувшей лисой, и если тогда я только немного поплакал в растерянности, то теперь у меня начались кошмары, в которых меня преследовали давным-давно забытые случаи из моей жизни. Каждый из них был загадкой, в каждом повторялось одно и то же ощущение: как будто я очень сильно чего-то хочу, и вот оно уже почти у меня в руках, но в самую последнюю минуту ускользает от меня. Я измучился и совсем потерял покой. И с каждым днем становилось яснее, что как-нибудь разобраться во всем этом и избавиться от гнетущих мыслей наяву и страшных кошмаров во сне я смогу, только если убью наконец ту лису. Каким-то образом лиса стала для меня осуществлением всех желаний, и я знал, что либо добьюсь своего, либо останусь несчастным на всю жизнь.

Уже почти на исходе лета Рой исполнил свое обещание. Мы встретились с ним на Пентал-Айленде, и он, выдрав меня за уши, потому что я в отместку за прежнее чуть было не застрелил его фокстерьера, стал подсмеиваться надо мною.

— Ну как, ты все еще скулишь из-за той рыбы?

Я еще не простил ему обиды, хотя дело было давнее. Правда, он рассказал в городе, что это я поймал ее (треску на двадцать восемь фунтов), и тем самым немало помог мне в борьбе с Томом Вудли и городскими мальчишками; но я не простил ему, потому что я-то знал, что это не я ее поймал, и потому, что мои ночные кошмары продолжались, и в этом я тоже винил его.

Я не хотел говорить с ним об этой рыбе, но он смеялся как ни в чем не бывало, и тогда я тоже как ни в чем не бывало сказал ему, что завтра зайду за своей удочкой.

— А как насчет лисы, Эдгар? Ты по-прежнему мечтаешь убить лису? — спросил он.

— Да, только я хочу убить ее сам.

— Вот заладил! Хочешь, приходи сюда завтра до рассвета, и я покажу тебе, где можно найти лису.

— Где же это? — спросил я его. Я теперь не доверял Рою.

— Приходи сюда завтра утром, увидишь.

— Да, ты мне ее покажешь, а потом сам же и убьешь.

— Ну и паршивый же ты мальчишка! — выругался он, и лицо у него побагровело. Ему, видно, было здорово неприятно все это, так что я даже пожалел его.— Ты только приходи сюда завтра до рассвета, а я уж сведу тебя на место, и ты получишь свою лису! Слышишь?

— Ладно, — согласился я. Уж очень он настаивал.

В ту ночь я, кажется, совсем не сомкнул глаз, потому что я знал, что Рой и в самом деле покажет мне лису и наверняка на расстоянии выстрела. К тому времени охота на лису стала уже для меня чем-то привычным, хотя по-прежнему она была самым главным в моей жизни — единственной разгадкой, единственным разрешением той головоломной несообразности, которой был полон для меня теперь каждый день, каждое явление. Я в то время был точно сам не свой, и чем больше я думал, тем больше все это оказывалось связанным с той треской, которую мне не удалось поймать. Кажется, я сам был виноват, потому что о чем бы я ни начинал думать — о самом себе, о червяке, о колышке, о дверной петле, о какой-нибудь деревяшке,— мои мысли неизменно возвращались все в тот же безнадежный тупик. Стоило мне только взглянуть на что-нибудь и спросить себя о том, что это такое, откуда оно, как сюда попало и куда денется, и весь кошмар начинался снова. Но в ту ночь я твердо знал: всему этому наступил конец, потому что утром я выслежу лису, убью ее, достигну того, чего добивался, покончу со всей этой головоломкой — и жизнь опять вернется в свою колею. Скорей бы уж наступало утро.

Я вышел к жилищу Роя еще задолго до света, и мне пришлось разбудить его, как следует ударив ногой по дверце котла. Рой крикнул мне, чтоб я шел к черту и не мешал спать, но я продолжал колотить ногой в дверцу, и в конце концов он встал. Он дал мне кусок холодного мяса, мы поели, сели в лодку и быстро переправились на Пентал-Айленд. Рой знал Пентал-Айленд еще лучше, чем я, у него по всему острову расставлены были капканы, и он обходил их почти каждый день. И сейчас мы с ним проверили несколько капканов по дороге и сняли парочку кроликов, тащить которых пришлось, конечно, мне.

— Не шуми так, — сказал он, когда мы взбирались на невысокий пригорок. Кролики ударяли меня по спине, а в животах у них что-то булькало и перекатывалось.— Брось их и иди тихо,— шепотом приказал он.

Рой не полз, как сделал бы я, если б охотился один. Он шагал во весь рост, но очень медленно и бесшумно, время от времени застывал на мгновение, а потом снова шел вперед. Я двигался за ним, повторяя все его движения, и держал наготове свое заряженное ружье. Когда мы взобрались на вершину пригорка, красную и круглую, без всякой растительности, Рой лег и, осторожно высунув голову, заглянул вниз. Было еще совсем темно, небо только начинало светлеть.

— Там внизу, — зашептал Рой, кивая на густой, причудливых очертаний куст,— есть лисья нора. Старая лисица спит сейчас там.

— Не вижу,— сказал я.

— Еще бы ты видел,— сквозь зубы проворчал Рой.— Вот солнце встанет, она и выйдет из норы. Ты не промахнешься отсюда?

До куста было примерно футов пятьдесят, и я знал, что попаду, если лиса не бросится сразу бежать.

— Не беспокойся, не промахнусь,— сказал я, потому что боялся, как бы он не вздумал опять помогать мне. У него тоже было с собой ружье, и он держал его наготове.

— Тогда лежи и не разговаривай и не дрыгай ногами,— сказал Рой.— Лежи и жди. А когда увидишь, что она вышла, сразу стреляй.

Мы стали ждать, и теперь я чувствовал, что все будет хорошо. Я лежал на вершине пригорка, и все было просто и ясно. Покажется солнце, лиса выйдет из-под куста, я выстрелю, и жизнь вернется в свою колею. Еще ни разу в жизни не чувствовал я себя так уверенно и спокойно. Я поглядел на Роя и весело ухмыльнулся — я теперь простил ему ту треску.

— Следи за кустом!— сердито прошептал Рой.

Я лежал и следил за кустом и за горизонтом. Небо порозовело, туман рассеялся, высоко над нами летели вороны, где-то смеялись кукебурре; потом вышло солнце, а чуть погодя вышла и лиса.

Она была старая и рыжая. У нее были белые лапки, белый кончик хвоста, а уши настороженно торчали. Она вылезла из норы возле самого куста, быстро огляделась и припала брюхом к земле. Потом сделала несколько шагов, высоко поднимая лапы, словно шла по раскаленной земле. Обернулась и посмотрела вверх на пригорок, а потом уселась на хвост и стала лизать лапу; я поднял ружье.

Ружье у меня было старое, со сбитой мушкой. Я стал наводить левее и чуть пониже ее головы. Дело было простое и верное. Цель будет достигнута, мир опять станет понятным и прочным. Я увидел, как лиса облизывает мордочку, и тронул спуск.

Но я не выстрелил. Сам не знаю, что было тому причиной, не знаю, что удержало меня тогда, но я почувствовал: не хочу убивать эту лису, не хочу и не стану! Я продолжал целиться, щекой касаясь приклада и не снимая пальца со спуска, и думал, что вот стоит мне нажать, и лисица будет мертва, а я останусь жив.

— Стреляй, ну! — сказал Рой с таким свирепым видом, будто готов был убить меня самого за то, что я такой дурак.

— Не хочу,— ответил я и опустил ружье.

— Стреляй! — повторил он над самым моим ухом.

— Не хочу! — я сказал это громко, лиса услыхала и стремглав бросилась наутек. Рой вскочил, и несколько секунд я видел, как ствол его ружья поворачивается вслед за лисой. Потом он выстрелил. Хоть я лежал, мне видно было, как старая рыжая лиса перекувырнулась на бегу; но это не имело значения. В ту же самую секунду из норы выскочила другая лиса и быстро унеслась прочь, живая и невредимая.

— Ты почему не стрелял? — кричал Рой, перезаряжая ружье.

— Не знаю,— ответил я. И я вправду не знал.

— Ты что, болен, что ли?

Я покачал головой. Мне сейчас казалось, что я бы вот так всю жизнь просидел на этом пригорке.

Рой пристально поглядел на меня, засмеялся, неизвестно чему, и, словно позабыв про лису, уселся рядом со мною на пригретом солнцем склоне.

— Сколько тебе лет, парень? — спросил он.

— Двенадцать сравнялось,— ответил я, готовый к новому приступу его ярости.

— Двенадцать,— медленно повторил он.— А знаешь, сколько было мне, когда я потерял свою «Рэнг-Дэнг», потерял свой корабль, потерял все и так ничего и не сумел себе вернуть?

Я не знал, да мне и не интересно было.

— Пятьдесят два,— сказал он.— Пятьдесят два.

Я понятия не имел, о чем он говорит, что он такое потерял и никогда не мог вернуть. А я сам чувствовал только одно — что я опять спокоен и счастлив, хотя и не понимал, почему.

Я знал теперь, что ошибался, когда надеялся, убив лису, разрешить загадку жизни, мучившую меня после истории с треской. Жизнь — это жизнь, и оттого, что лиса была слишком живая, я не мог в нее выстрелить. Не в рыбе было дело, и не в лисе, не в Томе Вудли, и не в городских мальчишках; и хотя, чтобы усвоить этот урок, я пощадил одну жизнь, это не помешало мне убить пять или шесть кроликов, когда мы возвращались домой.

Да, жизнь — это жизнь; но я одолел ее.

«ПОБЕДА МАЛЬЧИКА С ЛЕСНОГО БЕРЕГА» *Рис. В. Горяева*

ПОБЕДА МАЛЬЧИКА С ЛЕСНОГО БЕРЕГА

Перевод с английского В. Хинкиса

Под редакцией Е. Калашниковой

I.

Бедный Том спал в своей грязной дровяной тележке, а уличные хулиганы швыряли в него камешками. Сын Бедного Тома Эдгар прятался на другой стороне пыльной улицы, выжидая, когда прекратится этот каменный дождь и можно будет отвезти отца домой.

Эдгар прятался за крыльцом почтовой конторы и не мог видеть происходящее, но он слышал, как хулиганы распевали звонко, словно часы, отбивающие время:

— Бедный Том псих! Бедный Том псих!

— Бедный Том пьян! Бедный Том пьян!

— Пьян, пьян, пьян!

— Уже три часа, Том, пора домой. Эдгар! Ну-ка, отвези домой своего папашу. Слышишь, Эдгар Аллан, вылазь да вези его «домой, домой, где ждет покой»!

Эдгар выглянул из своего укрытия, но не двинулся с места, а камни и насмешки все сыпались на крепко спавшего отца, лицо которого дышало безмятежным спокойствием. Эдгар видел, как падали камни, и знал, что в конце концов один из них угодит Бедному Тому в лицо и останется шрам. Мальчику хотелось увезти отца, прежде чем тот очнется.

Эдгар видел трех юнцов, прислонившихся к столбам веранды у гостиницы Принс-отель, но не мог заставить себя встретиться с ними лицом к лицу. Мальчик знал, что они только этого и ждут, и камни сразу же начнут падать около его босых ног, заставляя его скакать и приплясывать. Это была излюбленная забава Оззи Олда, того самого, что стоял теперь у гостиницы рядом с маленьким Патом Мэрфи; оба они были навеселе.

— Попробуй-ка угодить ему камнем в рот,— подзадоривал Оззи приятеля.— Три против одного, что ты не попадешь в кадык. Два против одного — что не попадешь в пупок, и один против одного, что вообще промажешь.

— Бедный Том,— запели они снова, и Эдгар понял, что медлить больше нельзя. Сейчас Пат Мэрфи начнет швырять камнями в их лошадь Замухрышку, а если бессловесная тварь стерпит это, один из них подойдет и даст ей такого пинка в бок, что она помчится, не разбирая дороги.

Эдгар представил себе эту страшную и смешную картину — и пересилил свой страх. Он вылез из-за крыльца, чтобы кинуться к отцу на выручку.

— Эй, Эдгар! — сказал кто-то, прежде чем он успел сделать это.— Что с твоим отцом? Он как будто пьян, а?

Мальчик узнал почтмейстера Пула, остановился и ответил:

— Да, мистер Пул.

— Твой старик сумасшедший, Эдгар,— сказал мистер Пул,— но ведь он не алкоголик. С чего же он напивается тут до бесчувствия каждые полгода?

— Не знаю, мистер Пул,— пробормотал Эдгар, косясь на Оззи Олда.

— Отчего в такие дни он словом ни с кем в городе не обмолвится?— не отставал мистер Пул от босоногого мальчика, который переступал с ноги на ногу, поглядывая на противоположную сторону улицы.— Ни единым словом. Что это с ним, а?

— Не знаю,— ответил Эдгар.

— Что же ты не отвезешь его домой? —спросил мистер Пул у Эдгара, но мальчик теперь снова оробел и не в силах был сделать и шагу. — Эти бандиты выбьют ему глаз. Ступай!

— Иду,— ответил Эдгар, кипя злобой против мистера Пула. Всегда он стоит и нагло смеется, глядя, как горожане издеваются над Бедным Томом, а теперь вот вздумал командовать. Но что-то нужно было делать, и мальчик, поклявшись про себя жестоко отомстить мистеру Пулу и всему городу, пустился через улицу.

Пат и Оззи заметили Эдгара, когда он обходил мастиковое дерево, надеясь незаметно взобраться на тележку сзади. Тут они закричали:

— А вот и Эдгар! Ну-ка, Эдгар! Что ж ты не заберешь своего папашу, Эдгар?

Они приплясывали на месте, корчили рожи и угрожали Эдгару. Оззи Олду ничего не стоило придать своей уродливой красной физиономии самое зверское выражение, а Пат, бледный, трусливый юнец, чья жизнь проходила среди лошадей и в биллиардных, маленький и тщедушный, как жокей, не мог обойтись без красной физиономии, копны рыжих волос и широких плеч приятеля. Оззи не сводил глаз с Эдгара, пряча за спиной руку, и по его усмешке ясно было, что сейчас полетят камни. Когда Оззи замахнулся, Эдгар хотел отскочить, но тут камешки, шурша, ударили его по ногам, и мальчик подпрыгнул.

— Брось кидаться, Оззи! — крикнул Эдгар.— Слышишь, брось!

Пат принялся играть на воображаемой волынке, словно аккомпанируя прыжкам Эдгара; но мальчик подбирался все ближе к тележке;

удары камней злили его гораздо меньше, чем дружный хохот мужчин, высыпавших из бара. Они стояли, прислонясь к столбам веранды, подзадоривали Оззи и Пата и смеялись над Бедным Томом и его сыном.

— Отстаньте от меня! — крикнул Эдгар голосом, в котором слышались слезы и мольба и, вместе с тем, звучало что-то похожее на вызов.— Мало, что ли, верзил, вроде вас самих? Ступайте к Неду Келли. Отстаньте от меня!

Крупные зубы Оззи были оскалены, лицо сияло от удовольствия; не часто этому грубому и беспокойному парню удавалось найти развлечение в маленьком захолустном городке.

— Гоп, Эдгар! — заорал он, кидая камень.— Ты портишь нам всю потеху. Лови, Эдгар! Бегом!

И Эдгар побежал, но побежал к тележке и под крики своих мучителей вскарабкался на ее задок. Он споткнулся о неподвижное черное тело Бедного Тома, но сразу же подхватил вожжи и начал хлестать ими кобылу. В то же мгновение Пат Мэрфи подскочил к ней, прыгнул высоко в воздух с поднятыми руками и отчаянно гикнул. Испуганная Замухрышка встала на дыбы, затем рванулась вперед, а Эдгар изо всех сил натянул вожжи, чтобы не налететь на старый фордик Джека Дженкинса.

— Вперед, Эдгар! — вопили хулиганы.

Но Эдгар не слышал. Замухрышка неслась по ухабистой мостовой, ее подковы звенели, точно рыцарские доспехи, а железные шины колес тарахтели и громыхали так яростно, что весь город сбежался на шум.

— Это Бедный Том! — кричали со всех сторон.

Бедный Том трясся на дне тележки, оставлявшей за собой рой золотистых опилок. Эдгар стоял впереди, его маленькое тельце подскакивало и сотрясалось при каждом толчке, в широко расставленных руках он держал вожжи. Справившись наконец с Замухрышкой, он прикрикнул и подхлестнул ее вожжами, и она понеслась по дороге, словно за ней гналась тысяча лошадиных чертей.

Лавочники и другие горожане высыпали на улицу, чтобы поглядеть, как бесчувственное тело Бедного Тома трясется в тележке, на которой его сын улепетывает из города.

— Что, Эдгар, дрова везешь на продажу? — крикнул суконщик мистер Дрю, самый заядлый весельчак в городе.

Мясник мистер Ми, в синем с белыми полосами фартуке на огромном животе, крикнул вслед мальчику:

— Десять против одного, что ты потеряешь его дорогой, Эдгар!

— Сядь на него верхом, Эдгар! — воскликнул парикмахер Корнелл.

Все они кричали и подгоняли Эдгара: аптекарь, булочник, кондитерша, портной, бакалейщик, рыботорговец, трактирщик. Последний, завзятый лошадник, крикнул:

— Запряги своего старика, Эдгар, к утру доедешь до соседнего города!

У ворот церкви стоял священник, но он с негодованием отвернулся, а дети, игравшие около гаража Мура, осыпали тележку градом камней. Эдгар изловчился, подхватил прогоршню щебня и запустил в обидчиков, но щебень разлетелся в воздухе, и мальчику оставалось только выкрикивать угрозы.

— Вот я покажу вам завтра в школе!

— У Бедного Тома не все дома! — хором заорали они.

Двоих Эдгар узнал; это были сыновья бедняков, которые обычно не трогали и не обижали его. У одного из них, Фредди Пратта, был брат слабоумный; но теперь и Фредди орал и насмехался над Эдгаром, а Эдгар огрызался в ответ.

— Ты у меня получишь, Фредди Пратт! Погоди, Фредди!

— Погляди лучше на своего старика! — ответил Фредди Пратт.

Наконец лавки остались позади, и смех затих, но тут на улицу вышли домохозяйки: миссис Болл, жена члена муниципалитета, чья собака злобно залаяла, увидев в тележке своего заклятого врага, жена доктора, жена адвоката; а за ними — опять какие-то парни и хихикающие девушки. Когда Эдгар уже выехал на окраину, миссис Кейт Томпсон махнула ему рукой из своего садика. Эдгар помахал в ответ и крикнул: «Здравствуйте, миссис Томпсон!» Это была жена скотопромышленника Томпсона, тихая женщина, которая всегда была рада Эдгару.

— Здравствуй, Эдгар,— крикнула она мальчику.— Я испекла хлеб, не хочешь ли кусочек?

— Спасибо, миссис Томпсон. Я тороплюсь. Всего доброго! Всего доброго!

Эдгар вырвался наконец из города и, чувствуя себя почти в безопасности, перестал нахлестывать Замухрышку, как вдруг показался констэбль Булл. Констэбль ехал на велосипеде; завидев тележку, он слез и знаком приказал Эдгару съехать на обочину.

— Оба вы хороши — и твой отец, и ты!— заорал констэбль Булл.— Убирайся с дороги, да придержи свою клячу. Ты мешаешь движению.

— Хорошо, сэр,— ответил Эдгар, поворачивая лошадь и пуская ее шагом.

— И убери этого старого пьяницу вон из города,— добавил констэбль.

— Хорошо, сэр.

Эдгар сел и предоставил Замухрышке идти знакомой дорогой к дому. Ему нужно было поразмыслить, но не об отце, валявшемся в тележке, а об унижениях, какие приходилось выносить. Его словно окружала глухая стена; он это чувствовал, хоть и не мог понять, почему это так. Но он отомстит, он подожжет город, спалит его весь, все улицы, все лавки, все низенькие деревянные домишки и даже единственное трехэтажное здание в городе — Принс-отель. Он живо представил себе город, объятый пламенем, растерянных, обезумевших людей, среди которых расхаживает он, Эдгар, громко насмехаясь над их несчастьем. Смущала его лишь городская добровольная пожарная дружина, в которой Оззи Олд и Пат Мэрфи были среди первых. После каждого большого пожара хулиганы становились героями дня, и мысль об этой несправедливости заставила Эдгара отказаться от своего плана.

Отец все еще спал в тележке, но из-за тряски он скатился в сторону, его долговязое тело неестественно изогнулось, длинные руки были подмяты под туловище, а худые ноги бессильно раскинуты. Он весь вывалялся в грязи и опилках, лицо его было в синяках и царапинах. В такие дни Бедный Том, измученный, безразличный ко всему, что происходит вокруг, терзался невыносимой внутренней болью; он и Эдгар становились чужими друг другу. Мальчик отвернулся, ощутив внезапный прилив ненависти, так как в эту минуту перед ним был не отец, а Бедный Том, посмешище для всего города; Бедный Том, который раз или два в год напивается до бесчувствия, а затем, быть может, мучимый стыдом, целый месяц пропадает в лесу, предоставив мальчика самому себе; Бедный Том, который не разговаривает ни с кем в городе; молчаливый, отвергнутый человек, отягченный какой-то никому не ведомой тайной; человек, чьей немой враждебности город никогда не простит. Все это было слишком сложно для понимания мальчика и только вызывало в нем слепую ярость.

Добравшись до переезда, у самой реки, Эдгар забыл обо всем при виде поезда, спускавшегося под уклон. Грохочущая махина на какое-то мгновение привела мальчика в безудержный восторг, а когда паровоз

приблизился и Эдгар узнал в машинисте мистера Макфи, он вскочил на ноги, крича что есть мочи:

— Шпарь, Макфи! Шпарь, Боб!

Когда мистер Макфи махнул в ответ брезентовой фуражкой и, повернув к нему свое черное лицо, крикнул: «Здорово, Эдгар!», мальчик превратился в трепещущий от возбуждения комок. Размахивая руками, он пронзительно завизжал: «Газету! Газету! Газету!» — в надежде, что кто-нибудь бросит ему из окна утреннюю городскую газету. Он искал глазами знакомые лица и узнал учителя музыки мистера Вурзеля, учительницу танцев мисс Бритт и двух или трех скотоводов из Мелула. Никто не бросил ему газеты, потому что он опоздал. Другие мальчики встретили поезд раньше него, и он увидел, как вдалеке они подбирают разбросанные по земле листки. Эдгар следил за поездом глазами, пока он не скрылся за поворотом, замедляя ход у вокзальчика Сент-Элен.

Затем он сел и испустил долгий, радостный вздох, но тут же повернулся, заметив, что отец сидит, напряженно выпрямившись. Сперва Эдгар подумал, что отец видел его неистовство, но покрасневшие глаза Бедного Тома уставились в пространство невидящим и бессмысленным взглядом.

— Ложись, папа,— сказал Эдгар.— Ложись.

Отец не пошевелился, и Эдгар, который не мог дотянуться, чтобы помочь ему лечь, тронул лошадь. Когда тележка пересекала рельсы, отец снова опрокинулся от толчка.

По усыпанной гравием дороге они добрались до небольшого загона на берегу реки. Въехав за ограду, Эдгар соскочил на землю и ушел, бросив нераспряженную лошадь и тележку вместе со спавшим в ней отцом. Он не задвинул за собой перекладину, оставив все так, чтобы отец подумал, будто лошадь сама вернулась домой. При этом мальчик даже не знал, хочет ли он избавить отца от унижения перед сыном или же себя от зрелища униженного отца. Он просто бросил все как есть, сел в лодку и переправился через реку, из Виктории в Новый Южный Уэльс, где стоял маленький деревянный домик, в котором они жили вдвоем с отцом.

В кадке около реки он умыл потное лицо и руки, потом зажег керосиновую лампу, так как холодное весеннее небо над излучинами Большой Реки быстро темнело. Он разгреб угли в железной печке, стоявшей в просторной кухне, и подкладывал растопку, пока буксовые поленья не разгорелись. Затем он поджарил баранью котлету и съел ее с томатным соусом и куском белого хлеба, запивая чаем, мутным от сгущенного молока. Покончив с едой, он подошел к двери, чтобы взглянуть, не проснулся ли на том берегу отец.

Небо совсем потемнело, но мальчик знал, что от вечернего холодка отец скоро придет в себя и дотащится до дому. Эдгар вовсе не желал видеть отца теперь — это было бы неприятно им обоим — и поэтому привернул лампу и залил огонь в печи. Обычно он спал в просторной и теплой кухне, но, зная, что отец, войдя, свалится на первую попавшуюся кровать, ушел в комнату и там лег, чтобы не смыкая глаз ждать его возвращения.

Вскоре он забыл об отце и стал снова думать о том, как бы достойно отомстить городу за обиду. Эти мысли вернули его к мечтам о разрушении, но вскоре он забыл и о городе. Эта маленькая, но бурная одиссея утомила его, и он заснул, так и не разрешив своих горьких недоумений, рожденных человеческой несправедливостью.

II.

Едва забрезжил бледный весенний рассвет, Эдгар проснулся, но не встал, как обычно, чтобы растопить плиту и приготовить завтрак. Он притворился спящим.

Залаяли собаки на том берегу, захохотали кукебурре, закричали какаду, и Бедный Том, проснувшись, встал с постели. Сначала он разговаривал сам с собой, расхаживая по кухне, затем внезапно смолк, словно поймав себя на этом. Он старался не шуметь, но долго возился, пряча свой парадный костюм и увязывая свернутое одеяло и инструменты, и при этом стучал, стонал и вздыхал. Он ушел без завтрака, и Эдгар, приподнявшись, слышал, как он переправился через реку, запряг лошадь и поехал по дороге, пересекающей железнодорожную линию.

Только тогда Эдгар встал. Он смотрел, как отец поднимается по склону холма, и думал о том, скоро ли он вернется. Вероятнее всего, одинокий и пристыженный, он пробудет в лесу недели три-четыре. Когда же он наконец вернется с дровами, Эдгар должен будет вместе с ним ехать в город объясняться с покупателями, потому что сам Том никогда с ними не разговаривал.

А пока что Эдгар, оставшись один, затянул свою любимую песню:

«О, Дерри Вейл, мое сердце тоску-у-у-ет
О зеленом твоем островке и волшебных лугах».

Мальчик напевал тихо и неуверенно, но, выйдя из дому, запел во весь голос, и люди на том берегу услышали высокий и чистый звук этого голоса, как бы промытый утренним воздухом. Некоторые остановились, чтобы послушать, и прежде всех — Фленнегены. Миссис Фленнеген, иммигрантка из Ирландии, сказала мужу, что когда Эдгар поет, ангелы спускаются с неба. Но Эдгар и не помышлял об ангелах. Ему нравилось, что у него получаются такие звонкие, ясные звуки; чем выше была нота, тем дольше он тянул ее, очень довольный своим пением, захваченный и увлеченный его свободой — но без чувствительности. Без всякой чувствительности.

Голод мешал ему наслаждаться пением; он затопил плиту и начал готовить завтрак. Он поджарил ломтики черствого хлеба и сварил три яйца в чугунном котелке. Жир он растопил в жестянке из-под варенья, пододвинув ее к огню, и когда завтрак поспел, он уселся за деревянный стол и умял все без промедления. Потом протянул босые ноги к огню и, поглядывая через открытую дверь на противоположный берег, стал ждать утреннего поезда. Обычно Эдгар отправлялся навстречу, но на этот раз было уже поздно, и когда показался поезд, он только подбежал к двери и приветливо помахал издали.

В то утро Эдгара потянуло к людям, и он поспешил в школу. Но прежде чем уйти, он поглядел на палку, отмечавшую уровень воды в реке. За два дня вода в Малом Муррее упала на целый дюйм — верный признак раннего лета. Он воткнул палку глубже, взял лодку и переправился через реку, борясь с быстрым течением. Здесь он привязал лодку и неторопливо зашагал в школу кружной дорогой.

Он шел вдоль железнодорожной линии, а потом — прямо по полотну, перескакивая со шпалы на шпалу, и время от времени шарил под камнями в поисках длиннохвостых ящериц. Завидев одну из этих юрких тварей, он хватал ее за хвост. Холодный кончик хвоста, все еще продолжая извиваться, оставался в руке, а сама ящерица убегала. Это неизменно поражало мальчика, он готов был сто раз на день повторять экзекуцию — нашлось бы только достаточное количество жертв.

У него даже рука устала — столько камней бросил он в столбы, заборы, провода (высекая из них едва заметные искры), а чаще — в воробьев, дроздов, зябликов и синиц. И только изоляторы на электрических и телефонных столбах он не посмел обстрелять среди бела дня.

Потом он крикнул:

— Здорово, Дамми!

Глухонемой Дамми не мог его слышать; но Эдгар махнул рукой, и горбатый паренек, ехавший на велосипеде по песчаной дорожке, коснулся губ, а затем вытянул пальцы вперед, словно посылая Эдгару молчаливый привет. Дамми был парень с характером, и его приветствие обрадовало Эдгара, тем более, что Дамми дружил с его главным врагом — Оззи Олдом.

Он не здоровался с людьми, которых видел на задних двориках, выходивших к линии: это были горожане, считавшие Бедного Тома сумасшедшим, а его сына — уродцем. А когда на рельсах показалась четырехколесная дрезина путевых обходчиков, он медлил до последней секунды (пока дрезина чуть было не наехала на него), и только когда они закричали и остановились, он соскочил с линии на каменистую дорожку, с вызывающим видом пропуская дрезину мимо себя.

— Эй ты, щенок! — заорал Тим Беннер, главный обходчик.— Не смей лазить по рельсам, не то я поймаю тебя да выдеру так, что сесть не сможешь.

Тим Беннер никогда не поймал бы Эдгара, и оба они это прекрасно знали, но все же мальчик промолчал. Он снова взобрался на полотно, стал на одном рельсе, балансируя для равновесия руками, и посмотрел вслед дрезине. Он восхищался Тимом. Тим был самый толстый и самый сильный человек в городе: однажды он приподнял с земли малолитражку Остина, ухватившись за передние колеса.

— Беннер-обходчик, никудышный молодчик! — крикнул Эдгар вдогонку.

Некоторое время Эдгар шел следом за Питом Поттером, подручным кузнеца и речным браконьером. Пит был невысокого роста, и Эдгар, держась в пятидесяти ярдах позади него, подражал его походке, покачиваясь на ходу и размахивая руками. Когда Пит обернулся и заметил это, Эдгар пулей кинулся прочь, пролез через проволочную ограду и побежал напрямик, палисадниками. Он знал, что, попавшись Поттеру, заработает здоровый пинок в зад, так как он лучше всех в городе был осведомлен о проделках Пита, и тот был бы рад случаю припугнуть мальчика, чтобы заставить его молчать.

— Пит Поттер ворует раков,— проговорил Эдгар, оказавшись на почтительном расстоянии.

Угрозы Пита его не страшили: они были понятны ему, и он, пожалуй, даже испытывал удовольствие, чувствуя себя на равной ноге с Питом — с ним одним во всем городке Сент-Элен; и не раз Эдгару снилось, что констэбль Булл допытывается у него, где прячет Поттер свою лодку, удочки и сети, и он переносит ужасные муки, но не выдаёт Пита.

Очутившись среди низеньких городских домиков и высоких заборов, Эдгар немного присмирел и тихо брел между огромными эвкалиптами, окаймлявшими улицу; в городе ему было не по себе. Когда он вышел на главную улицу и его босые ноги ступили на гладкий и теплый асфальт, он сразу превратился в обыкновенного мальчугана, который уныло плетется в школу.

Перед каждым домом был палисадник с розами, декоративным кустарником и узорной проволочной оградой. Нередко к парадному подъезду вела асфальтовая дорожка, а перед несколькими новыми домами дорожки были бетонные. Эдгар глядел на эти дома, от которых так и веяло зажиточностью, точно лондонский кокни — на Букингэмский дворец, пытаясь представить себе, что там внутри и как там живут люди. Он увидел, как зубной врач мистер Пенн поцеловал на прощанье жену, и очень удивился — ведь его самого не целовали ни разу в жизни. Пройдя еще немного, он остановился поглазеть на дом доктора Медоуза. Это был единственный кирпичный дом на всей улице и один из немногих

в городе. Это был единственный дом с черепичной крышей и поющими петухами на каждом из остроконечных коньков. Эдгар разглядывал кирпичную веранду, окна со свинцовыми переплетами и блестящую кнопку электрического звонка и вдруг заметил жену доктора, которая копалась в саду, держа лопату затянутыми в перчатки руками.

— Это ты швыряешь камни мне на крышу? — спросила она, снимая перчатки и выставляя напоказ свои кольца, сверкавшие, словно пригоршня росинок.

— Нет, миссис Медоуз,— ответил Эдгар. И на этот раз он говорил правду, так как слишком уж хороша была зеленая черепица, чтобы кидать в нее камнями.

— Не лги, я знаю, что это ты,— сказала докторша.— Смотри же, если констэбль Булл увидит, ты мигом угодишь в тюрьму. А если увижу я, то пожалуюсь директору школы, и тогда тебе тоже не сдобровать.

Эдгар устыдился своей мнимой вины, пробормотал: «Да, миссис Медоуз»,— и побежал дальше, а потом свернул с главной улицы в первый же грязный переулок, уже не глядя ни на какие дома.

Только одного мальчика Эдгар встретил в этот ранний час — Багса Бентли, который развозил молоко на тележке вместе со своим старшим братом Бэром Бентли. Хотя не было еще и половины восьмого, Багс, высокий чахоточный мальчик лет пятнадцати, успел уже развезти первую партию молока.

— Эй, Багс! — окликнул его Эдгар, когда тот остановил тележку и спрыгнул с нее, гремя молочным бидоном.

— Что, твой старик все валяется пьяный? — небрежно осведомился Багс и, не останавливаясь, побежал к дому с криком: «Молоко!»

— Нет,— ответил Эдгар.— Он поехал в лес.

Эдгар любил смотреть, как работает Багс, опытный молочник, взрослый среди детей, любимец всех домохозяек.

— Вам сколько сегодня, миссис Меткаф? — спросил он.

— Кварту, Багс,— ответила женщина.

Эдгар видел, как Багс дважды погрузил оловянный ковшик в блестящий металлический бидон, каждый раз зачерпывая пинту густого молока. Еще небольшая добавка, а затем он повесил ковшик на край бидона, захлопнул крышку и, не теряя времени, направился к следующему дому. Багс был мастером своего дела, и Эдгар, подражая ему, на ходу начал играть в молочника.

Шагая по мостовой, он едва успел увернуться от грузовика. Следом ехал Рой Тилли на своем велосипеде с мотором, и Эдгар чуть не задохнулся от пыли.

— В школу опоздаешь, Эдгар! — крикнул ему Рой.

— Не опоздаю! — ответил Эдгар. Он не почувствовал насмешки, хотя до начала занятий оставалось еще добрых полтора часа. Чтобы убить время, Эдгар сделал крюк, завернув на городскую свалку, и только после этого неохотно поплелся к школе; он пролез под проволочную изгородь, не обращая внимания на ворота, как на нечто совершенно бесполезное.

Школьное здание делилось на две части: в одной помещалась средняя, а в другой — начальная школа. Дом был низенький, прижавшийся к земле под тенью двух-трех эвкалиптов и полузасохшего мастикового дерева; рифленая железная крыша покато спускалась к веранде, которая шла вокруг всего дома, делая его похожим на вытянутое в длину бунгало. Кругом был пустырь, и только у подножия холма, где стояла школа, росла высокая трава и виднелось несколько деревьев. Еще дальше начинались болотистые луга, где паслись стада молочной компании Уильберфорс.

Двор школы был пуст, двери наглухо заперты. Эдгар не спешил подходить к ненавистному зданию. Он посидел на зеленом берегу канавки, ломая тонкую пленку льда в поисках лягушек, которых там не было. Затем пересек газон и поскакал вниз по сухому и твердому склону, брыкаясь, как лошадь. Там, у подножия холма, возле старого пня, он мог в одиночестве беспрепятственно вершить свой суд: экзаменовать учителей, драть их за уши, пороть ремнем и с позором выгонять из из класса — на болото.

Покончив с этим, он вынул из кармана два мраморных шарика и, хоть сезон для игры в шарики еще не начался, сыграл сам с собой партию около ворот. Потом повисел на воротах, ожидая, не придет ли кто из товарищей, и глядя, как оживает город, движутся лошади и повозки, проезжают грузовики и первая подвода с мусором тащится к свалке. Потом вприпрыжку пересек площадку, где обычно играли девочки, и встал на руки, упираясь ногами в залитую солнцем стену. В конце концов он уселся на землю, прислонился спиной к стене и, подложив руки под голову, стал думать о наступающем лете.

— Как дела, Эдгар?

Это пришел Скотти Кэмпбелл.

— Порядок, Скотти! — ответил Эдгар и встал.— У тебя есть шарики?

— Дома у меня тысячи две наберется, но с собой нет.

Ни у кого из мальчиков не было и тысячи шариков, а тем более у Скотти — он плохо играл и был сыном бедняка. Но Эдгар был не так глуп, чтобы открыто уличать Скотти во вранье, так как Скотти давно искал случая подраться, а в драке его нелегко одолеть.

Полгода назад Скотти доставалось больше других, потому что он был из семьи иммигрантов и разговаривал на шотландском диалекте, которого никто из учеников не понимал. Над Скотти издевались все, не исключая и Эдгара; все, что относилось к Скотти, казалось смешным: его странная мать, носившая чепец и приезжавшая в город на подводе; рыжий отец, вечно погруженный в свою библию; илистое болото у реки, на котором иммигрантский союз отвел им участок для фермы. Но смешней всего была его лошадь, Битсер, огромный битюг с косматыми ногами. Скотти, живший за пять миль, каждый день приезжал на нем в школу, и при виде восседающей на огромном тяжеловозе коренастой фигуры с англо-саксонской физиономией весь город покатывался со смеху; так продолжалось до тех пор, пока однажды Скотти не соскочил со своей лошади, испустив дикий и непонятный клич горцев, и тут же, на улице, не положил на обе лопатки Джека Мэрфи, обозвавшего его скотиной. Вкусив крови, он скоро сумел проложить себе путь в среду мальчиков старше и сильнее его, и одновременно тешил свое тщеславие безудержным хвастовством, в котором звучал вызов всякому, кто вздумал бы сомневаться или противоречить.

Эдгар питал к Скотти уважение, но не симпатию и не испытывал перед ним особого страха; и всякий раз, встречаясь со Скотти, он чувствовал, что когда-нибудь дело кончится дракой. Скотти постоянно искал повода для ссоры, а Эдгар старался избежать ее, и все же это было неминуемо.

Правда, наедине с Эдгаром Скотти казался не таким уж несносным. Он хвастался, как всегда, но водиться с ним было можно.

— Что скажешь насчет новой учительницы? — обратился Скотти к Эдгару. — Видел ты ее? Она городская и, должно быть, вредная.

— Нет, не видел,— отозвался Эдгар.— Зато сегодня я подложу ей в стол большую ящерицу, знаешь, из тех, что с воротником на шее.

— Врешь, — сказал Скотти. — Пороху не хватит! Ты уже поймал ящерицу?

— Пока еще нет,— ответил Эдгар.— Вот сейчас спущусь вниз и поймаю; если хочешь, пойдем вместе.

— Пошли,— согласился Скотти, и они спустились с холма, чтобы среди высокой травы и камней изловить плащеносную ящерицу — доисторическое пресмыкающееся с колючей кожей и уродливой головой.

Эдгар лучше Скотти знал, где водятся эти твари, но Скотти был не таков, чтобы слушать чьи-либо советы, и шарил самостоятельно, по большей части не там, где следовало. Сначала поиски Эдгара были не вполне серьезны, как не вполне серьезной была его похвальба. Просто ему взбрело на ум подложить ящерицу в стол новой учительнице, а теперь, когда нужно было действовать, он не чувствовал особой охоты. На беду, каждый из мальчиков, приходивших в школу, тотчас же узнавал о готовящейся проделке, и вскоре к Эдгару присоединилось еще двадцать ловцов. Общее возбуждение раззадорило Эдгара, и он взялся за дело уже по-настоящему.

Расхваставшись, Эдгар боялся, как бы его не опередили. Он был признанным знатоком ящериц и всяческого лесного зверья и по праву хотел быть первым.

— Держу пари, что ты струсишь,— сказал Том Эпплъярд.

— Не суди по себе,— ответил Эдгар.— Если мы поймаем пару, я обеих посажу к ней в стол.

Эдгар знал, что за такую выходку директор жестоко накажет, и все же поторапливал своих помощников: «Поглядите-ка там... вон под тем камнем... шарьте у столба... подымите этот старый бидон... около той канавы...»

Время близилось к девяти, и похоже было, что ящерицы им уже не поймать; солнце еще недостаточно ярко светило, чтобы эти твари вылезли погреться в его лучах. В отчаянье Эдгар потряс один из деревянных столбов ограды, надеясь спугнуть притаившегося зверька, и вдруг в траве в самом деле мелькнуло что-то серое, полосатое. С криком «Вот она!» Эдгар кинулся в погоню.

Ящерице некуда было спастись. Мальчики отрезали ей все пути, и Эдгар, на глазах у восхищенных товарищей, нагнулся и схватил ее. Это было жуткое чудовище длиной около фута, усеянное колючками. Обороняясь, она распустила свой воротник, чтобы устрашить врагов. Все мальчики знали, что укус ее овальных зубов не смертелен, но ядовит и может причинить сильную боль, так что его следует избегать.

Эдгар схватил ящерицу позади воротника и замахнулся ею, чтобы напугать остальных. Затем он стал поглаживать белое брюшко от хвоста к голове, чтобы усыпить ящерицу. Прозвенел звонок, и Эдгар, продолжая поглаживать ее, направился к школе, окруженный ребятами.

— Осторожно! — шепнул один из них.— Как бы Съел-мел не увидел.— Такое прозвище носил директор школы мистер Смелл.

Они рассыпались в стороны, и каждый класс построился, чтобы идти на занятия. Эдгар проскользнул вперед, поднял крышку учительского стола, стоявшего у доски, еще несколько раз провел по брюшку ящерицы и осторожно положил ее в ящик для мела; воротник ящерицы был распущен, а сонные глаза свирепо уставились в пространство. Когда ученики вошли в класс, Эдгар уже сидел на своем месте.

Мистер Смелл явился вместе с новой учительницей, чтобы познакомить ее с классом, и у Эдгара мелькнула страшная мысль: а вдруг Съел-мел сам поднимет крышку! Этого он не предусмотрел. Мистер Смелл стоял у стола и, обращаясь к классу, барабанил пальцами по крышке.

— Ученики шестого класса,— начал он с плохо скрытым раздражением человека, вынужденного разговаривать с деревенскими оборванцами и баптистами из лесных зарослей. — Это мисс Хармсворт, она будет заниматься с вами до конца года.

На какое-то мгновение Эдгар оторвал взгляд от стола и посмотрел на мисс Хармсворт. Это была подвижная молодая женщина с черными как смоль волосами и румяным лицом, типичная жительница большого города, изящная и элегантная в своем сером шерстяном платье. Она смутилась под взглядами двух десятков двенадцатилетних разбойников. Они бесцеремонно рассматривали ее, стараясь определить, строгая она или нет; и с первого взгляда каждый из них понял то, что Пэтчи Уайт шепнул Эдгару:

— Она не строгая.

— Уайт! Ты перепишешь двадцать раз правило о том, что ученики должны молчать, когда их не спрашивают,— сказал мистер Смелл, чей узкий английский костюм был символом его респектабельности, а в гневной складке губ притаилась угроза. —Предупреждаю, — продолжал он, — всякий проступок, всякое нарушение порядка и дисциплины, всякую попытку злоупотребить тем, что мисс Хармсворт — человек новый, я буду пресекать; зачинщики мне известны. Ты, Уайт, ты, Кэмпбелл, ты, Аллан, и вы, три девочки в первом ряду, встаньте! Вы слышали, что я сказал? За всякое непослушание вы будете наказаны: порка, карцер или записка родителям. Садитесь. Аллан, выйди сюда, покажись мне. Где твои башмаки?

— Дома, сэр,— ответил Эдгар, весь красный от смущения, пряча ногу за ногу и поджимая пальцы. Теперь он стыдился своей оборванной одежды, серой фланелевой рубашки без воротника, коротких заплатанных штанов, подтяжек, прикрученных к штанам проволокой. Его загорелые босые ноги были забрызганы грязью, а мятая рубаха выбилась и торчала сзади. Мальчик поспешил заправить ее.

— Вечно ты ходишь грязный и неряшливый,— сказал мистер Смелл.— Ты когда-нибудь умываешься?

— Да, сэр,— лицо Эдгара стало малиновым, веснушки потонули в краске, а белые как снег волосы упали на лоб.

— Не смей больше являться в таком виде; если завтра ты придешь без носков и ботинок, я отправлю тебя домой. Понял?

— Да, сэр, — ответил Эдгар, перепуганный до смерти, не столько угрозой наказания, сколько мыслью, что мистер Смелл обнаружит ящерицу. Впрочем, кто бы ни обнаружил ее, Эдгар знал, что отвечать придется ему. И так как это не первый проступок, наказание будет суровым.

— Садись на место.

Эдгар сел, убежденный, что нет ничего страшнее ожидания, а мистер Смелл продолжал свою речь, требуя хороших манер, хорошего поведения, опрятности и внимания. Мисс Хармсворт молча стояла рядом, лицо ее все гуще краснело, глаза смотрели все более тревожно, видно было, что она совершенно сбита с толку. Нагнав на учеников страху и насладившись произведенным впечатлением, мистер Смелл передал класс испуганной молодой женщине и вышел, провожаемый волной ненависти.

Мисс Хармсворт поглядела на учеников так, словно это были морские валы, в любую минуту готовые обрушиться на нее. Лицо ее теперь стало пунцовым, и когда Скотти Кэмпбелл крикнул: «Валяйте, мисс Хармсворт!» — раздался смех; тогда она поднялась на возвышение и постучала по столу, требуя порядка. Ребята замерли, ожидая, что ящерица проснется и выскочит из ящика, и внезапная напряженная тишина

сильно удивила и озадачила мисс Хармсворт; на какое-то время она даже вновь обрела уверенность, которую отнял у нее мистер Смелл.

— Так вот, дети,— начала она.

— Ученики! — поправил Фиш Шарки.— Здесь нас всегда называют ученики, мисс.

— Ну хорошо, ученики.

— Мисс...— Мелба Вентвисл, гладко причесанная девочка из Дерри Даунса, просила позволения выйти.

— Нет, тебе придется подождать,— сказала мисс Хармсворт.

— Я не могу, мисс!

Весь класс тянул руки, прося разрешения вытереть доску, наточить карандаши, открыть окна, затопить печь, наломать мел.

— Нет! — воскликнула мисс Хармсворт и снова постучала по столу.

Наступила гробовая тишина.

— Начнем с истории. У всех есть книги?

— Да, мисс.

— На чем вы остановились? — она держала в руках «Историю Британской империи» Бинса, и Эдгар заметил, что у нее есть все учебники. А это значило, что она, быть может, так и не полезет в стол, даже за мелом, и ящерица достанется следующей учительнице — властной, седой ирландке, которая была старше города Сент-Элен.

— Мы дошли до шестидесятой страницы, мисс Хармсворт,— сказала Пэт Пени, смышленая девочка с золотыми шинами на зубах и золотым браслетом на руке.— Мы читали об Индии и Каннурских мятежах.

— Прекрасно, — сказала мисс Хармсворт. — Начнем с опроса.

Она заглянула в книгу; в ту же минуту бумажный шарик ударился о доску, кто-то щелкнул одну из девочек линейкой, хлопнула крышка парты. Мисс Хармсворт подняла голову, и так как шум не прекращался, она еще раз постучала по столу.

Снова тишина, непонятная, непривычная.

Мисс Хармсворт оглядела класс в поисках самого смирного и тихого ученика, которого она могла бы вызвать без риска, и заметила Эдгара, он один только сидел в каком-то жутком оцепенении, уставившись прямо перед собой бессмысленно вытаращенными глазами.

— Вот ты, мальчик с белыми волосами,— сказала она.— Как тебя зовут?

— Эдгар! — хором закричали ребята. — Эдгар Аллан, мисс.

Эдгар вздрогнул и поднял глаза. Затем он встал и вышел из-за парты.

— Эдгар,— самым мягким и проникновенным тоном обратилась мисс Хармсворт к этому доверчивому ребенку, которого ей было так жаль, когда его распекал мистер Смелл.— Скажи, Эдгар, что такое Калькуттская черная яма?

Мальчик помедлил, вспыхнул, помялся и переступил с ноги на ногу.

— Кажется, угольная шахта, мисс— ответил он.

Он забыл, что сидит на уроке истории, а не географии. Класс покатился со смеху, и даже у мисс Хармсворт дрогнули губы. Эдгар понял, что снова попал впросак, оглядел хохочущих товарищей и сам смущенно улыбнулся.

— Нет, Эдгар,— сказала мисс Хармсворт, постепенно обретая уверенность. — Калькуттская черная яма — это тюрьма, куда индийцы посадили сто восемьдесят англичан, и сто тридцать два из них погибли. После этого в 1757 году англичане вынуждены были начать сражение при Плесси и, покарав индийцев, поставили у власти, на благо Индии, новое правительство. Теперь ты понял?

Он не только понял, он запомнил это на всю жизнь, так как в то же мгновение мисс Хармсворт приподняла крышку стола, чтобы достать мел, и весь класс вскочил на ноги, следя за тем, как учительница, заглядывая в ящик, шарит в нем рукой.

Внезапно мисс Хармсворт оцепенела, ее весенний румянец сменился смертельной бледностью, глаза и рот широко раскрылись. Затем она вскрикнула и уронила крышку, но потревоженная ящерица уже выпрыгнула или, скорее, вывалилась из стола и побежала по дощатому полу. Мисс Хармсворт, всхлипывая, зажала рукой рот и была близка к обмороку. Дети с испуганным видом забрались на парты, даже Эдгар поддался было общей панике. Но он тут же пришел в себя, кинулся ловить ящерицу между парт и поймал ее за хвост у самых ног мисс Хармсворт. Он стал крутить ее вокруг себя, чтобы спастись от оскаленных зубов и страшных колючек. При этом он нечаянно задел за парту и выронил ящерицу, которая немедленно бросилась наутек. Эдгар упал, но тут же вскочил под отчаянный визг девочек. Он настиг ящерицу у окна и, схватив ее обеими руками, вышвырнул во двор.

Через секунду он уже с невинным видом сидел на своем месте.

В это время в дверях показался мистер Смелл.

Все нормальные проявления жизни так или иначе сопровождаются шумом, и в тишине всегда есть что-то противоестественное. Именно такой и была тишина, вдруг оборвавшая кутерьму в классе.

— Встаньте! — отрывисто и сурово приказал мистер Смелл. Он даже не смотрел на мисс Хармсворт, которая еще не совсем оправилась.— Ну! В чем дело? Что здесь происходит? Что за шум? Отвечайте.

Ох, эта тишина!

— Я предупреждал вас! — сердито закричал мистер Смелл.— Из-за чего весь этот беспорядок? Если вы будете молчать, каждый получит по шесть ударов ремнем. Весь класс. Ну?

— Это все ящерица...— нерешительно сказала Мэри Такери, крупная, рано созревшая девочка, любимица учителей, всегда трепетавшая перед наказанием.

— Ящерица? Кто принес ее сюда?

Молчание.

— Мэри Такери,— сказал мистер Смелл.— Кто принес ящерицу?

— Не знаю, сэр...

— Пусть тот, кто сделал это, встанет, не то я на всю неделю оставлю вас без спортивных игр.

Эдгар понял, что дело его плохо. Неписаный закон требовал, чтобы он сознался; но мальчик не мог заставить себя сделать это под пристальным взглядом мистера Смелла.

— Все живущие в лесу встаньте: Уайт, Аллан, Кэмпбелл, Дигби. Кто из вас принес ящерицу?

Молчание.

— Ты, Кэмпбелл?

— Нет, сэр,— дерзко и вызывающе ответил Скотти.

— Уайт?

— Не я, сэр.

— Аллан?

Эдгар ничего не ответил.

— А! Значит ты! Ступай за мной в кабинет. Остальные садитесь и запомните мое предупреждение. В следующий раз я накажу весь класс.

По его свирепому тону все поняли, что он не задумается привести угрозу в исполнение. Он повернулся и вышел, Эдгар последовал за ним.

Босые пятки мальчика гулко стучали по коридору, но ему казалось, что сердце его стучит еще громче. Он засунул дрожащие руки в карма-

ны, безуспешно пытаясь храбриться; он не чувствовал озлобления, но сознание вины внезапно исчезло. Он думал только о несправедливости того, что должно сейчас произойти. Ему казалось, что он не сделал ничего дурного, а его хотят наказать. На беду, чувство оскорбленной невинности едва ли могло утешить его, так же как и философская мысль, что все скоро кончится и будет не очень больно. Сама расправа — ничто в сравнении с ожиданием ее; и, не сводя глаз с аккуратной складки на брюках мистера Смелла, мальчик чувствовал, что во рту у него пересохло, а все тело точно налилось свинцом. Мистер Смелл был жестоким и несправедливым человеком, так, по крайней мере, казалось Эдгару. Если бы не страх, он мог бы ударить мистера Смелла из одного лишь чувства протеста. Но страх был настолько силен, что даже мысль о бегстве не пришла ему в голову.

Он остановился перед столом мистера Смелла, сам протянул руку и только сморщился, когда толстый кожаный ремень стегнул его пониже локтя.

— Еще! — сказал мистер Смелл, когда Эдгар опустил руку.

Он ударил Эдгара по правой руке шесть раз.

— Теперь другую!

Мистер Смелл держал ремень крепко и уверенно, и когда Эдгар протянул левую руку, ударил со всего размаху, движимый не гневом, но справедливостью, не жестокостью, но чувством долга; не глядя на мальчика, он снова заносил ремень, это воплощение печальной необходимости, и снова хлестал, думая лишь о пользе, которую принесет ребенку этот суровый урок.

Обычно он ограничивался десятью ударами, но на этот раз какое-то внутреннее побуждение заставило его добавить еще два. После этого он взглянул на мальчика и увидел две прозрачные слезы на его грязных щеках. Грязь — вот что огорчило его; впрочем, сейчас он готов был простить Эдгару грязь и ничего не сказал; Эдгар повернулся и вышел из кабинета. Закрывая дверь, он слышал, как мистер Смелл вздохнул.

Эдгар всхлипнул, проглотил слюну, сплюнул и вошел в класс, встреченный благоговейным молчанием тех, кому удалось избежать кары. Он остановился у дверей, ожидая разрешения сесть; мисс Хармсворт, казалось, сама была готова расплакаться. Однако никто из детей не заметил ее минутной слабости, а Эдгар, разумеется, видел в ней только виновницу беды.

— Садись, Эдгар,— сказала мисс Хармсворт, и мальчик пошел на место. — Я...— начала она и тут же осеклась.— Я не люблю, когда детей бьют...

— Это не больно, мисс,— заверил Скотти Кэмпбелл. Скотти попадало чаще других, но чем больше его били, тем легче он к этому относился.

— Если все вы станете хорошо вести себя, наказаний не будет,— в отчаянье проговорила мисс Хармсворт, но ей не удалось выразить свое глубокое отвращение к насилию, и собственные слова показались ей лишь повторением надоевшей учительской морали.— А теперь продолжим.

Урок пошел своей чередой, и Пэтчи Уайт, открывая учебник Эдгара, шепотом спросил: «Больно было?» — а Эдгар мотнул головой и ответил: «Нет!» — после чего товарищи по безмолвному уговору оставили его в покое, и он просидел до конца урока, уткнувшись в книгу, в то время как мысли его разбегались. Он остро ощущал свое одиночество, чувствуя, хотя и бессознательно, что обижен судьбой, наградившей его отцом, над которым смеется весь город, и заброшенным домом у реки, где никто не позаботится накормить его, когда он вернется. Эдгар впервые заглянул

в собственную душу, ему было жалко себя, и он обрадовался, когда прозвенел звонок и урок мисс Хармсворт кончился.

— Так вот...— попыталась она снова заговорить с классом.— Надеюсь, больше это не повторится.

Ее слова заглушили крик и суматоха, поднятые юными искателями приключений. Шумный поток плескался у самых ее ног; она поспешила выйти и с облегчением затворила за собой дверь.

III.

Эдгар досидел до конца уроков и с вызывающим видом прошел через весь город, словно нарочно напрашиваясь на новые насмешки горожан. Но большинство не обратило на него внимания, не находя ничего забавного в том, что по улице идет маленький мальчик, хотя бы даже и в рубахе, выбившейся из штанов. Эдгар был разочарован: от этого равнодушия вчерашние насмешки казались еще более обидными, а наказание, полученное в школе, как ни странно, еще более несправедливым.

Тем не менее он забыл обо всем, очутившись у реки, и весь вечер посвятил поискам первых в эту весну сетей Пита Поттера: но Пит был ловкий браконьер, и чтобы разгадать все его хитрости, Эдгару пришлось бы искать до самой осени. Потерпев поражение и тут, он пошел домой.

Эдгар напился чаю и сидел в темноте, прислушиваясь к доносившимся из-за реки звукам городской жизни. Эта близость города, раскинувшегося на другом берегу, нестерпимо давила его. Он встал, натянул свитер и, взяв лодку, переправился через реку.

— Это ты, Эдгар? — окликнул его кто-то.

Мальчик узнал старого Боба, бывшего капитана, который жил на берегу в старом пароходном котле. Эдгар охотно поболтал бы с ним. Но на Боба никак нельзя было положиться. Своенравный старик мог вдруг встретить его самым недружелюбным образом, хотя по натуре был добр и великодушен.

— Да, это я! — ответил Эдгар и скрылся в темноте, зная склонность Боба к злым шуткам и не желая испытывать ее на себе.

Секунду он простоял в нерешительности; не хотелось ни возвращаться домой, ни видеть кого-либо из горожан. И все-таки нужно было как-то закончить этот день, чтобы успокоиться. Будь Спит Макфи дома, Эдгар пошел бы к нему; но Спит уехал к дяде на ферму, а больше, он знал, идти некуда.

Когда он пересекал железнодорожную насыпь, взошла луна; при ее холодном призрачном свете Эдгар наполнил карманы камешками, добавив к ним два или три куска серого песчаника.

Был только один способ достойно завершить этот день. Эдгар набрал боеприпасы, а затем, дойдя до ближайшего дома, начал бомбардировать камнями крыши.

Все это были низенькие крыши из оцинкованного железа, словно специально предназначенные для такого обстрела. Эдгар начал с крыши мясника, мистера Ми, а затем продолжал швырять уже без разбора. Он запустил камнем в высокую крышу церкви и кинулся прочь со всех ног, а позади него слышался грохот и загорались огни. Он мчался мимо лавок, гаража, гостиницы и кидал, кидал, кидал, поднимая шум и переполошив весь тихий городок. Он петлял, укрываясь за деревьями и заборами; замирал и прятался, когда отворялись двери и лаяли собаки; бежал что есть духу при малейшей опасности. Он достаточно хорошо

знал дорогу и мог не бояться, что его поймают, тем более ночью. Он пробежал через весь город и наконец добрался до почты. Эту крышу Эдгар обычно щадил, но сейчас он вспомнил о вчерашнем поступке мистера Пула, и почту постигла судьба остальных домов.

Теперь он расквитался почти со всеми и раздумывал, не бросить ли камешек-другой на крышу полицейского участка, но потом решил, что это было бы уже безрассудством. Он поднялся на холм и зашагал через пастбища к школе. Здесь он выпустил остаток камней в темное и пустое здание школы. Но один, самый крупный обломок Эдгар приберег: дойдя до дома мистера Смелла, он размахнулся, и камень, мелькнув в лунном свете над эвкалиптом, над электрическими проводами, обрушился на металлическую крышу с таким грохотом, что Эдгар встрепенулся и скачками бросился вниз, под прикрытие забора.

Домой он пошел самой длинной и неудобной дорогой и незаметно для себя набрел на дом доктора Медоуза. В лунном свете зеленая черепичная крыша казалась ему прекрасной, и на какую-то секунду восхищение взяло верх над жаждой мести. Но он уже не мог пересилить себя и стал шарить по обочине в поисках снаряда; найдя подходящий камень, мальчик метнул его в крышу. Черепица разлетелась с треском, который ничем не напоминал тарахтенье камней по железным крышам, и Эдгар был разочарован; замешкавшись, он чуть не попался, забыв, что жена доктора Медоуза угрожала ему еще утром.

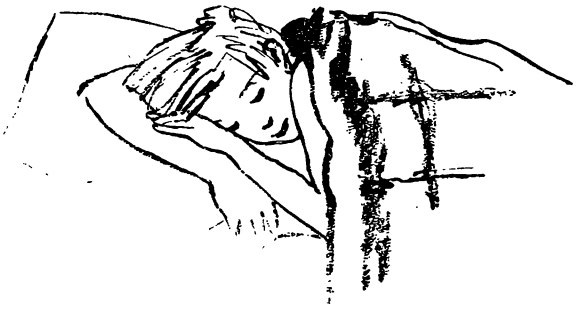
Он переправился через реку успокоенный, — день был закончен.

— Ты ужинал, Эдгар?

Это кричал с того берега старый Боб.

— Ужинал! — ответил ему Эдгар и вошел в дом.

Он разделся и лег в свою кровать в теплой кухне, чтобы спокойно насладиться местью. Но теперь, когда все было кончено, он уже не чувствовал той радости, какую доставили ему минуты мщения. Приятнее всего было вспоминать, как он забросал камнями здание школы. В его ушах вновь зазвучал грохот обломка, скатывающегося по железной крыше пустого и замершего дома; этот камень никому не причинил вреда, ничего не доказал, и все-таки, даже вспоминая об этом, он засмеялся от удовольствия и уснул с чувством, что одержал победу — и над побоями учителя, и над насмешками горожан.



Н. Вильмонт

Трагедия композитора Адриана Леверкюна

(„ДОКТОР ФАУСТУС")

I

Мы уже говорили однажды (в статье о «Признаниях авантюриста Феликса Круля»*), что каждый большой роман Томаса Манна — итог долгих раздумий и наблюдений, проникновенная оценка современности под углом нового, более отчетливого, понимания исторических перспектив.

Но если такие романы, как «Будденброки», как «Волшебная гора», отражают и анализируют общественные явления, сложившиеся на конкретной исторической почве, то тетралогия «Иосиф и его братья» уносит нас от событий дня в патриархально-мифологическую даль. Правда, неторопливый ход рассказа позднее приводит читателя в древний Египет, уже доступный историко-археологическим изысканиям. Но элемент достоверности здесь так тесно переплетен с библейским преданием, что и этот исторический мир теряет свои реальные контуры, становится всего лишь более ярко выписанной деталью поблекшей от давности легенды...

От этого мифологическая тетралогия Манна, конечно, не перестает быть знаменательным итогом авторских размышлений: ведь именно в ней писатель окончательно преодолел ранее проводившееся им противопоставление «духа» и «жизни». В «Иосифе и его братьях», напротив, носитель духовного, *разумного* начала отстаивает *жизнь*, спасает египетский и соседние народы (в том числе и родное ему пастушеское племя израильтян) от неминуемой гибели, которой грозили им семь «тощих», неурожайных, годов. И народ не только терпит диктатуру Иосифа-Кормильца, но благодарно принимает его спасительную опеку. Жизнь торжествует над смертью благодаря силе человеческого духа, организующего разума.

Оставим вне рассмотрения в статье, посвященной совсем другой теме, сомнительную сторону авторской концепции: явное сочувствие благодетельной «революции сверху» и небрежение идеей народовластия. Нам кажется более чем вероятным, что образ библейского Иосифа на определенном этапе работы сближался автором с личностью президента Франклина Рузвельта — «человека *доброго дела»*, «аристократа-народолюбца», «художника и *героя»*, как в отклике на смерть президента отозвался о нем Томас Манн. Но, повторяем, оставим все это в стороне, включая иллюзорные надежды, которые возлагались писателем в годы работы над «Иосифом» на буржуазный реформизм, опирающийся на традиционную государственную власть. Тем более, что нам (и с полным на то основанием) могут возразить, что ни библейский миф, ни история древнего Египта в царствование Аменофиса IV не давали Томасу Манну должного повода для постановки проблемы народовластия. Заметим только, что самый выбор материала всегда зависит от автора (точнее от его мировоззрения) и уже потому никогда не случаен. Нас здесь, однако, интересует не столько *концепция* тетралогии, ее справедливость или ошибочность, сколько самый факт бегства писателя от современности.

Спешим оговориться: не всякое художественное произведение, посвященное историческому прошлому, означает такое бегство. Никто не скажет этого ни о драмах Шиллера, ни о романах Алексея Толстого или Фейхтвангера, ни о «Театре революции» Ромена Роллана. Другое дело — «Западно-восточный диван» Гете, написанный в 1813—1819 годах, когда волна шовинизма начинала захлестывать сознание немецкого бюргерства, уже мечтавшего воздвигнуть на месте рухнувшей империи Наполеона новую всемирную державу немцев. Поэту хотелось «выйти из игры», грозившей такими кровавыми последствиями. В этом подлинный смысл его «геджры» (бегства) в культурные пределы Ближнего и Среднего Востока.

Для Томаса Манна «Иосиф и его братья» — тоже *бегство* от современности, но причина такового диаметрально противоположна той, которая толкнула на сходный шаг автора «Западно-восточного дивана». Гете отчетливо сознавал всю гибельность нового политического курса, взятого немецкой

* См. «Иностранную литературу» № 8 за 1956 г., стр. 171—181.

буржуазией после освободительных войн («Но разве немецкий народ проснулся? Сон был слишком глубок, и первая встряска не может пробудить его чувства. Не спрашивайте меня больше! Ах, ах! Коня, коня — полцарства за коня!»); напротив, Томас Манн не различал в тот период своей жизни ближайших исторических перспектив.

Читатель помнит, конечно, сколь безрезультатны были дебаты в «Волшебной горе» между представителями двух друг другу враждебных идеологий: либеральным гуманистом синьором Сеттембрини и рафинированным мракобесом аббатом Нафтой. Из этой идеологической схватки, несмотря на всю силу и умелость аргументации, никто не выходит победителем, да и не может выйти, так как «спор за душу» современного человечества на деле велся и ведется не между буржуазным либерализмом и фашизирующейся реакцией, а между объединенным фронтом апологетов капиталистического миропорядка и силами, утверждающими новые, коммунистические основы грядущей истории человечества.

Правда, Томас Манн отчасти уже догадывался об этом, работая над завершением «Волшебной горы», чему свидетельством «Парижский отчет» 1926 года. Но мы тщетно стали бы искать зримые следы его тогдашних исторических догадок в *самом* романе. Этому, кстати сказать, в значительной мере препятствовала давняя приверженность писателя к реалистическому методу изображения — ведь «Волшебная гора» сюжетно обрывается накануне первой мировой войны, а тогда в фешенебельном швейцарском санатории вопрос *капитализм или коммунизм* еще не обсуждался за табльдотом.

Так или иначе, но подводить новый всеобъемлющий итог житейского опыта тотчас по окончании «Волшебной горы» Томас Манн не хотел, да и не мог. Слишком много колебаний, тяжких сомнений, политического и философского релятивизма мешало ему отлить в непреложную форму искусства близлежащую и все же призрачную в своей непознанности действительность. Это, видимо, и побудило писателя сменить «поэтический климат», податься в чужедальнюю страну и в баснословные времена.

Мы уже сказали, что в «Иосифе и его братьях» писателем проводилась *идея служения народу* (тесно связанная с мыслью о гармоническом сотрудничестве «духа и жизни»). Но идея эта, в столь абстрактно-вневременном ее обличии, была скорее существенным привнесением в эпопею о Иосифе, чем движущей пружиной идейно-художественного замысла. Автор, видимо, получал самодовлеющее эстетическое удовольствие за работой над этим обстоятельным, полунаучным-полухудожественным толкованием библейского текста, где каждый «стих» Писания вырастал в большую главу, наполняясь подробностями, почерпнутыми из собственного и чужих путешествий по Палестине и Египту, из исторических и историко-религиозных исследований, из личного обширного опыта психолога-беллетриста и анализа политической жизни современности*. Порою Томас Манн с большим чувством юмора играет в своем «Иосифе» квази-научными догадками богословов-рационалистов, кое в чем повторяя манеру Анатоля Франса, но, в отличие от последнего, всегда примешивая к холодной насмешке скептика тепло первобытной поэзии**.

Не подлежит сомнению, что нашлось и еще найдется немало читателей определенного склада, которые вслед за автором не устанут утешаться этой искусной прозаической вязью, покрывшей две тысячи с лишним страниц (три тома юбилейного двенадцатитомника).

По мне — подчеркиваем этой личной нотой всю субъективность настоящего суждения—Томас Манн потратил слишком много времени на эту «серьезную игру» или «трудолюбивую праздность» (оба термина восходят к Гете), длившуюся с 1928 по 1942 год, хотя мы отлично понимаем, что автор, будь он жив, мог бы с полным правом откликнуться на такое замечание гордыми стихами Гете:

«Разве старого рубаку
Я учил держать секиру?..
Наставлял я рыболова
В обращении с лесою,
Иль искусного портного
Обучал шитью и крою?
Так чего же вы со мною
В том тягаться захотели,
Что природою самою
Мне открыто с колыбели?..»

Большой художник в глубине души всегда верит в сотрудничество с «гением века» (с духом времени), всегда рассчитывает на вразумляющий урок истории. Никто, кроме него самого, не знает, когда настал *его* час, чтобы сосредоточить в одном фокусе свои заветные мысли и чувства, свои размышления о родине и о своем народе, о судьбах человечества и о культуре нынешнего и грядущего дня. Вторая мировая война сбросила столько лживых личин, так точно определила границы света и мрака, что истинный художник не мог не отыскать в толчее призрачных теней нужные ему человеческие образы, способные по его воле символически разыграть на *малых* подмостках искусства великую драму, идущую на *больших* подмостках истории современного человечества.

Еще Томас Манн дописывал последние, едва ли не лучшие главы «Иосифа и его братьев», еще он вразумлял по радио своих соотечественников и выступал во многих университетских центрах Америки, отстаивая достоинство немецкого народа, попранное Гитлером и всеми, кто вольно или невольно шел по его кровавым следам, а уже рука писателя тянулась к заветной папке,

---

* Последнее привело к подчеркиванию различных политических тенденций в жизни древнеегипетского общества, в которых нетрудно различить черты, сближающие их с буржуазным либерализмом, с фашистским варварством и так далее.

** Чему прекраснейший образец — «тихая беседа» праотца Иакова с возмужавшим и преуспевшим сыном Иосифом.

где сорок с лишним лет хранилась ранняя юношеская запись, посвященная теме «Фаустуса».

В круг ежедневного чтения Томаса Манна, всегда обдуманно систематического, взамен источников, нужных ему для обработки библейского предания, теперь попали «Народная книга о докторе Фаусте», письма и ряд биографий Ницше, трактаты о новейшей музыке (и здесь в первую очередь *учение о гармонии* композитора и теоретика Арнольда Шёнберга). Ибо, приступив к сочинению, в центр которого поставлен гениально одаренный музыкант, Томас Манн почел необходимым всесторонне изучить современное состояние музыкальной культуры — «иначе все это было бы шарлатанством»*.

Начался интереснейший, глубоко поучительный (особенно для пишущей братии) «роман одного романа», неутомимая, титаническая работа над «Доктором Фаустусом». Ни вседневная суета, ни разнообразная деятельность политика, лектора, публициста, ни даже тяжкий недуг, так близко подведший тогда писателя к могиле, уже не могли ему помешать суммировать свои размышления над центральными проблемами современности.

Позднее написанные «Признания авантюриста Феликса Круля» и тем более роман «Избранник» не были такого рода итогами. А потому, говоря о романе «Доктор Фаустус — жизнь немецкого композитора Адриана Леверкюна, рассказанная его другом», мы, тем самым, говорим о *последнем слове* писателя и мыслителя Томаса Манна, о художественном, философском и политическом его завещании.

2

Итак, первая мысль написать «своего Фауста» посетила Томаса Манна в 1901 году, когда он заканчивал «Будденброков». Это не было только ребяческой мечтой потягаться силами с первым поэтом Германии. Уже тогда молодой писатель видел «сквозь магический кристалл» неясные очертания романа, к работе над которым он думал, однако, приступить не сейчас, а на склоне плодотворно прожитой жизни. С самого начала ему мерещился *новый Фауст* в образе современного художника, продавшего душу дьяволу ради вящего торжества своего сомнительного искусства.

Академическое издание полного собрания сочинений Томаса Манна, которое в недалеком будущем выйдет на его родине и куда будут включены все его дневники и рабочие записи, прольет необходимый свет и на историю возникновения *фаустовской темы*. Что касается нас, то мы убеждены, что многое, связанное с этим замыслом, уже вошло в состав текста «Тонио Крёгера». «Он всецело предался силе, казавшейся ему самой возвышенной на земле,— читаем мы там, — силе... духа и слова, с улыбкой царящей над темной, немою жизнью. С юношеской страстью служил он ей, и в награду она дала ему то, что могла дать, беспощадно взыскав все, что привыкла брать взамен. Она обострила его глаз, позволила ему познать великие слова, которые распирают грудь человека..., сделала его ясновидцем и дала проникнуть... в то сокровенное, что таится за словами и поступками. И он увидел только смешное и убогое, убогое и смешное. И тогда вместе с мукой и высокомерием познания пришло одиночество, ибо в кругу простодушных и веселых, но темных разумом его не терпели; клеймо на его челе вселяло в них тревогу. Зато все более жгучим для него становилось наслаждение словом и формой; он любил говорить (эту мысль он тоже успел записать), что проникновение в душу человека неминуемо ввергло бы нас в ипохондрию, если бы радость выражения не сохраняла нам бодрости духа... Его охватили отвращение и ненависть к чувственности. Он томился по чистоте, по пристойной мирной жизни, а между тем вдыхал воздух искусства — теплый, сладостный, напоенный ароматами непроходящей весны, в котором все движется, бродит и прорастает в тайном блаженстве созидания... И в той же мере, в какой слабело его здоровье, изощрялось его писательское мастерство; оно становилось все более изысканным, привередливым, отшлифованным, тонким, нетерпимым к банальному и до крайности чувствительным в вопросах такта и вкуса».

И в другом месте: «Ведь не секрет, что именно в кругу умных, видавших виды людей всегда царит молчаливая безнадежность... Попробуйте высказать какую-нибудь истину, обладанье которой доставляет вам свежую, юношескую радость, и в ответ вы услышите только пренебрежительное пофыркиванье... Это о познании. Что же касается «слова», то тут, возможно, все сводится не столько к преображению, сколько к замораживанию чувства, к хранению его на льду; и, правда ведь, есть что-то нестерпимо холодное и возмутительно дерзкое в крутой и поверхностной расправе с чувством посредством литературного языка... Что выговорено, гласит... символ веры (художника), с тем покончено. Если выговорен весь мир, значит он исчерпан, преображен, его более не существует... Литератор в глубине души не понимает, что жизнь может продолжаться, что ей не стыдно идти своим чередом и после того, как она «выговорена», исчерпана». И, как итог всего сказанного: «писатель это — не профессия, а проклятие».

Нам показалось допустимым и даже целесообразным сделать такую длинную выписку из раннего рассказа Томаса Манна по двум причинам: во-первых, чтобы отметить, как много из относящегося к *фаустовской теме* уже «успел записать» автор «Тонио Крёгера», и, во-вторых, чтобы тут же выделить то принципиально новое, что он прив-

* Нельзя не заметить, что вполне понятное желание Томаса Манна говорить о музыке на языке специалиста-музыковеда значительно затрудняет чтение романа, и без того достаточно сложного.

нес в эту тему много лет спустя, в результате зрелых наблюдений над новейшей историей капиталистического общества в целом и Германии в частности, а также над все углублявшимся кризисом *современного буржуазного искусства.*

В отобранных и без особого труда смонтированных нами отрывках содержится целый ряд основных мотивов, позднее ожив-ших в романе «Доктор Фаустус»: мотив *одиночества,* то есть оторванности от людей, от народа; мотив *отвращения и ненависти* ко всему, входящему в сферу чувственности (то, что в «Фаустусе» вложено в понятие «монаха сатаны»); далее: рассуждение о *болезни* как о предпосылке изощренного мастерства, и, наконец, пресловутый мотив *холода,* присущего всякому искусству, — тема, получившая совсем особое звучание в романе о немецком композиторе (прежде всего в фантастическом диалоге Леверкюна с чертом — этим страшным порождением его помутившегося разума).

О *холоде* как о необходимой предпосылке творчества говорили многие мастера слова, в частности пылкий Шиллер и, независимо от него, такой художник, как Антон Чехов. Но и в том, и в другом случае речь шла о *реалистическом методе* изображения, о раскрытии смысла отражаемой действительности не в лирических и философских отступлениях или монологах (которые служили бы «рупором времени»), а средствами *объективного* воссоздания хода событий и психологии действующих лиц, точно понятых и столь же точно переданных трезвым, разумно взвешенным словом, — при самом *горячем* сочувствии человеку.

Автор «Тонио Крёгера» вкладывал в понятие *холода,* конечно, и этот реалистический смысловой оттенок, но, вместе с тем, и совсем другую мысль — мысль о *равнодушии* и высокомерном презрении художника к человеку, о его отказе влиять на историческое будущее общества.

Примечательно — и как могли этого не заметить? — что упомянутый «символ веры» всякого литератора («Если выговорен весь мир, значит он исчерпан, преображен, его более не существует»), по сути, пародирует известную мысль Гете об освобождении от власти переживаний путем объективизирования пережитого в художественном образе. Мысль эту Гете высказывал не раз и по различнейшим поводам, но наиболее классически устами своего Тассо:

> «Там, где немеет в муках человек,
> *Мне* бог дает поведать, как я стражду».

Ясно, что эта скрытая *моральная полемика* с Гете должна была подчеркнуть *извечное* равнодушие искусства к «жизни», к народным нуждам...

К счастью, творчество Томаса Манна слишком противоречиво, чтобы ходовая декадентская догма о «равнодушии искусства» могла в нем накрепко угнездиться. Уже в самом рассказе о Тонио Крёгере ей противопоставлено преклонение героя перед «священной русской литературой», как перед «высшим проявлением человечности», а также твердая его убежденность в том, что «существует творчество столь глубокое, столь предначертанное и роковое, что нет для него ничего сладостнее и желаннее, чем блаженная обыденность. Я восхищаюсь холодными гордецами, что шествуют по тропе великой, демонической красоты и презирают человека, но не завидую им. Ведь если что может сделать из литератора поэта, то как раз моя обывательская любовь ко всему человечному, живому, обыденному. Все тепло, вся доброта, весь юмор идут от нее, и временами мне кажется, что это и есть та любовь, о которой сказано в Писании, что человек может говорить языком человеческим и ангельским, но без любви голос его все равно останется медью гудящей и кимвалом бряцающим. Не хулите этой любви, Лизавета; она благодатна и плодотворна. В ней страстное ожидание, горькая зависть, малая толика презренья и вся полнота целомудренного блаженства... Сделанное мною — ничто, самая малость, все равно что ничто. Я добьюсь большего, Лизавета,—обещаю вам...»

И Томас Манн выполнил этот обет (не случайно произнесенный его героем в письме к русской женщине): он «добился большего». Весь пафос его творчества, весь смысл его писательского пути — в действенной заботе о грядущих судьбах человека и человечества, о культуре будущего. Этим благородным пафосом проникнут и «Доктор Фаустус», в котором Томас Манн высказал много такого, чего не мог бы еще ни сказать, ни даже подумать молодой автор «Тонио Крёгера».

Всматриваясь в дальнейшее, «пост-декадентское» развитие искусства эпохи империализма с его «ущербно-рационалистическими тенденциями», с его «необращенностью к человеческой душе» *(иронической пародийностью* в музыке и в литературе и *математическим кубизмом* в скульптуре и живописи*), Томас Манн приходит к трагическому сознанию, что художник эпохи империализма с утратой «души искусства», *реализма,* утратил и *радость творчества.*

Возможность работы над *завершением* художественного замысла, возможность упиваться этой работой еще не бралась под сомнение такими художниками, как Тонио Крёгер или Густав фон Ашенбах (из «Смерти в Венеции»). Напротив, для композитора Адриана Леверкюна все это — уже пройденный этап, недостижимо счастливое вчера: «Когда *целостное,* завершенное произведение — только фикция, кому охота сочинять?» Этой трагической потери художником *веры в завершение, воли к завершению* не видел, да и не мог еще видеть — по тогдашнему состоянию буржуазной эстетической культуры — Тонио Крёгер и стоящий за ним Томас Манн. Ее принесла с собой только дальнейшая «утонченная деградация» искусства XX века.

---

* Наблюдениям над изобразительным искусством отведено немало страниц в последнем рассказе писателя «Обманутая».

И еще одно существенное привнесение в «фаустовскую тему»: мы говорим о понимании Томасом Манном трагедии художника уже не как *извечно неизбежной,* а как типичной для буржуазного художника *эпохи империализма.* Пройдя сложный и противоречивый путь художника и мыслителя, Томас Манн осознал себя летописцем и теоретическим аналитиком этой эпохи и связанного с нею культурного кризиса. Это исчерпывающе ясно высказано в записи, относящейся ко времени его работы над «Доктором Фаустусом». «Французы — эстеты, что бы мне там ни говорили! — восклицает он с необычайной для него запальчивостью.— В этом я еще раз убедился, сравнивая две книги, немецкую и французскую, посвященные разбору моих сочинений... Заглавие французской книги (автор Жан Фулер) соединяет мое имя с идеей «seduction de la mort» (прельщения смертью), тогда как немецкая, принадлежащая перу Арнольда Бауэра и вышедшая в Восточной зоне, говорит о моем творчестве в связи с «кризисом буржуазной культуры». Верят ли вообще французы в наличие такого кризиса? Сдается, что они, как то было и после первой мировой войны, предоставляют нам, немцам, заниматься «апокалипсическими прорицаниями», сами же куда больше интересуются такими красивыми словами, как «seduction de la mort».

Роман «Доктор Фаустус» — это художественный трактат, посвященный «социальной патологии эпохи» (как сказал бы синьор Сеттембрини из «Волшебной горы»). Все ранее созданные романы: «Будденброки», «Волшебная гора», «Иосиф и его братья» — по собственному признанию автора, принимали монументальные размеры лишь исподволь, ненароком перерастая скромные рамки рассказа или повести. Но на этот раз Томас Манн точно знал, чего он хочет: «написать *роман своей эпохи* под видом жития одного грешного музыканта».

3

А теперь: хоть поздно, но — in medias res.

Пусть Томас Манн всегда подчеркивал свою принадлежность к тому особому типу писателя, чьи произведения — только фрагменты, только различные стороны *всей* его литературной деятельности, понимаемой как «единая исповедь», — мы, его читатели, «в своем добром праве» смотреть на каждую его книгу, на каждый его рассказ или очерк, как на замкнутое в себе *целое,* доступное непосредственному восприятию и критической оценке. Тем более, когда речь идет о «Докторе Фаустусе» — глубочайшем обобщении всего, что было когда-либо продумано, сказано и поэтически изображено нашим недавним великим современником.

Выше мы назвали «Доктора Фаустуса» трактатом. Насколько нам известно, этот термин впервые прилагался к художественному произведению Львом Толстым, именовавшим «трактатами» не только «Войну и мир» (где много страниц и глав отчасти оправдывают такое определение жанра), но и «Анну Каренину», почти свободную от каких-либо разъясняющих отступлений.

Не касаясь сути вопроса, мы только позволим себе заметить, что теоретическая мысль, насыщающая оба толстовских романа, не становится *содержанием психологии героев,* почти всюду остается сугубо-личным достоянием автора. Добавим: в глубоком отличии от Шиллера и Достоевского. Последние, как известно, отводят совсем особое место *идеям, идеологиям,* дают им завладеть сознанием своих героев, и те в гибельной *дерзости* стремятся дойти до конца по пути завладевшей ими мысли — навстречу неизбежному крушению. Таков путь Карла, а впрочем, и Франца Моора, путь маркиза Позы, Раскольникова, Ивана Карамазова. Ибо каждый из них «таит идею» и в свой час берется за ее воплощение в действие, в действительность.

Персонажи романов и повестей Томаса Манна не уступают, кое в чем даже превосходят интеллектуальностью героев как Шиллера, так и Достоевского, но, в отличие от них, гибнут никак не от слепой приверженности к той или иной «односторонне великой идее». Напротив, их немалый аналитический дар изначально парализован философским *релятивизмом.* Емкий интеллект манновских героев способен охватить все сферы окружающего нас исторического *пространства* (многоразличные теории, идеологии, культурные тенденции нынешнего дня), но обычно не учитывает преобразующей мощи исторического *времени,* не знает и не предчувствует реальных исторических перспектив.

Вместе с тем, теоретический анализ — столь неотъемлемая черта психологии героев Томаса Манна, что их высказывания складываются сами собой в логически продуманные трактаты. Это позволяет читателям и критике без особого труда изымать из живой повествовательной ткани ее чисто теоретическое содержание, забывая об отнесенности такового к полнокровным образам и сложным сюжетным путям и перепутьям романа.

Но едва ли это правомерно. Ведь и скорбная повесть Серенуса Цейтблома, преданного друга и усердного биографа композитора Адриана Леверкюна,— все же не философский трактат, а история одной трагически сложившейся жизни, включающая в себя и сочное бытописательство, и острую сатиру.

Быт обеспеченной крестьянской семьи, в которой родился будущий композитор; одинокий дом его вдового дяди, искусного мастера и торговца старинными музыкальными инструментами, где прожил ряд лет гимназист Адриан Леверкюн вблизи от аптеки «Блаженного посланца», принадлежавшей Цейтбломам; старинный город Кайзерсашерн с его суеверными преданиями (читатель напрасно стал бы искать его на географической карте); анахроническая жизнь богословского факультета в Галле; лейпцигские и мюнхенские артистические кафе и салоны;

северо-итальянский городок Палестрина с его суровыми руинами времен римских цезарей и, наконец, крестьянский двор близ баварской столицы; возникший на месте упраздненного монастыря,— артистическая келья Леверкюна, где после долгих лет упорного труда и прогрессировавшей болезни музыканта настигает безнадежный мрак безумия, — все это воскресает, живет и дышит в пересказе Цейтблома, задавшегося целью возможно точнее воссоздать обстановку и духовную атмосферу, в которой складывались и шлифовались редкий талант и обширный ум его гениально одаренного друга.

И биографу это удается. Ибо пером его водит Томас Манн, которому доступны и не такие задачи, поставленные слову. И в самом деле! Кто до Томаса Манна умел столь акустически реально «воссоздать» никогда не существовавшие, измышленные автором, музыкальные сочинения, сообщив каждому из них неповторимо единственный облик — вплоть до мельчайшей технической детали, вплоть до контрапунктического и гармонического его построения? Эти (чуждые обычного беллетристического дилетантства) проникновенные описания обращены к нашему слуху с той непосредственной прямотой, с какой словесно выраженный пейзаж обращен к нашему глазу — существенное расширение функции реалистической прозы!

Адриан Леверкюн — выходец из народа. И это усугубляет, обостряет его трагедию большого художника: он по-народному честен и прям, по-народному не терпит пустословия, пустомыслия, баловства с высокими дарами человеческого духа (к чему так часто бывает склонен наследственный интеллигент). Отсюда — *боязнь* Леверкюна действовать на музыкальном поприще в разгар культурного кризиса и эстетической деградации. Без «теплоты», без человеколюбивой общительности и здоровой непредвзятой наивности Леверкюн не мыслил ни искусства, ни себя в искусстве. А этих-то качеств он с содроганием не находил в себе, как не находил их во всем буржуазном искусстве эпохи империализма, когда процесс *обособления* художника от общества, от народа уже завершился.

Ведь те идеи, которые некогда жили в душе больших мастеров, ибо так прочно обитали в душах их современников, идеи, заставлявшие приглушенно рыдать группу виолончелей, сокрушаясь над бесцельной суетою мира, и вдруг будившие благородную медь хорала, чтобы тут же его оборвать, как бы признав его немощь, и нежданно сменить затяжной ропот скрипок простым, лукаво торжественным народным напевом, но лишь для того, чтобы, растворив в народно-исконном сомнительный сумрак раздумий, вновь воскресить медный голос хорала, дать ему окрепнуть, разрастись, подчинить себе полногласное tutti и в ликующем финале приобщить к светлому гимну-хоралу и ту, вторую, тему симфонии, что отрицала возможность просветления,— эти *идеи* освещавшие весь страдный путь человечества, они умерли, выпали из кругозора музыкальных снобов и коллег-композиторов, выродились в чисто формальные приемы перехода от минора к мажору, из одной в другую тональность, от стаккато к напевности. Ибо ни публика, ни автор уже не верили ни в бога обоих заветов, ни в раскрепощение возмужавшего человечества... Но тогда: откуда же взять огонь вдохновения, чтобы, как встарь, перегонять безнадежно остывшую материю музыки по ретортам и воронкам громоздкого, старомодного аппарата, имя которого: музыкальное творчество?

Так как же было решиться сурово-честному Леверкюну вступить на осквернённое поприще музыканта-композитора в эпоху «Ideendämmerung» (гибели великих идей), в эпоху буржуазного декаданса? И мог ли он не смеяться — как при сличении бездушной куклы с живой возлюбленной, — когда по священным следам великих мастеров стали кощунственно ступать ноги пустых шаркунов-шарлатанов? «Милый друг, — так писал Леверкюн своему музыкальному наставнику Кречмару, — почему меня всегда разбирает смех?.. Почему почти все явления мне представляются пародиями на самих себя? Почему почти все, нет, просто *все* средства и приемы искусства кажутся мне пригодными разве что для пародии?.. И такое изверившееся сердце, такую собачью морду Вы признаете достойным быть слугою музыки и зовете меня к ней в жрецы, к себе в ученики?».

Страшась предаться музыкальному творчеству, Адриан Леверкюн делает попытку спастись от ее соблазнов, поступив на богословский факультет в городе Галле. Не потому, что он почитал богословие «царицей наук», а чтобы «надеть на себя вериги смирения в наказание за свою недостойную смешливость».

Опыт оказался неудачным. Если было что смехотворно и смеха достойно в «славном университете на Заале», то в первую очередь его богословский факультет. С неподражаемым юмором Томас Манн рисует образы местных профессоров-богословов — тучного, громогласного грубияна Эренфрида Кумпфа, однажды, после ужина, не преминувшего бросить в черта, предположительно стоявшего в углу за буфетом, если не лютеровой чернильницей, то безвредной для бумажных обоев грошовой булочкой, или приват-доцента Эбергарта Шлепфуса, читавшего курс психологии «классической поры религиозного сознания», то есть попросту средневековья с его верою в ведьм и прочими демонологическими представлениями. При этом Шлепфус особенно много и проникновенно говорил о «свободе человека», под которой понимал его способность вести богопротивную жизнь, терпя за нее земные и небесные кары.

Большой интерес представляют также беседы студентов-богословов, проникнутые идеями реакционного национализма, убеждением в «избранности» немецкого народа,

в его праве на «духовную» (а значит и материальную, политическую) гегемонию.

Из острых локальных наблюдений вырастает обобщенная историческая оценка лютеранства и немецкой реформации. Последняя, по образному выражению Цейтблома, подобна мосту, «ведущему не только из эпохи схоластики в наш мир свободного мышленья, но и обратно, во мрак средневековья».

Прямым комментарием к этой главе романа может служить доклад писателя «Германия и немцы», прочитанный им на английском языке в 1945 году. Там та же критика немецкой реформации изложена еще яснее и уничижительнее. «Мартин Лютер... — говорится в этом докладе, — был борцом за свободу, но на сугубо немецкий лад, ибо ничего не смыслил в свободе. Я говорю не о провозглашавшейся им «свободе христианина», а о политической, гражданской свободе. Этой идеей он не только не загорался, а ото всей души ненавидел малейшее ее проявление. Четыреста лет спустя первый президент Германской республики (он был социал-демократом*) заявил: «Я ненавижу революцию как смертный грех!». Это было сказано чисто по-немецки, чисто по-лютеровски. Такую ненависть Лютер питал к крестьянской войне, победа которой, несмотря на религиозный характер движения, дала бы немецкой истории совсем другой, счастливейший поворот, рано или поздно приведший бы нас к свободе. Но Лютер видел в ней лишь поругание своего дела, каковым почитал «раскрепощение религиозного сознания» — это и заставляло его проклинать Крестьянскую войну с неистовством, свойственным его натуре. Он призывал «бить крестьян как бешеных собак, так как настал час, когда можно купить себе царствие небесное, давя и убивая эту сволочь». Печальный исход этой первой немецкой революции, победа, одержанная над нею немецкими князьями, со всеми отсюда вытекающими последствиями — в значительной степени дело рук Мартина Лютера... Его Innerlichkeit («задушевность», «уход от мира в глубины собственной души» — слово это не поддается точному переводу) вполне уживалась с заветом апостола Павла: «Покорствуй властям предержащим»... В лютеровском случае этот призыв означал... утверждение реакционной власти немецких князей».

В этом смысле Лютер, проповедовавший «безграничную свободу совести и исследования», был в то же время опасным насадителем пресловутой немецкой «внутренней свободы под защитой реакционных властей», а значит и носителем всегда бытовавшего в Германии духа мрачной, «реакционно-мещанской демократии» всех оттенков. Без поддержки отравленной духом лютеранства законопослушной, сугубо немецкой «демократии» ни Вильгельм II, ни Адольф Гитлер не могли бы, конечно, мечтать «о Кайзерсашерне в качестве всемирной державы», о торжестве немецкой захолустности, дерзающей выдавать себя за «новый порядок» — ему же да подчинятся все народы...

Этот реакционный туман проникал во все щели готических зданий старинного университетского города, во все мозговые извилины его обитателей. Занятие богословской лженаукой не удержало и не могло удержать гениально одаренного юношу от решения всецело посвятить себя музыке, но душа Адриана Леверкюна пропиталась — и навсегда! — «немецким убожеством», не только не угасшим, а, напротив, ожившим для нового «экстравагантного существования» в эпоху империализма. «Где ты, там Кайзерсашерн», — позднее услышит Леверкюн из уст своего фантастического собеседника. Иными словами: где ты, там *дух немецкой реакции*, тенденциями которой прониклось и все твое искусство.

Но этот приговор был оглашен позднее. Покуда же Кречмар, друг и учитель Леверкюна, почти сумел убедить его, что «душевный холод», «непринимание всерьез» ни жизни, ни самого искусства — наилучший залог эстетического «новаторства».

Как сложилась бы жизнь гениально одаренного композитора, если б не пресловутый «лейпцигский случай», преобразивший и позднее разрушивший его тело и душу? Можно не сомневаться, что, при его суровой прямоте, Леверкюн не менее решительно отрекся бы от ложного подобия искусства, как ранее от ложного подобия науки.

Что же сообщило совсем иной оборот всей его жизни?

Томас Манн ввел в жизнеописание Леверкюна эпизод, заимствованный из биографии Ницше. В письме на имя Серенуса Цейтблома, написанном тем нарочито старинным слогом, каким изъяснялся достопочтенный Эренфрид Кумпф, Леверкюн доверительно сообщил другу детства об одном странном происшествии. Приехав в Лейпциг, он обратился к услугам наемного гида, чтобы с его помощью ознакомиться с наиболее почтенными достопримечательностями города, и тот, на прощание, указал Леверкюну «хорошую ресторацию», где он мог бы приятно завершить свой первый вечер в этом городе.

Ресторация на поверку оказалась публичным домом. Разряженная мадам, рассыпаясь в слащавых любезностях, вводит молодого человека в золоченую залу, где его ожидает целая стайка полунагих красоток. Леверкюн (как некогда Ницше) в глубоком смущении прямо направляется к раскрытому роялю и берет несколько аккордов. К нему подходит «смуглянка Эсмеральда» в испанском жакете («большой рот, курносый носик, миндалевидные глаза») и обнаженной рукой слегка касается его щеки. Опрокинув табуретку, Леверкюн быстро устремляется к выходу. «Вот и весь мой рассказ об этом смеха достойном происшествии в награду за чудака-фельдфебеля, которого ты обучаешь премудростям стихосложения».

В том, что образ смуглой девушки глубоко запал в его сердце, Адриан не при-

* Социал-демократ Эберт.

знался. А между тем внезапное увлечение заставляет его вторично посетить этот дом, где ему говорят, что Эсмеральда «перенесла свою деятельность» в Братиславу, куда он и едет под подходящим предлогом. И хотя убогое существо, растроганное юным порывом гостя, предупреждает его о грозящей опасности, он все же не отказывается от ее объятий...

Вернувшись в Лейпциг, Леверкюн вскоре заметил несомненные признаки заболевания. Дважды приступал он к лечению и оба раза неудачно: первый из пользовавших его врачей внезапно умер, второго арестовала полиция. От поисков третьего врача Леверкюн отказался, тем более, что внешние симптомы болезни исчезли: сифилитический яд перекинулся на мозговые центры.

Томас Манн не случайно усложнил биографию героя историей его болезни. И дело здесь, конечно, не только в преднамеренном сближении образа и судьбы Леверкюна с личностью и трагической развязкой биографии Ницше. По мысли Манна, «больной интеллект» (если, конечно, он обладает должной впечатляемостью и силой выражения) способен наиболее полно и драматично передать смутное брожение умов, наступающее в определенные эпохи истории — в пору, когда привычные взгляды и представления разрушаются, а прогрессивные силы общества еще не сумели революционизироваться, достаточно широко усвоить новую идеологию, отвечающую их политическим, классовым, интересам и чаяниям.

И это имеет свое объяснение: психопатологи усмотрели симптом, неизменно сопровождающий отравление сифилитическим ядом: субъективное ощущение счастья в сочетании с внезапным подъемом творческих сил, периодически сменяющимся столь же резким упадком интеллектуальной деятельности, предвестником ее полного угасания. Томас Манн в известной степени прав, полагая, что интенсивная, подчас изобилующая отдельными зоркими наблюдениями и гениальными догадками работа «больного интеллекта» в иных случаях «идет на потребу здоровым», обогащая общечеловеческий опыт. Но, вместе с тем, патологический интеллект слишком склонен поступаться уже достигнутой человечеством ясностью воззрений, сообщать видимость новизны давно обветшавшим взглядам, строить из груды логического и эмоционального лома (подчас ценнейшего!) ложное подобие мысли, довольствуясь обманчивой видимостью логического единства именно в силу неспособности такого ума проверять состоятельность посылок и выводов, пригнанность логических звеньев. И здесь — источник великой опасности для общества, для тех, кто не умеет отделять зерно от плевела, правду от лжи...

Для Адриана Леверкюна его болезнь означала субъективное ощущение преодоленной творческой немощи вопреки собственной его убежденности в том, что современное состояние музыкальной культуры не может не ущерблять творческих сил художника. «Все сколько-нибудь примечательное, что еще попадает на нотную бумагу, — рассуждает Леверкюн (или, точнее, исчадие его поврежденного рассудка, «посланец ада»), — свидетельствует о мучительной неохоте творца *сообщить завершенность своему творению*». Ибо «сама материя музыки в ходе ее исторического развития восстала против замкнутого в себе, целостного произведения... Мысль, будто целое гармонически содержится в частном, обанкротилась... С этим покончено».

И если он, Леверкюн, все же продолжал творить, пародируя старых мастеров, остроумно тасуя «обратные общие места» и исчисляя все новые возможности многообразных музыкальных звукосочетаний, то в первую очередь благодаря патологическому подъему творческих сил, неотделимому от его болезни. Нервное самоупоение временами позволяло ему не видеть эстетического тупика, в который попало искусство и, в частности, *его* искусство, не замечать рокового контакта антинародных тенденций в собственном творчестве с тенденциями реакционной идеологии эпохи империализма. Томас Манн резко подчеркивает общность новейшего кровавого политического *варварства* с эстетизмом современного буржуазного искусства, его антинародностью и обесчеловеченностью. Именно эту черту в творчестве Леверкюна отмечает вымышленный его биограф: «Хор инструментован, оркестр же вокализирован до такой степени, что граница между человеком и вещью кажется опрокинутой». Формалистическое исхищрение? Быть может! Но оно имеет прочным подспорьем антигуманистическое мировоззрение эпохи империализма и его художников.

В иные, роковые минуты его жизни Леверкюн сознавал себя прямым антиподом великого человеколюбца Бетховена. Приведем в этой связи один диалог:

«— Цейтблом! — сказал он. — Я убедился в том, что этого не будет.

— Чего не будет, Адриан?

— Благого и благородного... того, во имя чего боролись людские поколения и сокрушались твердыни самовластья, того, что так пылко возвещалось вдохновенными умами. Оно не сбудется. Я от него отрекаюсь.

— Я не совсем понимаю тебя, Адриан. От чего ты хочешь отречься?

— От Девятой симфонии, — пояснил он. И к этому, сколько я ни ждал, уже ничего не прибавил».

Но как можно было столь горячо отдаваться творчеству при таком неверии в человека и в исторические судьбы человечества? Адриану и самому казалось это невероятным, почти немыслимым. Не догадываясь о своей болезни (и эта деталь взята из биографии Ницше), а тем самым и о патологическом источнике своих лихорадочных музыкальных наитий, Леверкюн ощущал свою повышенную творческую потенцию результатом вмешательства некой, вне его лежащей *демонической силы*, которая не дает иссякнуть его вдохновению —

вопреки музыкальному безвременью, вопреки всеобщему декадансу культуры. Но *что*, но *кто* она, эта таинственная сила, наделявшая его жизнь иррациональной смелостью при так ясно им же усмотренной утрате *веры в завершение, воли к завершению* единого творческого замысла (подчеркиваем: не его личной, а *всеобщей*, и только в этом смысле и для него неизбывной утрате)? В пораженном разрушительным ядом мозгу композитора Леверкюна эта, ему непонятная, сила постепенно отождествлялась с «нечистой силой», с чертом Лютера и учителей-богословов из Alma mater Hallensis; и, подобно Фаусту, он был готов заключить с ним греховный договор, лишь бы не лишиться бесценных творческих озарений, казалось бы невозможных при сложившейся эстетической ситуации.

Мы здесь позволили себе приоткрыть тот психологический подтекст, который не мог быть выявлен самим Томасом Манном. Избрав для своего романа форму документально обоснованной «биографии художника», он тем самым лишил себя *права на всевидение*, к которому так широко прибегает всякий писатель-беллетрист, трактуя душевную драму своих героев. Тем более впечатляющее действие на читателя производит найденная Цейтбломом пространная запись Леверкюна о том, как перед ним — в благодатной Италии, вдали от германских туманов (но: «Где ты, там Кайзерсашерн!») —«въяве» предстал посланец ада.

Томас Манн не мог не считаться с неизбежным сравнением этой сцены с кошмаром Ивана Карамазова. Подобно Достоевскому, он так до конца и не разъясняет читателю, имеем ли мы здесь дело с монологом или диалогом? «С диалогом? Надо рехнуться, чтобы поверить в подобную возможность!» Так говорит гуманист Цейтблом. Но и сам Леверкюн слишком сын своего времени, слишком рационалист и скептик, чтобы не начать с отрицания реальности незваного гостя, не признать его за бредовое видение. Но уже с первой минуты он колеблется между медицинским и мистическим его истолкованием. И мистическое торжествует победу над медицинским, трезво психологическим.

Именно так, как известно, сопротивлялся «очевидности» галлюцинации и Карамазов... И все же кошмар Адриана Леверкюна — никак не бледная копия с кошмара Ивана Карамазова, а, напротив, проявление высшей творческой смелости. Томас Манн вкладывает в *понятие черта* содержание, ничуть не сходное с карамазовским. Для Ивана Карамазова (и здесь он, «бывший смелый человек» и «атеист», мало чем отличается от дюжинных богословов-рационалистов) черт — лишь олицетворение всего отвратительного и пошлого в человеке: «Только всё скверные мысли мои берешь, а главное — глупые...» Напротив, черт Леверкюна выдает себя за «истинного владыку энтузиазма», за раскрепостителя заторможенной духовной энергии, за мастера «прорыва»: «Мы снимаем с помощью кой-каких возбуждающих средств,— вещает он, — налет усталости, малой и великой, личной и всего нашего времени». Пусть Гете (черт не мог не вспомнить о том, кому «*боги* даровали»

Все блаженства бесконечные!
Все страданья бесконечные! — все!)

...пусть Гете был в достаточной мере «классик», чтобы не якшаться с силами яда, — «сегодня почерпнешь вдохновение только у нас. И мы предлагаем большее... Это тебе, мой милый, уже не классика, это — архаика, самодревнейшее, давно изъятое из обихода. Кто еще помнит теперь, кто помнил в классическую эру, *что́* есть вдохновение, древний, доподлинный восторг, полет духа, уже не подконтрольный никакой критике, мертвящим доводам рассудка, немощному умословию, — то, что зовут священным безумием?.. Ты не только освободишься от разъедающих сомнений, ты *прорвешь тенеты века*, с его «культом культуры», и дерзнешь приобщиться к варварству — усугубленному варварству, ибо вновь наставшему после эры гуманизма, либеральной галиматьи и буржуазной утонченности».

Ниже, в другой связи, мы попытаемся раскрыть истинный смысл этого сатанинского «искушения варварством», «искушения иррациональной интуицией». Здесь же мы только отметим, что вся дальнейшая биография Леверкюна, вплоть до часа полного распада его сознания, протекала в трагическом убеждении, что между ним и «посланцем ада» заключен нерушимый договор, согласно которому ему, Леверкюну, даруются двадцать четыре года «экстравагантного существования», мучительного, но и блаженного творческого горения, после чего он, Леверкюн, становится бесспорной добычей ада.

Впрочем, в «пакте с чертом» было проставлено еще одно условие: «Твоя жизнь должна быть холодной, а посему не возлюби ни одного человека! Такая общая замороженность твоей жизни и твоего общения с людьми, с человеком — в природе вещей, вернее, в *твоей* природе. Мы не требуем от тебя ничего нового... Но холод души твоей должен быть столь велик, что не даст тебе согреться и на костре вдохновения».

Сознание кровью скрепленного договора заставило Леверкюна замкнуться от мира. Экзальтированная дружба со смазливым скрипачом Руди Швертфедером и увлечение швейцарско-парижской художницей Марией Гедо не прервали монотонного аскетизма его существования. Марии он не посмел объясниться в любви, друга, вольно или невольно, послал на смерть, во всяком случае позднее смотрел на себя, как на его убийцу, и биограф Цейтблом не ставит это под сомнение. А между тем, сколько чувства, казалось даже искреннего, вложено Леверкюном в его последнюю беседу с другом, в его просьбу подготовить Марию к мысли о брачном союзе с ним, одиноким музыкантом *. И только вплетенные в его

* И этот эпизод сватовства при посредничестве друга взят из биографии Ницше.

речь цитаты из сонетов Шекспира, из «Двух веронцев» и «Много шума из ничего» (верный признак, что мы и здесь имеем дело с пародией, с трагической насмешкой над собой и людьми) позволяют догадываться о скрытом решении Леверкюна крепко держаться «условий договора», отречься от дружбы и любви, чтобы по-прежнему жить в душевном холоде и нелюдимом экстазе.

«Недозволенной» представляется Леверкюну даже чистая привязанность к ребенку, к пятилетнему сыну его сестры, маленькому Непомуку, или Эхо, как он сам себя и как все его называли (образ этого «эльфического мальчика»—самый трогательный из когда-либо созданных Томасом Манном). Заболевание менингитом и мучительная смерть ребенка трагически убеждают Леверкюна в справедливости средневекового поверья о гибельности для нежного организма дитяти общения с ним, «монахом сатаны», обреченным на «безлюбье и презрение к ближним».

Малый остаток сознательной жизни, еще сужденной Адриану Леверкюну, беден внешними событиями. Вместе с тем, то были годы созревания его лучших произведений: «Апокалипсиса», квартета, фортепьянной сонаты и в первую очередь, конечно, «Жалобы доктора Фаустуса» — вещи, неразрывно сросшейся с личностью автора до патологического самоотождествления с героем оратории.

Когда мы выше говорили о поразительном умении Томаса Манна акустически реально «воссоздавать» никогда не существовавшие музыкальные опусы, мы думали в первую очередь о блистательных характеристиках, посвященных «позднему творчеству Леверкюна». Но мы не имеем возможности в относительно узких рамках журнальной статьи коснуться подробнее этой стороны романа. Пора подводить итоги, пора раскрыть истинный смысл всей грандиозной концепции *романа о трагедии буржуазной культуры в эпоху империализма* («под видом жития одного грешного музыканта»), показать внутреннюю связь трагической вины Леверкюна с трагической виной Германии и ее недавних правителей!

4

В глубоко драматичной сцене, к концу которой Леверкюна постигает удар, навсегда парализовавший его мозговую деятельность, он, автор только что оконченной оратории «Жалоба доктора Фаустуса», кается в своем «смертном грехе» перед собравшимися его послушать «достопочтенными, особливо же достолюбезными братьями и сестрами»:

«Item, мое искрушенное сердце сыграло со мной злую шутку. Был у меня светлый, быстрый ум и немалые дарования, ниспосланные свыше, — их бы взращивать рачительно и честно. Но слишком ясно я понимал: в наш век не пройти правым путем и смиренно-мудрому; искусству же и вовсе не бывать без попущения диавола, без адова огня под котлом. Поистине, в том, что искусство завязло, отяжелело и само глумится над собою, что все стало так непосильно и горемычный человек не знает, куда ему и податься, в том, други и братья, виною время. Но ежели кто призвал нечистого и прозаложил ему свою душу, дабы вырваться из тяжкого злополучья, тот сам повесил себе на шею вину времени и предал себя проклятию. Ибо сказано: бди и бодрствуй! Но не всякий склонен трезво бодрствовать; и заместо того, чтоб разумно печься о нуждах человека, о том, чтобы людям лучше жилось на земле и чтоб среди них установился порядок, что́ дал бы искусству вновь почувствовать под собой твердую почву и честно вжиться в людской обиход, иной сворачивает с прямой дороги и предается сатанинским неистовствам. Так губит он свою душу и кончает на чертовой живодерне».

Так ли нежданны эти слова в устах Леверкюна? Разве многим раньше, когда его разум еще не был столь тяжко поражен болезнью, Леверкюн не заговорил о прямой необходимости для художника, для самого искусства прорвать холодные сферы духа и утвердиться в мире горячих, человеколюбивых чувств и помыслов? «Не смешно ли», произнес он тогда, и голос его непривычно дрожал, «что музыка долгое время почитала себя средством освобождения, тогда как она, равно как и все искусства, сама нуждается в освобождении — в освобождении из выспреннего отщепенства, из пребывания с глазу на глаз со «сливками образованного общества», то́ есть с «публикой», «публикой», которой скоро не будет, которой, собственно, уже нет, так что искусство в ближайшем будущем окажется в полной изоляции, обреченным на одинокое умирание, если оно не прорвется к народу или, выражаясь менее романтично, к людям... Все жизнеустремление такого искусства, поверьте, станет другим. Оно будет более радостным и скромным. *Это неизбежно, и это — счастье.* С него спадет шелуха меланхолической амбициозности, и новая чистота, новая безмятежность составят его сущность. Грядущие поколения будут смотреть на музыку, да и она на себя, как на служанку общества, не только «образованного общества», но и всех тех, кто пока лишен культуры, но, надо думать, построит *свою* культуру. Сейчас мы это с трудом себе представляем, но так оно будет. И никого уже не удивит: искусство *без* страданья, духовно здоровое, непатетическое, беспечально доверчивое, побратавшееся с человечеством».

Но возможно ли для композитора Леверкюна такое побратимство? Между ним и простым человеком «ведьма-ветошница» (история немецкой интеллигенции) воздвигла непроходимую груду идеологической рухляди, отделившей его от народа, от демократии. И в самом деле, если объективное развитие производительных сил благоприятствовало коренной перестройке людских отношений, полному обновлению общества, иначе — *коммунизму*, то *субъек-*

тивный фактор — воля к власти господствующих классов, уже осознавших невозможность «жить и управлять по-старому» (Ленин), порождала «авангардную» идеологию реакции — своекорыстную «философию прорыва», то есть насильственного пресечения инерции общественного процесса, насильственного выхода (не революционно насильственного, а, напротив, сугубо реакционного) из неразрешимых и непримиримых социальных противоречий.

«Классическая» форма буржуазной идеологии эпохи империализма — фашизм, каким он сложился в гитлеровской Германии. Философским предтечей кровавого политического декаданса и возобновленного варварства справедливо почитается Ницше. Но он, скорее, распространитель того словесного тумана, под прикрытием которого вершила свое темное дело разбойничья шайка, поставленная у кормила власти воротилами немецкого финансового капитала. Что касается стратегического *плана действия* («революции справа», ставящей себе целью продлить диктатуру буржуазии), то он был с достаточной четкостью разработан еще идеологами немецкого либерализма и, в частности, таким бесспорно крупным умом, как историк Теодор Моммзен. Известно, какое, совсем особое, место отведено Моммзеном Юлию Цезарю в его «Истории Рима». Для Моммзена Цезарь — герой не только римской, но и всемирной истории, гениальный политик, сумевший растворить в им же основанной средиземноморской монархии ожесточенную борьбу «италийских бедняков и богачей, которая в старой Италии могла окончиться лишь уничтожением самой нации». Теперь же благодаря «подвигу Цезаря» непримиримые социальные противоречия отпали, глубокая трещина, грозившая поглотить государство, заполнилась вновь приобретенными заальпийскими и заморскими колониями.

Так рассуждал этот идеолог немецкой буржуазии в 1885 году, за десять лет до того, как английский финансовый король Сесиль Родс произнес слова, воспроизведенные В. И. Лениным в книге «Империализм как высшая стадия капитализма»: «Я был вчера в лондонском Ист-Энде... и посетил одно собрание безработных. Когда я послушал там дикие речи, которые были сплошным криком: хлеба, хлеба! я, идя домой и размышляя о виденном, убедился более чем прежде в важности империализма... Моя заветная идея есть решение социального вопроса, именно: чтобы спасти сорок миллионов жителей Соединенного Королевства от убийственной гражданской войны, мы, колониальные политики, должны завладеть новыми землями для помещения избытка населения, для приобретения новых областей сбыта товаров... Если вы не хотите гражданской войны, вы должны стать империалистами».

По сути, «заветная идея» Сесиля Родса вполне совпадает с более давним рассуждением Моммзена. Но именно потому, что Германия достигла капиталистического расцвета ко времени, когда раздел мира между великими державами был *закончен*, «в том смысле, что колониальная политика капиталистических стран *закончила* захват незанятых земель на нашей планете» (Ленин), немецкий империализм с самого начала делал ставку на передел мира, на *прорыв* уже сложившейся империалистической колониальной системы. Здесь речь с самого начала шла о создании мировой державы новым Цезарем «на развалинах бесчисленных государств и племен, некогда живых и полных силы». Моммзена, как «либерала», в котором не вовсе умерли гуманистические идеалы 1848 года, не мог не волновать вопрос: уничтожит ли — «ради сооружения нового здания» — немецкий империализм, подобно Юлию Цезарю, «лишь второстепенные национальности», сохранив высокую культуру «везде, где он ее находил»? «Либеральный» противник «железного канцлера» в этом сомневался. Во всяком случае русский его ученик, поэт-символист Вячеслав Иванов, вспоминает о скорбном предчувствии Моммзеном нового варварства, о горьком сознании ученого, что «начатая его поколением культурная работа не найдет продолжателя» и поднятые памятники древности будут вновь поглощены долгой ночью. И все же путь Цезаря Моммзену казался *единственным путем преодоления непримиримых противоречий* буржуазной и, в частности, немецкой действительности. Так логика буржуазного политика на заре империалистической эры боролась в нем с запросами бескорыстного ученого.

Как известно, идея «рейха», идея мировой державы, роковым образом связана со всей историей немецкой государственности. Здесь невозможно, конечно, хотя бы бегло пояснить, в силу каких реальных (экономических и политических) причин в Германии на протяжении долгих веков так и не могла отмереть неосуществимая, но тем более гибельная идея pacis germanicae («германского мира», всемирной германской империи). Достоверно одно: эта политическая идея не утратила своей призрачной «жизненности» и в эпоху империализма. Конечно, не самая *идея* «рейха» порождала дух агрессии «Германской империи прусской нации»*, а, напротив, потенциальная агрессивность «обделенного» немецкого империализма содействовала быстрому всходу и укреплению стародавних традиций «всемирной державы немцев».

Правда, с 1871 года по 1914 год властители второй немецкой империи предпочитали «вооруженный мир» (гонку вооружений и милитаристическую пропаганду) прямой военной агрессии. Не так-то просто было отождествить военные затеи германо-прусского правительства с национальными чувствами простого немца. Потребовалось немало десятилетий на то, чтобы ослабить опаснейшую оппозицию имперским властям — немецкий пролетариат. Что касается немецкой

* Как с пророческой меткостью окрестил Фридрих Энгельс провозглашенную в Версале 1871 года немецкую державу, объединившуюся под скипетром Гогенцоллерна и сапогом князя Бисмарка.

буржуазии и мещанства, то они давно примирились с юнкерской империей, обещавшей каждому немцу заметную долю из тех «сказочных богатств», которые будут захвачены в покоренных странах. Общеизвестно, что дух германо-прусского шовинизма распространился и на значительную часть немецких крестьян и даже рабочих. Подобно тому, как в других империалистических государствах сверхприбыли с колониальных владений подкупали и умиротворяли часть рабочего класса, в Германии ту же роль (и даже более успешно!) выполняло *предвкушение* «сверхприбылей» от беспощадного ограбления стран и народов, поверженных «непобедимым германским оружием».

1914 год был годом вожделенного «прорыва и облегчения» в глазах самых широких кругов Германии. Таким его с брезгливостью буржуазного гуманиста изображает и биограф Леверкюна, Серенус Цейтблом. В 1918 году все эти радужные иллюзии, казалось бы, рассыпались прахом: «вторая империя», империя Бисмарка и Вильгельма II, бесславно рухнула... Но нет! Немецкая империалистическая буржуазия не утратила вкуса к кровавым авантюрам. Реакционная «философия прорыва» оставалась в силе. Несколько лет беспощадной и беспрепятственной работы немецких палачей и немецких пропагандистов—и Германия Адольфа Гитлера снова забряцала оружием. Более того, восходившие к мрачному средневековью традиции «всемирной империи» на время стали традициями если не всего (о, конечно, не всего), то все же «компактного большинства» немецкого народа. Беспримерный успех темных сил реакции!

Долгая чреда злосчастных авантюр во имя создания всемирной германской империи, знакомая по анналам немецкой истории, точно предсказывала исход и этой новой затеи, еще более бессмысленной, еще более безнадежной. Но на краткий срок гитлеровцы, казалось, осуществили низменную мечту многих тысяч обольщенных немцев: всемирное ограбление человечества. Со всех концов Европы в Германию стекалась добыча— от шоколада, шампанского до бесценных музейных экспонатов и бессчетных поездов с рабами всех рас и народностей. Ночь варварства, которую предвидел старик Моммзен, охватила небо его родины. И снова невиданный разгром, снова национальная катастрофа! «Вопрос виновности» (die Schuldfrage) стал первейшим вопросом совести отдельного немца и немецкой нации в целом. «Вместо того чтоб разумно печься о нуждах человека, о том, чтобы людям лучше жилось на земле... иной сворачивает с прямой дороги и предается сатанинским неистовствам. Так губит он свою душу и кончает на чертовой живодерне».

Но ведь это слова не одного из многих «послевоенных немцев», которых терзал и терзает «вопрос виновности», вопрос личной ответственности за случившееся? Читатель уже слышал их из уст автора оратории «Жалоба доктора Фаустуса», хотя они звучали бы не менее естественно, произнеси их один из поверивших в «миссию Гитлера» и — увы, слишком поздно! — прозревших.

Эта общность ощущения собственной вины, конечно, не случайна.

Мы знаем, жизнь Леверкюна протекала в сферах духа, высоко взнесенных не только над политической, но и над повседневной, обыденной жизнью его соотечественников. Он жил, как мы уже говорили, в одиноком артистическом затворе, из которого его не мог выманить даже настырный импрессарио Саул Фительберг, с успехом промышлявший в Париже изделиями самоновейшей музыки. Мы знаем, о первой мировой войне Адриан Леверкюн с горькой иронией отозвался однажды как о попытке провозгласить Кайзерсашерн всемирной державой (удивительно точное и политически острое определение!), в остальном же ее игнорировал. О гитлеризме и новой немецкой военной авантюре Леверкюн и вовсе не высказался, так как ничего уже не сознавал последние десять лет своей жизни, умер же он 25 августа 1940 года.

Сопоставление этих хронологических и политических фактов, казалось бы, не позволяет видеть в Леверкюне выразителя дум тех его соотечественников, которые — пять лет после кончины музыканта и пятнадцать после полного помрачения его разума — терзались «вопросом виновности». И если судьба Леверкюна, по мысли Томаса Манна, все же совпадает с судьбой его отечества, то прежде всего потому, что он, подобно его народу, не имел ни силы, ни достаточно твердой воли участвовать в единственно достойном «прорыве инерции общественной жизни» — *в социальной революции,* не пекся, говоря его же словами, об установлении порядка, который дал бы и его искусству вновь «почувствовать под собой почву» и «побрататься со всем человечеством».

Этот прямой путь был ему заказан.

Леверкюн шел до конца темной тропой декаданса, лепя из разрозненных деталей, из кратких музыкальных озарений и утонченных технических экспериментов свои «артифаги» (искусственные конструкции).

Вопреки (а вернее, как раз *благодаря*) его артистическому затворничеству между *искусством Леверкюна* и *реакционной идеологией эпохи империализма,* особенно пышно расцветшей на почве его родины, существовала прочная взаимосвязь. Тем более, что Леверкюн был и сам незаурядным мыслителем и его «быстрый ум» тотчас же схватывал и додумывал все мысли, которыми жила реакционная немецкая интеллигенция. Цейтблом прямо на это указывает, говоря, что в присутствии Леверкюна было очень трудно развивать какую-либо мысль, так как все время казалось, что в нем гнездятся все возможные «точки зрения» и что, иронически к ним прислушиваясь, он провоцировал людей различных умонастроений ратовать за то или иное, одинаково ему известное и одинаково спорное для него воззрение.

Именно эту черту мы отмечали выше, говоря о парализованности аналитического

дара манновских героев философским релятивизмом, неведеньем реальных исторических перспектив.

Но в случае с Леверкюном дело обстояло сложнее.

Он явно догадывался о радужных перспективах истории. Но он предпочел поискам *живого,* очеловеченного, искусства, *побратимству с народом,* свое пребывание в мертвящей сфере утонченного техницизма — формалистического экспериментаторства. И в этом его вина, в известном смысле аналогичная трагической вине его народа, их общее уклонение от правого пути — навстречу «чертовой живодерне». Недаром Серенус Цейтблом кончает биографию своего друга словами: «Когда же из мрака полной безнадежности забрезжит луч надежды и — вопреки вере — свершится чудо? Одинокий человек молитвенно складывает руки: Господь да смилуется над бедной вашей душой, мой друг, мое отечество!»

И все же Леверкюн создал к концу своей многострадальной сознательной жизни произведение большого творческого накала. Цейтблом решительно утверждает, что в оратории «Жалоба доктора Фаустуса» осуществился, наконец, вожделенный «прорыв к истинному искусству» — к выражению непосредственного чувства и, тем самым, к контакту со слушателем, с человеком.

Но так ли это? Или это только предвзятый отзыв друга?

В начале книги биограф композитора знакомит нас со странным «гербарием» его отца, самоучки крестьянина Ионатана Леверкюна. То были кристаллы, посеянные в песке на донышке склянки, наполненной жидким стеклом, и принявшие под так называемым осмотическим давлением обманчивый облик растений. И что же? Эти жалкие, неорганические «подражатели жизни», подобно живым растениям, тянулись к теплу и ласке, льнули к стеклянной стенке диковинными подобиями стеблей и цветов, порываясь навстречу солнцу...

Знаменательный символ! И не случайно вспомнил о нем привидевшийся Леверкюну «посланец ада»!

Так и «мертвые подобия искусства», «артифаги» декадентов, могут, несмотря на всю свою оторванность от действительности, нежданно наполниться глубоко выстраданным (и в этом смысле *живым*) содержанием. Бесспорно, «Жалоба доктора Фаустуса» — технический куншток, законченный вид «строгого предложения» (исключающего малейшую случайность в расположении звуков), то есть, казалось бы, *торжество формализма.* Но при всем том этот «артифаг» (то есть искусственная конструкция) с неведомой дотоле силой воссоздал щемящий стон безнадежности целого поколения — безнадежности человека и обессилевшего в его руках искусства, равно раздавленных бесчеловечностью эпохи. Пародийность, характерный метод композиции Леверкюна, здесь впервые не нашла себе применение, ибо автор в своей оратории уже не пародировал, а с трагической убежденностью начисто отрицал Девятую симфонию Бетховена, этот апофеоз веры в победу человечества над темными силами мира. В «Жалобе доктора Фаустуса», напротив, утверждалась непоправимость всего хода человеческой истории, и финал, в котором теряется хор (утратив последнее людское утешение — «поведать, как я стражду»), звучит как скорбное сетование всевышнего над гибелью творения, как его бессильное: «Нет, этого я не хотел!»

Да, это был «прорыв». «Строгое предложение» не помешало неподдельности чувства; напротив, здесь чувство *себе на потребу* (для более точного самовыражения) создало необходимую, сугубо ему отвечающую технику. Это был «прорыв», выражающий то единственное, что порою еще способно выражать декадентское искусство эпохи империализма — свой *конец,* конец всего, что не может и не хочет прорваться дальше, за пределы капиталистического общества навстречу простому народу и его грядущему счастью, равнозначному счастью всего человечества.

Серенус Цейтблом прав: для тех, кто видел в разгроме гитлеровской Германии только непоправимую национальную катастрофу, «Жалоба доктора Фаустуса» ближе, чем жизнеутверждающий финал Девятой. Но народ остается, как бы ни были велики его испытания и его заблуждения, человечество остается, и счастье его неотвратимо, как судьба. Искусство *освободится* в час конечного освобождения народов, «духовно здоровое, побратавшееся с человечеством». Всюду, где декадентское искусство не только ложь и пустота, оно, «вопреки вере», подобно гербарию неорганических растений старика Леверкюна, порывается к теплу и ласке уже тем, что самозабвенно проклинает себя за уход с правого пути, за «выспреннее отщепенство», за оторванность от народа, его нужд, светлых надежд и поисков справедливого мироустройства.

6

Серенус Цейтблом приступил к жизнеописанию своего друга 27 мая 1943 года и окончил свой труд накануне разгрома гитлеровской Германии. Это сообщает особый драматизм всему повествованию. Воспоминания минувших лет, связанные с трагической биографией композитора, перемежаются с тревожными вестями о близкой катастрофе, и рука мемуариста равно дрожит от непрерывного ужаса перед лицом минувшего и настоящего. То и другое взаимно объясняют друг друга и Цейтблому, и читателю, к которому автор предъявляет нешуточное требование: постигнуть больше, чем удалось постигнуть провинциально-старомодному другу композитора.

Нет, Цейтблом отнюдь не посредственность. Он многое понял, несмотря на бюргерскую ограниченность своих воззрений, несмотря на то, что и сам себя аттестует, как «человека умеренного». Так он, в частности, понял, что в 1918 году Англия и Франция сделали все, чтобы приостановить

немецкую революцию, ее устремление к «русско-пролетарскому» началу; он понял, что не большевизм разрушает дорогие ему с юных лет культурные ценности, а «немецко-итальянские подонки»; он понял, что «известные круги буржуазной демократии Запада созрели для приятия власти подонков, лишь бы продлить свои привилегии», и не колеблется, при всем своем недоверии к революциям, предпочесть «честный и прямой большевизм бесчестному фашизму». Он понял также прямую связь между новейшим политическим варварством и тяготением пережившей себя буржуазной интеллигенции к «культу силы и насилия». Он очень многое понял, и немецкое общество канун первой мировой войны и периода между двумя войнами нашло в нем беспощадного критика.

Достаточно вспомнить в этой связи хотя бы остро сатирически воспроизведенный разговор между фанатическим поборником варварства доктором Хаимом Брейзахером и управляющим королевской оперы бароном фон Ридэзелем, отставным полковником гвардии его баварского величества. Доктор Хаим Брейзахер был культур-философом, но из тех, кто видел во всей культуре лишь сплошное разрушение и вырождение. Его *ультра-консерватизм* смущал «гвардии гусарский консерватизм» недалекого барона. Когда доктор Брейзахер витийствовал на тему о «вырождении заклинания в молитву, в бессильное попрошайничество», фон Ридэзель пробовал даже протестовать: «Пардон! Все это так, конечно, но *Каску долой, приготовься к молитве!* мне всегда...» — «Молитва, — неумолимо заключал доктор Хаим Брейзахер, — вульгаризованная и рационалистически ослабленная позднейшая форма чего-то куда более активного, сильного и энергичного: ...подчинения бога нашей воле». Барона удручало, что этот ученый еврей, начисто лишенный рыцарского лоска, столь превосходит его консервативностью помыслов...

А вмонтированный в роман случай с «правнуком Шиллера», бароном фон Глейхен-Руссвурмом*, «быть может, ставшим жертвой собственной эрудиции»! Барон направил почтой известному ювелиру «драгоценное ожерелье», застраховав его на неслыханно высокую сумму денег. Когда пакет прибыл к адресату, тот с изумлением обнаружил в нем всего лишь дохлую мышь, не сумевшую оправдать возложенную на нее надежду: прогрызть упаковку и тем самым симулировать исчезновение фамильной ценности с целью взыскать с казны или ювелира непомерно высокую страховку.

Томас Манн, как известно, и раньше выводил иных своих современников в ряде рассказов и романов, обычно ограничиваясь, однако, лишь присвоением тому или иному персонажу отдельных характерных черт и повадок реального лица (так в мингере Пеперкорне из «Волшебной горы» — много от Герхарта Гауптмана; можно было бы назвать и другие параллели...). Что касается «Фаустуса», то в нем реальные персонажи и обстоятельства вмонтированы в менее прикрытой, подчас и вовсе обнаженной форме. И естественно, в романе сводились неумолимые счеты с конкретными деятелями эпохи.

Но все это — частности. Главное, как сказано, сама концепция *романа о трагедии буржуазной культуры в эпоху империализма* («под видом жития одного грешного музыканта»). И в этой концепции Цейтблому принадлежит совсем особое место.

Цейтблом, как сказано, многое понял, но был неспособен сделать должного вывода из того, что он понял и осудил. Он гуманист старого, слишком старого толка. Мы знаем, он не из тех, кто предается «сатанинским неистовствам», он идейный противник *нового варварства в политике и культуре*. Он даже набрался смелости с приходом к власти нацистов сложить с себя почетное звание наставника молодежи и уйти на пенсию, а это поистине не мало! Но словом и делом печься о том, «чтобы людям лучше жилось на земле», он не смог, ибо не знал конкретных путей политической борьбы с реакцией, не различал исторических перспектив, не преодолел релятивизма воззрений. Не мог он отказаться и от буржуазного индивидуализма. И отсюда его непонимание, более того, *неприятие* мечты Леверкюна об «искусстве без страдания, духовно здоровом, непатетическом, беспечально доверчивом, побратавшемся с человечеством», об искусстве, которое все же предчувствовала богатая, широкая в своей противоречивости натура гениально одаренного музыканта. В глазах Цейтблома эта мечта Леверкюна лишь «смирение паче гордости» одинокого, не знающего «компромиссов с толпой» художника. Словом, Цейтблом — ухудшенное, провинциально-немецкое издание итальянского либерала-гуманиста Сеттембрини. Не ему, как и не Сеттембрини, выйти победителем в «споре за душу современного человечества», в «споре за душу» немецкого композитора Адриана Леверкюна. В пределах буржуазного мира и буржуазной идеологии этот спор всегда будет бесплоден... Он разрешим (такова концепция Томаса Манна) лишь после *истинного прорыва исторической инерции*, лишь после торжества нового, *социалистического* миропорядка.

То, что Томас Манн для написания своего романа эпохи империализма прибег к «посредничеству» Цейтблома, быть может, свидетельствует о его собственном неполном понимании современности или, по крайней мере, о некоторой его неуверенности и явном нежелании судить и рядить самолично. Но произведение искусства подчас мудрее творца-художника. Подобно тому, как Пушкин в «Капитанской дочке» говорит о крестьянском восстании устами ограниченного русского дворянина и все же в разрез с прямым смыслом показаний рассказчика воссоздает образ Пугачева и

* Автором ряда поверхностных книг о Шиллере и культур-философских сочинений.

его сподвижников во всем мощном их обаянии, Томас Манн вопреки скудным выводам Цейтблома по сути подводит нас в «Фаустусе» к мысли о неотложности *социальной революции* для спасения всего, чем справедливо гордилось и гордится человечество.

Что касается нас, то мы не знаем более глубокого художественного анализа кризиса буржуазной культуры эпохи империализма, более нелицеприятного суда над этой эпохой и ее искусством — искусством декаданса. Это суд над Германией, ее прошлым и настоящим, но не только над ней, а и над всеми, кто хочет толкнуть современное общество в бездну нового политического и культурного варварства («лишь бы продлить свои привилегии»). Тем самым «Фаустус» не только отходная над умирающим старым миром, но и страстный призыв писателя к борьбе за счастье исстрадавшихся народов и, вместе с ними, исстрадавшейся *души художника*, которая, по самой своей сути, не может безнаказанно отрываться от народной жизни и народных чаяний.

Томас Манн глубоко сочувствует страданиям «грешного» музыканта. И, естественно, он сам был накрепко связан с культурой декаданса, прежде чем стать критическим «летописцем и аналитиком эпохи..., пожелавшим скинуть с себя декадентские оковы». Адриан Леверкюн — антипод, но вместе с тем и *трагический двойник* писателя. Говоря (в своем дневнике) об Адриане Леверкюне, как о «фигуре типической», как о «герое нашего времени», Манн признается, что ни Томаса Будденброка, ни Ганса Касторпа, ни даже Гете из «Лотты в Веймаре», словом, никого за исключением разве что Ганно Будденброка он не любил так страстно, как Леверкюна. «Я, в точном смысле слова, разделял чувство добрейшего Серенуса, был озабоченно влюблен в него еще с гимназических лет, влюблен в его «холод», в его отрешенность от мира и в то, что в нем «так мало души» — этой инстанции, сближающей и примиряющей духовные и чувственные порывы, влюблен в его «бесчеловечность», в его «искрушенное сердце», сердце человека, сознающего, что над ним тяготеет господне проклятие». Это горячее чувство любви-ненависти к двойнику-антиподу только и могло сообщить роману столь необычайную (даже для Томаса Манна) силу выражения.

«Доктор Фаустус» — один из наиболее значительных романов XX века и едва ли не самый глубокий ответ европейского художника на жгучие вопросы современной культуры. Пафос романа глубоко трагичен. И все же эта биография немецкого музыканта, по мысли автора, не вечная ночь, охватившая небо его родины и всего человечества, а ночь перед уже недалеким рассветом.

«Это неизбежно, и это счастье».

С. Беркин

Ханс Шерфиг

Глаза художника поражены тяжелой болезнью. Низко склонившись к мольберту, дюйм за дюймом покрывает он краской холст. Кто осудит его, если горечь и боль лягут мазками на картину? Но художник улыбается. До чего же забавны эти голубые слоны, продирающиеся сквозь фантастической раскраски чащу джунглей! А мартышки с глазами мальчишек-озорников, качающиеся на лианах... Художник уходит в веселый сказочный мир во всей его первозданной неиспорченности.

Но вот — художник за письменным столом. Улыбка еще не сошла с его лица, но чуть глубже западают морщинки у рта, над толстыми очками иронически сломалась густая бровь. Он пишет свои сатирические книги.

Веселые, искрящиеся смехом рисунки и едкая, бичующая сатира — не противоречие ли это у Ханса Шерфига—датского художника, писателя, журналиста, чьи книги «Пропавший чиновник» * и «Скорпион» ** вышли недавно в русском переводе?

Быть может, его кистью водят одни мысли и чувства, а пером — другие? Что говорит сам писатель? «Я не вижу никакого бегства от действительности в том, чтобы создавать ощущение радостного рая, который также существует на свете. Мы ведь живем на очаровательной и очень разной планете. Но на этой прекрасной планете должно хорошо житься и другим, а не только маленькой группе, которая хочет иметь все блага мира только для себя. Критическое творчество не имеет ничего общего с человеконенавистничеством. Наоборот. Оно стремится сделать богатства земли доступными для всех... Когда что-нибудь не так, то твой проклятый долг шуметь для того, чтобы это было изменено. Бесполезно беснуваться против природы, когда она устраивает наводнение, землетрясение. Но правильно — протестовать, когда сумасшедшие люди хотят сбрасывать атомные бомбы. Именно потому, что я люблю людей, я не люблю тех, кто хочет уничтожить людей. Я считаю, что мы должны оставить землю в лучшем состоянии, чем мы ее получили».

Так говорил Ханс Шерфиг в интервью, данном в связи с его пятидесятилетием, отмечавшимся год назад.

Начав свой творческий путь как художник (он не оставил кисти и сейчас), в 1937 году Ханс Шерфиг вошел в литературу рассказом «Мертвый человек», признанным датской прессой лучшим из произведений дебютантов того года.

В тридцатых годах — в годы усиления фашистской опасности — Ханс Шерфиг сотрудничает в коммунистической газете «Арбейдербладет». Уже тогда он видит, как под маской борьбы с «большевизмом» мастеров культуры пытаются увести от живой действительности. Писал ли Шерфиг о современной архитектуре или о театре, он всегда умел доказать, что «башня из слоновой кости» — это тюрьма, изолирующая писателя, художника, композитора от народа, от его борьбы против фашизма.

Серия остроумных статей Шерфига, посвященных критике декадентства и крайнего индивидуализма, явилась как бы подготовкой к созданию первого рассказа «Мертвый человек». Его герои — представители богемы двадцатых годов. Художник Брандт — живое воплощение духовной нищеты декадентов, олицетворение мещанства в культуре.

В рассказе «Мертвый человек» берет начало одна из главных тем писателя — тема борьбы с мещанством.

Для Дании она имеет особое значение и свою специфику. Ведь много лет «простаку Хансу» внушали, что «Дания — счастливейшая страна в мире, в которой немного имеющих слишком много и еще меньше имеющих слишком мало». Эту ложь разоблачал еще Ленин.

О том, каким вырастает человек в атмосфере этого обмана, повествует Шерфиг в романе «Пропавший чиновник» (1938).

Жена Теодора Амстеда, чиновника военного министерства, встревожена. Такого не было за все восемнадцать лет их супружеской жизни: Амстед, которому требовалось ровно двадцать минут, чтобы добраться до службы, не явился домой. А обычно «он шел кратчайшим путем средним размерен-

---

* Ганс Шерфиг. «Пропавший чиновник». Государственное Издательство Художественной литературы, М., 1956.

** Ганс Шерфиг. «Скорпион». Издательство иностранной литературы, М., 1956 г.

ным шагом. При этом он старался ступать непременно посредине каменных тротуарных плит, не задевая швов между ними. Точно так же он придавал какое-то значение тому, чтобы непременно наступать ногой на некоторые из канализационных крышек, встречавшихся на его пути. И если ему случалось по рассеянности забыть об этом, то он мог преспокойно вернуться, чтобы твердо ступить ногой на пропущенную крышку. Как человек долга, он чувствовал угрызения совести, если не выполнял всего, что полагалось».

И вот такой человек — исчез. Он оставляет письмо, в котором пишет, что решил уйти от жизни. В действительности Амстед жив. Он лишь воспользовался трагической смертью своего школьного товарища-ровесника, чтобы инсценировать самоубийство и... насладиться свободой. Свободой от чего? От всего — от унизительной иерархической лестницы, благодаря которой его начальник занял два крючка: для пальто и зонта, а ему, Амстеду, приходилось вешать пальто на «самый обыкновенный, оскорбительно обыкновенный гвоздь», свободой от ежедневных фрикаделек с сельдерейной подливкой, от одних и тех же разговоров с гостями, от рояля, всегда открытого, как будто на нем кто-то только что играл — от всего, что обозначается словом «мещанство». С ранних лет Амстеда готовили к этой рутине. Он взбунтовался? О нет! Просто сохранилась еще где-то в глубине души неосознанная жажда свободы, желание распоряжаться самим собой.

Ханс Кирк, известный прогрессивный писатель современной Дании, считает, что «Пропавший чиновник» возобновляет собой сатирическую литературу в Дании. На наш взгляд, Кирк несколько преувеличивает, когда пишет, что у Шерфига в сущности не было предшественников, кроме классика датской литературы Людвига Гольберга. Достаточно вспомнить хотя бы о сатирических новеллах Мартина Андерсена Нексе.

Судьба Теодора Амстеда жалка и трагична. Естественно, что большая часть книги посвящена описанию того, что превращало Амстеда в раба, прикованного к длинному — от школьной скамьи до комфортабельного кладбища — смертельно однообразному, иссушающему душу конвейеру. Имя ему — жизнь «идеального чиновника» в «идеальной стране».

В романе Шерфига немало примечательных страниц. Характерная для его манеры особенность — конкретизировать фантастику деловито-реалистическими деталями — ярко сказалась в описании военного министерства, где служит Амстед.

...По огромному лабиринту коридоров и дворов, лестниц и переходов мечется сыщик, который в конце концов расследует таинственное исчезновение Амстеда. Но здесь, в здании, где «живет само государство», он не может найти нужный отдел. Ему встречаются люди «с изумительно пустыми глазами». И ни один из них не отвечает на вопросы сыщика, не произносит ни слова. «Можно подумать, что перед нами Одиссей, спустившийся в царство теней»,— замечает Шерфиг. Датского Одиссея выручает уборщица. Она и указывает ему, куда надо пройти. Это не просто реалистическая фигура в мире теней. Для Шерфига эта женщина скорее символ, не случайно мы столкнемся с нею и в его последнем романе «Скорпион». Сыщик, наконец, вырвался из коридоров, но не из царства мертвецов. Один из чиновников спит с открытыми глазами, сидя за письменным столом. «Нужны долгие годы практики, чтобы овладеть этим искусством»,— с ядовитым уважением комментирует писатель. Таким предстает перед нами мир, из которого бежал Амстед.

Амстед сбежал в деревню, где мальчишкой проводил каникулы. Но вместо «тенистых дубрав, принявших под свою сень усталого путника», какой рисовалась ему деревня в дымке тридцатилетней давности, он увидел бесчисленные надписи «частное владение», узнал, что деревня — «это сырость, бедность, подагра, согбенная спина...» Искреннее и немного смешное удивление Амстеда, человека наивного, сменяется убеждением, что и это тот же самый мир, от которого он бежал.

Амстеда находят и арестовывают. Его обвиняют в убийстве школьного товарища, чьей гибелью он воспользовался, чтобы скрыться. И лишь в тюрьме «беспризорный человек снова обрел тишину и порядок. Снова обрел спокойствие и глубокое внутреннее удовлетворение... Дверь заперта. И не все ли равно, как она заперта; изнутри или снаружи?» Амстед гуляет по тюремному двору, который выложен плитами, и так же, как на воле, старается не ступать на соединяющие эти плиты швы. Ему в тюрьме даже лучше. Не надо думать о бюджете семьи, сносить обиды от начальников, отвечать на вопросы гостей. Лишь одна мысль беспокоит Амстеда: ведь скоро кончится срок заключения...

И вот Амстед решает оговорить себя, признать себя виновным в убийстве, которого он не совершал. Так он получает возможность «наслаждаться покоем и регулярностью, строгим распорядком дня и обеспеченностью — всем тем, к чему всегда стремилась его семья, равно как и тысячи других буржуазных семей».

Знакомство с Амстедом рождает у читателя смешанное чувство жалости и гнева против человека, отказывающегося от свободы. И в том, как Шерфиг сумел заставить нас сочувствовать и одновременно возмущаться Амстедом,— самая сильная и гуманистическая сторона романа.

Ханс Шерфиг еще раз возвращается к Амстеду в 1940 году в романе «Утраченная весна». Это повествование о детстве Амстеда, об учителе-садисте, убитом доведенным до отчаяния учеником, ставшим позднее почтенным судьей. Шерфиг показывает, как создается образцовый мещанин, как воспитываются те, из которых фашизм рекрути-

ровал своих сторонников, или те, кто принимал фашизм как нечто должное...

Глубоко характерно, что гитлеровцы именно из Дании пытались сделать «образцовый протекторат». Они рассчитывали, что перед ними — народ, готовый поступиться всем во имя сохранения своих привычек и уюта, домиков и доходов.

В годы оккупации Ханс Шерфиг, писатель-коммунист, участник движения Сопротивления, был заключен в тюрьму. Там он тяжело заболел. Гитлеровцы, решив, что теперь писатель безопасен, выпустили его. Шерфиг стал работать над романом «Идеалисты». Резкая и остроумная критика реакционных течений современной философии, беспощадное обнажение духовной деградации буржуазии — таково содержание романа. Об оккупации Дании там говорилось лишь намеками, но роман был запрещен. Его издали в Швеции, а на родине писателя он появился в свет лишь после изгнания гитлеровцев.

Дания не оказалась образцовым протекторатом. В 1943 году там вспыхнуло восстание: «Гитлер, ты взял Париж и Амстердам, но Сталинграда и нашей улицы тебе не взять!» — с этим лозунгом сражались рабочие, жители пролетарской улицы Копенгагена — Истедгаде. Годы войны открыли глаза многим датчанам. Но, как писал Нексе, «нужно иметь волю, чтобы жить зрячим». Только тогда можно увидеть и оценить по достоинству пейзаж послевоенной Дании, которым начинается последний по времени роман Ханса Шерфига «Скорпион»: «С голубого неба лились потоки солнечного света. На Восточном бульваре распустилась первая нежная листва, зацвели кустарники и лужайки покрылись сочной светло-зеленой травой. А в голубой вышине весело кувыркались три истребителя. На недавно построенных дзотах цвели маргаритки и одуванчики, как бы даруя горожанам радости сельской жизни... Американские моряки, облепив скамейки, отпускали шуточки вслед проходившим мимо молодым девицам». Этот роман печатался в 1953 году в газете «Ланд ог фольк», рассказывающей народу правду, незавидную правду превращения Дании — участницы Атлантического пакта — в «вооруженный нищенский дом», дом, где датчане перестают быть хозяевами.

Заатлантические друзья Дании экспортировали в страну среди всего прочего и тот самый дух гангстерства, который столь характерен для послевоенной Америки. «Прошло то время, когда мы только читали о бесправии в Чикаго. Это происходит теперь и у нас, — писал Ханс Кирк в рецензии на роман «Скорпион». — Фактически книга представляет как бы фотокопию действительности».

В основу сюжета романа легло нашумевшее в свое время дело о коррупции, известное в Дании под названием «дело о пауке». Шерфиг рассказывает о калейдоскопически пестром мире международных аферистов и полицейских-взяточников, королей черной биржи и великосветских проституток, дипломатов одной великой державы, щедрых на подарки и советы, и обыкновенных убийц, о мире торговцев всем — от золотых слитков до суверенитета страны. Герои «Скорпиона» гротескны, но, вместе с тем, и необычайно реальны.

Они очень быстро узнали себя. Реакционная пресса — от солидных официальных газет до журнала под выразительным названием «Датский тюремный бюллетень» — объявила «Скорпион» романом «необычайных преувеличений».

Их встревожило не только и не столько раскрытие конкретной скандальной истории. Один из героев романа, министр юстиции Ботус, как бы предвосхищая оценку своего прототипа из реальной жизни, говорит: «Но это новое дело о Скорпионах — оно опозорит всю страну! Оно скомпрометирует даже нашу демократию, западный образ жизни!». Шерфиг развенчивает не только министров-взяточников и почтенных дельцов-спекулянтов, он снимает священные покровы и с самой пресловутой западной демократии. Сатирическая сила романа приобретает особую остроту, так как с изнанкой буржуазной демократии сталкивается влюбленный в нее учитель Аксель Карелиус.

Его-то, мирно катившего воскресным утром на велосипеде, задерживает полиция, обвинив в убийстве, о котором учитель даже не слыхал. Но полиции, тесно связанной с убийцами, нужно отвлечь внимание от истинных виновников преступления — американского гангстера Большого Дика и его подручных, прикончивших своего конкурента из банды «Скорпион».

Ровно год проводит Аксель Карелиус в тюрьме. Автор часто расстается с Карелиусом, чтобы рассказать о тех, кто вершит его судьбой, как и судьбами миллионов других маленьких людей. «У этого маленького трудолюбивого народа,— с горечью писал Мартин Андерсен Нексе,— своеобразная судьба: им неизменно правила посредственность».

Шерфиг своим романом дает более резкую оценку: страной правит посредственность, подчиненная злой воле господ из-за океана. Шерфиг рассказывает, как «пропадали» дела о сотрудничестве полицейских и крупных дельцов с гитлеровскими властями, как взамен их появлялись многотысячные картотеки на жителей, «которых подозревали в стремлениях к миру, в нейтральной позиции, в пацифизме и в других коммунистических склонностях». Перед читателем проходит целая галерея — вернее было бы назвать ее паноптикумом — апологетов западного образа жизни, западной демократии. Директор полиции Окситанус, раньше сотрудничавший с гестапо, а ныне сотрудничающий с американской разведкой; редактор Стенсиль — защитник полиции и издатель порнографического листка; Ульмус—гитлеровский шпион и спекулянт военными материалами в прошлом, а сейчас один из главарей черной биржи, обладатель

длинного списка преступлений; торговец овощами Леквист, продающий, кроме лука-порея и моркови, кокаин, фальшивые доллары и многие другие «полезные» вещи; министр юстиции Ботус, убежденный, что в каждом деле нужно сначала найти решение, соответствующее требованиям одной союзной державы, и лишь потом подыскивать соответствующий параграф закона — вот они, герои романа Шерфига, страшные, словно ожившие политические карикатуры.

Аксель Карелиус, за размышлениями которого в тюрьме чувствуется мягкая сожалеющая улыбка автора, никак не может расстаться со своими иллюзиями. Свой арест он продолжает считать трагической ошибкой.

Шерфиг пользуется очень обнаженным приемом: рядом — на соседних страницах — он дает циническое философствование членов Скорпиона и полные благожелательности к буржуазно-демократическому строю раздумья Акселя Карелиуса. От подобного сопоставления контраст приобретает разительную силу. В тюрьме происходит интересная беседа учителя Карелиуса с уборщицей, которая словно перекочевала сюда со страниц романа «Пропавший чиновник». Слова простой женщины для Карелиуса гораздо более болезненны, нежели синяки, которыми его наградили полицейские. Эти слова наносят удар по его вере в буржуазную демократию. Моего сына арестовали за призыв к миру в тот самый день, когда из тюрем выпустили нацистских военных преступников,— рассказывает женщина в ответ на замечание учителя, что суд в стране беспристрастен.

«Но ведь то, что вы говорите,— это коммунизм! — испугался лектор Карелиус.

— Ах, вот как? — женщина как будто удивилась. — Значит, сама правда тоже коммунистическая!»

Карелиус не приходит к такому выводу, но, когда он вышел из тюрьмы, «мысли его немного путались. Пожалуй, эта страна была далеко не лучшей из всех мыслимых демократий, она могла бы, разумеется, быть намного лучше. Для этого имелись возможности. Ведь земля такая светлая, зеленая и огромная... Как хорошо можно было бы жить на ней!»

Говорят, что скорпионы смертельно боятся света. Сатирический роман Шерфига выводит на свет скорпионов. И не только роман. Сотрудника «Ланд ог фольк», ведущего обзоры радиопередач, выступающего по многим актуальным вопросам, Ханса Шерфига справедливо называют одним из тех, кто пришел на смену Нексе. Шерфиг — в первой шеренге передового отряда датских деятелей культуры. Побывав в государстве, созданном Лениным, Шерфиг рассказал о советской стране на страницах «Ланд ог фольк». По требованию читателей эти статьи были изданы отдельным сборником, автор посвятил его Мартину Андерсену Нексе. Так появилось «Путешествие по Советскому Союзу» (1951). Это — не просто путевой дневник. Он полемически заострен. В своей книге Шерфиг зло издевается над всеми небылицами о Советском Союзе, которые преподносит датчанам реакционная пресса. Шерфиг пишет о единстве советского народа, о его сплоченности вокруг Коммунистической партии, единстве и сплоченности, увиденном писателем и в большом и малом. При этом Шерфиг с понятной усмешкой вспоминает тех датских интеллигентов, которые, по его словам, «выражают восхищение перед революцией 1917 года, но сожалеют, что победившие в этой революции не делают революции против самих себя». Вывод, сделанный Шерфигом из путешествия по советской стране, очень четок: «Датчане имеют здесь 200 миллионов друзей».

Книга о Советском Союзе, так же как и последовавшие за ней путевые записки «Освобожденная Румыния», иллюстрированы рисунками автора. Шерфиг не оставил кисти. Об этом же говорит и серия рисунков к сатирическому роману Гольберга «Путешествие Нильса Клима под землею».

Сейчас Ханс Шерфиг работает над продолжением романа «Идеалисты». Он не прекращает и активного сотрудничества в «Ланд ог фольк».

В ноябре прошлого года, когда фашизм пытался поднять голову в Венгрии, Ханс Шерфиг, неутомимый борец против реакции и фашизма, выступил со статьями, разоблачающими ложь и клевету на венгерский народ и на Советский Союз.

Блестящий знаток датской культуры, Ханс Шерфиг своими статьями защищает ее от разрушения, ибо, как справедливо говорят в Дании, «вооружение идет рука об руку с разоружением культуры». Выступая в Москве на торжествах в честь 150-летия со дня рождения Христиана Андерсена, Шерфиг напомнил слова великого гуманиста: «Пусть скорее благословенный мир осенит все страны! Я всегда верил и надеялся, что мы стали настолько человечными, что никогда больше не будет войны, что мы будем прибегать к силе убеждения, а не к оружию, и только в самом крайнем случае, как Лютер, швырнем в голову нашего врага чернильницу». Эти слова Андерсена, написанные более 100 лет назад, актуальны и сегодня, сказал Шерфиг, независимо от того, идет ли речь о «холодной войне» или о «горячей». «Благословенный мир», о котором говорил Андерсен,— вот надежда всех нормальных, разумных и порядочных людей».

Произведения Ханса Шерфига — писателя, журналиста, художника — помогают претвориться этой надежде на мир в действительность.

Обзоры

Б. Розенцвейг

Цветы поддельного оптимизма

Таланты истинны за критику не злятся,
Их повредить она не может красоты;
Одни поддельные цветы
Дождя боятся.
И. А. КРЫЛОВ

Ежегодный литературно-критический обзор, помещенный на страницах журнала «Сэтердей ревью», напоминает нечто среднее между внушительной рекламной витриной и роскошной садовой клумбой, на которой представлены самые различные цветы. Все вокруг густо напоено раздражающе-приторным и каким-то тленным запахом лжеоптимизма. А на узорчатых лепестках то и дело блеснет, подобно живой росинке, слеза восторженного умиления.

Но стоит только прогреметь над этакой литературной «клумбой» настоящей критической грозе, стоит пронестись над ней дождю живой мысли — и (как в крыловской басне) сразу обнаружится: наряду с немногими живыми цветами здесь много цветов искусственных, поддельных. Под отрезвляющей и безжалостной дождевой струей они сразу никнут, вянут, линяют, осыпаются, и от приторного запаха оптимистического умиления не остается и следа!

Нам предстоит подкрепить это образное представление конкретным содержанием, почерпнутым из самого обзора.

Принимая, очевидно, во внимание, что на многих американских читателей эффектная цифра способна произвести куда большее впечатление, чем слово, редакция «Сэтердей ревью» предпослала обзору своего рода «арифметическую увертюру»: за одиннадцать месяцев 1956 года в Соединенных Штатах было опубликовано 2049 романов (против 1923 романов, вышедших за тот же период 1955 года). Всего же за год в США было пущено в оборот 13 тысяч новых литературных произведений на общую сумму в 750 миллионов долларов!

Вдохновленный этими данными, свидетельствующими об устойчивости и размахе оптово-розничной торговли художественной литературой, читатель «Сэтердей ревью» должен, по-видимому, с возрастающим доверием отнестись и ко всему тому, о чем идет речь непосредственно в самом обзоре.

«Взгляд на мировую литературу» — так многообещающе характеризует во вступлении смысл и назначение своего обзора редакция «Сэтердей ревью». Поначалу вы готовы отнестись с полным доверием к подобному подходу. Но тут вы сразу же обнаруживаете: понятие «мировая литература» у журнала «Сэтердей ревью» ограничивается лишь определенным кругом стран, куда входят США, Англия, Франция, Италия, ФРГ, Испания, Греция, Япония, Индия и Южная Африка. Иначе говоря, от обозревателя «Сэтердей ревью» по каким-то причинам «ускользнула» литература СССР и Китая, стран народной демократии, Индонезии и Египта, а также других государств и народов, упрямо и непоколебимо возвещающих о своем существовании самыми различными способами и средствами, в том числе, разумеется, и средствами литературы...

Нет никаких оснований обходить молчанием и тот факт, что, касаясь литературы даже заранее отобранных им стран, обозреватель «Сэтердей ревью» не упомянул ни одного писателя, чье творчество и чей образ мыслей его, по-видимому, мало устраивает (ибо нельзя же предположить всерьез, что перечисленные ниже имена обозревателю «Сэтердей ревью» вообще неизвестны!).

Так, в разделе об Англии не упомянуты, скажем, Питер Абрахамс, Дорис Лессинг, Эдит Парджетер, в разделе о Франции — «позабыты» Арагон, Веркор, Лану. Между тем, все эти писатели в прошлом году выпустили новые книги, и выход их широко освещается в печати. Сошлемся, к примеру, хотя бы на следующий факт: в списке «бестселлеров», помещенном в «Нувель литерер» и насчитывающем свыше полутораста названий, книга Лану «Майор Ватрен» занимает шестое место.

Разумеется, смешно было бы принимать обзор за литературный каталог или библиографический список и требовать, чтобы он был всеобъемлющим. Тем не менее, полное, огульное игнорирование «инакомыслящих» писателей не может не отразиться на истинности и объективности картины в целом.

При виде всего этого в первую минуту охватывает даже нечто вроде беспокойства: уж не захворал ли в редакции «Сэтердей

ревью» кто-нибудь потерей памяти, болезнью, именуемой в медицине «амнезией» и принявшей в данном случае не очень оригинальную политическую форму?.. Но вот, листая в раздумье номер журнала, вы на одной из страниц без труда обнаруживаете обзор недавних событий в Венгрии, составленный в стиле, весьма характерном для всей реакционной печати США, а на другой — рецензию о книге, посвященной Советской Армии, также написанную в сходной манере.

Становится ясно: в применении к обзору речь должна идти вовсе не о «потере памяти», а о недуге едва ли не более серьезном и еще труднее поддающемся излечению — о потере чувства реальности; похоже на то, что в США имеются люди, которые были бы непрочь подходить и к литературе с «позиции силы», насаждать всевозможные «блоки», заполнять «литературный вакуум» и даже, наряду с НАТО и СЕАТО, учредить нечто вроде ЛИТЕРАТО. Не написан ли обзор в «Сэтердей ревью» именно с такого рода более чем сомнительных позиций?

Выше мы говорили о том, что содержание этого обзора само по себе является красноречивым свидетельством потери чувства реальности; доказать это можно не только делая акцент на том, что в нем *отсутствует*, но и анализируя то, что в нем, так сказать, *присутствует*.

Безоблачность и идилличность — вот основные тона, в каких изображается на страницах «Сэтердей ревью» состояние современной «мировой литературы». Под солнцем рекламных прожекторов гордо красуются многие десятки названий различных произведений, перечисленных невнятной скороговоркой. Правда, мимоходом, на бегу, как нечто весьма незначительное и не стоящее особого внимания, бросается в порядке констатации факта следующее замечание: «Хемингуэй, Фолкнер, Стейнбек, эти гиганты довоенных урожайных лет, молчат... Немногим лучше обстоит дело с потенциальными гигантами из числа писателей послевоенного поколения...» Обронив эти слова и нисколько не задумываясь над ними, не сделав никаких попыток как-то их осмыслить, автор обзора поспешает вперед — к призовому столбу конечных выводов. И вот они — эти выводы: «В 1955 году положение английского романа было охарактеризовано как «по-прежнему удовлетворительное, пульс нормальный, температура чуть-чуть ниже нормы». То же самое,— подчеркивается в обзоре,— следует сказать и о 1956 годе».

Оценивая положение во Франции, автор обзора пишет с присущим ему лаконизмом: «Современное поколение французских писателей по-прежнему показывает ум, тонкость, мастерство — качества, которых англо-саксонские читатели обычно ждут от представителей романских литератур».

Наконец, демонстративно перечисляя имена молодых и особо подчеркивая, что «1956 год был годом молодежи», автор обзора, видимо, стремится создать впечатление о «творческой молодости» литератур, которых он касается, о своеобразном «цветении юности», отраженном, как в зеркале, в литературной продукции.

Итак, все без перемен, на обычном, устойчивом, не внушающем опасений и не вызывающем особых эмоций уровне. Лишь в одном случае автор обзора разрешил себе резко снизить темп своего литературного галопа, лишь одному имени было отведено в обзоре особое место на правах наиболее выдающегося литературного явления прошедшего года. На ком же остановили свой выбор «авгуры» из «Сэтердей ревью»? Кого они осчастливили своим триумфальным приветствием? Кого увенчали лавровым венком? Ответим на все эти вопросы велеречивой тирадой, представляющей собой самое начало обзора, посвященного — напомним — «мировой литературе».

«Наиболее эффектное литературное событие 1956 года имело место в октябре, когда однажды утром худощавая, загорелая девушка 21 года, с «небольшим, но умным обезьяньим личиком», была встречена на аэродроме шумными приветствиями репортеров, фотографов, радио- и телеоператоров, ожидавших ее в полной боевой готовности.

...Франсуазу Саган можно сравнить с любой значительной писательницей... а за ее творчеством следят с жадным вниманием, поскольку оно вступает в пору зрелости...»

Так, вольно или невольно, но не кто иной, как Франсуаза Саган стала чем-то вроде «центральной фигуры» обзора «Сэтердей ревью». У нас нет ни желания, ни возможности подробно разбирать здесь творчество молодой французской писательницы, автора двух весьма нашумевших на Западе книг. Скажем лишь: даже признавая известную одаренность Франсуазы Саган, нельзя не выразить сожаления по поводу той настойчивости, с какой она неизменно пытается уложить окружающую ее действительность в прокрустово ложе своей микротемы!

Впрочем, на наш взгляд, оценка, данная в обзоре «Сэтердей ревью» творчеству Франсуазы Саган, есть лишь частное проявление того общего заблуждения, в результате которого «пульс» современной буржуазной литературы объявляется совершенно нормальным, а уровень ее — «как обычно высоким».

Нет никаких оснований, конечно, отрицать, что и сейчас в странах, перечисляемых в обзоре «Сэтердей ревью», имеются талантливые писатели, способные создать и время от времени создающие действительно крупные произведения. Но это положение и не подлежит, и не поддается оспариванию. Более чем спорным представляется, однако, основное назначение обзора «Сэтердей ревью»: всячески подчеркнуть полную «безмятежность бытия» буржуазной литературы в целом и, восполь-

зовавшись яркой окраской «поддельных цветов», постараться выдать их за живые, настоящие.

Из множества путей и способов опровержения подобного рода попыток мы выберем один и притом, как нам кажется, наиболее приемлемый с точки зрения «Сэтердей ревью». Мы сошлемся здесь на мнения таких свидетелей, которые не могут не быть авторитетными и для упомянутого журнала.

Почти одновременно с появлением обзора в «Сэтердей ревью» публично высказались о судьбах литературы и об итогах прошедшего литературного года многие из весьма именитых писателей, философов, художников и даже политических деятелей как раз в тех самых странах, какие «попали в поле зрения» американского еженедельника. Анализируя их высказывания — то деланно-игривые, то подчеркнуто-откровенные, то явно обеспокоенные, — нельзя прежде всего не увидеть, как все они далеки от стремления во что бы то ни стало констатировать полную безоблачность литературных горизонтов!

Возьмем для примера высказывания о состоянии современной английской литературы, опубликованные в таком солидном издании, как «Санди таймс».

Известный английский писатель Г.-Э. Бейтс, подводя итоги прошедшего литературного года, замечает: «Сейчас, когда я набрасываю эти строки, вид ледяных узорчатых цветов зимы, сверкающих на фоне коричневой листвы дуба и голубого неба, доставляет мне гораздо больше удовольствия, чем те книги, какие я прочитал в истекшем году. Может быть, я окажусь единственным участником этого обмена мнений, который должен признать, что чем он становится старше, тем он меньше читает».

Не уступающий в известности Бейтсу, писатель Э. Форстер опубликовал ответ, звучащий почти как вызов: упомянув в качестве боевика книгу Акерли «Моя собака — Тюльпан», он сопроводил свой выбор следующим ироническим замечанием: «Это биография Новой Собаки, существа, которое можно сравнить с Новой Женщиной, столь сильно волновавшей наших дедов».

Пристли счел необходимым во весь голос упомянуть о литературе, так сказать, из духа противоречия: «Я остановлю свой выбор на художественной литературе лишь потому, что ей уделяется сейчас далеко не достаточное внимание и место...»

Что касается постоянного обозревателя газеты «Санди таймс», то он, всячески призывая не расстраиваться современным состоянием английской литературы, успокоительно сообщает: им были тщательно рассмотрены справочники за 1756 и 1856 годы и непреложно установлено — если говорить о количестве книг, то дела шли тогда отнюдь не лучше, чем теперь (о качестве он предпочитает умалчивать).

Приведенные нами высказывания, несмотря на некоторую их случайность и явственную индивидуальную окраску, тем не менее весьма симптоматичны. В частности, очень показательно минорное, пессимистическое их звучание. И даже если не делать на такой основе каких-либо далеко идущих обобщений, то все же следует сказать, пользуясь терминами «Сэтердей ревью»: нет, пульс у современной английской литературы работает с перебоями, а кривая температуры крайне неустойчива. Где уж тут до цветущего здоровья?!

Едва ли не более тревожные сигналы поступают из Франции. Еженедельник «Ар» отважился в нескольких номерах поместить анкету, симптоматично озаглавленную: «В чем причина упадка современной литературы и искусства». Никто из участников анкеты не использовал предоставленного ему слова для того, чтобы возразить против самой постановки вопроса. Наоборот, все приняли ее как нечто само собой разумеющееся и очевидное.

Один из опрошенных — Дави — видит главную причину упадка французской буржуазной литературы в том, что у людей, ее творящих, «нет убеждений, нет ничего святого. Те немногие, у которых убеждения существуют и которые решаются с пылом, со страстью защищать их искренними, прочувственными словами, — такие люди подвергаются насмешкам».

Жорж Батай видит первопричину всех бед и злоключений в том, что французская буржуазная литература «стала искусственной, говорит только о себе самой». А философ Фернан Алькы винит во всем разъедающий дух скепсиса. «Повсюду видны лишь скептики, — констатирует он с горечью. — Они везде побывали, нигде не удержались, они все знают и ничему не верят. Чем умнее человек, тем он менее активен...»

Но, пожалуй, самый тяжелый удар по оптимистической концепции обзора «Сэтердей ревью» наносит профессор Сорбонны, литературовед Этиамбль.

«Я читаю все меньше потому, что современные романы разочаровывают меня». Авторы этих романов, «неуверенные в будущем, преследуемые боязнью мировой войны, более не рассчитывают на внимание потомства и не хотят создавать больших произведений. Для чего? Для кого? Эта боязнь будущего является особенно тревожным симптомом, когда она проявляется в стране, которая так долго была страной надежд... Отсюда всеобщая аморфность, рыхлость, объясняющая успех романов Франсуазы Саган, написанных в американском вкусе. Два самых страшных фактора деградации французской интеллектуальной жизни — это романы Франсуазы Саган и кока-кола».

Стоит остановиться на этом прямом, лобовом «прорыве в публицистику» политического толка, допущенном литературоведом и профессором Сорбонны; стоит поразмыслить над такой деталью, как прямое сопоставление кока-кола и творчества Франсуазы Саган (бешеная реклама и на

первых порах — стотысячный тираж в США!). Стоит — ибо в этой, казалось бы, третьестепенной детали — ключ к содержанию обзора в «Сэтердей ревью».

В самом деле, неужто для редакции солидного американского еженедельника являются неожиданностью все приведенные нами высказывания, явно противоречащие установкам обзора, напечатанного на его страницах? Неужто редакции невдомек, что «поддельные цветы» в литературе обречены на то, чтобы линять и никнуть даже под не очень сильной струей критического дождя? Разумеется, нет.

Все дело в том, что обзор «Сэтердей ревью», как мы уже говорили, написан не с точки зрения беспристрастного, объективного литературоведа, а с «кочки зрения» (пользуясь термином А. М. Горького) пристрастного политического опекуна, страдающего, вдобавок, потерей чувства реальности и не желающего в этом признаться.

Но может ли такой непрошеный политический опекун, прикидывающийся поставщиком и гарантом процветания во всех областях жизни, констатировать во всеуслышание, что литература какой-либо из опекаемых им стран попала в «цейтнот» или даже переживает кризис? Ведь он воспринял бы это как косвенный удар по его собственному престижу! Отсюда — и вся установка обзора в «Сэтердей ревью», напоминающего во многом бюллетень литературно-политической биржи! Отсюда также и столь монументальное, чисто декоративное сооружение, как литературная «клумба», сплошь и рядом утыканная искусственными цветами (за неимением цветов живых, настоящих!).

Заключительным аккордом обзора «Сэтердей ревью» служит следующая фраза: «Любой литературный обозреватель глубоко вздыхает и молится о том, чтобы не совершить ту самую ошибку, какую допустили 105 лет назад его предшественники, не сумевшие достойно оценить такую вещь, как «Моби Дик»*. Мы непоколебимо уверены в том, что обозревателю «Сэтердей ревью» подобного рода опасность нисколько не угрожает. Значительно более реальным для него является соблазн впасть во искушение и попытаться выдать за своего рода «Моби Дик» нечто такое, что даже отдаленно на эту книгу не походит. Здесь бы, действительно, не грех вздохнуть — глубоко, сокрушенно и с опаской... как бы в самом деле не получилось конфуза!

* «Моби Дик» — роман Германа Мелвилла (1819—1891), одно из самых популярных произведений американской литературы.

ПО ЛЕНИНСКИМ МЕСТАМ ЗА РУБЕЖОМ

Редакция «Иностранной литературы» обратилась к зарубежным писателям и публицистам с просьбой рассказать нашим читателям о ленинских местах за границей. В этом номере журнала публикуются полученные нами репортажи Сэма Рассела, Клауса Бойхнера, Доминики Дезанти и Милана Яриша. Эти корреспонденции, разумеется, не исчерпывают затронутую тему, но содержат ряд интересных сведений о жизни В. И. Ленина в эмиграции.

В ЛОНДОНЕ

В общей сложности Ленин был в Лондоне пять раз. Впервые он приехал туда в середине апреля 1902 года, чтобы продолжить издание газеты «Искра» после того, как по конспиративным соображениям стал невозможен ее дальнейший выпуск в Мюнхене. В Лондоне Ленин пробыл до начала мая 1903 года, когда было принято решение перевести издание «Искры» в Женеву Затем он приезжал в английскую столицу в августе 1903 года в апреле—мае 1905 года и в мае 1907 года Наконец в 1908 году Ленин был в Лондоне в мае месяце, работая в Британском музее над книгой «Материализм и эмпириокритицизм». Таким образом, Лондон сыграл важную роль в начальный период истории РСДРП.

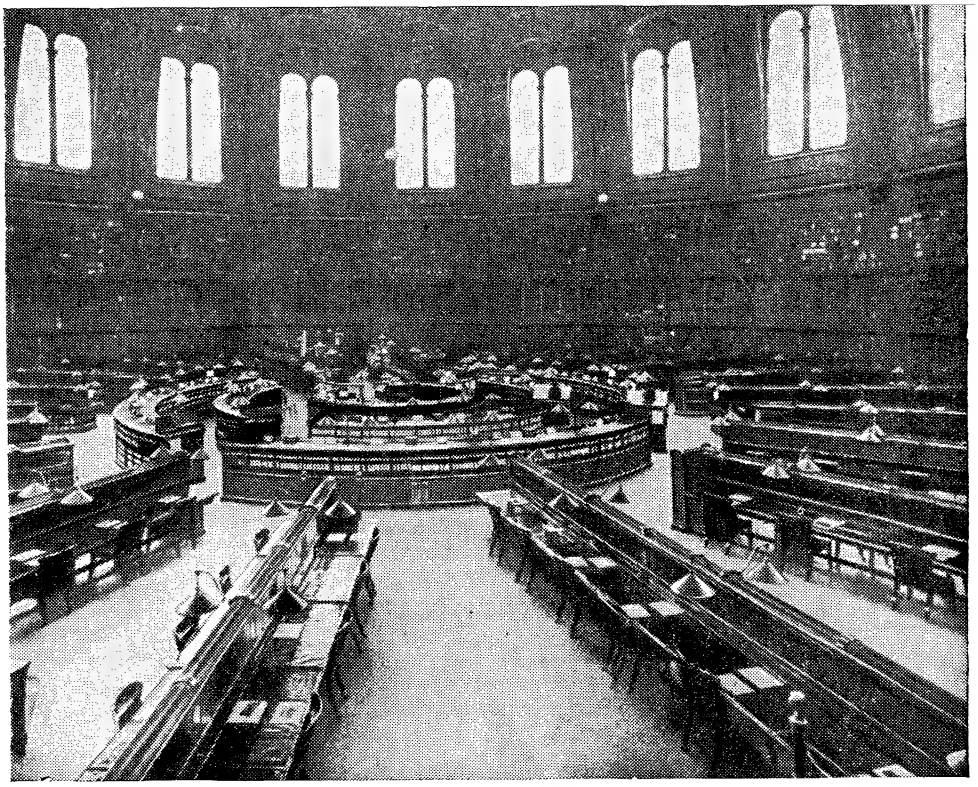
В своих воспоминаниях Н. К. Крупская рассказывает, как ее и Ленина встретил по прибытии в Лондон в апреле 1902 года Николай Александрович Алексеев, эмигрант, активный социал-демократ, помогавший В И Ленину в издательских делах. Он и сам оставил интересные воспоминания о пребывании Ленина в Лондоне

После некоторых расспросов я узнал, что Н. А. Алексеев живет в настоящее время в Москве Мне посчастливилось встретиться с ним, и во время продолжительной беседы я узнал много интересного о жизни Ленина в Лондоне. Алексеев не забыл английский язык, и я с огромным интересом слушал его рассказ о жизни В. И Ленина в английской столице

Н А Алексеев еще до приезда Ленина вел переговоры об издании «Искры» с одним из самых преданных и мужественных руководителей английских социал-демократов Гарри Квелчем, главным редактором социал-демократического еженедельника «Джастис», находившегося в доме, мимо которого я часто прохожу, ибо он расположен недалеко от редакции «Дейли уоркер» Сейчас в этом помещении находится библиотека им К Маркса Квелч согласился печатать «Искру» в редакции «Джастис», однако предупредил, что русские социал-демократы должны сами обеспечить себя наборщиками, так как английские наборщики не знают русского шрифта

Это лишь один из примеров помощи, оказанной английским рабочим классом своим русским товарищам. Как известно, в 1905 году после «Кровавого воскресенья»

Все даты в этой подборке указаны по новому стилю.



Читальный зал Британского музея, где занимался В. И. Ленин.

английские рабочие организовали сбор средств для вдов и детей погибших, а также для продолжения активной революционной борьбы. А в 1920 году лондонские докеры отказались грузить транспортное судно «Джолли Джордж» и тем самым помешали отправке оружия для интервентов.

Приехав в Лондон в 1902 году, В. И. Ленин поселился в меблированных комнатах в доме, находившемся недалеко от Кингс Кросс-стейшн, а затем переехал в двухкомнатную квартиру в доме № 30 на Холфорд-сквер, где он и Н. К. Крупская жили настолько скромно, что арендатор дома г-жа Ио вынуждена была настаивать на том, чтобы они повесили занавески, так как иначе владелец дома выражал недовольство. Г-жу Ио беспокоило также и то, что Крупская не носила обручального кольца, однако когда ее заверили, что Ленин и его жена находятся в законном браке, она успокоилась. Этот дом на Холфорд-сквер, в котором жил в то время Ленин, не сохранился. Он разрушен бомбами нацистов во время второй мировой войны, и на этом месте выстроен теперь новый жилой дом, а в местной ратуше установлен бюст В. И. Ленина.

В то время Ленин жил под псевдонимом Якоба Рихтера, на это имя он получал письма из России и под этим именем был известен в Лондоне.

Большую часть своего времени он проводил в читальном зале Британского музея. Обедать Ленин иногда ходил в один из многочисленных рыбных ресторанов, которые были и продолжают оставаться одной из характерных особенностей Лондона и где можно съесть любимое блюдо англичан — рыбу с жареным картофелем.

Ленин использовал свое пребывание в Англии для изучения языка. С этой целью он поместил в одной из газет объявление, в котором говорилось, что русский юрист и его жена хотели бы брать уроки английского языка в обмен на уроки русского языка.

В немногие часы отдыха Ленин ездил в пригороды Лондона. Очень часто он отправляется на Примроуз-хилл и в лесистые парки Хэмпстед Хита и Хайгета, откуда открывается вид на весь Лондон. Бывал он с Крупской и на Хайгетском кладбище, где похоронен Карл Маркс.

Важное место в жизни В. И. Ленина занимает Лондон как место заседаний съездов РСДРП. Делегаты V съезда регистрировались во временном секретариате, помещавшемся в Социалистическом клубе, как раз напротив большой Лондонской боль-

Дом в Лондоне, в котором жил В. И. Ленин.

ницы, в Уайтчепеле, в районе Ист-Энда. Лондонские газеты писали в то время, что появление делегатов съезда на улицах вызывало сенсацию. Корреспондент газеты «Морнинг пост», ставшей впоследствии «Дейли телеграф энд морнинг пост», писал, что на него произвели большое впечатление многие делегаты съезда; он даже назвал их представителями «вершины русской мысли». Однако не вся английская пресса была столь объективна, и делегатов осаждали представители падких до сенсации газет, которые печатали вымышленные рассказы о жизни некоторых делегатов. Так, например, одна газета опубликовала фотографию молодой работницы, делегатки съезда, и написала, что эта девушка — княжна, дочь генерал-губернатора, но что она — убийца и всегда носит при себе... две бомбы.

По понятным причинам проведение съезда держалось в тайне, и положение осложнилось, когда английские газеты опубликовали фамилии и фотографии некоторых делегатов. Тогда устроители съезда вынуждены были обратиться к английской прессе с призывом не играть роль союзника шпионов царской полиции.

Кроме английской прессы, делегатов осаждала и английская полиция. Руководитель английских лейбористов Рамзей Макдональд был вынужден заявить корреспонденту газеты «Дейли ньюс»: «Мне сказали, что представителям Управления уголовного розыска было поручено выяснить местожительство каждого из более чем 300 русских делегатов. Это — просто скандально».

Съезд проходил в помещении церкви «Братства» на Саутгейт роуд, в Исмингтоне, находящемся в северной части Лондона. Максим Горький описал это место так: «Я и сейчас вот все еще хорошо вижу голые стены смешной своим убожеством деревянной церкви на окраине Лондона, стрельчатые окна небольшого, узкого зала, похожего на классную комнату бедной школы...»

Горький вспоминает о том, что в свободное время Ленин беседовал с рабочими, знакомясь с мельчайшими подробностями их жизни.

Многие делегаты V съезда ходили вместе с ним в небольшой дешевый ресторан, и Горький отмечал, что Ленин ел очень мало — яичницу из двух или трех яиц, небольшой кусок ветчины и запивал кружкой густого темного пива.

Однажды вечером Ленин и Горький с небольшой группой делегатов пошли в

лондонский «мюзик-холл», где Владимир Ильич весело и заразительно смеялся, когда на сцене выступали клоуны и эксцентрики.

Таковы некоторые стороны пребывания Ленина в Лондоне, вероятно, к тому же, известные советским товарищам по мемуарной литературе. Мне приятно напомнить их потому, что они показывают Владимира Ильича и как человека, и как руководителя партии. Находясь в Лондоне, загруженный множеством дел, Ленин находил время, чтобы изучать жизнь английских рабочих. Простота и личная скромность, преданность поставленной цели поражали всех, кто встречался с ним.

Сэм Рассел.

В ЖЕНЕВЕ

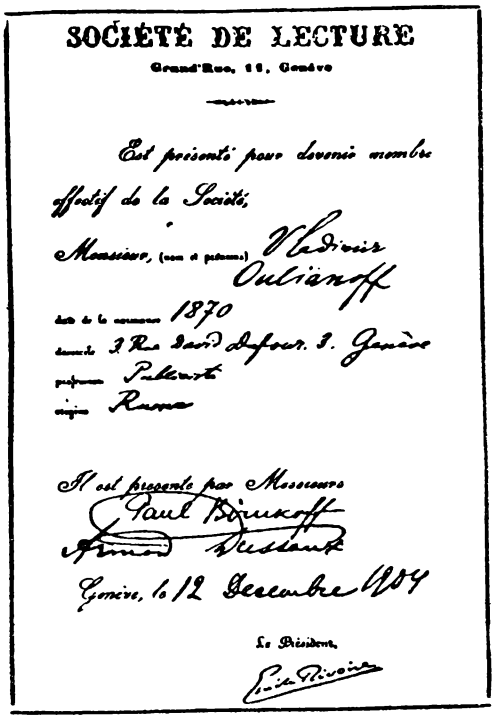
В один прекрасный, залитый солнцем майский день 1895 года из Петербурга в Женеву впервые приехал двадцатипятилетний Ленин. Перед ним, подобно сверкающему смарагду, у подошвы покрытой снегом цепи Западных Альп лежало озеро Леман. Набережная была полна гуляющих. Вокруг острова Руссо кружились лебеди. На фоне голубого неба вздымался отец гор — Монблан.

Женева была тогда центром русской эмиграции. Между Петербургом и Женевой постоянно ездили курьеры. Впечатления, которые вынес молодой В. И. Ленин в мае 1895 года от знакомства со взглядами и убеждениями некоторой части эмигрантов, заставили его серьезно задуматься, а затем решительно выступить против них. Ленин снова приехал в Женеву в начале августа 1900 года. Тогда же он договорился с Плехановым относительно издания «Искры» и «Зари».

Лозанна, Женева, Берн, Цюрих были этапами ноябрьской поездки, которую Ленин совершил в 1902 году по Западной Швейцарии. Во время этой поездки он выступал с рефератом, критикующим программу и тактику эсеров.

В начале мая 1903 года В. И. Ленин надолго поселился в Женеве. Небольшая квартира, куда он переехал вместе с Н. К. Крупской, расположенная в одном из домиков женевского рабочего поселка Сешерон, стала центром русской революционной эмиграции. Зарегистрированный в те дни в женевских кантональных актах, как «русский гражданин», «журналист и публицист», Владимир Ильич день и ночь принимал делегатов, направлявшихся на II съезд РСДРП. Для них у него всегда находилось время, он никогда не уставал от разговоров и споров с ними. Прогулки в Гольфпарке, отдых на берегу озера освежали и возвращали энергию. По вечерам он встречался с друзьями в «Брассери Ландольт». За стаканом вина еще раз обсуждались события дня. Охотно слушал он рассказы швейцарских товарищей об истории их страны. Ленин был прекрасным слушателем. Швейцарцы очень ценили его за огромные знания. Тут же, в «Ландольт», Ленин познакомился с тогдашним лидером женевских социал-демократов Георгом Гофманом, уроженцем Дрездена. Очень часто, увлекшись разговором, они до поздней ночи гуляли вместе по романтической старой Женеве. Многие спрашивали о Ленине: «Когда этот человек успевает спать?»

После II съезда РСДРП Ленин вернулся в Женеву очень утомленным. Но там его уже ждала новая работа. С 26 по 30 октября в Женеве должен был состояться II съезд «Заграничной лиги русской революционной социал-демократии». Предстояла новая борьба, новые столкновения с оппортунистами вроде Мартова и Троцкого. Мечтательная осень у озера Леман, которую когда-то так вдохновенно воспел Байрон в «Шильонском узнике», мало волновала Ленина. Вместо прогулок по построенному еще Цезарем мосту через Рону в прекрасные октябрьские дни 1903 года он ездил на велосипеде заниматься в библиотеку или встречался с товарищами в клубе эмигрантов и у себя дома. Все мысли его в этот период были поглощены разработкой программы предстоящего съезда «Заграничной лиги». Владимир Ильич не обращал большого внимания на не слишком тогда оживленное движение на улицах города. Однажды он



SOCIÉTÉ DE LECTURE

Grand'Rue, 11, Genève

Est présenté pour devenir membre effectif de la Société,

Monsieur, (nom et prénoms) Vladimir Oulianoff

date de la naissance 1870

domicile 3 Rue David Dufour. 3. Genève

profession Publiciste

origine Russe

Il est présenté par Messieurs

Paul Birukoff

Armand Dussaut

Genève, le 12 Decembre 1904

Le Président,

Emile Rivoire

Фотокопия заявления о вступлении В. И. Ленина в женевское «Общество любителей чтения».

(Фото Ватерло. Женева).

налетел со своим велосипедом на трамвай. К счастью, в то время трамваи ходили довольно медленно. Ленин был только сброшен на мостовую и поранил лоб и брови. Вскоре после этого случая он, бледный, с забинтованной головой, явился на съезд, что, впрочем, не помешало ему выступить с прекрасной речью.

Ленин вел огромную переписку, отвечал на многочисленные письма, вникал в дела самых маленьких партийных ячеек, советовал, обсуждал, критиковал и хвалил. Ежемесячно из Женевы в различные уголки России и за границу уходило много писем. Не часто можно встретить такую работоспособность, сознание своей ответственности, прилежание и самоотверженность.

Но эта необычайно широкая переписка была только частью его многосторонней деятельности. Наряду с нею, Ленин проводил ежедневно много часов в Женевской библиотеке. Обычно он сидел у узенького деревянного стола около большого окна, вчитываясь в каждую строчку лежащей перед ним книги, выписывал особенно интересные места. Если сейчас познакомиться с книгами, которые в свое время прочитал Ленин в Женевской библиотеке, то можно проследить, как он жадно стремился узнать новое, с одинаковой глубиной изучая отчеты комиссий американского конгресса и историю философии; яростно спорил с буржуазными философами, интересовался историей Германии и ее политической географией; основательно изучал всевозможные работы о научном и техническом развитии мореплавания и о взаимоотношениях между физиологией и психологией. «Феномен»,— говорили о нем удивленные библиотекари.

В декабре 1904 года Ленин вступил в женевское «Общество любителей чтения».

* * *

Когда Ленин и Крупская утром 23 января 1905 года шли в библиотеку на Гран-рю, навстречу им бросился Луначарский:

— Революция! В России революция!

«Трибюн де Женев» первая сообщила о «Кровавом воскресенье» в Петербурге. Уже вечером 23 января русские эмигранты устроили в зале Хандверк большое собрание протеста против организованной царизмом бойни. После этого они вышли на демонстрацию, за которой следила женевская полиция. Газеты крупной буржуазии немедленно начали поход против «революционеров», которые ведут «опасную и враждебную пропаганду из Женевы и Цюриха против Великой России».

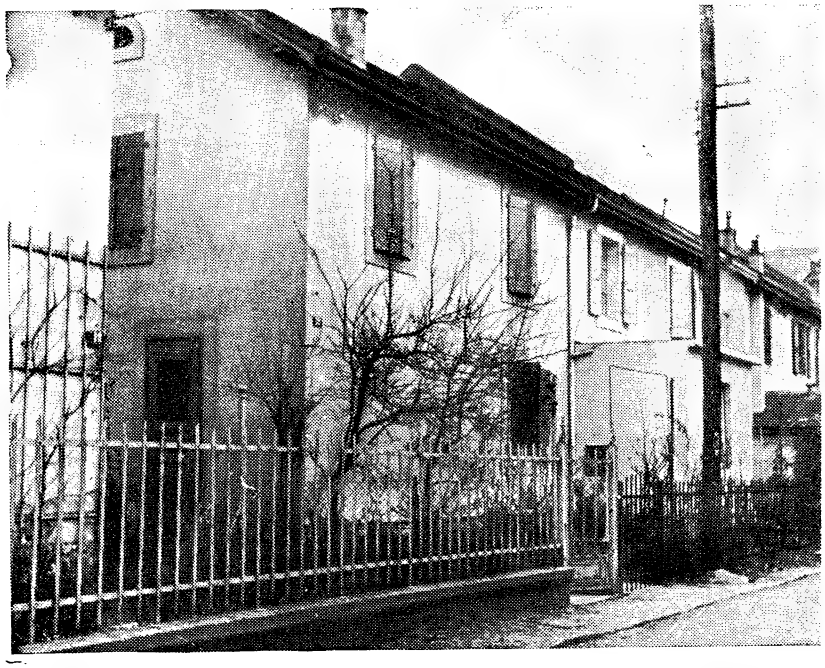
В годы революции 1905 года в России Ленин живо заинтересовался важной областью революционной борьбы — военной наукой. С этой целью он ре-

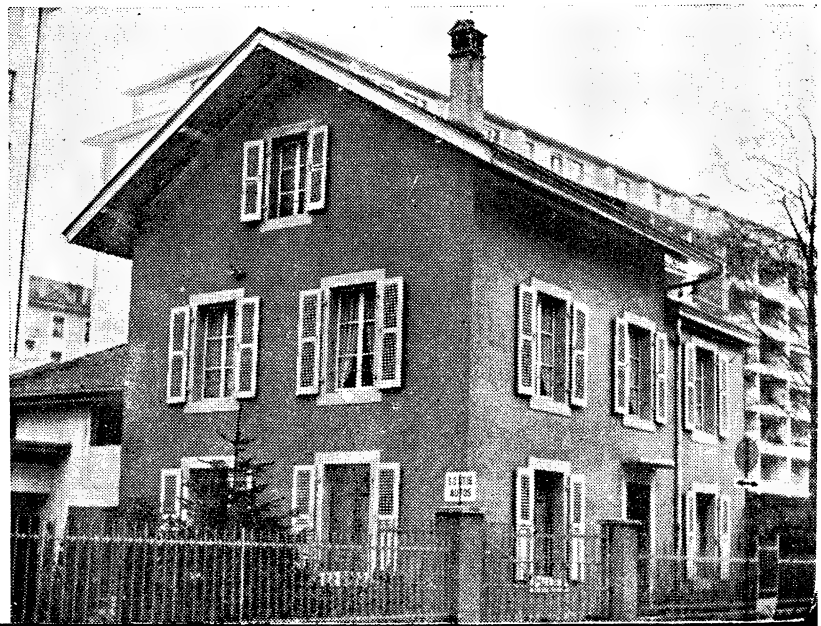
дактировал здесь перевод главы из книги Клюзэрэ о тактике уличной борьбы Парижской Коммуны, изучал произведения Маркса и Энгельса, в которых анализировались военные вопросы, и читал работы генерала Клаузевица.

В Женеве произошла в этот период интересная встреча В. И. Ленина с Гапоном. В продолжительной беседе Ленин объяснил ему, что народ может победить только в том случае, если у него будет крепкое революционное руководство. Гапон глядел на него, не понимая. Жертвы в Петербурге его мало трогали. Гапона можно было видеть разъезжающим верхом на лошади по улицам Женевы или стреляющим из ружья в княжеском саду. В английской прессе он опубликовал высокопарные мемуары, в которых превозносил себя как народного трибуна...

* * *

Вечером 7 января 1908 года поезд из Берлина остановился на Женевском вокзале Карнаван. Из него вышли Ленин и Крупская. Их встретили несколько преданных товарищей. С вокзала Ленин и Крупская отправились в библиотеку русских эмигрантов.





Улица в поселке Сешерон, сохранившаяся в том виде, в каком она существовала во время пребывания В. И. Ленина в Женеве.

Дом в рабочем поселке Сешерон (на улице Шмэн де Фуайе), где жил В. И. Ленин.

Дом на улице Юго Санже в Женеве, в котором помещалась библиотека русских эмигрантов, где часто бывал В. И. Ленин.

(Фото Ватерло. Женева).

Прежний ритм работы захватил Ленина целиком. Он снова занимается в библиотеках, возрождает редакцию газеты «Пролетарий».

Но пребывание в Женеве на этот раз не затянулось. В декабре 1908 года В. И. Ленин перебрался в Париж.

Осенью 1911 года Ленин приезжает в Женеву с рефератом «Столыпин и реакция». А когда началась мировая война, осенью 1914 года Ленин приехал из Галиции на швейцарскую границу. Швейцарские социалисты внесли залог в сто франков за переход границы, и 27 октября 1914 года Ленин выступил против войны на большом собрании социалистов в Цюрихе. Темой его реферата была «Война и социал-демократия». Ленин бичевал жестокость и вандализм европейских империалистов. Боевой призыв, который выдвинули Маркс и Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» прозвучал в реферате В. И. Ленина с новой силой. Спустя три года под этим лозунгом вооруженные рабочие и крестьяне России двинулись на штурм Зимнего дворца. И началась величайшая революция человечества.

Но это уже другая страница истории.

Клаус Бойхнер.

В ПАРИЖЕ

Мне тем приятнее еще раз совершить со своими читателями паломничество по ленинским местам, что оно связано для меня и с личными воспоминаниями.

Мне было семнадцать лет, когда я твердо решила зарабатывать хлеб собственным трудом. Первой моей платной работой были обязанности переводчика при американском журналисте. Это был небезызвестный Никербокер. Он «делал» тогда репортаж о «знаменитых иностранцах в Париже». А так как дело происходило в эпоху Народного фронта, то он включил в свой список и Ленина, и в первый же день мы отправились с американцем интервьюировать одного старика, который некогда работал в качестве официанта в «Кафе де Лион», на Монружском перекрестке, где теперь помещается какой-то банк. Ленин заходил в это кафе играть в шахматы и принимал здесь участие в горячих спорах с другими эмигрантами, особенно «отзовистами».

Мы нашли старика в лавчонке, которую он приобрел на старости лет в том же самом квартале. Он рассказывал нам о Ленине.

— Меня не в первый раз расспрашивают о нем. В нашем кафе был шахматный клуб, и Ленин часто приходил сыграть партию в шахматы. Я хорошо его помню. Невысокого роста, огромный лысеющий лоб, слегка прищуренные глаза... Всегда скромный и вежливый... Заразительно смеялся... Но это был внешне самый незаметный из всех русских, что являлись к нам. Мне и в голову не могло прийти, что этот человек сделается со временем таким же знаменитым, как Наполеон, а то я рассмотрел бы его более внимательно. Другие, помню, спорили, кричали целыми часами. Случалось, дело доходило и до драки. Стаканы били. Не потому, что они пили много. Нет, заказы у них были скромные, вероятно, потому, что ни гроша в кармане не было... А просто так, в увлечении спором. Ну, а человек с огромным лбом был самым сдержанным из всех. Правда, иногда и он гневался и стучал кулаком по столу, но это случалось редко. Глядя на него, можно было подумать, что перед вами интеллигент средней руки, какой-нибудь учитель или что-то в этом роде. Должен еще сказать, что это был человек большой доброты: у него всегда в кармане находилась горсть конфет для ребят. И кошки тоже охотно шли к нему на колени... А животные очень чутки в этом отношении...

Старик покачивал головой, сожалея, что не может рассказать никакой «пикантной истории», чего так хотелось американскому журналисту, и, по-видимому, был даже в обиде на провидение за то, что оно не потрудилось предупредить его каким-нибудь знаком, что человек, которому он подавал тогда липовый чай или чашку шоколада, был, оказывается, «историческим персонажем». Когда мы собрались уходить, старик отозвал меня в сторону и зашептал:

«Кафе де Манийер» в Париже, которое посещал В. И. Ленин.

— Мадемуазель, не говорите вашему американцу, но я тогда отлично понял, что этот человек был другом бедных, хотя я ни единого слова не понимал в их спорах...

Из всего его рассказа самое сильное впечатление произвело на Никербокера замечание старика о кошках. Журналист уверял меня дорогой:

— Это очень важный факт! Очевидно, любовь к кошкам — общая черта всех революционеров. Робеспьер, Сен-Жюст, Жюль Валлес тоже любили кошек.

Я была буквально подавлена такой эрудицией, и мне ничего не оставалось, как молчать. Впрочем, в те годы я сама знала о Ленине не больше, чем этот репортер.

Старые завсегдатаи кафе «Ротонда» — этой штаб-квартиры монпарнасских художников, где заседали вожди «парижской школы», где встречались Гийом Аполлинер, Модильяни, Пикассо, Кислинг, тоже отлично помнят, как Ленин играл в этом кафе в шахматы или беседовал с кем-нибудь в укромном уголке. Но и у них никаких «живописных историй» для американского журналиста найти не удалось.

Попытались мы разыскать и завсегдатаев «Кафе д'Аркур» на бульваре Сен-Мишель, в самой гуще Латинского квартала, где тогда бывал Ленин. Но и тут мы потерпели неудачу. Во всех воспоминаниях неизменно повторялось: «Скромный... Приветливый... Мягкого характера...» Американец вздыхал:

— Ни одна душа не поверит мне, если я напишу, что человек, который руководил величайшей в истории человечества революцией, у всех знавших его оставил о себе воспоминание, как о скромном библиотечном затворнике!

Хирург Дюбуше, преданный делу революции француз, очутившийся в 1905 году в Одессе, где он самоотверженно оказывал помощь революционерам, и насчитывавший многочисленных друзей среди русских большевиков в Париже, рассказывал, что однажды он увидел у себя неизвестного господина.

Незнакомец привел больного. Это был Ленин, очень обеспокоенный состоянием здоровья одного товарища по имени Иннокентий*. Русские врачи-эмигранты ставили самые противоречивые диагнозы. Ленину захотелось узнать мнение «настоящего хирурга», и он лично явился к Дюбуше, побуждаемый неизменной заботой о товарищах. Профессор Дюбуше, осмотрев Иннокентия, разразился хохотом, довольно необычным для такого молчальника, как он, и заявил Ленину:

* Речь идет об Иосифе Федоровиче Дубровицком, «Иннокентии» (1877—1913),— профессиональном революционере, члене ЦК РСДРП.

— Ваши товарищи врачи — хорошие революционеры, но как врачи — они ослы!

Владимир Ильич ответил ему таким же заразительным смехом, и эта встреча стала началом их долгой дружбы. Впоследствии Дюбуше лечил одну из сестер Ленина, когда та приехала из России, Надежду Константиновну Крупскую и ее мать и самого Владимира Ильича...

Рассказав нам этот эпизод, профессор добавил:

— Это был, безусловно, самый необыкновенный и самый человеколюбивый человек, какого мне когда-либо пришлось встретить на своем жизненном пути!

Так постепенно, шаг за шагом, мне удалось восстановить факты из жизни Ленина во Франции.

* * *

Владимир Ильич и Надежда Константиновна приехали в Париж в конце 1908 года из Женевы. Почти никаких средств у них не было, и оба отлично понимали что теперь их финансовые затруднения еще более возрастут. Первоначально они поселились в доме № 24 по улице Бонье, недалеко от парка Монсури, который тогда находился совсем на окраине города.

Четырехкомнатная квартира оказалась обширной, и в ней было все то, что консьержки называют «буржуазным комфортом», то есть вода и газ на всех этажах и даже зеркала над каминами. Но Владимир Ильич и Надежда Константиновна не могли без улыбки смотреть на свою более чем скромную мебель из некрашеного дерева, которая напоминала под этими высокими потолками с лепными украшениями о чем-то вроде кораблекрушения Консьержка взирала на новых квартирантов не без подозрительности. Имея дело с такими необеспеченными людьми, и домохозяин не решился выдать им то «поручительство», без которого нельзя было получать на дом книги из муниципальной библиотеки.

В Париже работа отнимала у Ленина все его время. О печатании «Пролетария», а затем «Социал-Демократа» удалось договориться с типографией в том же самом XIV округе находившейся во дворе дома № 8 на улице Антуан Шантен. Но в 1910 году ее пришлось переменить на другую — в доме № 110 на авеню д'Орлеан.

Ленину приходилось много писать в Париже и отправлять свои статьи в Россию. В продолжение многих месяцев он проделывал каждый вечер путешествие до Восточного вокзала, чтобы лично опустить конверт в почтовый ящик поезда, ибо не желал взваливать эту работу на плечи других.

— Помилуйте, — говорил Ленин, — с какой же стати я буду портить вам вечер, у вас найдется что-нибудь и более интересное.

Иногда приходилось отправлять довольно громоздкую корреспонденцию: письма, тщательно зашифрованные Надеждой Константиновной, прокламации и газеты.

Недавно одна пожилая француженка рассказала об этом в своем выступлении по радио. Дочь консьержки на улице Бонье, она была в самых дружеских отношениях с Лениным, в карманах у которого для нее всегда находились конфеты или какие-нибудь другие сласти. Однажды Ленин принес ей миску компота, приготовленного в тот день на десерт для семейного обеда, и был страшно рад, глядя, как девочка уплетала за обе щеки лакомое кушанье. Дочка консьержки часто наблюдала, как ее друг нагружал на ручную тележку всякого рода пакеты, конверты и бандероли. Както она стала просить его·

— А мне можно на тележку?

Ленин ответил:

— Конечно!

Смеясь, он поднял ребенка, усадил на гору пакетов и бодро повез почту, а заодно и свою маленькую приятельницу в ближайшее почтовое отделение.

Несмотря на изнурительную умственную работу, Владимир Ильич находил время и для того, чтобы знакомиться с жизнью простых людей Парижа. Иногда он тащил Надежду Константиновну в какие-нибудь маленькие «увеселительные кабачки» в городских предместьях, где по субботам наблюдал, как развлекаются или чем взволнованы и недовольны рабочие.

Летом 1909 года чета Ульяновых и мать Надежды Константиновны, с которой они не расставались, переселились на другую квартиру в том же самом округе. Квартиру

нашли в доме № 4 по улице Мари-Роз. Она состояла из двух комнат, разделенных альковом, где спала мать Крупской, и кухни. Здесь уже не было ни лепных украшений на потолке, ни зеркал, и недостаточное количество мебели никакого удивления у консьержки не вызвало. Горький, который в те годы был проездом в Париже, упоминает об этой «студенческой квартирке».

Как во всех квартирах, где жил Ленин, местом для собраний и тут служила кухня. Здесь же Крупская принимала являвшихся за советом эмигрантов, прикинув сначала, нельзя ли сделать так, чтобы не беспокоить Владимира Ильича.

Когда наступали весенние дни, Владимир Ильич и Надежда Константиновна пересыпали немногочисленные зимние вещи нафталином и доставали летние костюмы. Не имея возможности часто менять свои туалеты, они из года в год носили одни и те же соломенные канотье. Чтобы придать им вид новых, Владимир Ильич обычно покрывал их слоем лака. Эту операцию он производил, стоя на пороге своего жилища, словно какой-нибудь обитатель деревни. Он утверждал, что по этим слоям лака можно было с таким же удобством сосчитать годы изгнания, как по отслоениям древесины — возраст дерева.

Дом на улице Мари-Роз, в котором жил В. И. Ленин.

Приведя в порядок головные уборы, Ленин красил и велосипеды. Эти велосипеды играли очень важную роль в жизни обоих. Владимир Ильич ездил на велосипеде в Национальную библиотеку, где он работал ежедневно с момента открытия до 2 часов пополудни. В дни отдыха Владимир Ильич любил отправиться на велосипеде до городка Жювизи и там с интересом наблюдал как с летной площадки поднимались в воздух аэропланы. Когда однажды он возвращался оттуда домой, на велосипед налетел автомобиль и разбил его вдребезги. В другой раз велосипед Ленина украли во дворе Национальной библиотеки. Подобные, сравнительно незначительные, происшествия ставили перед Лениным трудно разрешимые финансовые проблемы...

Однажды Надежда Константиновна и Владимир Ильич отправились на велосипедах в Дравей, где должна была состояться их встреча с дочерью и зятем Карла Маркса, Лаурой и Полем Лафаргами, сыгравшими большую роль во французском рабочем движении. Но в ту пору Лафарги, больные и уставшие от борьбы, уже считали себя неспособными ни для какой работы и отошли от политической деятельности. Ленин и его подруга вступили в этот дом с большим волнением. Это волнение было настолько велико, что, например, Надежда Константиновна, увидя перед собой лицо Лауры Лафарг, в котором она узнала черты великого Маркса, долго не могла вымолвить ни слова ни по-английски, ни по-французски.

Между Владимиром Ильичом Лениным и Полем Лафаргом немедленно завязался разговор о философии. А обе женщины в это время бродили по парку, окружавшему со всех сторон дом. Когда они возвратились, рассказывала впоследствии Крупская, Лафарг и Владимир Ильич все еще говорили на философские темы. «Он скоро на деле докажет, — сказала о своем муже Лаура, — насколько искренни его философские убеждения».

При этих словах супруги обменялись понимающим взглядом, который показался Крупской очень странным.

Объяснение этому пришло позже. В декабре 1911 года Ленин узнал о самоубийстве Лафарга и его жены. Они покончили с собой, считая, что уже не в состоянии принести какую-нибудь пользу рабочему движению. Это самоубийство вызвало среди французских социалистов большое волнение. А революционно настроенные рабочие увидели в нем проявление малодушия и неверия в их чувства преданности поседевшим борцам за интересы рабочего класса.

На похоронах Ленин произнес над могилой речь от имени Российской социал-демократической партии. Из всех речей, произнесенных над этой двойной могилой, она была безусловно самой пророческой и проницательной. Однако газета Жореса «Юманите», посвятившая похоронам почти целиком очередной номер, «русскому социал-демократу» уделила едва десяток строк...

Весной 1911 года Надежда Константиновна и Владимир Ильич в обновленных канотье снова покатили на своих свежевыкрашенных велосипедах по парижским окрестностям в поисках какого-нибудь уединенного дома, который можно было бы снять за недорогую плату. В конце концов им удалось найти такой дом в далеко протянувшейся по обеим сторонам шоссе деревне Лонжюмо, мимо которой всю ночь грохотали бесконечные повозки с продуктами для «чрева Парижа». Деревня Лонжюмо была известна тогда бронзовой статуей почтальона да небольшим кожевенным заводом.

Инесса Арманд, выдающаяся деятельница международного коммунистического движения, член большевистской партии с 1904 года, произвела в этом доме необходимые переделки и приспособила его к приему рабочих, приезжавших из России, чтобы пройти здесь курс партийной школы, организованной Лениным. Ученики разместились у местных жителей, очень удивлявшихся их внешнему виду. Французам объяснили, что это «русские учителя», а между тем к ним являлись люди, которые и во Франции не отказывались от своей манеры носить косоворотки, и руки их отнюдь не свидетельствовали об интеллигентном труде.

Здесь Ленин и Крупская познакомились со своими наиболее прилежными корреспондентами, и прибытие каждого нового товарища доставляло им искреннюю радость. Супруги устроились на квартире у одного кожевника и могли воочию убедиться в бедности и лишениях французских рабочих, особенно живущих вне Парижа.

Результаты деятельности школы были плодотворными, и работать в ней было интересно. Учеба и практические занятия, которые производились обычно под руководством самого Ленина, прерывались завтраками за общим столом, за которым учителя сидели вместе со своими учениками. По вечерам те и другие отправлялись на прогулку, спорили допоздна, улегшись где-нибудь под скирдой хлеба, а ночью возвращались с песнями домой.

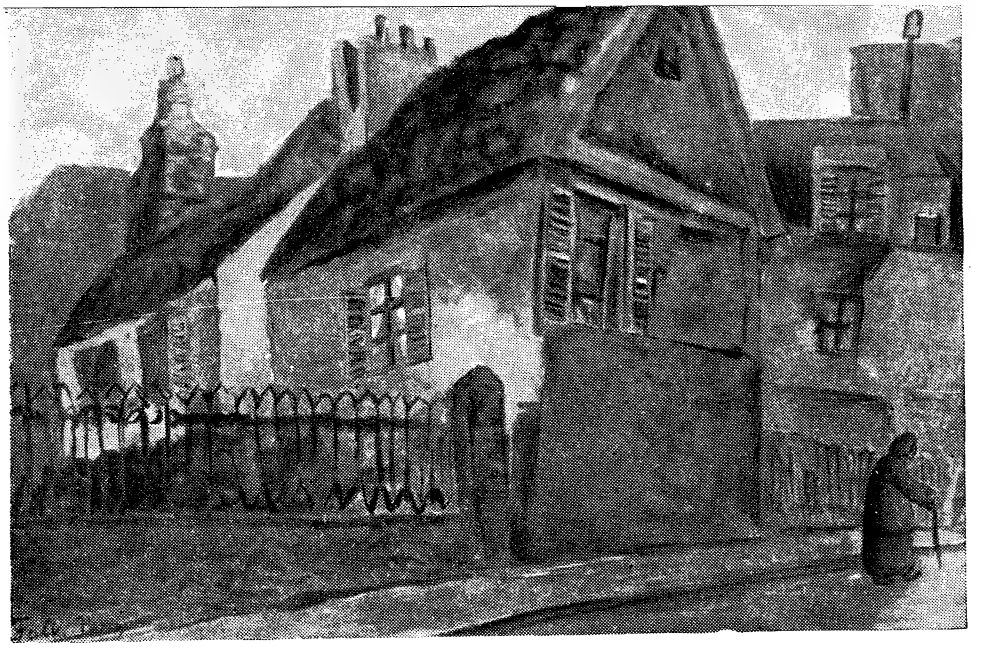
Напряженная жизнь продолжалась в Париже вплоть до 1912 года, когда Ленин и Крупская решили перебраться в Краков, откуда было легче поддерживать связь с Россией. Квартиру на улице Мари-Роз они уступили одному польскому музыканту.

По случаю их отъезда парижская эмиграция устроила обед в деревянном «шале», которое до сих пор существует в парке Монсури. Участвовавшие в банкете возвращались с него домой поздно ночью, оглашая сонные парижские улицы пением.

Теперь на доме в Лонжюмо установлена мемориальная доска. Такая же доска установлена и на улице Мари-Роз; в бывшей квартире Ленина живут люди, которые сочувствуют идее устроить в ней музей или приспособить комнаты для выставок. Оба дома стали местом паломничества многочисленных приезжих.

* * *

Ежегодно коммунистическая пресса Франции рассказывает о пребывании Ленина в нашей стране. В течение ряда лет я тоже писала статьи на эту тему, освещая различные факты из жизни Владимира Ильича. Однажды я описала в такой статье те кафе, которые посещал в Париже В. И. Ленин, испытав при этом огромное удовольствие, доставляющее журналисту или писателю сознание той пользы, которую приносит его работа. Вот как это случилось.



«Дом в Лонжюмо», акварель художника Р. Фалька.

Я отправилась в «Кафе де Манийер», чтобы там, как говорится, создать для себя настроение для писания другой статьи. Как известно, в этом кафе часто бывал Ленин, участвуя в важных дискуссиях. Теперь неон и пластмасса уже заменили те газовые рожки и обитые молескином скамейки, которые видел здесь некогда Владимир Ильич. Но снаружи, за окном, царила та же самая уличная суета; все так же были завалены апельсинами, овощами и цветами тележки торговок и так же люди спешили купить у них все необходимое.

Недалеко от меня сидела группа маляров в белых рабочих блузах. Они спорили на политические темы, и, по-видимому, им трудно было прийти к единодушному мнению по некоторым вопросам. Неожиданно один из спорщиков произнес:

— И подумать только, что в этом самом кафе некогда бывал человек, который наверное мог бы нам сказать, как надо поступить!

— В этом кафе? Кто же это такой?

— Ленин!

— Ленин? Зачем же он сюда приходил? Откуда ты это знаешь?

— Прочел в газете, — не без гордости и даже с некоторым вызовом ответил маляр. Из его кармана торчал номер «Юманите», тот самый, в котором была напечатана моя статья о Ленине.

— Да, Ленин, конечно, помог бы нам разобраться в таком вопросе, — согласился собеседник.

Затем у маляров снова вспыхнул оживленный спор.

Это единодушное доверие к Ленину очень характерно для французского пролетариата: для наших рабочих Ленин остается человеком, вокруг которого умолкают все споры. Это поистине образ великого друга. И подслушанный случайно разговор напомнил мне об очерке Горького, в котором он рассказывает, как старый рыбак на Капри, не имевший возможности из-за незнания языка непосредственно обратиться к Ленину во время его пребывания на острове, заметил однажды, услышав, как смеется Владимир Ильич:

— Так может смеяться только честный человек!

Всякий раз, когда мне приходилось говорить о Ленине с простыми людьми из тех мест, где он некогда жил, или объяснять им, почему мы фотографируем дом, в котором была его квартира, или типографию, где он правил корректуры, они вздыхали:

— Да, этот человек, действительно, всегда стоял за бедных людей!..

Для революционно настроенных рабочих Парижа Ленин стал за несколько лет пребывания в нашем городе Почетным парижанином.

Доминика Дезанти.

В ПРАГЕ

В один из мартовских дней 1901 года работник Пражского комитета социал-демократической партии вызвал к себе молодого партийца и сказал ему:

— Иди, Франтишек, в редакцию «Право лиду». Встретишься там с одним товарищем из России. То, о чем вы с ним договоритесь, пусть останется между вами.

В вестибюле редакции Франтишек встретился с человеком, который был, судя по всем приметам, тем самым товарищем из России, о котором ему говорили. На нем было темное пальто, котелок, который тогда носили не только в Праге, но и повсюду в Европе, а в руках — дорожный саквояж.

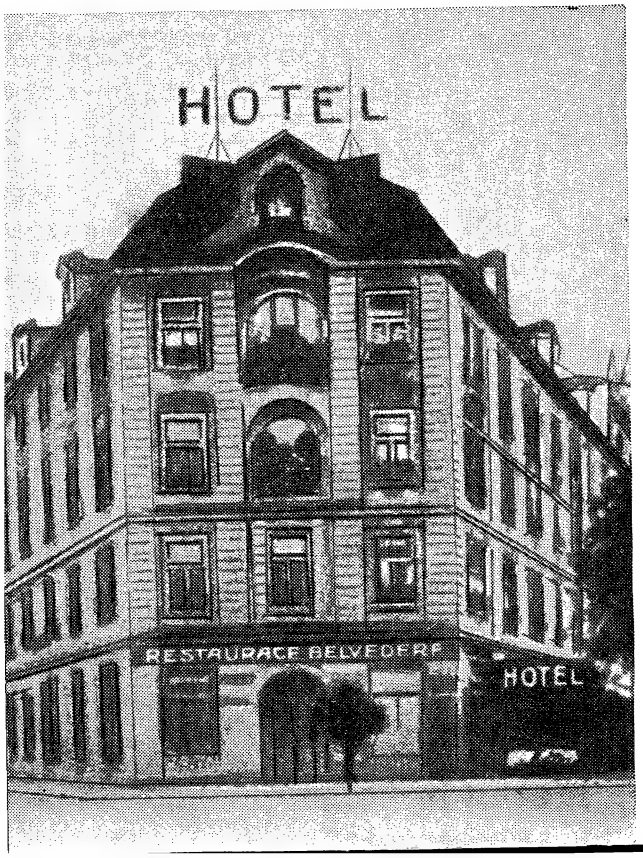
Вместе они отправились в кафе «Тумовки». Иностранец рассказал Франтишеку, что зовут его Мейер, что он эмигрировал из России, и, чтобы сбить со следа царскую полицию, ему нужно «почтовое окошко», то есть человек, который будет принимать корреспонденцию в Праге и пересылать ее на имя Мейера по мюнхенскому адресу.

Иностранец понравился Франтишеку. Был он подвижный, с быстрым взглядом, с высоким лбом, небольшого роста. Речь его была очень обстоятельной. Договорившись обо всех подробностях, незнакомец добавил, что к Франтишеку, возможно, придет женщина, которая выглядит так-то и так-то, и спросит товарища Мейера. Затем он простился...

Действительно, вскоре Франтишек стал получать письма и денежные переводы, которые, как и договорились, пересылал в Мюнхен Мейеру. Месяца через два к нему пришла незнакомая женщина. Она была молодая, невысокая, с большими глазами. Женщина спросила о Мейере и, казалось, растерялась, узнав, что его здесь нет. Отдохнув, она отправилась в путь по адресу Мейера, который ей дал Франтишек.

Вскоре и от товарища Мейера стали приходить посылки. Франтишек либо пересылал их дальше по указанным адресам, либо же отдавал людям, которых на то уполномочил Мейер.

Однажды пришел молодой русский. Он должен был взять большую партию посылок Мейера, но по каким-то неизвестным Франтишеку причинам задержался в Праге на два дня. Это был любознательный, приятный молодой человек. Франтишек показал ему Прагу, сводил на рабочее собрание. Потом человек уехал и увез посылки.



Бывший отель «Бельведер», в котором жили делегаты VI Всероссийской конференции РСДРП.

Через три дня после его отъезда Франтишек прочел в газете короткое сообщение: «На галицийско-русской границе русской пограничной стражей убит нигилист, пытавшийся на деревенской повозке переправить в Россию большую партию революционной литературы».

Может быть, это было просто случайное совпадение, но Франтишек в эту минуту живо представил себе молодого человека, который был его гостем в течение двух дней и увез пачки газеты «Искра» и брошюр. Вскоре после этого посылки от Мейера перестали приходить.

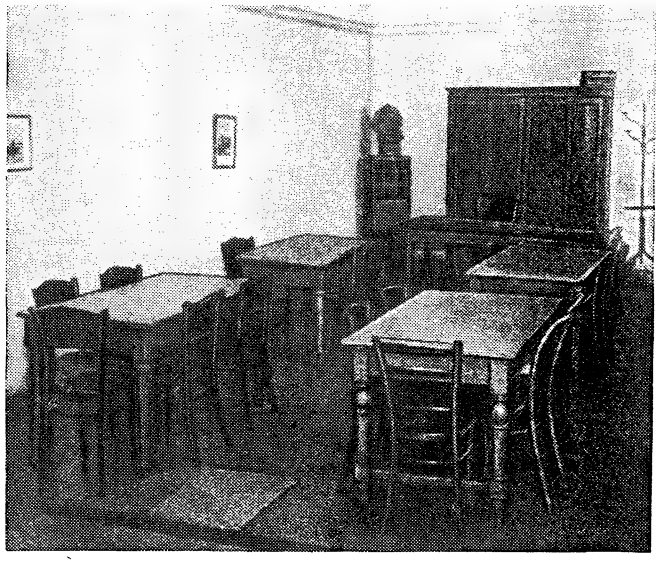
Прошло много лет, и Франтишек больше ничего не слышал о Мейере. Но однажды, уже после Октябрьской революции, его навестил товарищ, только что вернувшийся из Москвы.

— Ты ведь встречался когда-то с Лениным? — спросил он.

— Нет, — ответил Франтишек чистосердечно, — Ленина я ни разу не видел.

— Странно,— удивился тот. —В Москве я говорил с Лениным Он спросил, знаю ли я Франтишека Модрачека. И добавил: «Передайте ему привет от Мейера. Он уж догадается».

* * *



Комната, в которой в 1912 году происходила VI Всероссийская конференция РСДРП.

В Праге, на Гибернской улице, стоит дом, который имеет длинную историю. Столетия три назад он принадлежал шляхетскому роду Каплиржей из Сулевиц. После Белогорской битвы, когда Габсбурги рубили головы чешской шляхте, дом на Гибернской улице перешел в руки одного иностранца, разбогатевшего на грабеже чешских земель. Тот реставрировал его. Дом много раз менял хозяев, пока не попал в руки князей Виндишгрецев, один из которых стал палачом чешских рабочих во время восстания текстильщиков в 1844 году... Существует предание, что здесь останавливался один из маршалов Наполеона I.

Да, у этого дома длинная история. И все-таки никто бы не остановился сегодня около него, даже не выделил бы его в ряде других на Гибернской улице, если бы через его ворота 18 января 1912 года не прошел человек, столь незаметный на вид, что на него не обратил внимания даже шпик, торчавший на углу. А он прошел быстрыми шагами в ворота, пересек двор, поднялся на третий этаж, рядом с типографией, вошел в одну из задних комнат, сел за стол и открыл VI Всероссийскую конференцию РСДРП. Две недели он аккуратно приходил сюда по утрам и работал в этой комнате.

И эти две недели 1912 года значат для будущего людей так много, что теперь — да так и будет отныне — каждый человек, приезжая в Прагу, чувствует необходимость посетить этот дом, постоять с обнаженной головой на пороге комнаты, в которой Владимир Ильич Ленин проводил Пражскую конференцию РСДРП...

Теперь фасад дома украшен скульптурами, а внутри него расположены залы музея В. И. Ленина. И люди, откуда бы они ни пришли, замолкают в этих белых, светлых залах, с волнением проходя по следам великой человеческой жизни.

...На свете есть города больше Праги. Возможно, есть города и красивее ее. Но только в ней одной стоит старый дом, который обрел бессмертие 18 января 1912 года, в день открытия Пражской конференции РСДРП.

Милан Яриш.

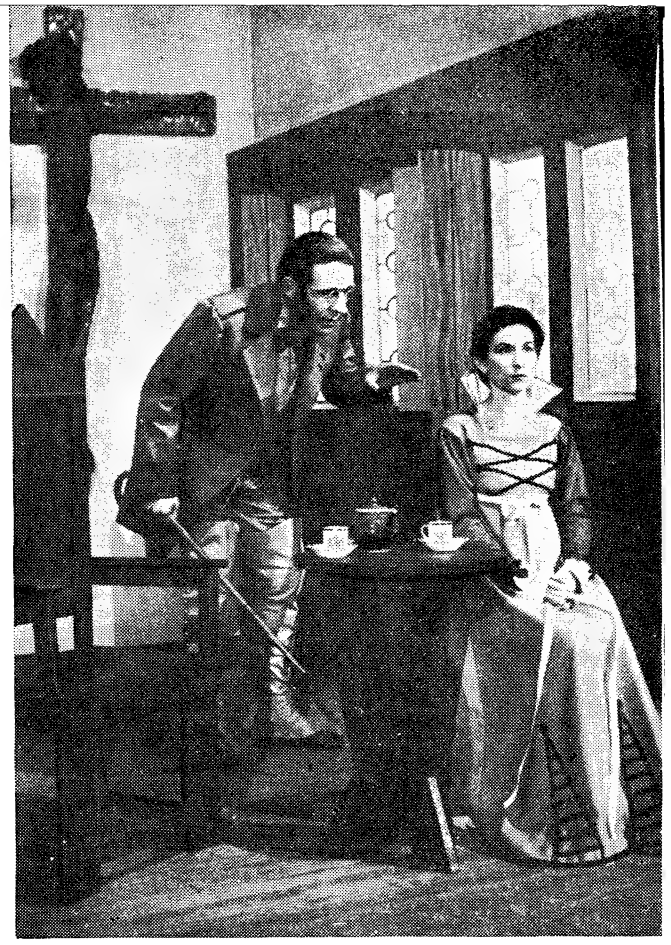
Робер Мерль

Несколько слов о современном французском театре

Беглый обзор положения современного французского театра на нескольких страницах неизбежно должен страдать неполнотой. Уже в силу одного этого обстоятельства он рискует оказаться несправедливым. Не может он быть и беспристрастным. И было бы наивностью, самонадеянностью или лицемерием утверждать, что критик не зависит от остального мира, от своего положения в мире, от своего класса, своих страстей, своей философии и что, таким образом, отрешившись от всего земного, он, якобы, может судить об извечных достоинствах того или другого произведения. Но даже если бы это и было возможно, то есть если бы критик мог до такой степени абстрагироваться от самого себя, то, спрашивается, какой интерес представляли бы для этого обесчеловеченного существа книги, повествующие о радостях и страданиях людей? Что касается меня, то я достаточно вовлечен — и великолепно сознаю это — в борьбу, которая характерна для нашего времени, чтобы не делать вид, будто взвешиваю достоинства и недостатки каждого по законам добросовестной и искусственной симметрии. За редким исключением многообразные таланты, о которых я буду говорить, вызывают у меня восхищение. Но, в конце концов, мое приятие или неприятие их творчества определяется в зависимости от коренного, всегда проявляющегося в их творчестве отношения этих писателей к людям и к жизни.

Французский католический театр в период между двумя войнами — и в особенности в предвоенные годы—был, бесспорно, обновлен Полем Клоделем. То, что именовалось до него «назидательной пьесой» (пьесой, в которой на протяжении трех или пяти актов вам доказывают, что злые — злы, а добрые — добры), представляло, нужно сказать это прямо, жанр малопривлекательный для художника, где было весьма трудно избежать пошлости. Две черты таланта Клоделя помогли ему избежать ее: воинствующая оригинальность языка, переплетающего житейское с поэтическим, и, в особенности, та жестокость, с которой он показал публике христианские темы, обычно обильно умащенные елеем. Действительно, в Клоделе нет ничего евангелического. Это не добрый пастырь, а «воин христовый». Меня даже подмывает сказать, что этот воин чуть-чуть солдафон. В пьесах Клоделя развивается традиционная тема «жертвы»: по повелению свыше человек должен пожертвовать своими естественными склонностями. Но тема эта изложена с той грубоватой резкостью, которая не может не поразить неверующего, а подчас даже и верующего.

В «Заложнике» роялист Жорж де Куфонтэн похищает плененного Наполеоном папу римского. Тайно он привозит его к своей кузине Синь де Куфонтэн. Жорж любит Синь, любим ею и должен на ней жениться. Однако префект Туссен Тюрелюр, бывший революционер, ныне остепенившийся и перешедший на службу к императору, раскрывает подлинное имя тайного гостя Синь. Он сам любит Синь, просит ее руки и предлагает ей сделку: если Синь выйдет за него замуж, он притворится, что ничего не видел, и позволит папе скрыться. Местный кюре Бадийон, сельский священник, которому благодать господня поистине внезапно придает могучую силу убеждения, оказывает, со всей стороны, на Синь давление, чтобы она принесла в жертву свою любовь к Жоржу и ради спасения папы вышла замуж за человека, гильотинировавшего ее близких и внушающего ей ужас. Синь соглашается. В следующем действии Тюрелюр — уже комендант Парижа в момент нашествия союзных войск на Францию. Он предлагает Синь новую сделку: если Жорж отдаст ему все свое состояние, Тюрелюр, не оказав никакого сопротивления, откроет перед королем ворота Парижа. Жорж дает согласие, но возвращается, чтобы убить Тюрелюра. Обе они стреляют одновременно; Жорж падает, сраженный насмерть, Синь же прикрыла собой мужа и умирает вместо него. Между тем, на сцене появляется король, который в благодарность за



Сцена из «Заложника» Поля Клоделя. Артистка Дениза Бональ — Синь, Юбер Жиньо — префект Тюрелюр.

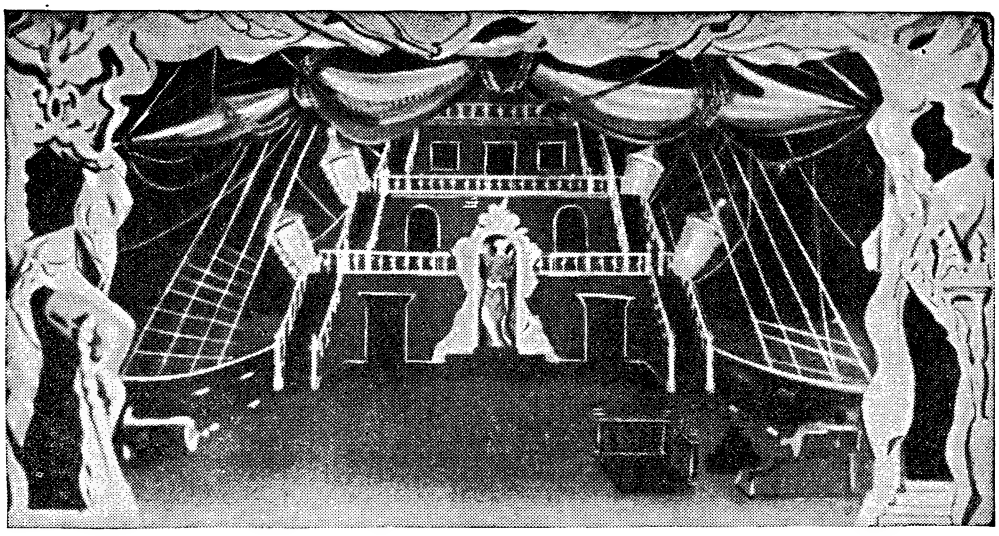
сдачу Парижа жалует Тюрелюру титул графа.

Пьеса, ни одно из событий которой ни в малейшей степени не соответствует историческим фактам, как легко можно догадаться, полна самой нежной тоски по старому режиму и создает впечатление, что французские аристократы до 1789 года только и думали, что о боге, или, на худой конец, о короле. Образ Тюрелюра написан, напротив, в более реалистической и более интересной манере. Он символизирует класс пронырливых и разбогатевших людей, которым революция позволила подобраться к власти, которые сумели эту власть сохранить, миновав все подводные камни Империи, и подошли к годам Реставрации более могущественными, чем когда-либо. В финале пьесы оба аристократа: Синь, пожертвовавшая своей любовью ради спасения папы, и Жорж, отдавший свое состояние для восстановления на престоле короля,— окровавленные, распростерты друг подле друга, символизируя гибель аристократии. А все плоды их жертвы пожинает буржуа Тюрелюр.

Однако Клоделю важна не эта — историческая — сторона дела. Он хочет описать историю души. С этой точки зрения, вызывала споры сцена, когда сельский кюре побуждает Синь выйти замуж за Тюрелюра. Это место производит на зрителя столь тягостное впечатление, что, не зная истинной позиции Клоделя, диалог можно счесть сатирой на религиозный фанатизм. Даже такой католик, как Мориак, отказывается признать, с точки зрения христианства, необходимость жертвы Синь или право священника требовать этой жертвы. Вообще католики, исповедующие милосердие Христово, как правило, осуждают присущую Клоделю тенденцию огрублять традиционные темы католической церкви. В «Христофоре Колумбе», когда героя упрекают в восстановлении рабства, он отвечает со спокойным бесстыдством: «Я обещал избавить мир от мрака, я не обещал избавить его от страданий». Будучи сама по себе отвратительна, подобная точка зрения выглядит особенно гнусно, когда вспоминаешь (маленький факт, по-видимому, забытый Клоделем), что это приобщение язычников Америки к евангелию привело в конце концов к их полному истреблению христианскими «цивилизаторами».

Стоящий на совершенно иных литературных позициях Монтерлан, кажется, решил в последние годы стать последователем Клоделя. С некоторой долей кокетства он перемежает в своем творчестве светские пьесы пьесами религиозными. Никто не знает точно, католик Монтерлан или нет. Во всяком случае, ясно, что он не желает наносить никакого, даже самого легкого ущерба католической иерархии. По просьбе парижского архиепископа, на суд которого он предварительно представил свой текст, Монтерлан отказался от постановки «Города, где принц — дитя», пьесы, рассказывающей о зарождении «не вполне обычной дружбы» в католическом учебном заведении. Кажется просто невероятным, чтобы такой талантливый писатель, как Монтерлан, по собственной воле требовал церковной цензуры, от которой с таким трудом избавлялись его великие предшественники.

Само собой разумеется, что католический театр Монтерлана также развивает тему жертвенности. В своей пьесе «Магистр ордена Сант-Яго», действие которой, как и в «Атласном башмачке» Клоделя, происходит в Испании, Монтерлан показывает, как суровый и мизантропически настроенный отец препятствует замужеству дочери и увлекает ее вслед за собой в монастырь. Не случайно, конечно, Монтерлан, как и Клодель, любит переносить действие своих пьес в Испанию. Оба они испытывают нечто вроде ностальгии по исступленному религиозному фанатизму, некогда владевшему этой несчастной страной и до сих пор накладывающему на нее свой отпечаток. Они видят величие, строгость и благородство души там, где на са-



Эскиз декорации Люсьена Куто к пьесе Поля Клоделя «Атласный башмачок» в театре «Комеди франсез».

мом деле не было ничего, кроме гордыни, суеверий и болезненной любви к страданию.

Я не собираюсь скрывать, что католические пьесы мне часто кажутся скучными и почти всегда меня шокируют или, как сказал бы священник, «скандализуют». «Высокоморальная» точка зрения, которая в них излагается, представляется мне весьма далекой от подлинной морали. Я весьма удивлен успехом, который имеют эти растянутые и многословные пьесы, и часто спрашиваю себя, стекались ли бы толпы на спектакли Клоделя или Монтерлана, если бы каждое представление не предварялось, не сопровождалось и не заключалось литаврами и фанфарами благонамеренной прессы. По правде говоря, в пьесах Монтерлана есть несколько красивых сцен. В театре же Клоделя я нахожу очень мало такого, чем можно было бы восхищаться, и подчас не нахожу почти ничего, что можно было бы понять. Однако тот факт, что Клодель зачастую непонятен, нисколько не уменьшает энтузиазма тех, кто воскуривает ему фимиам. В 1944 году в Париже я присутствовал на представлении «Атласного башмачка» После того как в перерыве между двумя действиями перед занавесом появился человек, который от имени Клоделя сказал: «Именно то, что вы не поймете, и будет самым прекрасным», буквально обезумевшая толпа сопровождала бешеными аплодисментами самые непонятные места. Если тут даже и было зерно юмора, остается все же удивляться апломбу этой формулы и содержащемуся в ней презрению к публике. Когда писатель, пусть даже с полуулыбкой, приравнивает совершенно реально существующие и совершенно бесполезные темноты своего произведения к таинствам веры, спрашиваешь себя, нет ли в этом произведении чего-то шарлатанского. Спрашиваешь себя также, не отнесется ли к нему завтра публика, доверчиво аплодирующая сегодня, со всей строгостью здравого смысла. Вот почему, несмотря на мощную и почти официальную поддержку, которую оказывает Клоделю церковь на протяжении четверти века, я предвижу печальное будущее для его произведений. Есть у Клоделя что-то невеликодушное, всегда идущее против человека, и мало вероятно, чтобы человек будущего простил ему это.

Андре Руссен пишет для той же публики, что и Клодель, но отвечает иным ее потребностям. В самом деле, если Клодель удовлетворяет, так сказать, «духовные потребности» добропорядочного общества, то Руссен удовлетворяет его тягу к распутству. Не следует поэтому удивляться, если критик «Фигаро литтерер» г-н Ж.-Ж. Готье благоговейно объединяет их в едином культе. Руссен — наследник театра бульваров, бытовавшего до 1939 года и даже до первой мировой войны. Первый большой успех ему принесла пьеса «Маленькая хижина», повторяющая классическую формулу треугольника: муж, жена и любовник. Действие «Маленькой хижины» разворачивается на пустынном острове, куда кораблекрушение забросило трех героев. Любовник раскрывает мужу его несчастье и убеждает того разделить с ним жену. Но связь, ставшая, таким образом, официальной, во многом теряет для любовника свою прелесть, так как он испытывает парадоксальную ревность к мужу... Тут действие обостряется появлением негра, которому, приняв его за короля острова, женщина довольно охотно отдается. Однако узнав, что тот не кто иной, как повар с потерпевшего крушение корабля,

она жестоко раскаивается в своей слабости. Сознание того, что их расовому и социальному превосходству нанесено тяжкое оскорбление, заставляет трио «восстановить порядок». Муж и любовник примерно наказывают негра, но этого им уже недостаточно. Верные колониалистским традициям белых они делают из него своего слугу. А когда в виду острова показывается корабль, жена и любовник прикидываются, что связь их порвана, чтобы придать своим отношениям с мужем необходимый цивилизованным людям характер приличия и ханжества. Таким образом, финал пьесы не лишен интереса Психологически он правдив Эта психология базируется на тонких социальных наблюдениях

В другой своей комедии «Когда появляется ребенок» Руссен идет в этом направлении еще дальше. Он показывает на сцене семью благонамеренных крупных буржуа. Отец, добрый католик, влиятельный политический деятель, только что назначен министром по делам семьи. В качестве такового он ставит на голосование суровый закон против абортов. Довольный собой, он возвращается домой и тут узнает, во-первых, что его секретарша Наташа ожидает ребенка от его сына Жоржа, этакого папенькина сынка, не нашедшего себе места в жизни; во-вторых, что его дочь — невеста аристократа миллионера — тоже беременна; наконец, в третьих, что его собственная жена Олимпия, несмотря на солидный возраст, должна также, впрочем, вполне законно, стать матерью. Это уж чересчур для министра по делам семьи, понимающего, с какими насмешками обрушатся на него куплетисты и карикатуристы Во время одной из лучших сцен пьесы, высказывая в самых высокоморальных выражениях противозаконные намерения, он иносказательно признается, что готов принудить к аборту свою жену... К счастью, на следующий день он переходит из министерства по делам семьи в военное министерство. Насмешки уже не могут ни задеть его, ни помешать карьере. Дети могут появиться на свет...

Впрочем, такое изложение не передает, конечно, насколько интересна эта комедия, тонко и точно воспроизводящая типичную ситуацию в реальной среде. Естественно, что, прочитав такую пьесу, спрашиваешь себя, почему Руссен не пишет более серьезной и более острой сатиры на буржуазию. А он вполне может это сделать как в силу понимания ее внутренней сущности, так и в силу своего прекрасного знания возможностей сцены. Не исключено, впрочем, что Руссен в одно и то же время и слишком скромен, чтобы предпринять такую честолюбивую попытку, и слишком скептичен, чтобы уязвлять публику, которая, в конце концов, его кормит. По большей части он удовлетворяется тем, что показывает ей коготки. Как известно, легкие царапины не вызывают ненависти благонамеренного зрителя, коль скоро в пьесе подразумевается, что все, в сущности, идет нормально и ничего менять не надо. С этой точки зрения на Руссена можно положиться: он замечает, смеется и проходит мимо...

Притязания Жана Ануйля более возвышенны. Он обнаруживает вкус к идеям, стиль его отличается неоспоримыми литературными достоинствами, его героям свойственна поза горького и презрительного протеста по отношению к жизни. Ануйль начал свой творческий путь в 1932 году и продолжает писать до наших дней, пользуясь неослабевающим успехом. Им создано свыше двадцати пьес, в которых повторяются примерно одни и те же темы и, зачастую, фигурируют одни и те же персонажи: гнусный отец, «чистый» юноша, дикая и мятежная девушка... Эта настойчивость и резкая горечь разоблачения жизни и составляют «стиль Ануйля», который, бесспорно, оказал влияние на публику и на молодых драматургов. Однако, если бы мне пришлось выбирать между Руссеном и Ануйлем, то, полностью признавая бо́льшие литературные достоинства второго, я предпочел бы все-таки первого. Руссен, хотя и стоит на предвзятой, подчас раздражающей позиции ничего не принимать всерьез, тем не менее, описывает действительно существующие в реальной жизни положения У Ануйля, напротив, правдивы только детали. Он показывает своих героев всегда искаженно, извращая общественные отношения и отрывая их от действительности. К примеру, уже отмечалось, что в его пьесах ни богачи, ни бедняки никогда не трудятся: «Его богачи — всегда рантье. Его бедняки — нищие, богема или бродяги» (Жильбер Мюри); «Нет понятия, более чуждого им, чем понятие ремесла» (Юбер Жиньу). Не следует поэтому удивляться, если выдуманное Ануйлем общество, где все потребляют и никто не трудится, разделено не на классы, как можно было бы ожидать, а на «расы»: «расу» богачей и «расу» бедняков. Между этими двумя «расами» — слово это принадлежит Ануйлю — существуют, разумеется, не денежные производственные и трудовые отношения, а только любовные. Что же происходит, когда мужчина из «расы» бедняков встречает женщину из «расы» богачей и влюбляется в нее (соотношение может быть и обратным)? Что происходит, когда друг друга любят в «Дикарке» нищая Тереза и богач Флоран? Что происходит, когда друг друга любят бедняк Марк и богатая Жаклина («Иезавель»)? Что происходит, когда любят друг друга богач Фредерик и бедная девушка Жанетта («Ромео и Жанетта»)? А происходит нечто весьма успокоительное для общества: эта любовь терпит поражение. Бедняк герой или бедная героиня кончает тем, что, слишком остро ощущая недостойность своей «расы», отказывается от счастья

Сцена из пьесы Ануйля «Горностай»: исповедь Франца Мониме.

или — еще лучше — устраивает так, что у его возлюбленной (или возлюбленного) возникает отвращение к браку с героем (героиней).

Все темы Ануйля, в том числе и тема мистического поклонения деньгам — этим истинным создателям «расы» — и тема «чистоты», присутствует уже в его первой пьесе «Горностай». Франц — сын врача герцогини де Грана. После смерти отца герцогиня приютила его и воспитала вместе со своей племянницей Монимой. Молодые люди полюбили друг друга. Но Монима богата, а Франц—беден, и он не хочет, чтобы его возлюбленная разделила с ним его бедность, поскольку думает, что бедность запятнает «чистоту» их любви. Своему другу детства Филиппу — чемпиону счастливой посредственности — Франц говорит, что хочет окружить любовь «барьером денег». Ради этого он начинает какое-то дело, но оно приходит в упадок. Тогда Франц принимает решение: он убьет герцогиню, Монима унаследует огромное состояние своей тетки и он женится на Мониме. «В загадочном балансе вещей, — восклицает он, говоря о старухе,—ее деньги стали точной ценой нашей чистоты». К несчастью, после того как герцогиня убита (ударами молотка), Монима испытывает ужас перед Францем, и в отчаянии Франц отдает себя в руки полицейским.

Возникает, разумеется, вопрос, что же это за «чистота», которая требует для своего сохранения убийства человеческого существа? Ануйля следует упрекнуть не в том, что его юный преступник неправильно подходит к решению проблемы, а в том, что сам автор делает все, чтобы неправильно поставить ее перед ним. Действительно, речь идет о том, предпочтет ли герой бедность в труде — роскоши в преступлении. И указующий перст автора ясно виден в том, как поставлена эта проблема: «чистому» паразиту, каким является Франц, противопоставлен юноша, работающий, чтобы жить,— Филипп, друг его детства. Этот персонаж имеет большое значение, ибо в нем воплощено для Франца его будущее, если он, как Филипп, решится идти трудовым путем. И именно здесь — в том, как написан Филипп,— ясно видно, как плутует Ануйль. Действительно, он счел необходимым изобразить Филиппа в самых уничижительных тонах. Этот человек, который один только в пьесе живет на свой заработок, представлен каким-то безвольным неудачником, бездарным, плоским и покорным ремесленником, тяжеловесным балагуром, в конце концов просто-напросто ничтожеством... Францу таким образом дается возможность уподобить труд чему-то низменному и отстаивать преимущество совершенно паразитического и «чистого» существования по отношению к жизни тех, кто производит материальные ценности*.

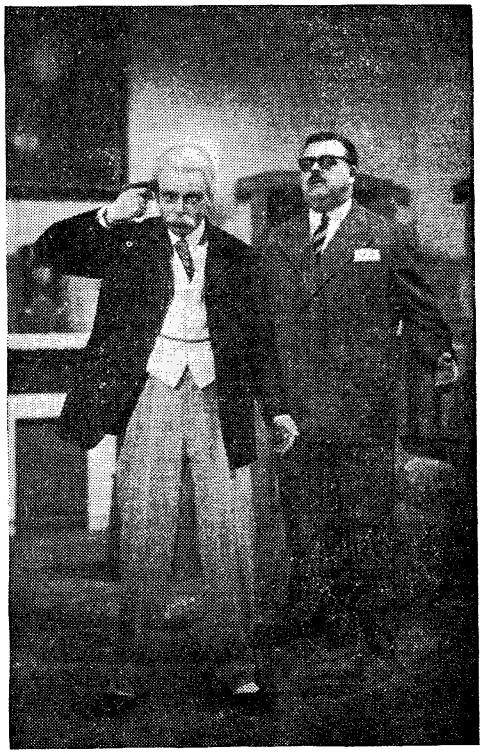
Хотя некоторые пьесы Салакру также имели большой успех, перед нами автор, которому в отличие от Ануйля отнюдь не всегда сопутствует удача. Это объясняется, как мне кажется, тем, что Ануйль, несмотря на свой поверхностный реализм, слишком уж неправдоподобен, чтобы когда-нибудь по-настоящему задеть буржуазного зрителя, в то время как Салакру подчас погружает свои когти слишком глубоко в сердце действительности, чтобы оставаться приятным этому зрителю. Первый акт его лучшей пьесы «Архипелаг Лену-

* Статья Р. Мерля была написана до постановки в парижском театре «Монпарнас» последней пьесы Ж. Ануйля «Бедняга Битос». Пьеса вызвала ожесточенные споры во французской печати. С точки зрения большинства объективных рецензентов «Бедняга Битос» — крупная неудача автора. Не случайно газета «Ар» писала в заголовке, что Ануйль «провоцирует Париж». Рецензенты возмущаются содержащимися в пьесе оскорбительными и издевательскими выпадами по адресу народа, прогрессивных идей, героев французской истории. «Ануйль проделал эволюцию,— пишет в «Либерасьон» Поль Морель.— Теперь он ненавидит жизнь, ненавидит людей... Бедняга Ануйль!»

ар» представляет самую резкую социальную сатиру из всего того, что могла бы выдержать сегодня французская сцена, хотя весь второй акт — чисто водевильный — является уступкой. Вводя в пьесу фарс, Салакру позволяет себе показать на сцене ситуацию совершенно нестерпимую. Речь идет о «высокопоставленном семействе», несколько поколений которого живет на доходы преуспевающего предприятия по производству ликеров. Когда поднимается занавес, этому благополучию грозит опасность. Старый Ленуар, глава семьи, которому более семидесяти лет, изнасиловал несовершеннолетнюю дочь одного из рабочих. Рабочий этот, как говорят, «вольнодумец». Он подал жалобу и отказывается взять ее обратно, несмотря на давление, угрозы и посулы. Органы юстиции вынуждены, таким образом, дать указание об аресте преступника, предать его суду и вынести ему приговор. Это будет не только бесчестием, к которому семья Ленуар, разумеется, весьма чувствительна, но также и серьезным ударом по репутации фирмы, что рано или поздно может даже привести к ее разорению.

В первом действии все члены семьи Ленуар собираются на нечто вроде совета, который пытается разрешить создавшееся положение. Никакого подлинного единства между ними не существует, привязанности нет и следа. Каждый замкнут в своем эгоизме, своих страстях, своем злопамятстве. Каждый подобен острову, отделенному от остальных. Только деньги могут собрать эти острова воедино и придать им некоторое единство, хотя бы в форме «архипелага». В присутствии старого папаши Ленуара они обсуждают создавшееся положение и, сначала полунамеками, а потом все более откровенно, приходят к выводу, что тот должен покончить с собой... Действительно, лишь его смерть остановит действия органов правосудия, и ничто не будет угрожать интересам «архипелага» Однако старый Ленуар страстно любит жизнь. В выражениях, вызывающих то смех, то жалость зрителя, он отказывается покончить с собой. Он предпочитает смерти все — тюрьму, позор, разорение... И в конце концов, не говоря, разумеется, этого прямо и сопровождая свои слова тысячами выражений привязанности к Ленуару, участники совета принимают решение: раз он не хочет сам покончить с собой — ну, что ж, за этим дело не станет! — ради общих интересов ему устроят самоубийство. Эту неблагодарную работу берет на себя зять—персона самая реалистическая и деловая в семье. Его тактично оставляют наедине со старым Ленуаром. Дедушка, однако, энергично сопротивляется. Во время их борьбы раздается выстрел, занавес падает, и приходится ждать второго акта, чтобы узнать, что старый Ленуар невредим и что ранил себя случайно зять. В конце концов после ряда комических недоразумений, заполняющих второе действие, все устраивается. За большое вознаграждение один из слуг Ленуаров соглашается жениться на изнасилованной девушке, и, поскольку, выйдя замуж, эта девушка приобретает юридическую независимость, ее отец лишается права подать жалобу

Обидно, что Салакру счел необходимым написать второй акт. Быть может, как уже было сказано, он хотел сделать уступку вкусам публики. Быть может, он просто-напросто, стремился придать пьесе размер, необходимый для полного вечернего спектакля. Вторая, совершенно буффонадная часть, однако, ослабляет благотворную едкость сатиры и, сообщая семье Ленуар черты комические, делает ее менее страшной Зато первый акт — это шедевр Каждый персонаж написан здесь несколько в манере Чехова — постепенным накладыванием едва заметных мазков, без патетики и нажима, и показан, если можно так выразиться, как бы на моментальной фотографии, позволяющей, в то же время прочесть все его прошлое. Отношения между персонажами обрисованы с большой яркостью, тонкостью, со всей присущей им сложностью, и сила сатирического удара вызывает восхищение. Никогда добропорядочное общество не представало на сцене до такой степени лишенным всех покровов и



Сцена из спектакля «Архипелаг Ленуар» А. Салакру.

Сцена из пьесы Ж.-П. Сартра «Некрасов». В центре артист Мишель Витольд в роли Жоржа де Валера.

благородных предлогов, которыми оно обычно маскирует свои самые циничные и тайные поступки.

* * *

Последняя пьеса Сартра «Некрасов»* ставит интересную проблему. Может ли в капиталистическом обществе существовать прогрессивный театр? В принципе, так сказать, на этот вопрос можно ответить положительно, так как существующий режим как раз кичится своими свободами. Вне всякого сомнения, эта свобода существует действительно, особенно в отношении книг, изменяя себе лишь в области политической журналистики, где даже социалистические правительства не всегда могут противостоять соблазну упрятать в тюрьму, под разными предлогами, критикующих их писателей**. Более спорной, или более капризной, представляется свобода в области театра. Коммунисты имели возможность показывать по всей Франции пьесу «Жизнь Анри Мартена». Власти ни в чем им не противодействовали, никого не арестовывали. В противоположность этому всем известны злоключения, жертвой которых стала, еще до постановки «Некрасова», пьеса Роже Вайяна «Полковник Фостер признает себя виновным». Запретить пьесу было невозможно, так как во Франции не существует театральной цензуры***. Был найден обходной маневр: театр, который должен был ее поставить, был закрыт под предлогом нарушения полицейских установлений в области материального оборудования. Разумеется, эта хитрость никого не обманула. Если бы театр ставил «Маленькую хижину», ему была бы предоставлена необходимая отсрочка, чтобы устроить все в соответствии с правилами.

Тем не менее, такое явное вмешательство властей остается исключением, и обычно во Франции постановка прогрессивной пьесы наталкивается на другие трудности. Чтобы поставить спектакль, нужно много денег, а деньги находятся не слева, а справа. Если же удается их достать и поставить пьесу, то следует ждать разноса или — что еще хуже — молчания так называемой благонамеренной прессы. Когда Сартр ставил «Некрасова», газета «Фигаро» была решительно настроена возглавить заговор молчания, который должен был удушить пьесу. На деле, в этом случае, попытка «Фигаро» была заранее обречена на провал. Сартр слишком известен, чтобы можно было заглушить его голос. «Некрасов» был сыгран, но своими единодушными враждебными отзывами прессе удалось все-таки значительно снизить успех постановки.

Естественно, возникает вопрос, почему демократические силы, особенно мощные в Париже, не смогли противостоять в данном случае влиянию реакции и обеспечить пьесе длительный успех. Ответ ясен: цены на билеты в парижских театрах настолько высоки, что они автоматически устраняют из театра демократическую публику. Только такая организация, как Национальный Народный Театр (ТНП), и такой крупный актер, как Жерар Филип, могут обеспечить прогрессивной пьесе действительно демократическую аудиторию. Но тот факт, что ТНП получает государственную субсидию, и без этой субсидии существовать не может, ограничивает и соответствующим об-

* В русском переводе — «Жорж де Валера» («Только правда»).

** Робер Мерль несколько суживает проблему свободы творчества в буржуазном обществе сферой политической журналистики. История книгоиздательского дела во Франции дает неоднократные примеры того, как писатели не получают возможности для опубликования своих произведений, если те расходятся со взглядами издателей. Еще большую трудность представляет для прогрессивного автора распространение его книг, их распродажа. Все это служит опровержением несколько категорического утверждения автора настоящей статьи о действительном существовании свободы «в отношении книг».

*** Театральная цензура не существует во Франции официально. Но имеется немало так называемых «групп давления», которые оказывают серьезное воздействие на судьбу театров, на выбор ими репертуара, приглашение актеров и т. д. О некоторых методах, к которым прибегает эта неофициальная цензура, и рассказывает Р. Мерль. Их можно было бы умножить примерами из области киноискусства.

разом определяет, выбор его репертуара. ТНП может, в крайнем случае, поставить пьесу с прогрессивным оттенком иностранного автора, при условии, что действие ее происходит в прошлом (Он поставил, например, «Матушку Кураж» Бертольта Брехта.) Но он не смог бы, думается мне, показать такую откровенно современную и полемическую пьесу, как «Некрасов», нападающую на всю благонамеренную прессу страны, без того, чтобы эта постановка не превратилась в его самоубийство.

Читателям известен, без сомнения, сюжет «Некрасова». При содействии правого журналиста, мошенник, за которым гонится полиция, выдает себя за крупного политического деятеля, бежавшего из «восточного ада». Со дня на день он становится все более знаменит, богат, к нему все больше прислушиваются. К несчастью, у всякой медали есть оборотная сторона. Некрасов-Валера известен политической и уголовной полиции, которые знают, кто он на самом деле, знают о его мошенничестве и, пользуясь своим преимуществом, принуждают его доносить на тех или иных политических деятелей, якобы продавшихся Советам. В конце концов мошенник Некрасов, более порядочный, чем его хозяева, проникается отвращением к роли доносчика, которую его заставляют играть, и предпочитает жизнь авантюриста, с его случайными заработками, жизни героя антикоммунизма.

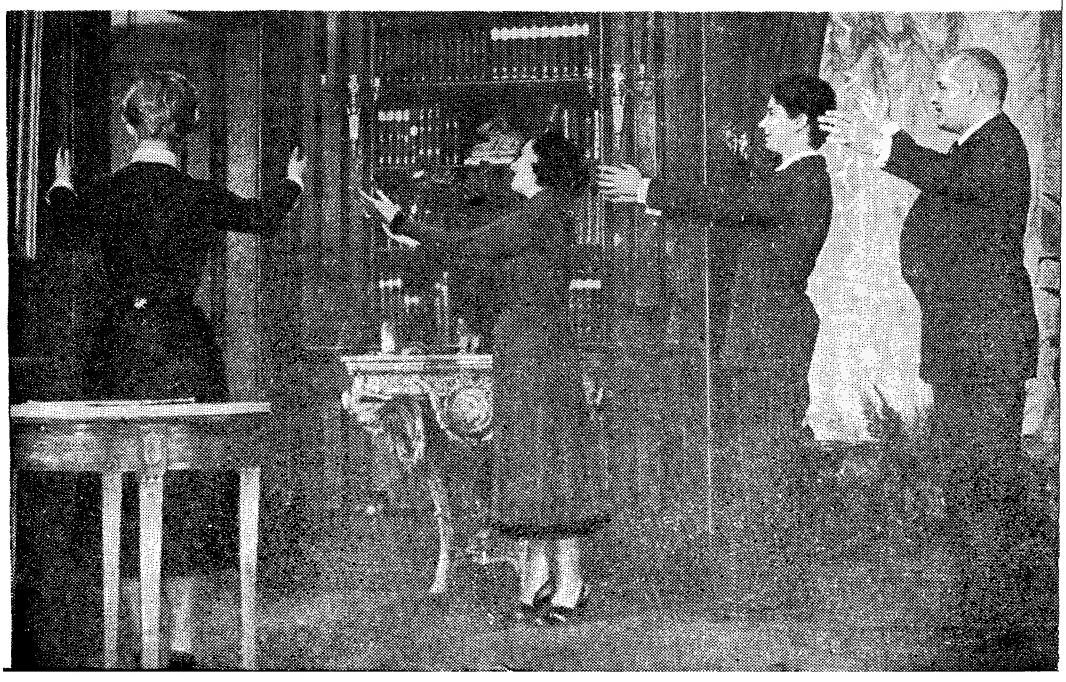
Критики из благонамеренной прессы, как легко можно предположить, весьма плохо реагировали на эту пьесу. Большинство, однако, нападало на нее не с точки зрения политической. Такие статьи выглядели бы слишком тенденциозными, написанными по заказу. Они выпутывались из создавшегося положения как могли, доказывая, что пьеса «дурна» в плане чисто художественном. Такова была, к примеру, позиция моего бывшего одноклассника Тьерри Мольнье в «Ревю де Пари». В своей статье он только и твердил, что пьеса «дурна», не делая никаких попыток показать, в чем именно и почему она «дурна». В действительности интрига в произведении Сартра в первой половине развивается с большой комической силой, и только к концу пьесы она несколько испорчена излишней усложненностью. С этой точки зрения вызывает сожаление, что «Некрасов» не построен столь же просто и замечательно пропорционально, как «Почтительная проститутка»*, поскольку глубиной сатиры и явной оригинальностью темы эта пьеса резко выделяется на фоне современной французской драматургии.

Мишель де Гельдероде — бельгиец, он пишет по-французски, и именно в Париже он был «открыт», поставлен и напечатан. Это открытие принадлежит Катерине Тодд и Андре Рейбазу. Путь Гельдероде не был гладким. Пьеса «Адские деяния», представленная в театре Мариньи перед благонамеренными зрителями, была сначала встречена лишь свистом и улюлюканьем. Понадобилось перенести постановку в театр Ноктамбюль — в центре Латинского квартала, чтобы этот спектакль добился заслуженного успеха.

Действие происходит в «старой Фландрии»; более точно ни место, ни время не обозначены. Только что умер епископ Ян ин Эремо, добрый и неистовый гигант, некогда спасший народ от чумы. На сцене предаются радости священники его епископства, которых он держал в ежовых рукавицах. Этих священников Гельдероде рисует с дерзкой фламандской грубостью: они уродливы, вонючи, горбаты, прожорливы, злы, лицемерны и причудливы, как химеры готических соборов. Секретарь нунция Содомати — юноша, сомнительный во многих отношениях,—находится здесь, главным образом, для того, чтобы провести следствие по поводу подозрительной кончины Яна ин Эремо. Но, будучи сам испорчен до мозга костей, он не имеет ни сил, ни желания

* В русском переводе — «Лиззи» или «Лиззи Мак-Кей».

Заключительная сцена спектакля «Архипелаг Ленуар» А. Салакру



бороться против продажности своих хозяев. За стенами дворца ропщет и вооружается народ, верный любившему его епископу. Внезапно Ян ин Эремо поднимается со своего смертного одра и при помощи старой служанки Венеранды вытаскивает из горла отравленную просфору, данную ему священниками, чтобы ускорить кончину. Священники в ужасе при виде воскресшего мертвеца, и гигант Ян ин Эремо, потрясая секирой над головой их предводителя, готов уже расправиться с ним, когда вмешивается Венеранда, останавливает его и убеждает простить своих преследователей и лечь на свое ложе Ян ин Эремо подчиняется и умирает умиротворенным. Вооруженный народ наводняет епископский дворец, требуя выдачи тела. Получив его, народ уходит. Оставшись одни, священники подбирают отравленную просфору, которую изрыгнул Ян ин Эремо, и принуждают Венеранду — стесняющего их свидетеля — проглотить ее. Венеранда испускает дух, и священники в непристойной, бешеной пляске празднуют свое избавление и возвращение царства коррупции

Очень хорош язык пьесы — резкий и вызывающе грубый; могучая жизненная сила исходит от этих свирепых и бурлескных антиклерикальных сцен, от буйных визжащих, гримасничающих и с обезьяньим проворством подпрыгивающих фигур... Философски пьеса полна намеков, и ее идея не выявлена с достаточной ясностью. Может показаться странным, что участники народного мятежа удовлетворяются выдачей бездыханного тела своего героя Чувство внутренней неловкости испытываешь при виде занавеса, который падает в разгар бесстыдного торжества зла. Можно подумать, что, по мысли Гельдероде, исчезновение благородного Ян ин Эремо и триумф низости лишь восстанавливают «нормальный» ход вещей. Быть может, правда, автор хотел иллюстрировать финалом мысль о неизбежном упадке всякой религии, которая, будучи при своем возникновении народной и великодушной, как сам Ян ин Эремо, вскоре искажается и погрязает в жадности, ханжестве и жажде власти. Символической силы исполнены, во всяком случае, те сцены, когда умерший (или считающийся таким) Ян ин Эремо незримо господствует над своими врагами, которые, даже празднуя победу, не могут его забыть. Это, по-видимому, должно в значительной мере вносить поправку в пессимизм финала. Очевидно, по мысли Гельдероде, позитивные и благородные силы жизни в конце концов должны одержать верх над силами разрушения

Не хочу скрывать, что у картины, которую я нарисовал, есть и теневая сторона: во Франции ставятся пьесы лишь небольшого числа авторов, и, что еще огорчительней, после 1945 года в театре появилось очень мало новых имен. Если Руссен «объявился» в 1945 году, Сартр примерно в это же время, а Гельдероде — в 1949 году, то Клодель, Салакру, Ануйль, Монтерлан, напротив, относятся к предвоенному периоду. В основе этой скудости лежат прежде всего причины экономические. Во Франции, как и в других западных странах, театр — коммерция, и коммерция рискованная, где приходится вкладывать много денег ради весьма проблематичного дохода. Этим и объясняется сомнение, которое испытывают обладатели капиталов перед молодыми и неизвестными авторами, а также то предпочтение, которое отдают они «твердым ценностям», т. е. уже знаменитым драматургам Чтобы изменить этот порядок вещей, пришлось прибегнуть, в итоге, к государственному меценатству, и после войны был создан весьма полезный институт «Помощи первой пьесе», субсидирующий режиссера, желающего рискнуть, поставив на сцене первое произведение неизвестного автора, которое признано заслуживающим увидеть огни рампы. К сожалению, хотя «Помощь первой пьесе» и сослужила известную службу, она располагает слишком ограниченными финансовыми возможностями, чтобы полностью разрешить проблему выявления молодых авторов.

Если оставить эту проблему в стороне, то о современном французском театре можно с полным основанием сказать, что вопреки осаждающим его трудностям он полон жизненных сил. Это проявляется прежде всего в любви, которую драматурги испытывают к своему ремеслу, в бесконечной заботе о его совершенстве, в присущей им ослепительной технической виртуозности. Если в начале каждого «сезона» публика с нетерпением ожидает «новинок» года и с вызывающей симпатию горячностью страстно высказывается за или против них, то и по другую сторону рампы проявляется вкус к новому, стремление быть смелыми, желание противостоять приспособленчеству. В произведениях драматургов (не считая католиков, у которых куда меньше возможностей поразить нас чем-нибудь и где всегда известно заранее, что будет сказано) по-прежнему живет дух иронии и непочтительности Даже авторы пьес, совершенно чуждые революционной мысли, стремятся предстать на сцене, как «бунтовщики», ниспровергающие буржуазные устои. И даже в том случае, когда это — как у Ануйля или Камю —всего лишь безобидная тень бунта, она несет в себе, тем не менее, признаки беспокойства, нечистой совести, стремление решить какую-то проблему, которая — пусть нарочито неправильно, но все же поставлена Вселяет, наконец, бодрость и тот факт, что некоторое число писателей не позволяет своим наблюдениям отливаться в заранее подготовленные и приспособленные формы, а требует полной независимости и абсолютной честности в описании современного мира

г. Ренн.

О ПОЗАХ И ПОЗИЦИЯХ

□

Angus Wilson. Anglo-Saxon Attitudes. London, Secker and Warburg, 1956.

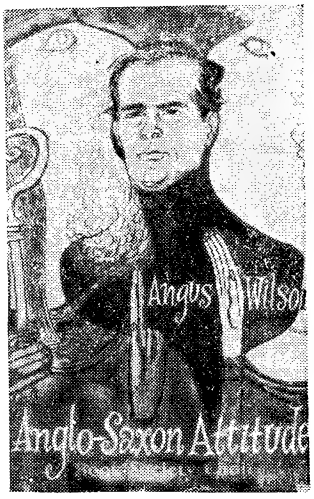
□

Заглавие этого романа — «Англо-саксонские позы» — перекликается с эпиграфом к нему, строками из классической детской повести Льюиса Кэррола «Алиса в Зазеркалье». «Что за странные позы он принимает! — Вовсе нет,— отозвался король.— Ведь он посланец англо-саксов и это — англо-саксонские позы. Он выражает ими свое удовольствие».

Однако, английское слово „attitude" (поза) имеет и другой смысл: поведение, позиция, отношение, образ мыслей И сатирический роман английского писателя Ангуса Уилсона претендует, конечно, на большее, нежели беглые зарисовки претенциозных ужимок некоторых его соотечественников.

Ангус Уилсон, до недавнего времени библиотекарь Британского музея, выдвинулся в последние годы своими сухими, резкими бытовыми рассказами, в которых он со скрупулезностью хирурга, но без особой видимой цели, исследует неприглядные дела и думы своих персонажей — представителей интеллигенции, «средних классов», богемы. «Англо-саксонские позы» — второй роман Ангуса Уилсона; посвящен он главным образом жизни академических кругов послевоенного Лондона. Но фабула этого довольно обширного, разбросанного во времени и в пространстве произведения построена таким образом что мы попадаем и в дом преуспевающего бизнесмена, и в «оффис» популярного политического демагога, и в меблированные комнаты на окраине города, и в богатую усадьбу филантропствующей дамы.

Сочувственное внимание автора, однако, сконцентрировано на одном действующем лице книги, шестидесятилетнем историке, специалисте по средним векам, профессоре Джеральде Миддлтоне, с которым мы знакомимся в тот момент, когда все его внутренние и внешние конфликты достигли «точки кипения». Несмотря на известность, ученые степени, более чем комфортабельное существование, Миддлтон очень остро ощущает, что итоги его жизни ничтожны. Ожидания его учителей и коллег не оправдались, капитальный труд, задуманный им еще в юности, остался ненаписанным, от какой-либо организационной деятельности он отошел, так же как и от чтения лекций. Со своей женой Ингеборг он давно уже находится в формально корректных, но пропитанных взаимной враждой отношениях. Взрослые дети Миддлтона глубоко равнодушны к отцу, осуждают его за прошлые грехи и



встречают в штыки его неуклюжие попытки как-то сблизиться с ними. Старший сын — Робин Миддлтон, ограниченный и самодовольный буржуа, женатый на претенциозной ханже, младший, Джон,— лицедей от политики, неврастеник и позер, очередная роль которого — демагогическая «защита маленького человека» от произвола лейбористской правительственной бюрократии. При внешней респектабельности оба они ведут весьма нечистую личную жизнь. Дочь профессора Кэй, его любимица, больше всех настроена против отца и боготворит мать.

Два факта биографии Джеральда Миддлтона, говорит нам автор, оказали роковое влияние на всю его судьбу.

Первый факт: еще очень давно, после первой миро-

вой войны, он узнал, что при важных археологических раскопках, проведенных в 1912 году в поместье Мэльпхем, был совершен подлог, который сбил с толку целое поколение английских историков, изучающих раннее средневековье. Миддлтон скрыл это от научной общественности, не решаясь поколебать авторитет своих руководителей и товарищей. Но подсознательная память об этом обмане сопутствовала ему всю жизнь, парализуя его собственную энергию ученого. Второй факт: Миддлтон не сумел добиться от своей жены правды о причинах увечья, которое получила в детстве Кэй. Боясь уличить Ингеборг в жестокости к ребенку, но будучи втайне уверенным в этом и ненавидя жену, он, однако, продолжал комедию «счастливого брака», и оттолкнул от себя близкую ему женщину Долли Стокуэй, которая после этого стала алкоголичкой.

Весь внутренний сюжет романа связан с процессом высвобождения Миддлтона из-под гнета двух этих жизненных ошибок. Совершив ряд экскурсов в свое прошлое, заставив себя поглядеть в глаза неприятным фактам, которые так долго хранились в потайных уголках его сознания, Миддлтон избавляется от «комплекса неполноценности», начинает более деятельную жизнь и возрождает дружеские отношения с излечившейся от алкоголизма Долли.

Эта линия романа является, так сказать, конструктивной, утверждающей, моралистической — и наименее интересной. Прежде всего, сам герой книги может быть назван героем весьма условно. Автор не высказывает по отношению к нему своей обычной неприязни, к его проблемам относится серьезно. Но объективно Джеральд Миддлтон предстает перед нами интеллигентным обывателем, с ленивым умом и не по возрасту игривым воображением. Дело, разумеется, не в том, что герой этот далеко не безупречен, а в том, что ни одна сторона его натуры не может привлечь к себе живого и сочувственного интереса.

Столь же «идейно перегружена» история мэльпхемских раскопок. Похождения Миддлтона, разыскивающего свидетелей раскопок 1912 года, призваны символизировать его «раскопки» в собственной жизни и душе, в жизни ряда связанных с ним людей, призваны стать для него средством внутреннего обновления. Все это пространно объясняется — и не убеждает. Приходится признать, что Ангус Уилсон — несомненный мастер создания характерности — гораздо слабее в лепке характера. Надо отдать ему должное: «англо-саксонские позы», запечатленные на страницах романа, нередко вызывают чувство, близкое к недоверчивому изумлению Алисы, попавшей в мир Зазеркалья. Почти все персонажи гротескны в своих тщеславных притязаниях, в своем разнообразном позерстве, в пустоте своего суетливого, насквозь показного бытия. Тошнотворно-слащавая и эгоистичная Ингеборг Миддлтон; педантичный солдафон профессор Клюн, комическая Роз Лоример, помешанная на своих «научных гипотезах»; зловещее семейство Крессетов, от которого так и разит шантажом и убийством; манерная и жалкая романистка Кларисса Клэр; молодые, но опытные сутенеры Ларри Рурк и Вин Сэлад — все эти фигуры очерчены уверенной и опытной рукой.

Ангус Уилсон ничего не выдумывает — в уголовной и светской хронике текущей английской прессы можно найти описания множества неблаговидных вещей, скандалов и преступлений, подобных тем, что очень выразительно изображены в романе, включая археологическую подделку. И все же, ни один из обитателей этого живого паноптикума не вырастает до подлинно обобщенного образа, которыми так богата многовековая сатирическая литература Англии. Разумеется, точность попадания сатирика определяется, прежде всего, масштабом его дарования. Но ведь Ангус Уилсон, несомненно, писатель умный, наблюдательный и одаренный. Суть дела в том, что сам автор, при всех своих данных, «лица не имеет» — ведь нельзя же считать лицом брезгливую ироническую мину ничего не утверждающего «моралиста вообще». Остается совершенно непонятным, какой счет предъявляет автор этим людям, которых он так окарикатуривает и, вместе с тем, снисходительно жалеет.

Английская критика неоднократно упоминает имя Диккенса в связи с романом Ангуса Уилсона, но ведь Диккенс, помимо своей фантазии, захватывает и покоряет читателя огромной любовью к людям, которые ведут неравную, но нравственно победоносную борьбу против сил социального зла. В чем же заключается моральный пафос «Англо-саксонских поз»? В том ли, что обленившемуся профессору не стоит бояться призраков прошлого и отказываться редактировать журнал «История»? Или в том, что извращенные страсти могут привести к полной катастрофе, как это произошло с Джоном Миддлтоном? Все это бесспорно. Но разве это главное в жизни английского общества сегодняшнего дня? Кое-какие важные вопросы политического и социального порядка фигурируют в романе, но только мимоходом, как модная тема разговора, как своеобразный «злободневный фарш» для начинки литературного пирога.

Разумеется, в книге много метких и острых зарисовок. Но если согласиться с утверждениями благосклонной критики Англии и США, что Ангус Уилсон продолжает лучшие традиции английского реалистического романа девятнадцатого века, то пришлось бы сказать, что эти традиции находятся в состоянии рокового обмельчания.

И. Левидова.

НА БЕРЕГУ ПРОЗРАЧНОЙ РЕКИ

□

Rudolf Jašík. Na brehu priezračnej rieky. Slovenský spisovatel,' 1956.

□

Роман молодого писателя Рудольфа Яшика «На берегу прозрачной реки» привлек внимание словацкой литературной общественности свежестью и своеобразием художественного воспроизведения жизни. Действие романа развертывается в деревне на берегу реки Кисуцы в начале тридцатых годов нашего века. Об этом крае нищеты и бесправия писал Петр Илемницкий в своих очерках и романах «Победное падение» (1929) и «Невспаханное поле» (1932). Созданную Илемницким картину нищей кисуцкой деревни роман Яшика дополняет новыми штрихами. Освещая тяжелое прошлое, писатель заставляет своего современника яснее увидеть и лучше понять сегодняшний день страны.

Автор раскрывает перед читателем мир суровый и поэтичный. Прекрасна и могуча, но немилостива к человеку природа этого края. Страшная нищета царит в глухом горном хуторке Грубый плац. Бедно живут и крестьяне окрестных деревень, расположенных в долине. Они страдают от неурожаев, безработицы, от сборщиков налогов. В Грубом плаце эти сборщики не появляются — здесь им взять нечего. Здесь люди мечтают о хлебе, как о чем-то недостижимом, а мешок картошки кажется им уже богатством.

Яшик не стремится дать широкое социальное полотно жизни словацкой деревни начала тридцатых годов во всех ее сложных противоречиях и взаимосвязях. Действие романа концентрируется вокруг судеб нескольких семей из Грубого плаца, наиболее обездоленных даже по сравнению с бедствующими крестьянами этого края. Трагически безысходной предстает в начале романа судьба жителей хутора: одинокого старика — нищего Винца, умирающего от туберкулеза Котека, звонаря и гробовщика Шкандеры и его десятерых детей, старого Джияно—прекрасного плотника, не находящего покупателей для своих изделий. Для всех этих людей характерно чувство безнадежности и неверие в возможность иной жизни. В сознании Джияно представление о неизменности жизненного порядка приобретает фантастическую окраску: ему кажется, что окружающий его мир заколдован дьяволом, обречен на вечную нищету, и чары эти никто не может разрушить.

Иные представления и надежды приносит в хутор коммунист Штефан, рабочий из индустриальной Остравы Он любит дочь Джияно, Марию, и стремится вырвать ее из мира безнадежности и отчаяния. Страстная вера в революцию, которая изменит этот убогий край, дает Штефану силы бороться против всего, что было подлинным, а не мифическим проклятием словацкой действительности тех лет: против нищеты и бесправия, против пассивности большей части крестьян. Эта борьба и составляет идейный стержень романа.

Крестьяне делают свой первый шаг к революции, о которой мечтает Штефан: они устраивают демонстрацию протеста, и сразу же стремительно расширяются рамки романа; жители изолированного от мира Грубого плаца оказываются втянутыми в водоворот больших событий. Голодная демонстрация разогнана; Штефан брошен в тюрьму. Однако напуганные власти все же выполнили основное требование демонстрантов: голодающих крестьян стали снабжать хлебом. А в сознании многих ее участников, даже и ни во что не верившего Джияно, эта первая победа пробудила понимание силы людей, объединенных общим стремлением.

На страницах романа постоянно живет поэтический образ прекрасной прозрачной реки Кисуцы. Она всегда рядом с людьми Грубого плаца, составляет неотъемлемую часть их мира. Мария поверяет реке свои горести. Старику Джияно могучая Кисуца близка как живое существо. В главе, описывающей демонстрацию крестьян, все время ощущается присутствие реки, словно сопровождающей грозное шествие.

Пафос революции, в которой Штефан видит единственный выход из трагических противоречий действительности, сливается с мечтой о прекрасной жизни. Завершается книга словами, передающими мироощущение Джияно, поверившего в правду коммуниста Штефана: «Жить можно только с освобожденной душой».

Э. Олонова.

ПИСЬМА МОРИСА РАВЕЛЯ

□

René Chalupt. Ravel au miroir de ses lettres. Paris, Robert Laffont, 1956.

□.

Известны слова Жана Ришара Блока, высказанные в статье, посвященной памяти Равеля: «С какой бы стороны ни подойти к этой своеобразной фигуре человека и художника, мы столкнемся с огромным богатством внутреннего мира и внутренних бурь, которые потрясали его жизнь...»

Сто восемьдесят шесть писем Равеля, помещенные в недавно вышедшей в Париже книге Рене Шалю «Равель в зеркале своих писем», не только раскрывают перед нами обаятельный образ большого и честного художника, но и служат ценным источником для понимания многих страниц истории французской музыки первых десятилетий нашего века.

Равель, так же как и Клод Дебюсси, был крупным композитором-новатором, оказавшим серьезное влияние на новое поколение композиторов Франции, и не только Франции. Причисляемый обычно в учебниках истории новой музыки к разряду импрессионистов, Равель, в действительности, был во многом очень далек от иррациональной и субъективной эстетики импрессионизма с ее культом самодовлеющей игры тембров. В богатом и многогранном творческом наследии Равеля мы на каждом шагу встречаем образцы подлинно классической законченности формы, подчиненной строгой внутренней дисциплине.

Перечитывая письма Равеля, собранные в книге Рене Шалю (они охватывают период с 1900 по 1934 год), мы в полной мере убеждаемся в справедливости слов Жана Ришара Блока. Перед нами встает образ художника огромного богатства внутреннего мира, человека, одержимого «внутренними бурями».

Нельзя без волнения читать письма композитора, адресованные своим друзьям в первые месяцы мировой войны 1914—1918 годов. Потрясенный трагическими событиями, Равель не хочет остаться только сторонним свидетелем бедствий войны, обрушившихся на его любимую родину. Слабый здоровьем, тридцатидевятилетний композитор предпринимает отчаянные усилия для того, чтобы быть зачисленным в действующую армию. В ноябре 1915 года его зачисляют на должность шофера санитарной машины. Начинаются годы фронтовой жизни, полные тяжелых лишений и принесшие с собой одни разочарования. Однако и в этой обстановке композитора не оставляют мысли о музыке. Так, в письме к своему другу Ролан-Манюэлю от 17 марта 1916 года Равель рассказывает: «Заметив, что я бездельничаю, командир приказал мне помочь разгружать понтонные мостки... Вот как!» Далее следует нотная строчка с записью одной из тем оперы «Испанский час». Эта тема сопровождает в опере процесс перетаскивания тяжелых стенных часов.

Летом 1916 года в письме с фронта, адресованном своему другу композитору и критику Жану Марнольду, Равель осуждает деятельность шовинистической «Лиги защиты французской музыки», добивавшейся запрещения исполнения во Франции немецкой и австрийской музыки. Как сообщает в своих комментариях Р. Шалю, Равель подготовил для опубликования в газетах письмо, в котором протестовал против запрещения во Франции музыки Бартока, Кодаи и Шенберга. Однако это письмо не было отослано, поскольку Равель не имел права, будучи солдатом, выступать публично.

Два с лишним года, проведенные на фронте в скромной должности военного шофера, оставили неизгладимый след в творческой биографии композитора. Эти годы сблизили его с простым народом, научили его еще больше любить жизнь.

При всей утонченности и порой большой сложности композиторского мышления, Равель оставался верным традициям французского национального классического искусства. Щедрой рукой он черпал вдохновение из неиссякаемого источника народного творчества не только Франции, но и многих других стран. Достаточно вспомнить о его «Испанской рапсодии», знаменитом «Болеро», «Песнях Дон-Кихота», о его «Греческих песнях», «Еврейских песнях», «Мадагаскарских песнях», «Цыганке».

Равель не только горячо любил русскую музыку, но и пристально ее изучал. Во многих письмах Равеля разбросаны упоминания о его работе над оркестровкой «Картинок с выставки» Мусоргского, оперы «Хованщина», о его интересе к творчеству молодого Стравинского. Одно из лучших произведений Равеля, балет «Дафнис и Хлоя», написан по заказу С. Дягилева для спектаклей «Русского балета» в Париже.

В письмах Равель не любит подробно распространяться о своей творческой деятельности, он редко говорит о своих замыслах и воплощениях. Не часто встречаются и суждения Равеля о современных композиторах. И все же сквозь эти скупые и, казалось бы, случайные замечания мастера мы явственно ощущаем благородный облик истинного гуманиста, требовательного художника, передового человека своего времени.

Последние годы жизни Равеля были омрачены тяжким заболеванием (афазия, которая постепенно лишала композитора способности общения с внешним миром). Письмо из восьми строк, обращенное к Морису Делаж и датированное 22 мартом 1934 года, потребовало от Равеля огромного

напряжения сил. Он писал его, по собственному признанию, восемь дней, прибегая к помощи словаря Ларусса. Это было начало конца. Болезнь развивалась неумолимо. Композитор постепенно лишился способности письма, речи, движения. 19 декабря 1937 года он подвергся операции, после которой наступила летаргия, приведшая 28 декабря 1937 года к смерти.

Книга «Равель в зеркале своих писем» представляет большой интерес для всех, любящих творчество этого замечательного музыканта, а таких с каждым годом становится все больше и больше. Следует отметить превосходные комментарии Рене Шалю, не только разъясняющие обстоятельства написания каждого письма и уточняющие отдельные фразы, но и дающее известное представление о музыкальной атмосфере эпохи, о наиболее важных событиях артистической жизни Франции начала двадцатого века.

Г. Шнеерсон

ОСТРОВ ЖЕЛЕЗНЫХ ПТИЦ

□

André Dhôtel. L'île aux oiseaux de fer. Fiction. Paris, Fasquelle, Collection «Libelles», 1956.

□

Цепь странных событий приводит молодого француза Жюльена Гренеби на неведомый остров. Здесь, окруженные удивительными машинами, умными автоматами, живут скромные, обеспеченные всем необходимым, не знающие тревог и волнений люди. Наука и техника достигли здесь сказочного расцвета. Но скоро Жюльен убеждается, что человеку, его чувствам, его сердцу, его счастью нет места в этом царстве кибернетики и атомной энергии. Люди создали чудесные совершенные машины — и потеряли свою свободу. Дух безжалостных законов, выпущенный из бутылки, прочно поработил человека. Машины — вот кто управляет островом. И механические железные птицы, как мифологические гарпии, безжалостно расправляются с каждым, кто только допустит малейшее отклонение от установленных правил.

Здесь все порабощены техникой. В этом мире нет любви, веселья, искусства, фантазии, дружбы, шуток, игр, забав. Даже дети, боясь гнева железных птиц, как маленькие старички, чинно и смирно гуляют по берегу моря; они знают, что нельзя ни бегать, ни бросать камешки в воду: эти действия бессмысленны и бесполезны для общества, это пустая забава, за которую сурово накажут машины.

Живя на острове, Жюльен с грустью вспоминает родину, отчий дом, милый сердцу пейзаж окрестностей родного городка Бермона, сказки и людей Франции. Однажды ему на память случайно пришла трогательная незамысловатая история — рассказ о любви рабочего парня и работницы одного из парижских заводов. Жюльен начал было рассказывать эту историю своим соседям по цеху (на острове он стал часовщиком), но, увидев их безразличные лица, прервал рассказ; через несколько минут он и думать забыл о двух парижских влюбленных. Этот ничтожный эпизод становится причиной трагических потрясений: на острове железных птиц необходимо все доводить до конца, ничто не может быть прервано на полуслове, таков неумолимый закон. Иначе машины начнут искать продолжение истории в недрах своей автоматической «памяти»; они не смогут производить свои обычные «мыслительные операции»; они выйдут из строя и накажут нарушивших их работу людей. Острову грозит катастрофа. Спасти положение может один Жюльен, но он забыл продолжение своей истории...

В конце концов герою удается бежать с Острова железных птиц; но бунт машин приводит «кибернетическую» цивилизацию к гибели. Строй, где нет «ни религии, ни веры, ни любви», терпит крах. А Жюльен Гренеби находит во Франции свой идеал — жизнь мелкого коммерсанта в тихом семейном уюте, среди мирной природы, в общении с любимой женой и богом.

Андрэ Дотель написал талантливую, остроумную, занимательную книгу. Писатель хотел бы оградить и уберечь счастье людей от грозящих им опасностей. Но Дотель сражается с призраками, созданными им самим. А о том, что на самом деле враждебно простому человеку, о том, что мешает ему быть счастливым — не на утопическом острове, а в реальном буржуазном мире середины двадцатого века, о том, в чьих руках оказываются плоды усилий технической мысли на Западе, кому и чему служит там технический прогресс,— обо всем этом читатель ничего не найдет в повести Андрэ Дотеля.

Андрэ Дотель хочет доказать, что, познавая объективные закономерности развития материи, человек становится жалким рабом этих закономерностей. Вряд ли нужно полемизировать с этой «философской установкой». «Остров железных птиц» — не научно-фантастический роман: писателя не интересуют ни научная основа, ни технические детали изображенных им чу-

дес. Стремясь защитить человеческое сердце от грозящих ему чудовищ технического прогресса, Дотель использует жанр философской сатирической повести. Своим лаконичным, легким, чуть насмешливым стилем, своими остроумными, порою парадоксальными сюжетными ходами повесть Андрэ Дотеля заставляет вспомнить философские повести Вольтера. Есть здесь и кое-что от социальной фантастики Уэллса. Но эти сближения затрагивают, к сожалению, только область жанровых примет.

М. Ваксмахер

СБОРНИК МАЛОИЗВЕСТНЫХ РАБОТ ЛИОНА ФЕЙХТВАНГЕРА

□

Lion Feuchtwanger. Centum Opuscula. Eine Auswahl. Rudolstadt, Greifenverlag, 1956.

□

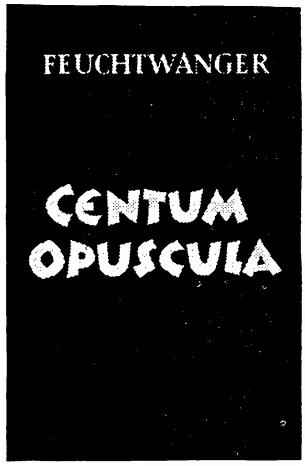
Книга под названием «Centum Opuscula» («Сто маленьких работ») содержит сто рецензий, отрывков из малоизвестных произведений, небольших литературных портретов и эссе, принадлежащих перу Лиона Фейхтвангера. Сборник составлен Вольфгангом Берндтом и выпущен издательством Грайфенферлаг в Рудольштадте (Германская Демократическая Республика). Тем самым многие, ранее практически недоступные работы широко известного писателя стали достоянием читателей и исследователей.

Как говорит Вольфганг Берндт, его целью было ближе познакомить читателей, в первую очередь студентов и литературоведов, с творчеством Лиона Фейхтвангера; он стремился отбирать те произведения, которые «необходимы для понимания его творческого пути». Мало кто из читающей публики посвящен в то, какой сложной дорогой шел писатель, как он отходил от эстетских позиций, которые занимал в начале творческого пути, вследствие каких причин и обстоятельств в творчестве Фейхтвангера главное место заняли большие проблемы современности.

Составитель разбил сборник на несколько тематических разделов, предпослав каждому из них небольшое предисловие. Это помогает читателю ориентироваться в книге (хотя, может быть, хронологическое расположение материала было бы более правильным). Значительную часть книги занимают работы, связанные с театральной жизнью (второй раздел — «История театра и драматургия»; третий — «Театральная критика»). Не многим известно, что Фейхтвангер начал свой творческий путь пятьдесят лет тому назад как постоянный сотрудник журнала «Театральное обозрение» в Мюнхене, что его перу принадлежат статьи, в которых трактуются проблемы драматургии, актерского и режиссерского искусства, что несколько статей он посвятил драматургии Бертольта Брехта и что, наконец, он сам является автором восемнадцати пьес.

Из статей сборника мы узнаем об отношении писателя чуть ли не ко всем великим драматургам мира, в том числе к Шекспиру, Гете, Шиллеру, Ибсену, Шоу, Горькому и Чехову; о «Вишневом саде» Фейхтвангер пишет, что это — «самое горькое, но и самое прекрасное и самое зрелое из всего созданного Чеховым».

Сборник показывает, как тесно был связан Фейхтвангер с жизнью своей страны на протяжении всего своего творческого пути. Большое место в сборнике уделено статьям, написанным Фейхтвангером в эмиграции, и тем работам писателя, в которых отразилась его антифашистская деятельность. В этом разделе мы находим статьи, написанные им под впечатлением поездки в Москву в 1937 году. Как признает писатель, все созданное им после посещения Москвы носило на себе следы этого путешествия. Показательным для мировоззрения писателя этого периода является его отношение к Андре Жиду, выраженное в статье, иронически названной «Эстет в Советском Союзе».



Значительный интерес представляют также работы Фейхтвангера по истории журналистики, немецкой литературы, особенно те, в которых трактуются проблемы современного и исторического романа. Ряд включенных в сборник работ Фейхтвангера носит автобиографический характер и облегчает изучение творчества писателя.

Составитель отмечает, что взгляды, высказанные Лионом Фейхтвангером в некоторых ранних его работах, покажутся «односторонними или же опровергнутыми ходом истории». Это, без сомнения, так. В послесловии, написанном Лионом Фейхвангером к сборнику (в составлении и выпуске которого он не принимал участия), писатель сам заявляет, что многие из его работ, опубликованные в этой книге, представляются ему «как бы чужими». Однако, перечитывая страницы, своих ранних произведений, писатель приходит к выводу, что в основе своей его «я» не изменилось, ибо «волны меняются, а река остается неизменной».

Л. Назарова.

ВОКРУГ РОМАНОВ ГЮНТЕРА ВАЙЗЕНБОРНА

□

Gody Suter. Weisenborn ad portas! Zu zwei Gegenwartsromanen.—Der Monat, N. 100.

□

Прозаик и драматург Гюнтер Вайзенборн в годы фашизма принимал участие в деятельности подпольной организации «Красная капелла», несколько лет находился в заключении, после разгрома фашизма стал издавать в Берлине сатирический журнал «Уленшпигель», был одним из основателей Берлинского театра имени Геббеля. Его воспоминания «Мемориал» и пьеса «Нелегальные» широко известны во многих странах. В настоящее время он живет в Западной Германии, в Гамбурге.

В прошлом году вышли в свет два романа Гюнтера Вайзенборна. Один из них называется «Построено на песке», название другого ("Der dritte Blick") можно условно перевести «Ясновидец».

Я узнал об этих романах из очередного номера выходящего в Западном Берлине журнала «Монат», который посвятил романам Вайзенборна большую статью. Начиная от заголовка «Weisenborn ad portas!» («Вайзенборн у ворот!»), вся статья написана в фельетонном стиле, призванном создать у читателя впечатление, что объект критики не заслуживает серьезного к себе подхода, что от него можно отмахнуться, отшутиться, свести его к пустяку.

Сделано это так. В начале рецензии приведен десяток фраз из новых романов Гюнтера Вайзенборна. Тут есть речи разных действующих лиц и речь автора. Определить, хороши эти фразы или плохи, можно, естественно, только сообразуясь с тем, кто их произносит и по какому поводу Однако в рецензии они приведены «навалом», безо всякой связи с действием, из обоих романов вперемежку. Рецензент Годи Зутер, стараясь показать, что он не чужд гуманитарного образования, приводит изречение: «Стиль—это человек». Этим и ограничивается его критический анализ фраз, вырванных из романов. Предполагается, что тем самым читатель сделает следующий вывод: раз приведенные фразы плохи, следовательно, стиль Вайзенборна плох, следовательно, Вайзенборн — плохой человек. Затем рецензент, упомянув вскользь, что в романе изображается взяточничество в деловых кругах Бонна и махинации, связанные с поставками для западногерманской армии, пишет: «Управление материального снабжения (11-й отдел) находится в г. Кобленце и не имеет в Бонне даже своего филиала». Предполагается, что это замечание рецензента должно подсказать читателю второй логический вывод: Вайзенборн изобличает коррупцию в управлении материального снабжения. При этом он утверждает, что это управление находится в Бонне. Но поскольку управление находится не в Бонне, а в Кобленце, оно свободно от коррупции.

Вот такая могучая логика да несколько выхваченных из контекста цитат, плюс два-три замечания о фактических неточностях в изображении Берлина, плюс бессчетное количество грубостей по адресу автора — все критическое оснащение Годи Зутера. Чем больше я вчитывался в эту рецензию, тем больше убеждался, что автор сосредоточил свое внимание на мелочах и частностях книг Гюнтера Вайзенборна потому, что не может полемизировать с ним по существу. Поэтому он и старается избежать сколько-нибудь связного изложения содержания рецензируемых романов.

Что же все-таки в них происходит? Что вызвало такое раздражение журнала «Монат»? И вот передо мной лежат оба романа Гюнтера Вайзенборна Содержание романа «Построено на песке» вкратце сводится к следующему Молодой служащий фирмы, которой принадлежит несколько крупных мукомольных предприятий, узнает, что при производстве муки применяются химические вещества, которые улучшают внешний вид хлеба, но вредны для здоровья потребителей. Наивный и неопытный, он взывает к совести владельца фирмы, и тот мгновенно увольняет его. Буцбах, так зовут молодого человека, решив изучить проблему, которая стоила ему места, выясняет, что большинство пищевых продуктов в Западной Германии фальсифицируется при помощи различных вредных для здоровья химических средств. Объединившись с

несколькими молодыми энтузиастами — врачами и журналистами, он начинает издавать кустарный бюллетенчик, в котором восстает против вреда, наносимого здоровью народа фальсифицированными продуктами, и рассылает его депутатам Боннского парламента, профсоюзным и политическим деятелям, врачам и так далее.

Кампания, поднятая Буцбахом, тревожит владельцев немецких фирм, производящих пищевые продукты. Они организуют политический бойкот, делают Буцбаха объектом слежки и провокаций. Обезвреживание Буцбаха берет на себя так называемая «Лига борьбы за права и правду». Изображение этой организации составляет другую важную линию романа Вайзенборна.

В этой лиге, финансируемой крупными предпринимателями, Вайзенборн изображает одно из многих в Западной Германии полуофициальных бюро расследований, занимающихся политическим шпионажем, слежкой за «неблагонадежными», собирающих материал против прогрессивных деятелей на случай фашистского переворота. Во главе этого бюро стоят бывшие крупные нацисты.

В романе есть несколько сатирических зарисовок боннского «высшего общества», показано всевластие крупных промышленников, для которых парламент является только благопристойной демократической ширмой, разоблачается коррупция, политический шантаж, влияние нацистов на политическую жизнь Западной Германии. Теперь понятно, почему этот роман вызвал такое возмущение журнала «Монат» и почему, посвятив ему большую статью, журнал не решился прямо сказать о том, что же написано в этом романе!

В романе «Ясновидец» совмещены два плана: фантастический и реальный. Герой романа молодой врач Бель наделен даром ясновидения, способностью угадывать истинные побуждения людей. Этот дар становится для него роковым. Его берет на службу ловкий делец, который использует Беля в корыстных интересах своей фирмы.

Можно по-разному относиться к жанру фантастического романа. Но не о правомерности или неправомерности фантастического жанра пишет рецензент журнала «Монат». Обходит он и реалистическую сторону книги — изображение политической обстановки в Западном Берлине, близкое к изображению Бонна в «Построено на песке». В этих главах большое место занимает изображение полицейского чиновника в Западном Берлине, в прошлом агента гестапо.

Рецензент «Моната» иронизирует по поводу того, что действующие лица романа спустя десять лет после разгрома фашизма обнаружили в здании, где некогда находились застенки гестапо, предсмертное завещание замученного фашистами рабочего. Однако он полностью умолчал о том, что попытка дочери убитого антифашиста разоблачить виновника трагической гибели отца и отдать его под суд в Западном Берлине, как, основываясь на фактах, пишет Вайзенборн, оказывается безнадежным делом.

Конечно, не все хорошо в обоих романах Вайзенборна. Мы не можем не видеть, что постановке серьезных и острых проблем современности мешают сцены, приближающиеся то к банальному детективу, то к не менее банальному великосветскому роману. Не оправдан, на наш взгляд, «хэппи энд» романа «Построено на песке», композиция обоих романов перегружена множеством самостоятельных сюжетных линий. Однако главное в этих книгах — ненависть автора к фашизму и милитаризму, стремление разоблачить тех, кто возрождает в Западной Германии идеи вермахта, реванша, расовой ненависти, «дранга нах Остен».

Журнал «Монат» попытался отшутиться от романов Гюнтера Вайзенборна. Однако разухабистый фельетон Годи Зутера невольно выдал ту большую тревогу, которую вызвали в Западной Германии эти книги. Недаром западногерманская газета «Рейнише меркур» прямо потребовала запрещения романа «Построено на песке».

С. Львов.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АЛБАНИЯ

СТИХИ О ШАЛАШЕ ЛЕНИНА В РАЗЛИВЕ

Во время своей поездки по Советскому Союзу поэт Чамиль Буджели побывал в Ленинграде, совершил экскурсию в Разлив. О глубоком впечатлении, которое произвело на него знакомство с местами, где когда-то жил В. И. Ленин, поэт рассказывает в стихотворении, опубликованном в журнале «Нёндори». Буджели пишет о том, что видел на свете много дворцов и памятников, но ничто в мире не тронуло его так глубоко, как скромный шалаш в Разливе, где когда-то прожил несколько недель вождь русской революции.

АНТОЛОГИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В албанском государственном издательстве недавно вышла «Антология зарубежной детской литературы». Ее составители Вехби Бала и Бедри Дедья не только собрали все лучшее из того, что уже переведено на албанский язык, но и многое перевели сами. В книге представлено творчество около 60 авторов разных стран.

АНГЛИЯ

«ПОЧЕМУ ПРИСТЛИ ОКАЗАЛСЯ В ПУСТЫНЕ?»

Так называется статья Алика Уэста, опубликованная в журнале «Уорлд ньюс». В ней дается интересный анализ противоречий в мировоззрении и творчестве английского писателя, объясняется, почему, употребляя собственное выражение Дж. Б. Пристли, он «находится в пустыне», предрекая трагический конец современной цивилизации.

Как указывает автор статьи, еще не так давно Пристли был одним из немногих писателей, к голосу которых прислушивался английский народ; в трудные дни войны люди с нетерпением ожидали его субботних радиобесед, во время которых он говорил о том, что от самого народа зависит завоевание победы, которая принесет ему желанный мир и счастливую жизнь.

Далее А. Уэст дает критический анализ ряда произведений Пристли, написанных в начале войны, подчеркивая их глубокую противоречивость. Хотя, по его словам, роман «Пусть народ поет» отличается сентиментальной слащавостью и надуманностью сюжета, в то же время в нем Пристли проводит мысль о том, что врагами народа в их собственной стране являются дельцы и твердолобые тори, с которыми надо бороться объединенными силами. В книге «Из гущи народной» писатель отрицает значение классовой борьбы, но, с другой стороны, пишет о том, что политика госу-

Картина албанского художника Садика Кацели «На гумне». Экспонат художественной выставки 1956 года.
(Журнал «Мичесия»)

дарства прежде всего должна определяться интересами народа, а не действиями государственных чиновников.

Эти идеи Пристли, по мнению А. Уэста, в художественной форме воплотил в романе «Дневной свет в субботу», в котором он «изобразил усилия народа, работающего для победы». Рабочий Боб Элрик противопоставлен в нем представителю правящих классов Блэндфорду. Оба они хотят помочь стране в ее военных усилиях, но Блэндфорд стремится при этом защитить свои интересы и интересы своего класса, тогда как Элрик хочет, чтобы война велась в интересах народа. Промышленность и политика не должны находиться в руках тех, кто, подобно Блэндфорду, противопоставляет себя народу,— такова идея книги Пристли. Подчеркнув демократические тенденции романа, А. Уэст задает вопрос: «Почему же Пристли, если он верит в народ, написал статью в журнал «Кольерс»* и своим авторитетом поддержал идею о необходимости империалистической войны против Советского Союза? Почему он удалился в пустыню, которая отнюдь не безлюдна, ибо ее населяют ренегаты?» Отвечая на этот вопрос, автор статьи указывает, что Пристли, выступая в защиту народа и его культуры, в то же самое время не верит в силы народа и боится его. «Он не только не понял, чего достигло человечество при помощи социалистической революции, но охвачен священным ужасом перед созидательными возможностями человечества». По мнению А. Уэста, Пристли «сочувствует» народу лишь вообще. Но «вне дома, рабочие, стоящие у станка, ведущие организованную борьбу за более серьезные цели», перестают, с точки зрения Пристли, быть «народом», становятся «массами, которые он ненавидит». Классовую солидарность в борьбе против капитализма Пристли хотел бы заменить сентиментальной дружбой.

А. Уэст доказывает, что роман Пристли «Добрые товарищи» как раз пронизан пропагандой этого «надклассового» чувства, а в книге «Дневной свет в субботу» сентиментальность приобретает мистический характер, так как герой, искатель правды, находит себя только в смерти. Эта мысль о смерти как единственной цели человека вообще характерна для мировоззрения Пристли.

В статье приводится отрывок из книги «Из гущи народной», в котором, по мнению А. Уэста, содержится «молчаливый вопрос: если народ движется сквозь чужой, враждебный мир, то каков будет конец этого путешествия?» И приводится столь же молчаливый ответ: конец этот «в мистической тайне смерти». Идее смерти, проповедуемой Пристли, А. Уэст противопоставляет бессмертие народа, который «в своем поступательном движении преобразит враждебный ему мир в чудесное царство свободы».

* Этот номер «Кольерса» вышел в 1951 году.

АРГЕНТИНА

ОТКРЫТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

В Буэнос-Айресе после значительного перерыва вновь открылся музей изобразительных искусств.

Его открытие ознаменовалось большой выставкой работ Гойи, на которой представлено около 300 гравюр. Ряд произведений художника привлечен на выставку из других музеев и частных коллекций.

Отвечая на вопросы корреспондента журнала «Мундо архентино», директор музея Брест рассказал, что музей располагает оригиналами произведений национальных художников и лишь копиями работ мастеров мирового искусства. Приобретение произведений крупных европейских мастеров в настоящее время для музея недоступно.

БАХРЕЙНСКИЕ ОСТРОВА

ТВОРЧЕСТВО НОВЕЛЛИСТОВ

Ливанский журнал «Ас-Сакафа аль-Ватания» обратился к известному бахрейнскому поэту и деятелю культуры Ибрахиму аль-Ариду со следующими вопросами: «Имеются ли на Бахрейне писатели-новеллисты? Кто они? Каких тем касаются они в своих произведениях?»

Аль-Арид рассказал, что жанр новеллы на Бахрейнских островах еще только зарождается. Первые опыты в этом направлении принадлежат представителям молодого поколения. Тематика новелл охватывает местную жизнь и связанные с ней социальные проблемы.

Выдающаяся роль в создании бахрейнской новеллы принадлежит, по словам аль-Арида, Ахмаду Кемалю. Его произведения, как и новеллы других писателей, пока еще не издаются отдельными книгами, а в основном публикуются в газетах.

БЕЛЬГИЯ

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ ВСЕХ ВРЕМЕН

По сообщениям печати, во время Международной промышленной выставки в Брюсселе в 1958 году состоится конкурс на «Лучший фильм всех времен». В конкурсе смогут принять участие все страны мира, показав фильмы, созданные с момента зарождения киноискусства до 1956 года включительно.

В первом туре конкурса жюри, составленное из историков кинематографии, выберет 30 лучших фильмов. Затем другое жюри, в которое войдут писатели, композиторы, художники и другие деятели культуры, выберут 12 картин, которые, в свою очередь, будут показаны широкой общественности. Таким образом будет

решено, какой же фильм является самым лучшим «из фильмов всех времен».

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ИБСЕНУ

В январе в театре «Резиданс» в Брюсселе открылась выставка, посвященная Ибсену. В ее организации приняли участие библиотека университета в Осло, парижская Национальная библиотека и Международный театральный институт. На выставке демонстрировались рукописи Ибсена, первые издания его произведений, издания «Пер Гюнта» в переводе на 25 языков и так далее.

БРАЗИЛИЯ

ПОЭЗИЯ В 1956 ГОДУ

Журнал «Пара тодос» публикует пространную статью Моасира Фелиша о развитии и успехах бразильской поэзии в 1956 году.

Автор статьи отмечает издание книг молодых начинающих поэтов. Современная поэзия, пишет он, проявляет тенденцию к более яркому отражению действительности, к раскрытию образа современника в борьбе за подлинно свободную и счастливую жизнь. С большой силой это проявляется в стихах Сесилии Мейрелес («Романсеро инконфиденсии») и Мурило Мендеса («Созерцание Ouро Прето»). Этими же настроениями отмечены поэмы «Рабочий на стройке» Винисиуса де Мораиса, «О профессии поэта» Жеира Кампоса, а также некоторые поэмы Анибала Машадо.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАВЕРШЕНИЕ ТРУДА ТРЕХ ПОКОЛЕНИЙ

Свыше ста лет назад братья Гримм начали составление полного словаря немецкого языка. Однако они довели работу лишь до шестой буквы алфавита.

Теперь этот огромный труд (словарь будет состоять из 32—33 томов) близок к завершению. Его выпускает Академия наук в Берлине под названием «Большой Гримм».

Сцена из пьесы Б. Брехта «Жизнь Галилео Галилея» в постановке театра «Берлинер ансамбль». В роли Галилея — артист Эрнст Буш, его дочери Виргинии — Регина Лютц. (*Газета «Националь цейтунг»*).

ЛУЧШИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Впервые в Германской Демократической Республике государственными премиями отмечены переводы поэтических произведений. В их числе перевод поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре» Гуго Гупперта и работа Вальтера Панитца, который перевел поэму Адама Мицкевича «Пан Тадеуш».

ПО ПУТИ БРЕХТА

Театр «Берлинер ансамбль» начал новый год без Бертольта Брехта премьерой его пьесы «Жизнь Галилео Галилея». Она ставится на немецкой сцене впервые. Режиссер спектакля Эрих Энгель.

В главной роли с огромным успехом выступил известный немецкий артист Эрнст Буш. Он показал Галилея таким, пишет газета «Берлинер цейтунг», каким его видел Брехт, каким представляли себе образ великого ученого все мы.

Газета «Националь цейтунг» подчеркивает, что дело Брехта, «его завещание» находится в верных руках Эриха Энгеля.

Западноберлинская газета «Вельт» также посвящает новой постановке восхищенный отзыв.

КОМИТЕТ «ГОРЬКИЙ В ГЕРМАНИИ»

При Славянском институте университета им. Гумбольдта в Берлине, сообщает «Нейес Дейчланд», основан Комитет по изучению деятельности Максима Горького и его произведений, написанных в Германии.

Как известно, Горький провел в Германии в общей сложности три года. Опираясь на помощь лиц, лично знавших писателя, Комитет будет исследовать следующие темы: об истории пребывания великого писателя в Германии в 1906 и 1921—1923 годах; о переводах произведений Горького на немецкий язык; о постановке его пьес на немецкой сцене; о публикации в газетах и журналах его статей и других материалов.

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ВЗДОРОЖАНИЕ КНИГ

Рост цен в Западной Германии коснулся в последнее время также и книг. Немецкая печать сообщает о том, что с первого января 1957 года повысились цены на многие книги, в том числе имеющие большое культурное значение для массового читателя.

ЭТО ПРОИЗОШЛО В ГЕТТИНГЕНЕ

Известный немецкий актер, проживающий в ГДР, Эдуард фон Винтерштейн

начинал свою творческую жизнь в Гёттингене. Коллектив театра избрал его недавно своим почетным членом. Но власти потребовали, чтобы намеченное по этому случаю чествование было отменено. В качестве аргумента они сослались на то, что Эдуард фон Винтерштейн создает на сцене «коммунистические образы».

Художественный руководитель гёттингенского театра Гейнц Гильперт в связи с этим заявил: «В силу нашего призвания мы обязаны прокладывать мосты между Востоком и Западом. Если же мы станем держать в одной руке пальмовую ветвь мира, а в другой — политическую анкету, любая попытка примирения будет, как мне думается, обречена на провал».

Под давлением реакционных элементов Гильперт вынужден был телеграфировать в ГДР, что публичное чествование отменяется, так как нет возможности гарантировать 85-летнему актеру личную безопасность. В той же телеграмме Гильперт заявил, что гёттингенский театр подтверждает избрание Эдуарда фон Винтерштейна почетным членом своего коллектива.

Комментируя это событие, «Берлинер цейтунг» пишет: «В эти дни в гёттингенское городское самоуправление поступило предложение ограничить компетентность художественных руководителей театров «в вопросах политического и всеобщего значения». В переводе на хороший немецкий язык это означает, что деятелям искусства хотят зажать рот».

ГОЛЛАНДИЯ

«ТИЛЬ УЛЕНШПИГЕЛЬ» — МЯТЕЖНЫЙ ФИЛЬМ...

Как известно, герой знаменитого романа Шарля де Костера Тиль Уленшпигель был страшен феодалам Нидерландов XVI века. Снятый недавно художественный фильм «Приключения Тиля Уленшпигеля» опять вызвал нападки со стороны издавних врагов героя романа Шарля де Костера.

Голландская цензура охарактеризовала поставленный французским актером Жераром Филипом фильм, как «мятежный», «оскорбляющий католическую часть населения»... и запретила его демонстрацию.

Не случайно, писала газета «Нейес Дейчланд» в рецензии на премьеру фильма в Берлине, за всю историю кино экранизаторы старательно обходили гениальное произведение де Костера: создание фильма по этому роману казалось им равносильным «абсолютной поддержке трудящегося человека против его эксплуататоров».

Голландская газета «Фрийе фолк» называет решение цензуры нелепым.

ДАНИЯ

«СТРАНА ДЕТСТВА»

В издательстве «Танинг о Аппель» под редакцией известного литературоведа Иенса Круузе вышел второй том сборника «Страна детства». В первый том, выпущенный несколько раньше, были включены воспоминания о детстве известных датских писателей и деятелей культуры. Во второй том входят отрывки из воспоминаний многих писателей других стран, среди них Бенвенуто Челлини, Жан-Жак Руссо, Марк Твен, Рабиндранат Тагор, Стефан Цвейг. Русские писатели в сборнике представлены Л. Н. Толстым и Максимом Горьким.

РЕДКАЯ КНИГА

В одном из букинистических магазинов Копенгагена недавно появилась в продаже уникальная книга — первое издание комедий «отца датской литературы» Людвига Гольберга, норвежца по происхождению. Книга была оценена в семьдесят пять тысяч датских крон. Несмотря на то, что в Дании еще никогда не назначали такую цену, на книгу нашлось много претендентов. В результате ее приобрел город Берген — родина писателя. Пятьдесят тысяч крон внес бергенский университет, остальные двадцать пять тысяч — государство. Поскольку в Норвегии не было до сих пор ни одного экземпляра этого редкого издания, общественность города Бергена выражает удовлетворение ценным приобретением.

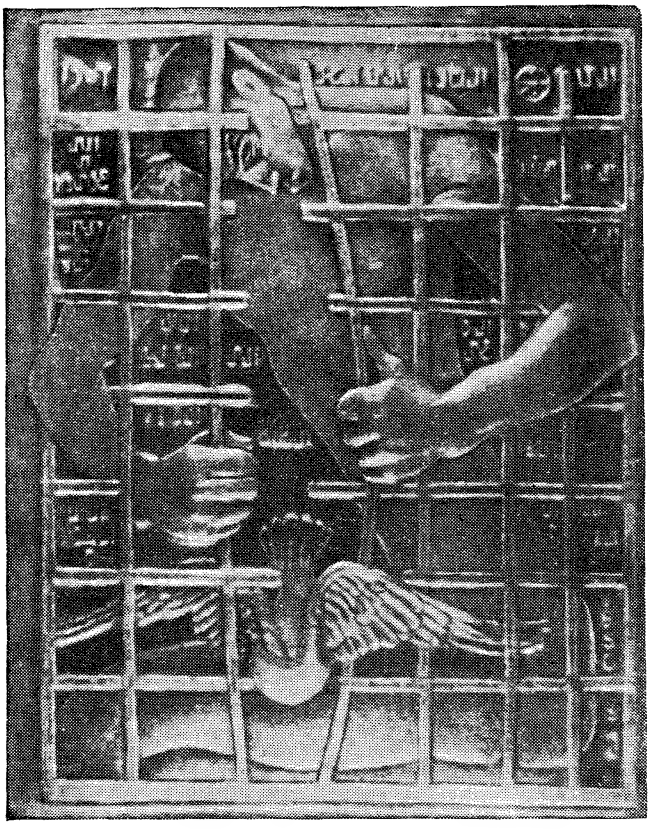
Датская студия телевидения осуществила постановку комедии Гоголя «Игроки». На фотографии — Ханс В. Петерсен в роли Швохнева и Юханнес Мейер в роли Кругеля.
(Газета «Ланд ог фолк»)

ЕГИПЕТ

РАССКАЗЫ И СТИХИ

Журнал «Аль-Джадид» сообщает, что за последнее время в Египте увеличилось издание произведений художественной литературы, особенно новелл. Так, недавно из печати вышли сборники новелл «Река фиалок» Закария аль-Хагави и «Священное пламя» Анвара Ахмада и другие.

Вышел также сборник рассказов советских писателей, переведенных на арабский язык. Предисловие к этому сборнику, который называется «За мир», написал один из ветеранов египетской литературы писатель Саляма Муса.



Барельеф известного египетского скульптора Гамаля ас-Сагини «Свобода».

(Журнал «Ивэнь»)

ПРОГРАММА: 1000 КНИГ

Министерство просвещения в настоящее время проводит в жизнь так называемую «программу тысячи книг».

В соответствии с этой программой египетские издательства должны при поддержке государства выпустить 1000 книг — произведения классиков мировой литературы, научно-популярные издания и так далее.

Все эти книги выпускаются на арабском языке недорогими изданиями.

ИЗРАИЛЬ

«Л. ТОЛСТОЙ И М. ГОРЬКИЙ ИЗГНАНЫ»

Под таким заголовком газета «Кол гаам» поместила статью, в которой выражается решительный протест против запрещения израильским правительством ввоза книг и периодики из Советского Союза. «Это еще одна ступень,— указывает газета, — в политике правительства, сжигающего все мосты, ведущие в лагерь социализма и мира. Это также попытка скрыть от граждан Израиля правду о Советском Союзе, о его достижениях в области культуры и техники, о его мирной политике во всем мире».

Отношение населения Израиля к подобным действиям властей наглядно иллюстрируется корреспонденцией, помещенной газетой «Давар». Корреспондент этой газеты пишет, что после того, как стало известно о запрещении дальнейшего ввоза советских книг в Израиль, он наблюдал усиленный приток покупателей в магазин русской книги на улице Аленби в Тель-Авиве.

Корреспондент передает содержание беседы с одним из покупателей, который выбрал себе несколько томов сочинений Чехова и Лермонтова. Покупатель, оказавшийся секретарем профсоюза рабочих гор. Рамаллах, сказал, что решение правительства удивило его. «Разве виноват Чехов или Лермонтов в ненормальных отношениях между нашей страной и Советским Союзом?» — спросил он.

ИНДИЯ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КНИГ И ГАЗЕТ

Индийский журнал «Иллюстрейтид уикли оф Индиа» опубликовал данные о деятельности книжных и газетно-журнальных издательств страны. В статье сообщается, что ежегодно здесь выходит 17 тысяч книг и брошюр.

Журнал отмечает далее, что если раньше многие крупные писатели Индии выпускали свои книги у иностранных издателей, то, в настоящее время, среди индийских писателей заметно стремление публиковать свои произведения в национальных издательствах.

ЛИТЕРАТУРНАЯ АКАДЕМИЯ

В городе Тривандрам (штат Керала) в торжественной обстановке была открыта литературная академия штата — «Керала сахитья акадами», первая из литературных академий штатов, которые предполагается учредить в различных районах Индии. Цель академии — развитие и усовершенствование литературы на языке малаялам.

ИОРДАНИЯ

ИНТЕРВЬЮ ЛИВАНСКОГО ЖУРНАЛА

Иорданский поэт и деятель культуры Сейф ад-Дин аль-Кейлани дал интервью

ливанскому журналу «Ас-Сакафа аль-Ватания».

Поэту был задан вопрос, «Какой вклад вносит современная поэзия Иордании в национально-освободительную борьбу? Какие поэты отражают эту борьбу в своих стихах?» Аль-Кейлани ответил, что иорданские поэты стремятся быть ближе к современной арабской действительности и отражать в своем творчестве стремление масс «идти вместе с караваном арабов, борющихся в других странах за осуществление своих национальных чаяний».

Тот же журнал напечатал беседу своего корреспондента с известным иорданским поэтом и писателем Иса ан-Наури, который рассказал, что пионерами новеллы в Иордании были Халил Бидас, Искандер аль-Хури аль-Батаджали (известен его сборник рассказов «Жизнь после смерти»), Джамаль аль-Хусейн (автор сборника «Сурия») и Наджиб Нассар.

После них появилась целая плеяда современных новеллистов, среди которых в Иордании наиболее известны: Махмуд Сейф ад-Дин аль-Ирани (сборник «С людьми»), Абд аль-Халим Аббас («Девушка из Палестины»).

Ряд новеллистов, как, например, Асам Хамад, публикует свои рассказы в газетах.

В большинстве иорданских новелл реалистически изображена жизнь народа, затрагиваются важные социальные проблемы. Многие новеллы посвящены палестинской проблеме.

ИСПАНИЯ

СМЕРТЬ ПИО БАРОХИ

В Мадриде на 84 году жизни скончался известный испанский писатель Пио Бароха-и-Несси.

Литературная деятельность Пио Барохи получила признание как в самой Испании, так и за рубежом. Его лучшие романы переведены во многих странах мира, в том числе и в Советском Союзе («Сорная трава» и «Древо познания»). В 1938 году Пио Бароха был избран действительным членом испанской Академии наук.

В своих политических взглядах Бароха не проявлял последовательности. Не приняв Республику и отказавшись поддержать Франко, он удаляется от общественной жизни, время от времени выступая на страницах «АБЦ» со статьями, критикующими политику Франко в области культуры.

Как стало известно из сообщений печати, Пио Бароха перед смертью отказался принять причастие, а потому был похоронен по гражданским обычаям. Французская газета «Леттр франсез» расценивает этот факт «как неслыханный для нынешней Испании, где следование католическому обряду является строго обязательным для всех».

ИТАЛИЯ

«ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕНИНЕ»

Итальянское издательство «Эдитори риунити» издало книгу Надежды Константиновны Крупской «Воспоминания о Ленине». Многие газеты и журналы перепечатали отрывки из этой книги, сопроводив их краткими комментариями.

«Воспоминания верной подруги и соратника Владимира Ильича с волнующей ясностью воссоздают атмосферу той долгой и упорной борьбы, которая привела в итоге к победоносной революции, — писала итальянская газета «Унита». — С этих страниц, абсолютно лишенных всякой риторической шелухи, снова встает во всей своей правдивости и строгости образ Ленина».

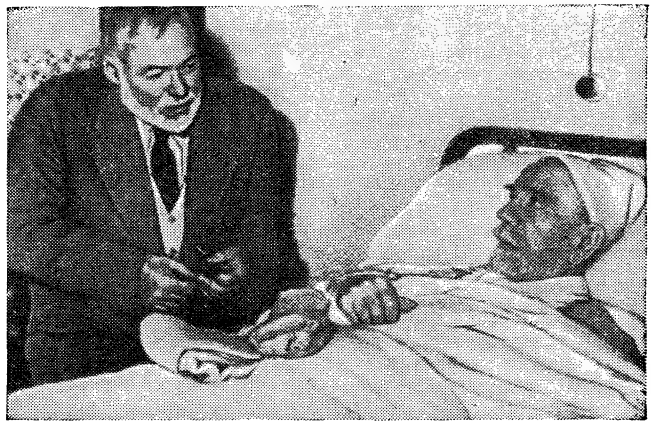
20 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ ГРАМШИ

27 апреля исполняется 20 лет со дня смерти замученного в фашистском застенке основателя Итальянской коммунистической партии Антонио Грамши.

За последние месяцы в Италии вышли две новые интересные книги воспоминаний об Антонио Грамши.

Первая из них написана сподвижником Грамши Батиста Сантиа и озаглавлена «С Грамши в «Ордине нуово». В ней рассказывается об одном из наиболее насыщенных борьбой периодов в истории итальянского революционного движения — о деятельности руководимой Грамши и Тольятти группы туринских коммунистов, издававшей еженедельник «Ордине нуово».

Э. Хемингуэй в гостях у Пио Барохи незадолго до смерти последнего. *(Журнал «Тьемпо»)*



До сих пор произведения Альберто Моравиа неоднократно экранизировались в Италии. Недавно в миланском Малом театре состоялась премьера одноактной оперы «Пойди сюда, Карла», написанной композитором Джино Негри по мотивам романа Моравиа «Равнодушные». В основе оперы — отношения между героями романа Лео и Карлой. В опере всего лишь двое действующих лиц, музыка написана для оркестра из десяти инструментов.
На снимке исполнители ролей в опере «Пойди сюда, Карла» Романа Ригетти и Джузеппе Дзеккиелло.
(Еженедельник «Контемпоранео»)

Другая книга, «Жизнь в тюрьме Антонио Грамши», посвящена годам заточения Грамши в фашистских тюрьмах. Автор этой тщательно документированной книги — Доменико Цукаро.

КИТАЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР «ЧАНЦЗЯНВЭНЬИ»

В городе Ханькоу в течение нескольких лет Уханьским отделением Союза китайских писателей издается журнал «Чанцзянвэньи» («Литература и искусство Янцзы»). Январский номер этого журнала целиком посвящен поэзии. Наряду с новыми стихами поэтов старшего поколения Ай Цина, Тянь Цзяня, в журнале напечатаны стихи Вэй Яна и Вэй Ци-линя, чьи первые произведения были опубликованы на страницах «Чанцзянвэньи» несколько лет назад.

За последнее время появилось несколько поэтических произведений, написанных на основе легенд и преданий различных населяющих Китай народностей. Это поэма «Ашма» народности сани, созданная коллективом авторов, поэма «Одежда из перьев» молодого поэта, представителя народности чжуан Вэй Ци-линя и другие. К таким произведениям относится и поэма молодого поэта Бай Хуа «Павлин», в основе которой лежат сказки и легенды народности тай. Все они опубликованы в журнале «Чанцзянвэньи».

ВТОРАЯ ВСЕКИТАЙСКАЯ ВЫСТАВКА ГРАВЮРЫ

В Пекине состоялась вторая всекитайская выставка гравюры. Она явилась творческим отчетом художников Китая перед своим народом.

Много интересных гравюр на выставке отразило повседневную жизнь современного Китая.

Художники Чжан Хуайцзян, Юй Ша-дин, Янь Хань, Ли Хуа-минь, Чжен Цзиншу, Хуан Янь, У Фань и многие другие посвятили свои работы показу новостроек, героического труда миллионов людей, борющихся со стихией и ставящих ее на службу человеку, показали изменения, происходящие в деревне, в быту людей под влиянием коллективного труда и в результате уничтожения многовековой эксплуатации.

Большое место на выставке заняли пейзажные рисунки, свидетельствующие о глубоком знании природы китайскими художниками. Большинство этих рисунков служит фоном, на котором показана творческая деятельность человека — преобразователя природы. Таковы, в частности, пейзажи Ци Даня, Дин Чжен-сяна, Сун Гуан-сюна, Ван И, Гу Юаня, Ли Хуань-миня и многих других.

Замечательной особенностью выставки явилось участие в ней огромного числа художников — представителей всех районов Китая.

Большой интерес посетителей вызвали работы, выполненные китайским художником Ли Пин-фанем совместно с японскими художниками Маруки и Акамацу во время их пребывания в Китае летом 1956 года. Эти небольшие гравюры — свидетельство культурных связей между народами Китая и Японии, символ их дружбы, за развитие которой выступают деятели искусства и культуры этих стран.

НИГЕРИЯ

«СВЕТ СОЛНЦА»

Так называется новая работа известного скульптора Нигерии Бен Енвонву. Скульптура, выполненная в народном стиле и изображающая молодую женщину, по замыслу автора, должна олицетворять пробуждение нации. Свою работу Енвонву намерен передать в дар национальному музею в Лагосе.

ВЫСТАВКА КАРТИН

В столице Нигерии Лагосе открылась выставка картин студентов. Характерной чертой большинства работ, пишет «Дейли таймс», является стремление молодых художников изображать свой народ, его современную жизнь, его борьбу за свободу.

ПАКИСТАН

ПОДГОТОВКА К СОЗДАНИЮ ФЕДЕРАЦИИ ПИСАТЕЛЕЙ ПАКИСТАНА

По сообщению «Пакистан таймс», недавно в Лахоре состоялось совещание группы пакистанских литераторов, пишущих на языке урду. Участники совещания отметили, что отсутствие единой организации, которая бы объединяла всех литераторов страны, естественно, тормозит развитие пакистанской литературы. Принято решение создать Федерацию писателей Пакистана, которая будет заниматься вопросами развития национальной литературы, установлением более тесных контактов как

среди пакистанских литераторов, так и с их коллегами в других странах, охраной прав и интересов писателей и так далее. На совещании был образован подготовительный комитет в составе 16 человек. Члены этого комитета должны разработать программу и созвать съезд, на котором будет принято официальное решение об образовании Федерации писателей Пакистана.

ПОЛЬША

КНИГА О В. И. ЛЕНИНЕ

Печать сообщает об издании в Польше книги советского автора Б. Волина «Ленин в Поволжье, 1870—1893 гг.». В переводе на польский язык книга названа «Молодые годы Ленина».

ПЛАНЫ ПОЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Газета «Трибуна люду» поместила интервью с рядом польских писателей об их работе и творческих планах.

Казимеж Брандыс заканчивает небольшую повесть «Мать королей». Это история варшавян — женщины и ее четырех сыновей — история, прослеженная на значительном отрезке времени вплоть до наших дней. Читатель получит эту повесть, вероятно, к осени. Брандыс продолжает собирать материалы для цикла «Воспоминания о современности». В этом же году выйдет второе издание «Красной шапочки» и восьмое «Непокоренного города».

Ежи Путрамент сообщает о выходе из печати его повести для молодежи «Каникулы». Приблизительно в мае текущего года читатель получит его книгу, включающую восемь новелл и больших рассказов. Писатель заканчивает цикл рассказов «О рыбах, людях и животных», которые выйдут в сентябре. В ближайшее время Путрамент хочет написать большую повесть на современную тему.

Леон Кручковский пишет новую пьесу о недавних событиях в Польше, в которой, по словам писателя, будут поставлены актуальные морально-политические проблемы. Кручковский продолжает работать над циклом рассказов на современную тему и намеревается написать повесть о событиях периода второй мировой войны.

Антони Слонимский рассказал на страницах газеты, что он готовит к печати собрание сочинений в нескольких томах. Том поэзии Слонимского включит стихотворную драму «Вавилонская башня», поставленную в 1925 году в Театре польском режиссером Леоном Шиллером. В другие тома собрания войдут комедии «Варшавский негр», «Бездомный врач», «Семья», а также повести, рассказы и фельетоны писателя. В текущем году выйдет также книга А. Слонимского «Воспоминания детства».

Мечислав Яструн работает над двумя циклами стихов. За последнее время им написано несколько новых рассказов. Одновременно М. Яструн редактирует однотомник переводов Бодлера, а также заново переводит стихи Александра Блока и ряда поэтов других стран.

О своей работе и планах на страницах «Трибуны люду» рассказывали Е. Анджеевский, А. Малишевский, Т. Микульский, М. Проминский, Ю. Пшибось, А. Сандауэр, К. Выка, Е. Завейский, Я. Бжехва, А. Стерн и другие польские писатели.

РУМЫНИЯ

НЕИЗВЕСТНЫЕ РАССКАЗЫ КАРАДЖАЛЕ

«Газета литерарэ» в минувшем году опубликовала

Познанский драматический театр поставил пьесу индийского драматурга Б. Гарги «Кесро». Как отмечает журнал «Иллюстрейтид уикли оф Индиа», это первая постановка современной индийской пьесы в Польше.

На снимке — сцена из пьесы «Кесро» в постановке познанского театра.

(Журнал «Иллюстрейтид уикли оф Индиа»)

два неизвестных рассказа Караджале: «Господарский приказ» и «В скором поезде». До сих пор они ни разу не входили в собрание сочинений Караджале, хотя авторство его не подлежит сомнению.

Рассказ «Господарский приказ» представляет интерес для изучения связей между творчеством Караджале и искусством знаменитого народного румынского поэта Антона Панна.

Установлено, что сюжет «Господарского приказа» был взят из стихотворения А. Панна «Старуха и девица».

ФИЛЬМЫ 1957 ГОДА

Как сообщает газета «Скынтейя», на экраны РНР скоро выйдет фильм «Счастливая мельница», поставленный по повести румынского классика Иоана Славича. Студия «Бухарест» заканчивает работу над фильмом «Час Х», по сценарию молодого писателя Никуцэ Тэнасе, и над фильмом «Чертова берлога» (сценарий писателя Драгоша Викола). Студия работает над экранизацией пьесы Хории Ловинеску «Разрушенная цитадель», известной в СССР под названием «В доме господина Драгомиреску». Этот фильм ставится французским режиссером Марком Моретто. Свое воплощение на экране найдут еще два литературных произведения современных румынских писателей: роман Петру Думитриу «Буревестник» и пьеса Николае Тэуту «Ночной полет» (фильм будет называться «Орел 101»).

Молодой режиссер Виктор Илиу в течение этого года поставил фильм по роману Ливиу Ребряну «Восстание». Эта картина, а также фильм по повести П. Думитриу «Фамильные драгоценности» посвящены крестьянскому восстанию 1907 года, пятидесятилетие которого отмечается в этом году.

МАЯКОВСКИЙ И БЛОК НА РУМЫНСКОМ ЯЗЫКЕ

Издательство «Картя русэ» предприняло массовое издание произведений Маяковского. Из намеченной серии вышло уже четыре книжки. В первой напечатана поэма «Во весь голос», во второй — «Владимир Ильич Ленин», в третьей — «Люблю», в четвертой — «150 000 000». Последняя поэма на румынском языке публикуется впервые. Критик Савин Брату подчеркивает высокое качество переводов, сделанных известным поэтом Чичероне Теодореску.

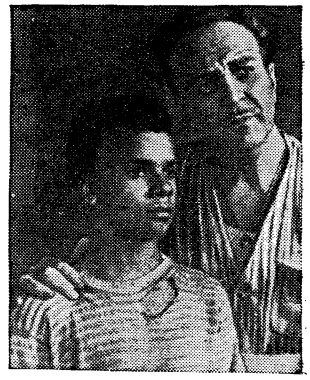
«Газета литерарэ» поместила заметку и о выходе на румынском языке сборника стихотворений Блока. До сих пор творчество Александра Блока было известно в Румынии лишь по небольшой книжке переводов, сделанных поэтом Раду Боуряну. Избранные стихотворения поэта в переводах М. Джентемирова и М. Калмыку являются, как замечает «Газета литерарэ», «лишь маленьким, но вполне достаточным букетом, чтобы дать румынскому читателю представление о подлинном облике одного из самых интересных русских поэтов».

США

«Я, КАНДИДО!»

У народа Пуэрто-Рико есть пословица: «Там, где ест один, могут есть и двое». Содержание новой пьесы, идущей в нью-йоркском «Гринич мьюз тиэтр» под названием «Я, Кандидо!», лучше всего соответствует этой пословице.

В бедной пуэрториканской семье Чеа и Аделиты Гомес, живущей в Нью-Йорке, шестеро детей. Несмотря на то, что Гомесы еле сводят концы с концами, они решили взять на воспитание маленького бездомного пуэрториканца по имени Кандидо. Однако это доброе дело простых людей наталкивается на неожиданное противодействие местных органов власти. Последние не разрешают юридически оформить усыновление по той причине, что Гомесы не смогут прокормить еще одного члена семьи. Так определяется главный конфликт пьесы.



Сцена из спектакля «Я, Кандидо». В роли Кандидо — Хозе Перес, Гомеса — Карлос Монталбан.
(Журнал «Нью-Йорк таймс мэгезин»)

Показать жизнь нью-йоркских пуэрториканцев, раскрыть лучшие человеческие черты этих жителей трущоб — вот цели, которые поставил перед собой автор пьесы Уолт Андерсон. И это ему полностью удалось. «Слушайте вы, пуэрториканцы Бронкса, Манхэттена, Бруклина, Лонг Айленда и Стейтен Айленда: это случилось! Да, нас показывают как славных людей в «Я, Кандидо!», как людей со всеми нашими хорошими качествами и слабостями. С нашим великолепным «недостатком» — любить чересчур горячо и глубоко другие человеческие существа»,— так пишет о спектакле обозреватель газеты «Дейли уоркер» пуэрториканец Хесус Колон.

Положительно отозвался о постановке этой пьесы и театральный критик газеты «Нью-Йорк таймс» Брукс Аткинсон. Хотя, пишет он, театр «Гринич мьюз», один из так называемых «внебродвейских» театров, помещается в подвале церкви и «живет первобытной жизнью», «Бродвей не показал ничего столь же основательного, сильного и свежего, как «Я, Кандидо!».

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ХЕМИНГУЭЯ НА ЭКРАНЕ

По сообщению французского еженедельника «Ар», в настоящее время ведется

подготовительная работа к съемке двух фильмов по произведениям Эрнеста Хемингуэя.

Один из этих фильмов — «Прощай оружие» — будет сниматься в конце 1957 года в Италии режиссером Уильямом Уайлером. Съемку второго фильма — «Фиеста» — начнет скоро в Мексике режиссер Генри Кинг.

ХУДОЖНИК — РАБОЧИЙ ОТ СТАНКА

Журнал «Марч оф лейбор» посвятил статью двадцатишестилетнему художнику Эду Стриклэнду. Эд Стриклэнд — рабочий. Он активный член профсоюза и в своих талантливых рисунках, набросках, гравюрах и литографиях отражает жизнь и борьбу рабочего класса. Следует добавить к этому, что Стриклэнд — негр. В своих работах он одновременно отражает и борьбу негритянского народа за свои права.

«Я рисую обычно по ночам, — рассказывает он о себе на страницах журнала, — то есть после полного рабочего дня в цехе, где температура достигает 90—96 (по Фаренгейту. — *Ред.)* градусов, а в жаркий день и того больше».

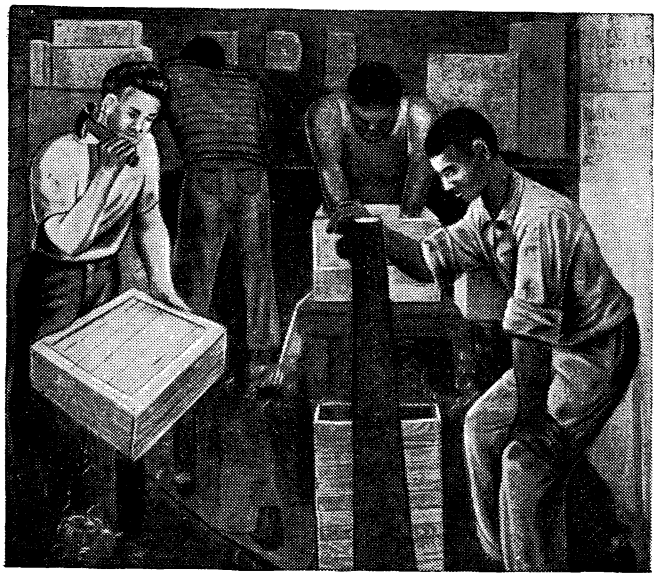
Как разъясняет «Марч оф лейбор», Стриклэнд вынужден работать на заводе, ибо иначе он не сумел бы прокормить свою семью.

«Большое число талантов,— заявил Стриклэнд корреспонденту «Марч оф лейбор», — гибнет в результате материальных затруднений. Многие одаренные люди, имеющие и талант и художественное образование, желающие работать в своей области, вынуждены отказаться от любимой профессии».

ОТВЕТ ШОНА О'КЕЙСИ МАККАРТИСТАМ

Американский журнал «Тиэтр артс» сообщает, что в связи с запрещением постановки пьесы известного драматурга Шона О'Кейси «Красные розы для меня» (см. «Иностранная литература» № 7, 1956 г.), заподозренного в том, что он является коммунистом, ирландский драматург заявил: «Я такой же коммунист, какими были Шелли, Диккенс, Байрон, Мильтон и каким был Маркс, а также все те, кто мыслил широко и прекрасно и кто любил людей».

Картина художника Эда Стриклэнда «В мастерской».
(*Журнал «Марч оф лейбор»*)



«ВОЙНА И МИР» В ОБРАБОТКЕ ФИРМЫ «ПАРАМОУНТ»

Американская фирма «Парамоунт», которая занимается прокатом в США кинокартины «Война и мир», нашла еще один путь извлечь выгоду из этого фильма: она выпустила в продажу «собственное» издание романа, которое представляет собой... картинки-кадры из фильма с короткими подписями.

Это «произведение» фирма расхваливает покупателям следующим образом: «Вам больше нет нужды прочитывать тысячу длинных страниц, чтобы получить полное удовольствие от этой великой книги, которая подавляет читателей каждым эпизодом войны и мира... Потрясающее содержание шедевра Толстого показано здесь в действии в виде серии фотографий и подписей к ним. Перед вами книга для любого возраста. Чтобы получить двойное удовольствие, посмотрите фильм, а затем прочтите книгу. Стоимость — 1 доллар 98 центов».

ТУРЦИЯ

АНТОЛОГИЯ СТИХОВ ТУРЕЦКИХ ПОЭТОВ

Как сообщает журнал «Варлык», в Турции издается новая антология произведений турецких поэтов. Антология будет состоять из 4-х томов. Уже вышел из печати первый том. В него включены произведения Андая, Берка, Челеби, Даглараджа, Тараниджи и других— всего восемнадцати турецких поэтов. Книга снабжена их фотографиями и краткими биографиями.

ИЗДАНИЕ КЛАССИКОВ

Издательство «Варлык» выпускает новую серию книг под названием «Выдающиеся произведения мировой литературы». В эту серию входят «Мадам Бовари» Флобера, «Илиада» Гомера, «Униженные и оскорбленные» Достоевского, а также ряд произведений турецких авторов.

ФРАНЦИЯ

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ РОМАНЫ

Французские литературные газеты и журналы с удовлетворением отмечают успех, которым пользуются у читателей «документальные романы», то есть произведения, в которых фактический материал сочетается с художественным вымыслом. По мнению еженедельника «Леттр франсез», успех этого жанра свидетельствует о том, что читатель устал от книг, в которых утрачена связь с действительностью. «Наряду с романистами, — пишет газета, — которые обращаются с фактами, как им заблагорассудится, и пренебрегают реальностью, во Франции развивается документальная школа в широком смысле этого слова». В качестве примера газета приводит новую книгу Альбера Эйкар «Дорога». Это роман из жизни шоферов грузовых машин, совершающих регулярные рейсы по стране. По отзыву газеты, книга содержит множество интересных фактических сведений и наблюдений, приближающих ее к серии очерков.

Французские газеты отметили еще две книги: «Анжелина, дева полей» А. Барден и «Октябрьская луна» Э. Юрель, которые также могут быть отнесены к этому жанру.

«Анжелина, дева полей» получила премию министерства земледелия, присуждаемую за лучшее произведение о деревне. Автор книги Анжелина Барден провела детство в сиротском доме, потом долгие годы работала батрачкой на фермах. Это ее первая книга, она носит автобиографический характер и, по словам рецензента «Леттр франсез», написана с превосходным знанием жизни и быта французской деревни.

Почти одновременно с «Анжелиной» вышел роман Эрика Юрель «Октябрьская луна». Вот его содержание: военный трибунал судит француза, в годы войны предавшего немцам одиннадцать подпольщиков — бойцов Сопротивления. Перед судом проходят свидетели защиты и обвинения; слушая их показания, суд пытается установить, как могло случиться это предательство, в чем человеческие и общественные корни этого явления. Запись «свидетельских показаний», иллюстрирующих поведение различных людей в период оккупации, и составляет основное содержание романа. Чтобы лучше вскрыть причины описываемой трагедии, автор прибегает к многочисленным отступлениям в прошлое. Это произведение, пишет обозреватель газеты «Юманите», вписано в конкретный исторический контекст. «Перед нами мужественная книга, которую следует прочесть».

Ирен Сержин и Жак Моклер в постановке пьесы А. П. Чехова «Иванов».
(Еженедельник «Леттр франсез»)

ПЬЕСА А. П. ЧЕХОВА «ИВАНОВ» В ПАРИЖЕ

Парижская труппа Жака Моклера одной из первых за рубежом поставила пьесу А. П. Чехова «Иванов». Еженедельник «Леттр франсез» отмечает в первую очередь режиссерскую работу Моклера, нашедшего для актеров выразительные мизансцены.

За исключением Робера Грузэ (Львов) остальные исполнители, пишет «Леттр франсез», играли безукоризненно, с полным пониманием характеров чеховских героев. «Если творчество Чехова вечно, — пишет рецензент о пьесе, — оно кажется также неисчерпаемым. Не проходит сезона без того, чтобы какой-нибудь театр не открыл, нам же в науку, новое произведение гения русской души».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАРОДНЫЙ ТЕАТР ФРАНЦИИ СТАВИТ «ЮЛИЯ ЦЕЗАРЯ» ШЕКСПИРА

Руководитель парижского Национального народного театра (ТНП) Жан Вилар поручил актеру Раймонду Германтье подготовить текст шекспировской трагедии «Юлий Цезарь» для постановки ее на огромнейшей сцене дворца Шайо, где играет ТНП в Париже. Спектакль намечен также для весеннего фестиваля в Ниме. Германтье исполнит в спектакле роль Марка Антония, Кассио будет играть Андре Рейба, в главной роли выступает Алэн Норис.

Популярный французский актер Фернандель в роли Сганареля в фильме «Великий обольститель» (по «Дон Жуану» Мольера). Режиссер Ж. Берри.
(Журнал «Вие нуове»)

НОВЫЙ ПЕРЕВОД «ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА»

В издательстве Робер Лаффон вышел перевод пушкинского «Евгения Онегина», сделанный Мишелем Байа. Это первый полный перевод поэмы на французский язык, но сделан он не в стихах, а в прозе. «Тем не менее, — пишет рецензент еженедельника «Ар», — он неведомым образом сохраняет поэтическое звучание». В рецензии указывается, что «опубликование полного перевода «Евгения Онегина» является литературным событием этого года».

ЦЕЙЛОН

ПРОИСШЕСТВИЕ С ХУДОЖНИКОМ ЛЬЮИСОМ

Газета «Санди таймс оф Цейлон» рассказала любопытную историю, связанную с пребыванием на Цейлоне американского художника Льюиса — приверженца абстрактного направления в искусстве.

Автору заметки было поручено показать Льюису достопримечательности Коломбо. Однако ни художественная галерея, ни древние фрески, собранные в столичном музее, не заинтересовали его.

Лишь одна вещь привлекла там внимание Льюиса, буквально приковав его к месту; при этом Льюис бурно выражал свой восторг по поводу того, что и на Цейлоне могли создать такой шедевр абстрактного искусства.

Оказалось, что Льюис принял за «выдающееся произведение живописи» старую карту сингальской деревни.

Автор заметки пишет, что после этого случая он не чувствует жалости к себе, когда не может понять и оценить картины, написанные представителями абстрактного направления в живописи. Эти картины, скорее, вызывают у него жалость к их авторам.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«ПОДЗОРНАЯ ТРУБА»

Книга Адольфа Гофмейстера «Подзорная труба или, кто не верит, пусть поверит» написана в форме бесед автора с десятилетним сынишкой и его маленькими друзьями. Журналист, художник, романист, а в прошлом и дипломат, Гофмейстер во время своих путешествий встречал много крупных политических деятелей, писателей, художников. Он умеет видеть самое главное, характерное для них и в нескольких словах и несколькими штрихами в своих рисунках показать это.

В доступной детям форме автор переходит от исторических фактов и событий к обобщениям принципиального и морального характера. Рассказывая о пещерах первобытных людей и найденных там изумительных рисунках, он говорит об огромной роли изобразительного искусства. Увлечение ребятишек Жюлем Верном, как и вся его биография, служит поводом для того, чтобы сказать о вечном, могучем «зове моря».

Рисунки А. Гофмейстера к его книге «Подзорная труба».
Наверху — Пабло Пикассо на аэродроме.
Внизу — Ци Бай-ши за работой.

От повествования об открытии Америки Колумбом Гофмейстер переходит к описанию индейских резерваций и современного Нью-Йорка — города социальных контрастов. Большим теплом проникнуты новеллы, посвященные французскому народу, его революционному духу и прекрасному искусству, солнечной Италии, родине Леонардо да Винчи и... фашизма. Главы о искусстве негритянских народов, о заседании Организации Объединенных Наций, о египетских пирамидах перемежаются в книге легендой об изобретении шахмат, рассказом о индейцах Мексики, о происхождении табака, о положении негров, о новом Китае. Много интересного сообщает Гофмейстер своим читателям о Советском Союзе.

ОБСУЖДЕНИЕ ИТОГОВ ЛИТЕРАТУРНОГО ГОДА

В январе в Праге состоялся пленум Центрального комитета Союза чехословацких писателей. Пленум обсудил успехи отечественной литературы за минувший год.

Франтишек Бурианек в своем докладе отметил романы Норберта Фрида «Коробка с живыми» и Е. Валенты «Иди к зеленому свету», посвященные периоду оккупации.

Из жанра очерков докладчик обратил внимание на книгу Л. Ашкенази «Бабье лето». Он отметил ряд интересных произведений, в числе которых «Испанская арена» О. Черноха и «Рассвет» А. Заботоцкого.

В докладе о драматургии Иозеф Трегер отмечает пьесу Незвала «Сегодня солнце еще заходит над Атлантидой», пьесу молодого драматурга Павличка «Я хотел бы вернуться» — из жизни чешских эмигрантов, которые покинули родину после февральских событий 1948 года, драму Стеглика «Сельская любовь» и пьесу Яриша «Интеллигенты». Иозеф Трегер считает, что залогом успехов драматургов является их внимание к вопросам современности.

После основных докладов по вопросам прозы, поэзии и драматургии на пленуме ЦК союза чехословацких писателей возникла дискуссия, которая в основном была направлена на обсуждение прозаических произведений, в частности, современного романа.

ЛИРИКА ЛАДИСЛАВА СТЕГЛИКА

Свой одиннадцатый сборник стихов Ладислав Стеглик назвал «Вечера благоухают водой» (и к этому добавил подзаголовок «Книга пейзажей»), но, кроме лирического пейзажа, в нем есть воспоминания о детстве, о юношеской влюбленности, стихи о любимых поэтах и художниках. Пейзаж родины служит для поэта средством выражения его мыслей и чувств.

ЧИЛИ

КНИГА Г. МИСТРАЛЬ

В Нью-Йорке в возрасте 67 лет скончалась известная чилийская поэтесса Габриела Мистраль. Недавно в Чили вышла последняя книга ее стихов «Виноградный пресс».

Книга состоит из нескольких частей, каждая из них содержит ряд стихотворений, объединенных какой-либо темой: «Безумие», «Война», «Траур», «Безумные женщины», «Природа», «Время» и другие. Последние стихи Г. Мистраль отмечены чертами мистики, пессимизма и религиозных размышлений.

ШВЕЦИЯ

ЮБИЛЕЙ КНИГИ

В ознаменование пятидесятилетия со дня выхода в свет известной книги Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона по Швеции» Королевская библиотека в Стокгольме организовала выставку, на которой были представлены документы, освещающие историю создания книги. Переписка писательницы с педагогом Альфредом Далин показывает, что это он предложил Лагерлёф написать книгу, которая могла бы заменить или дополнить хрестоматию для народных школ, использовавшуюся в Швеции с 60-х годов прошлого столетия. Письма Далин, Лагерлёф и ее подруги Вальборг Уландер рассказывают о развитии и осуществлении замысла «Нильса Хольгерссона».

На выставке демонстрировались рецензии, которыми шведская печать встретила появление книги, различные шведские издания, многочисленные работы художников, иллюстрировавших сказку о Нильсе. Очень интересен раздел выставки, посвященный зарубежным изданиям. На стендах книга Лагерлёф фигурировала на русском, китайском, румынском, греческом, японском и других языках.

ГОЛОСА, ЗВУЧАЩИЕ ИЗ ПРОШЛОГО

Шведское общество любителей граммофонных пластинок издало альбом долгоиграющих пластинок под названием «Голоса шведских писателей». На этих пластинках записаны голоса шведских писателей Сельмы Лагерлёф, Вернера фон Хейденстама, Тура Хедберга, Яльмара Бергмана и других, выступающих с чтением собственных произведений.

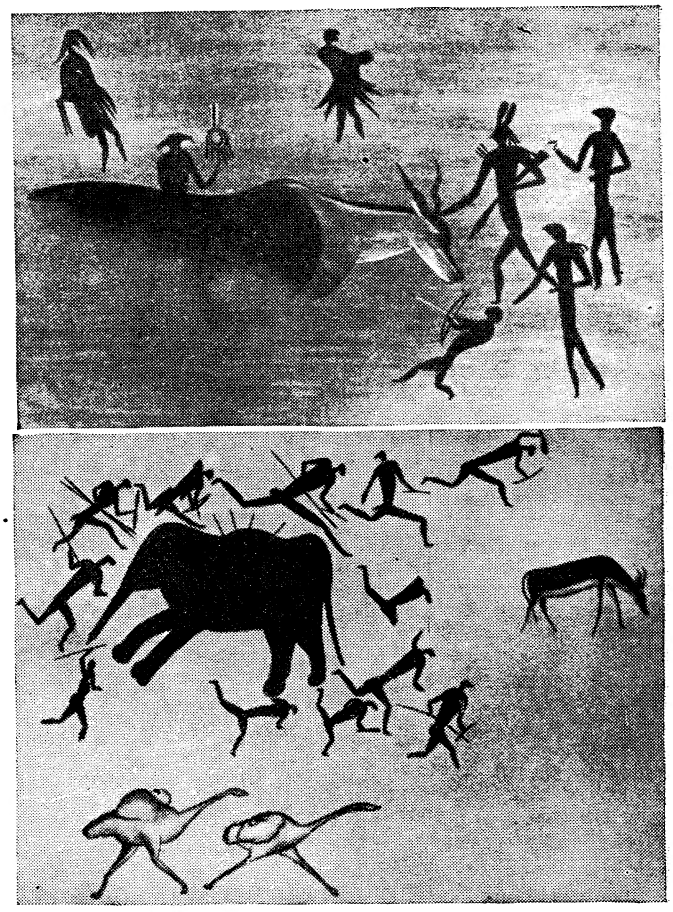
НЕДЕЛЯ КНИГИ В ШВЕЦИИ

В конце прошлого года в Швеции в пятый раз была проведена Неделя книги.

«Ню даг» поместила портрет известного шведского путешественника, спутника Тура Хейердала в его плаванье на «Кон-Тики» — Бенгта Даниэльссона. Даниэльссон популярен в Швеции не только как путешественник, но и как автор ряда

книг, посвященных этим путешествиям. В 1956 году он выступил с книгой «Бумеранг» о поездке в Австралию.

Даниэльссон со своей неизменной бородой изображен на фоне плаката, посвященного Неделе книги. Над портретом шутливая надпись: «Бородатая пропаганда», под портретом — следующее его высказывание: «По правде говоря, на островах Тихого океана мне тоже не раз приходилось участвовать в литературных вечерах, подобных тем, которые организуются в Швеции в связи с Неделей книги. Конечно, чаще всего чтением вслух занимаются европейцы, которые таким образом стараются скоротать скучные дождливые вечера. Но и туземцы постоянно собираются вместе по обычаю своих предков и при этом устраивают настоящие вечера рассказов».



В Южно-Африканском Союзе вышла недавно книга «Пещерные художники Южной Африки». В ней рассказывается о том, как в пещерах Южной Африки были открыты красочные наскальные рисунки, сделанные художниками-бушменами. В книге помещено 48 репродукций наскальных рисунков, которые не публиковались ранее.
На снимках: образцы наскальной живописи бушменов.

ЮГОСЛАВИЯ

НОВОЕ ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ОТОНА ЖУПАНЧИЧА

Вышел из печати первый том полного собрания сочинений одного из крупнейших словенских поэтов Отона Жупанчича. Произведения Жупанчича выходят в серии «Произведения словенских поэтов и писателей», которую уже несколько лет издает Государственное издательство Словении. Редактирует серию профессор Антон Оцвирк совместно с другими словенскими писателями и учеными-литературоведами.

Первый том собрания сочинений Жупанчича — 52-я книга серии.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ В ДУБРОВНИКЕ

Управление дубровницких летних игр вместе с художественным советом утвердило программу на 1957 год. В них примут участие как отдельные артисты, так и художественные коллективы. Югославский драматический театр покажет «Макбета», Народный театр — «Царя Эдипа».

В музыкальной части программы будут участвовать Белградская опера, симфонический оркестр югославского радио, загребская филармония, ансамбль загребских солистов, хор Югославской Народной Армии, Словенский вокальный октет, дубровницкий городской оркестр, несколько солистов, известных музыкантов-исполнителей. Ожидается также участие иностранных коллективов и солистов.

Летние игры, как всегда, состоятся с 1 июля по 31 августа.

ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ

НОВЫЕ КНИГИ

За последнее время из печати вышло несколько новых книг южноафриканских авторов. Среди них прежде всего следует отметить книгу Моепли Паулуса «Возвращение к неграм». В ней рассказывается о негре из племени басуто, который рос и воспитывался в религиозной школе. Вернувшись к своим соплеменникам, герой с горечью убеждается, что он забыл их обычаи, что он чужой среди них, что в жизни господствует не любовь и дружба, о чем ему гово-

рили в школе, а грубая сила и произвол белых колонизаторов, отсталость и суеверия туземной знати. «Возвращение к неграм» является правдивой историей распада африканского племени в результате гнета колониальных властей. Оценивая книгу Паулуса, газета «Френд» писала, что это серьезная попытка показать африканскую жизнь с точки зрения не европейца-филантропа, а писателя-африканца, представителя угнетенного народа, глубоко понимающего своих героев и искренне сочувствующего им.

Книга Франца «Кобус» также посвящена судьбе молодого негра из племени басуто. Но в отличие от первого романа здесь автор показывает своего героя в другой обстановке. Кобус, выросший среди негров в сельской местности, попадает в город, где он впервые сталкивается с белыми. Он плохо знает их язык, не понимает их законов и традиций, и поэтому часто терпит унижения. Однако, следя за его историей, читатель видит, что Кобус, не «черномазый дурак», каким его кое-кто считает, а способный и волевой человек, который сумеет найти свое место в жизни.

ЯПОНИЯ

АНТОЛОГИЯ ЯПОНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Журнал «Истерн уорлд» сообщает о выходе антологии японской литературы на английском языке, составленной Дональдом Кином.

У японской литературы большая история. Однако эта богатейшая литература до последнего времени была мало известна за пределами Японии, так как не было ни одного труда, который дал бы о ней полное представление. С этой точки зрения выход антологии Кина представляет известный интерес. Она охватывает двенадцать веков и доводится автором до середины XIX века.

Работы японских писателей последних 90 лет войдут в отдельный том, который будет опубликован позже.

ЯПОНСКИЕ СКАЗКИ

Японский фольклорист Кунио Янагита выпустил сборник японских народных сказок, в который вошли 108 сказок. Они представляют собой образцы народного творчества, возникшего в далекие времена и в устной форме дошедшего до наших дней. Эти сказки очень разнообразны по содержанию. Некоторые из них представляют попытку раскрыть тайны природы, объяснить особенности жизни птиц и животных; в сказках выражена уверенность в в том, что справедливость будет вознаграждена, а зло наказано.

ПЬЕСА А. П. ЧЕХОВА НА ЯПОНСКОЙ СЦЕНЕ

В конце 1956 года прогрессивная театральная труппа «Хайюдза» осуществила постановку пьесы А. П. Чехова «Три сестры». Главные роли в спектакле были поручены ведущим актрисам труппы Миёко Накамура (Ольга), Тэруко Киси (Маша) и Митико Оцука (Ирина). В статье «Живописная гармония пьесы Чехова» газета «Акахата» высоко оценивает эту постановку.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Мечислав Яструн — Mieczysław Jastrun — (род. в 1903 г.) польский поэт и переводчик. Лауреат двух государственных премий ПНР 1-й степени (1950 и 1955 гг.).

Перу Яструна принадлежат сборники стихов «Встреча во времени» ("Spotkanie w czasie", 1929), «Другая молодость» ("Inna młodość", 1933), «Избранные стихотворения» ("Wiersze wybrane", 1947), «Поэзия и правда» ("Poezja i prawda", 1955) и другие.

Печатаемое нами стихотворение взято из книги «Поэзия» (Poezje, 1954).

Суканта Бхаттачария (1926—1947) — индийский поэт. В сборник его стихов «Сладость и горечь» вошли стихи, написанные им с 1943 по 1947 годы. Посмертно, в 1949 году, издан сборник его стихов «Паспорт». Печатаемое нами стихотворение взято из индийского журнала «Индиан литерачер» № 2, 1953 г.

Йосеф Гора — Josef Hora (1891—1945) — чешский поэт и переводчик. Посмертно получил звание Народного писателя Чехословакии. Известны сборники его стихотворений «Десять лет» ("Deset let", 1929), «Твой голос» ("Tvůj hlas", 1930), «Песня родной земли» ("Zpěv rodné zemi", 1938), «Родина» ("Domov", 1938) и другие.

Печатаемое нами стихотворение взято из сборника «Чешские поэты о Ленине» ("Lenin u českých básníků", 1949).

Ли Цзи (род. в 1921 г.) — китайский поэт. Всенародное признание получила его поэма «Ван Гуй и Ли Сян-сян» (1945 г.). Печатаемое нами стихотворение взято из сборника «Песни дружбы, борьбы и труда» (1954 г.)

Хан Юн Хо (род. в 1932 г.). — корейский поэт и драматург. В 1952 году в Пхеньяне в Государственном театре имени КНДР была поставлена его пьеса «Сеятели». Печатаемое нами стихотворение получено редакцией от автора в рукописи.

Бертольт Брехт — Bertolt Brecht (1898—1956) — немецкий поэт, драматург и прозаик. О нем см. «Иностранную литературу» № 12, 1956 г. и № 2, 1957 г.

Печатаемое нами стихотворение взято из сборника произведений немецких писателей о Ленине «Он пробудил мир ото сна» ("Er rührte an den Schlaf der Welt", 1954).

Ярослав Ивашкевич — Jarosław Iwaszkiewicz (род. в 1894 г.) — польский поэт, беллетрист, драматург. Ему принадлежат сборники рассказов «Новая любовь» ("Nowa miłość", 1946), «Итальянские новеллы» ("Nowele włoskie", 1947), «Рассказы» ("Opowiadania", 1954) и другие. В 1956 году Я. Ивашкевич издал первый том нового романа «Честь и слава» ("Sława i Chwała").

Ивашкевич — председатель Польского Комитета защиты мира, член Всемирного Совета Мира. Печатаемый нами рассказ взят из книги «Услышанные рассказы» (Opowieści zasłyszane", 1955).

Клод Сернэ — Claude Sernet — современный французский поэт. Впервые его стихи вышли в сборнике «Воспоминания» ("Commémorations", 1937). Печатаемое нами стихотворение взято из сборника "Poèmes Dus", 1949.

Джеймс Олдридж — James Aldridge (род. в 1918 г.) — английский писатель. В 1952 году ему была присуждена Золотая медаль мира. Первый роман Олдриджа «Дело чести» ("Signed With Their Honour") был напечатан в 1942 году. С 1946 по 1948 гг. Олдридж пишет одно из самых крупных своих произведений роман «Дипломат» ("The Diplomat", 1949). Известны и другие произведения Олдриджа: «Морской орел» ("The Sea Eagle", 1944), «О многих людях» ("Of Many Men", 1946), «49-й штат» (The 49-th State. 1946), «Герои пустынных горизонтов» ("Heroes of the Empty View", 1954) и другие.

Рассказ «Победа мальчика с лесного берега» прислан автором в рукописи, рассказ «Мальчик с лесного берега» взят из журнала «Харперс мэгэзин», 1951 год.

Робер Мерль — Robert Merl (род. в 1902 г.) — французский писатель. Подробнее о нем см. «Иностранную литературу» № 4, 1955 г. Публикуемая статья написана автором по заказу журнала.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов, Н. Н. Вильмонт,

С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора),

Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, С. В. Образцов, С. П. Щипачев.

Адрес редакции: Москва, ул. Воровского, д. 52, журнал «Иностранная литература».
Телефоны: Д 5-17-83, Д 5-17-10, Д 5-19-81.

Художеств. редактор *М. М. Милославский* Технический редактор *А. Ф. Марков.*

А 00496. Сдано в производство 18/II 1957 г. Подписано к печати 5/IV-57 г. Зак. 483.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.+2 вкл. Печ. л. 24,66+2 вкл. Цена 8 руб.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 8 руб.